К. ПИГАРЕВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ТЮТЧЕВА

Жизнь и творчество Тютчева



Ф. И. Тютчев

Фотография Деньера. 1864 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

К. Пигарев



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва 1962

Памяти
Заслуженного деятеля искусств
Николая Ивановича
Тютчева,
внука поэта

ОТ АВТОРА

Книга эта представляет собой первый в советском литературоведении опыт монографии о жизни и творчестве гениального русского поэта Федора Ивановича Тютчева.

Единственным до сих пор крупным трудом о Тютчеве является биография, написанная его зятем, публицистом-славянофилом И. С. Аксаковым [1]. Несмотря на блестящую литературную характеристику личности поэта и тонкий анализ отдельных особенностей его творчества, книга Аксакова, знакомство с которой обязательно для каждого, кто приступает к изучению Тютчева, все же давно устарела как в методологическом отношении, так и с чисто фактической стороны. Ряд существенных дополнений и уточнений к труду Аксакова был сделан В. Я. Брюсовым в его статьях «Легенда о Тютчеве» и «Ф. И. Тютчев. Летопись его жизни» [2], легших в основу критико-биографического очерка, которым открывается Полное собрание сочинений Тютчева в издании А. Ф. Маркса [3]. Статьи Брюсова имели для своего времени большое значение как первые профессионально литературоведческие работы о Тютчеве, но по существу ими и ограничивалась дореволюционная научная литература о поэте, ибо все остальное обычно не выходило за пределы субъективных оценок.

Благоприятные условия для изучения жизни и творчества Тютчева создались после Великой Октябрьской социалистической революции, когда впервые стали доступны исследователям обширные государственные и частные архивы. Советские литературоведы в основном сосредоточили свое внимание на отдельных сторонах

[1] И. С. Аксаков. Федор Иванович Тютчев. (Биографический очерк). М., 1874 (работа вышла в качестве 10-го выпуска журнала «Русский архив» за 1874 г.; тогда же была выпущена отдельными оттисками); второе издание — И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886.

[2] «Новый путь», 1903, XI, стр. 16—30; «Русский архив», 1903, кн. III, стр. 481—498; 641—652; 1906, кн. III, стр. 310—320.

[3] Вышло в 1912 г. (без обозначения года на титульном листе). Переиздано трижды, в том числе в приложении к журналу «Нива» за 1913 г.

биографии Тютчева[4], вопросах общественно-политического мировоззрения поэта[5], установлении критически выверенного текста его стихов[6] и выяснении судьбы его поэзии, т. е. восприятия ее современниками и последующими литературными поколениями[7]. В особенности важна и неотложна была работа по изучению тютчевского текста, ибо все дореволюционные издания его стихотворений изобиловали разного рода случайными погрешностями и заведомыми искажениями и не отличались должной полнотой. В результате архивных разысканий был значительно расширен поэтический «фонд» Тютчева. За советский период вышло три полных собрания стихотворений Тютчева[8]. Все стихотворное наследие поэта стало достоянием читателя. Сколько-нибудь крупных открытий неизданных тютчевских стихов теперь уже ожидать не приходится. Можно считать в основном окончательно установленным и самый текст стихотворений поэта.

Меньшие результаты достигнуты советским литературоведением в области изучения тютчевской поэтики, языка и стиля его произведений. Известные работы Ю. Н. Тынянова «Вопрос о Тютчеве» и «Пушкин и Тютчев», вошедшие в его книгу «Архаисты и новаторы» (Л., 1929), глава «Пушкин, Тютчев, Лермонтов» в книге Б. М. Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (Пг., 1922) и статья Л. В. Пумпянского «Поэзия Ф. И. Тютчева»[9], при имеющихся в них отдельных интересных наблюдениях, страдают формализмом.

---

[4] Например: Георгий Чулков. Последняя любовь Тютчева. М., 1928; Е. Казанович. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева. «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928; Ф. Т. [Ф. Тютчев, внук поэта]. Ф. И. Тютчев и его дети.— Там же; О. Пигарева. Из семейной жизни Ф. И. Тютчева. «Звенья», кн. 3—4, 1934.

[5] К. Пигарев. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России. «Литературное наследство», т. 19—21, 1935; его же. Ф. И. Тютчев о французских политических событиях 1870—1873 гг.— Там же, т. 31—32, 1937.

[6] Например: Д. Благой. Тургенев — редактор Тютчева.— Сб. «Тургенев и его время». М., 1923; Георгий Чулков. Судьба рукописей Тютчева. «Тютчевский сборник». Пг., 1923; его же. Новый Тютчев. «Литературный критик», 1934, № 5; Н. Гудзий. Новое издание стихотворений Тютчева. «Литературная газета», 1938, № 58, 14 декабря; К. Пигарев. Судьба литературного наследства Ф. И. Тютчева. «Литературное наследство», т. 19—21, 1935.

[7] Д. Благой. Тютчев, его критики и читатели. «Тютчевский сборник». Пг., 1923; Н. Гудзий. Тютчев в поэтической культуре русского символизма. «Известия по русскому языку и словесности АН СССР», т. III, 1931.

[8] Двухтомное издание под редакцией и с комментариями Г. И. Чулкова и со вступительной статьей Д. Д. Благого (М.— Л., «Academia», 1933—1934); издание, подготовленное К. В. Пигаревым под общей редакцией и со вступительной статьей В. В. Гиппиуса (Л., «Советский писатель», 1939; «Библиотека поэта») и издание под редакцией и с примечаниями К. В. Пигарева и со вступительной статьей Б. Я. Бухштаба (Л., «Советский писатель», 1957; «Библиотека поэта». Большая серия, изд. 2).

[9] «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928.

Существенным тормозом в изучении Тютчева является отсутствие полной библиографии о нем на русском и иностранных языках. Имеющиеся в печати библиографические перечни доведены до 1928 года и содержат значительные пробелы [10].

Из новейших работ о поэте в особенности содержательны: статья Д. Д. Благого «Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев)» [11], подытоживающая все предыдущие работы исследователя над изучением Тютчева, небольшая, приуроченная к 150-летию со дня его рождения статья И. В. Сергиевского «Выдающийся русский поэт» [12] и вступительные статьи Б. Я. Бухштаба ко второму изданию стихотворений Тютчева в большой серии «Библиотека поэта» и Н. Я. Берковского к недавно вышедшему третьему изданию в малой серии той же «Библиотеки».

Немалое внимание уделяли и уделяют Тютчеву зарубежные историки литературы. Во многих работах, появившихся за последние десятилетия, получило широкое распространение формалистическое истолкование творчества Тютчева, данное в статьях Ю. Н. Тынянова. Однако советские литературоведы не могут пройти мимо таких работ, как книга Д. Н. Стремоухова «La poésie et l'idéologie de F. I. Tiouttchev», вышедшая в Париже в 1937 году, глава о Тютчеве и Гейне в исследовании А. Керндля «Studien über Heine in Rußland» [13] или статья Г. Дудека «Der philosophische und künstlerische Gehalt der Gleichnisformen in F. I. Tjutčevs Poesie» [14]. В этих и в некоторых других работах содержатся интересные и свежие наблюдения, собран большой фактический материал и проявлено хорошее знакомство с советской литературой о Тютчеве.

Задачи предлагаемой монографии, обобщающей мои многолетние изыскания в области жизни и творчества Тютчева, достаточно ясно определяются ее названием. В первых трех главах работы творческая деятельность и мировоззрение Тютчева рассматриваются в связи с основными фактами его биографии и историческими событиями русской и европейской общественной жизни его времени. Четвертая и пятая главы посвящены анализу идейного и художественного своеобразия поэтического наследия Тютчева. Шестая глава ставит своей целью ввести читателя в «творческую лабораторию» поэта.

Я считаю своим долгом посвятить этот труд дорогой для меня памяти Н. И. Тютчева. Возглавляя в качестве директора и пожиз-

---

[10] Д. Благой. Библиография о Ф. И. Тютчеве. «Тютчевский сборник». Пг., 1923; его же. Тютчевиана за 1923—1928 гг. «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928.

[11] Д. Благой. Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы. М., 1959.

[12] «Новый мир», 1953, № 12; И. Сергиевский. Избранные работы. М., 1961.

[13] «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd XXIV, Heft 2, 1956.

[14] «Zeitschrift für Slawistik», Bd III, Heft 3—4, 1958.

ненного хранителя Музей-усадьбу «Мураново» имени Ф. И. Тютчева, он всячески содействовал расширению научно-исследовательской работы по изучению жизни и творчества поэта. Его инициативе и непосредственному участию обязана своим возникновением обширная и разветвленная картотека материалов по биографии и творчеству Тютчева, составление которой продолжается и в настоящее время и которая является незаменимым подспорьем для исследователей.

Приношу глубокую благодарность всем, кто так или иначе помогал мне в работе над этой книгой: моим товарищам по Отделу русской классической литературы Института мировой литературы имени А. М. Горького, участвовавшим в обсуждении отдельных глав монографии, Н. М. Гайденкову, А. В. Чичерину, М. П. Штокмару, давшим мне ряд полезных советов, А. В. Храбровицкому, неизменно делившемуся со мной своими библиографическими находками.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Детство и юность. 1803–1821 годы

1

Незадолго до Куликовской битвы послан был Дмитрием Донским в Золотую орду «хитрый муж» Захарий Тютчев (Тутчев, Тючев). В переговорах с Мамаем, требовавшим увеличения дани, которую платила ему Москва, Тютчев, несмотря на угрозы хана, бесстрашно отстаивал достоинство московского великого князя. На обратном пути Захарий не побоялся даже разорвать ханскую грамоту, унизительную для Дмитрия, и отослал ее клочки в Орду. Молва о смелом поступке Захария принесла этому московскому дипломату XIV века настолько широкую известность, что под именем «русского посла Захария Тютрина» он стал героем народной сказки «про Мамая безбожного» [1].

Захарий Тютчев является родоначальником Тютчевых [2]. Среди его потомков — служилых дворян Московской Руси — было немало воевод, стольников, стряпчих. За свою службу они получали награды поместьями и «придачею к окладу». В XVIII веке Тютчевы нередко занимали выборные дворянские должности [3]. Так,

[1] О Захарии Тютчеве см.: М. Щербатов. История Российская, т. IV, ч. I. СПб., 1781, стр. 128, 132—138; Иван Стриттер. История Российского государства, ч. II. СПб., 1801, стр. 441—446; Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. V. СПб., 1817, стр. 422—423; А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки, т. 3. М., 1957, стр. 36—42.

[2] Согласно семейному преданию, род Тютчевых происходит от итальянца Дуджи, путешествовавшего в конце XIII в. вместе с Марко Поло и заехавшего в Россию. См.: И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, стр. 8 (далее сокращенно: Аксаков); Георгий Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.— Л., 1933, стр. 13 (далее сокращенно: «Летопись»). Документальных подтверждений этого, однако, не имеется. Возможно, что в этом предании сказалась присущая русским дворянам склонность связывать свое происхождение с тем или иным иноземным выходцем.

[3] Родословную Тютчевых см.: В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II. СПб., 1887.

например, брянским уездным предводителем дворянства был одно время секунд-майор Николай Андреевич Тютчев, типичный представитель русского барства эпохи крепостничества. Мемуарные данные рисуют Н. А. Тютчева как человека, отличавшегося, подобно некоторым другим его родичам, «разгулом и произволом, доходившим до неистовства» [4].

Младший из трех сыновей Н. А. Тютчева от брака с орловской дворянкой Пелагеей Денисовной Панютиной Иван Николаевич обучался в петербургском Греческом корпусе, затем служил в гвардии. Выйдя в отставку в чине поручика, он перешел на гражданскую службу и дослужился до скромного чина надворного советника. В 1798 году он женился на Екатерине Львовне Толстой. В двенадцатилетнем возрасте лишившаяся матери, Е. Л. Толстая была воспитана теткой — графиней А. В. Остерман. Таким образом, И. Н. Тютчев породнился с сановной фамилией Остерманов.

И. Н. Тютчев унаследовал от родителей подмосковное имение Троицкое и большое благоустроенное поместье в Брянском уезде Орловской губернии — село Овстуг с окружающими деревнями, земельными и лесными угодьями. Там 23 ноября 1803 года у И. Н. и Е. Л. Тютчевых родился сын Федор, будущий поэт.

Кроме него, в семье было еще двое детей — старший сын Николай, впоследствии полковник Главного штаба, и дочь Дарья, в замужестве Сушкова [5], но общим баловнем и любимцем был «Феденька». Он рос, окруженный заботами матери и горячо привязанного к нему дядьки Николая Афанасьевича Хлопова, вольноотпущенного крепостного Татищевых. Хлопов поступил в дом Тютчевых, когда мальчику было четыре года.

Н. А. Хлопов и подобные ему по своему духовному складу дядьки и няньки были глубоко своеобразным явлением русской культуры и быта. Они воплощали в себе то подлинно народное нравственное начало, которое не могло не передаваться наиболее чутким из их питомцев. Не просто рабом, безропотно несущим крепостное ярмо, но «наставником и учителем» Дениса Фонвизина был его «любезный дядька» Шумилов. Сколько тепла и безграничной преданности вложил в свое отношение к Сереже Аксакову старик Евсеич! Хорошо известно, чем была не только для Пушкина, но и для его друзей «голубка дряхлая», «свет Родионовна». Все они — и Шумилов, и Евсеич, и Арина Родионовна — стали к тому же литературными образами, литературными типами.

---

[4] Аксаков, стр. 8. Ср. «Истинное повествование, или Жизнь Гаврила Добрынина, им самим написанная».— «Русская старина», т. III, 1871, апрель, стр. 416—417.— Имя Н. А. Тютчева упоминается в деле «Салтычихи». По-видимому, одно время он был ее возлюбленным; позднее же, после женитьбы, подвергался ее мстительным преследованиям. См., например: П. Кичеев. Салтычиха. «Русский архив», 1865, вып. 2, стлб. 250—251.

[5] Трое младших сыновей И. Н. Тютчева — Сергей, Дмитрий и Василий — умерли в младенчестве.

Воздействие дядьки или няньки на пробуждающееся сознание ребенка нередко оказывалось ярче и значительнее воздействия родных и учителей. «Ни старый мой отец, умный, бывалый, образованный,— рассказывает автор известных „Записок" Д. Н. Свербеев,— ни моя тетка, весьма пожилая девушка, умная, но безграмотная, управлявшая, однако, всем, не имели на мое детство такого влияния, какое имел на мое первоначальное воспитание мой дядька Варфоломеевич...» [6].

В одном из своих поздних писем Тютчев, уже шестидесятитрехлетний старик, также вспоминал о своих «страстных отношениях во время оно к давно минувшему Николаю Афанасьевичу» [7].

Семья Тютчевых была типичной дворянской семьей того времени, в которой модный французский язык уживался со строгим соблюдением отечественных традиций. Бар и домочадцев связывали между собой внешне патриархальные отношения. По словам И. С. Аксакова, И. Н. Тютчев был «человеком рассудительным, с спокойным, здравым взглядом на вещи», отличался «необыкновенным благодушием, мягкостью, редкою чистотою нравов», но «не обладал ни ярким умом, ни талантами». Тот же биограф характеризует мать поэта как «женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитою до болезненности» [8]. Духовно мало походивший на отца, Ф. И. Тютчев унаследовал многие черты внутреннего облика матери.

Раннее детство Тютчева протекало в Овстуге. Мальчик жил в мире фантазии. Для него словно не существовало грани между мечтой и реальной действительностью. И каким непохожим на создание его детского воображения предстал перед ним Овстуг, когда он посетил это место много лет спустя, имея за плечами более половины прожитой жизни! «Старинный садик, 4 больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов во сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный,— все это помещается на участке в несколько квадратных сажен...» [9],— писал он с печальной иронией и невольным сожалением об утраченном. Овстуг был для зрелого Тютчева «как бы призраком его детских грез» [10], «немощным и смутным» призраком «забытого, загадочного счастья».

---

[6] Д. Н. Свербеев. Записки, т. I. М., 1899, стр. 38—39.

[7] Письмо к брату Н. И. Тютчеву от 13 апреля 1867 г.— В кн.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма. М., 1957, стр. 467 (далее сокращенно: «Стихотворения. Письма»).

[8] Аксаков, стр. 9.

[9] Письмо к Эрн. Ф. Тютчевой от 31 августа 1846 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 391.

[10] Письмо Д. Ф. Тютчевой к Е. Ф. Тютчевой от 20 августа 1855 г. из Овстуга. Подлинник по-французски.— Архив Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева (далее сокращенно: *МА*). Ср. стихотворение Тютчева «Итак, опять увиделся я с вами...» (1849).

То, что Тютчев, по собственному признанию, начал впервые чувствовать и мыслить именно в Овстуге, среди русских полей и лесов, имело, несомненно, очень большое значение для его будущего развития как поэта. В часы, когда над землей сгущались весенние сумерки, он любил бродить по молодому лесу возле сельского кладбища и собирать душистые ночные фиалки. В тишине и мраке наступающей ночи их благоухание наполняло его душу «невыразимым чувством таинственности» и погружало в состояние «благоговейной сосредоточенности» [11]. В этих прогулках зарождалось то обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое станет со временем отличительной особенностью тютчевской лирики.

Зимние месяцы — во всяком случае с того времени, когда для детей начались годы учения — Тютчевы проводили в Москве, где у них был собственный дом в Армянском переулке. Сооруженный по проекту знаменитого зодчего М. Ф. Казакова или под его «смотрением» в глубине обширного двора с разными службами, дом этот представлял собой городскую усадьбу, каких немало было в тогдашней Москве [12]. Кроме семьи Тютчевых и их домочадцев, здесь обычно проживали многочисленные родственники, приезжавшие в Москву.

Мирный и несколько чинный распорядок жизни тютчевского дома был нарушен Отечественной войной 1812 года. Приближение французов к Москве вынудило Тютчевых покинуть столицу и выехать в Ярославль, где они оставались до конца войны [13]. Троицкое было разграблено неприятелем. Первое лето после изгнания французов из Москвы Тютчевы провели в Овстуге [14].

«Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године,— пишет И. С. Аксаков,— но не могла же она не оказать сильного, непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию,— что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впе-

[11] Письмо Д. Ф. Тютчевой к Е. Ф. Тютчевой от 20 августа 1855 г.— *МА*.— В письме дочь поэта рассказывает сестре о своей прогулке с отцом, во время которой он вспоминал о своем детстве.

[12] Ныне дом № 11. Чертеж фасада и планы дома с окружающими его постройками воспроизведены в издании «Архитектурные альбомы М. Ф. Казакова» (М., 1956, стр. 58—59). До Тютчевых дом принадлежал масону кн. И. С. Гагарину. Здание сохранилось, хотя и в сильно перестроенном виде как снаружи, так и внутри. В бельэтаже, где помещались парадные комнаты, кое-где уцелели остатки прежней декоративной отделки. Дом был продан Тютчевыми после выхода замуж их дочери Дарьи (1836) попечительству о бедных духовного звания. В настоящее время — жилой дом.

[13] Аксаков, стр. 12.

[14] Сведения почерпнуты из явочного прошения в Московский земский суд, поданного служителем И. Н. Тютчева М. И. Богдановым 9 июня 1813 г.— *МА*.

чатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах, зажгли ту упорную пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить» [15]. События грозного года были впоследствии отражены Тютчевым в двух стихотворениях — «Наполеон» (1849—1850) и «Неман» (1853).

Первоначальное образование Феденька Тютчев получил дома. Он обучался истории, географии, арифметике, русскому и иностранным языкам — французскому, немецкому и латинскому. С 1813 года его учителем русского языка, одновременно руководившим и общим воспитанием мальчика, был молодой поэт Семен Егорович Амфитеатров, известный в литературе под фамилией Раича [16]. Сын сельского священника, за несколько лет до того окончивший Севскую семинарию, Раич не принял духовного сана, так как мечтал учиться в Московском университете [17]. Между Раичем и Тютчевым скоро установились дружеские отношения. «Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня,— вспоминает Раич в автобиографии,— года через три он уже был не учеником, а товарищем моим,— так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум» [18].

Страстный поклонник Державина и Дмитриева, хороший знаток латинской и итальянской классической поэзии, Раич познакомил своего питомца с лучшими произведениями русской и мировой литературы. «С каким удовольствием вспоминаю я о тех сладостных часах,— писал он впоследствии,— когда, бывало, весною и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем с Ф. И. выходили из дому, запасались Горацием, Виргилием или кем-нибудь из отечественных писателей, и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений Поэзии» [19].

В доме Тютчевых Раич принялся за свой первый большой труд — перевод Вергилиевых «Георгик». Скрывая свою работу от

---

[15] Аксаков, стр. 12.

[16] По свидетельству И. С. Аксакова, Раич был приглашен воспитателем к Тютчеву «немедленно после французов» (т. е. после французского нашествия 1812 г.). См.: Аксаков, стр. 12.— В своей автобиографии Раич указывает: «...провидению угодно было вверить моему руководству Ф. И. Тютчева, вступившего в десятый год жизни» («Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 24). Девять лет Тютчеву исполнилось 23 ноября 1812 г. До поступления к Тютчевым Раич воспитывал детей Н. Н. Шереметевой, сестры И. Н. Тютчева, и проживал в ее брянской деревне. Взяв на себя руководство воспитанием Ф. И. Тютчева, Раич, по всей вероятности, первое время жил с семьей Тютчевых в Овстуге, а с ее переездом в Москву — у них в доме.

[17] Раичу удалось осуществить эту мечту: в 1815 г. он поступил на отделение нравственно-политических наук, а в 1818 г. закончил курс со степенью кандидата прав. Позднее, в 1822 г., Раич защитил диссертацию на степень магистра словесных наук.

[18] «Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 24.

[19] Там же.

посторонних, Раич показывал ее только Тютчеву. Выбор его в качестве единственного судьи и советчика был обусловлен полным доверием учителя к вкусу ученика: «Необыкновенно даровитый от природы, он был уже посвящен в таинства Поэзии и сам con amore (с увлечением — *К. П.*) занимался ею...» [20].

К какому времени относятся первые поэтические опыты Тютчева, неизвестно. Летом 1855 года, гуляя с дочерью в окрестностях Овстуга, поэт показал ей рощицу, в которой некогда, будучи ребенком, он похоронил найденную им в траве мертвую горлицу, написав при этом стихотворную эпитафию. Эпизод этот не поддается точному хронологическому приурочению. По словам дочери поэта, передававшей рассказ отца, в похоронах горлицы принимал участие его «menin» — пестун, воспитатель [21]. Это мог быть Хлопов, но мог быть и Раич. Сама эпитафия утрачена. Все же надо думать, что она представляла собой одну из первых поэтических попыток Тютчева.

В состав полного собрания стихов Тютчева входит шестнадцать стихотворений, относящихся к раннему периоду его творчества. Примерно десяти-одиннадцати лет Тютчев написал стихотворное приветствие отцу ко дню его рождения. Юный поэт в полном соответствии с идейно-художественными принципами сентиментализма воспевает «нежнейшего мужа, отца-благотворителя», окруженного любовью «детей и подданных», и в заключение сравнивает его с «солнцем», оживляющим своей «улыбкой» цветы.

Рассказывая в автобиографии о своем даровитом ученике, Раич впоследствии писал: «... по тринадцатому году он переводил уже оды Горация с замечательным успехом» [22]. «По тринадцатому году» — это значит в 1815—1816 годах. Тютчевских «переводов» од Горация этого времени не сохранилось, но среди ранних стихотворений поэта имеется одно, в котором можно усматривать подражание латинскому классику. Это стихотворение — «На новый 1816 год».

Раич был не единственным наставником Тютчева в стихотворстве. В 1816 или 1817 году он начал посещать в качестве вольнослушателя лекции известного тогда поэта, критика и профессора Московского университета А. Ф. Мерзлякова, читавшего курс теории словесности [23]. Помимо лекций, Мерзляков занимался со свои-

---

[20] «Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 25.

[21] См. письмо Д. Ф. Тютчевой к Е. Ф. Тютчевой от 20 августа 1855 г. из Овстуга.— *МА*.

[22] «Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 25.

[23] Вспоминая о лекциях Мерзлякова, которые он слушал совместно с Тютчевым, Раич неуверенно замечает: «Это было, если не ошибаюсь, в 1816 году» (там же). Поскольку в частном письме, цитируемом ниже и относящемся к лету 1817 г., Мерзляков неправильно называет Тютчева «Тутчевым», можно предположить, что в то время он еще был новичком среди его слушателей.

ми учениками и разбором их собственных сочинений. По-видимому, Тютчев уже тогда обратил на себя его внимание.

В письме Мерзлякова к одному из его корреспондентов от 3 июля 1817 года встречается следующее упоминание о нем: «Тутчев в деревне. Маленькая моя академия расстроилась. Пьесы его также не читаны и по той же причине лежат у меня до будущего своего воскресения» [24]. Через несколько месяцев, 22 февраля 1818 года, одно из стихотворений Тютчева было прочитано самим Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности. Неделю спустя, 30 марта, Общество почтило четырнадцатилетнего юношу званием сотрудника [25]. В протоколах Общества стихотворение Тютчева названо «Вельможа (Подражание Горацию)». Стихотворения под таким заглавием среди дошедших до нас стихов поэта нет. Однако имеются веские данные к тому, чтобы отождествлять стихи, прочитанные в Обществе любителей российской словесности, со стихотворением «На новый 1816 год»: более половины его (четыре строфы из семи) занимает обличение жестокосердого и развращенного вельможи.

Стихотворение написано под заметным воздействием книжных впечатлений. Первая строка «Уже великое небесное светило» невольно приводит на память начало ломоносовского «Утреннего размышления о божием величестве»: «Уже полдневное светило». Образ спускающегося на землю нового года варьирует зачины двух новогодних од Державина (1781 и 1798 годов) [26]. К одам Державина в известной степени восходят и обличительные строфы о вельможе-злодее. Тема вельможи открывается обращением: «А ты, сын роскоши...», дословно перенесенным из державинской оды «На смерть князя Мещерского» («Сын роскоши, прохлад и нег»). В стихе «Как капля в океан, он в вечность погрузился» (речь идет о прошедшем годе) столь же дословное заимствование из стихотворения Карамзина «Поэзия»: «Столетия текли и в вечность погружались». Риторический вопрос: «Что может избежать от гнева Крона злого?» напоминает такой же вопрос в «Оде на всерадостнейшее коронование... Александра I» Мерзлякова: «Что может Крона гнев строптив?». Слова «Покроет плоть твою... червей кипящий рой» заимствованы с небольшой перестановкой из «Оды на разрушение Вавилона» того же Мерзлякова: «Покров — кипящий рой червей». Мотив мести мертвецов своему мучителю перекликается (правда, в сильно сгущенных тонах) со сходными строками

---

[24] Письмо А. Ф. Мерзлякова к П. А. Новикову. «Русская старина», т. XXVI, 1879, кн. 10, стр. 350.

[25] «Труды Общества любителей российской словесности», ч. XII, 1818, стр. 35. Ср. «Летопись», стр. 15.— Аксаков ошибочно называет вместо стихотворения «Вельможа» стихотворение «Послание Горация к Меценату», написанное позднее. См.; А к с а к о в, стр. 13.

[26] См. комментарии Г. И. Чулкова к изд.: Ф. И. Т ю т ч е в. Полное собрание стихотворений, т. I. М.— Л., 1933, стр. 276—277.

из философской элегии Гнедича «Общежитие». Подобные сопоставления, вероятно, можно было бы умножить. Повторение того, о чем до него уже писали русские поэты, подсказывало двенадцатилетнему Тютчеву готовые поэтические формулы и сочетания слов. Однако, прибегая к таким заимствованиям, очень естественным и понятным у начинающего поэта, Тютчев сумел проявить в своей оде и некоторую творческую самостоятельность. Так, например, фраза Карамзина: «Столетия текли и в вечность погружались» менее выразительна, чем строка юноши Тютчева о минувшем годе: «Как капля в океан, он в вечность погрузился». Мысль о ничтожности одного года перед безмерностью вечности в данном случае не находит соответствия у Карамзина.

С одами Горация тютчевское стихотворение роднит тема всеистребляющего времени. И нельзя не признать такие стихи, как «Века рождаются и исчезают снова, || одно столетие стирается другим» или «Пустынный ветр свистит в руинах Вавилона», несомненными удачами молодого поэта.

Через год с небольшим после первого литературного успеха Тютчева, 8 марта 1819 года, в Обществе любителей российской словесности было прочитано другое его стихотворение — «Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду». Это большое стихотворение — вариация на тему 29-й оды Горация из третьей книги «Од». Заглавие придумано Тютчевым.

Если знакомством с лирикой Горация Тютчев и был непосредственно обязан Раичу, то, подражая латинскому поэту, он разделял увлечение его творчеством, присущее многим русским поэтам конца XVIII — начала XIX века. В это время «горацианство» становится сродни «анакреонтике». Гораций воспринимается прежде всего как певец личной свободы, благоразумной умеренности, скромных житейских благ, любви и дружбы, обретаемых вдали от дел государственных, в «хижине убогой», «под кровом сельского Пената». Горацием вдохновляются Державин и в особенности его друг Капнист [27].

В «Послании Горация к Меценату» Тютчев довольно далеко отступает от своего литературного источника. Русский текст значительно пространнее латинского (97 строк вместо 64). Тютчев не сохраняет ни строфического построения, ни метра подлинника: алкеевы строфы Горация переложены у него вольным, свободно рифмованным ямбом. При наличии некоторой словесной архаики («возженны», «крины», «лиют», «велелепные столпы», «храмины позлащенны»),— наследия одической поэзии XVIII века,— послание обнаруживает заметное тяготение к сентиментально-романти-

---

[27] Среди многочисленных «горацианских од» Капниста имеется переложение той же оды, которой подражал Тютчев, озаглавленное «Скромная беспечность». Переложение Капниста, однако, не могло быть известно Тютчеву, так как оставалось ненапечатанным до 1941 г. (В. В. Капнист. Избранные сочинения. Л., 1941, стр. 178).

ческому стилю. Почтительно-торжественное обращение Горация к Меценату: «Царей тирренских отпрыск» («Tyrrhena regum progenies») заменено эмоционально окрашенными эпитетами: «желанный гость, краса моя и радость». На протяжении послания Тютчев неоднократно прибегает к обращению, каждый раз наделяя Мецената новыми качествами: «Муж правоты, народа покровитель, || отчизны верный сын и строгий друг царев, || питомец счастливый кастальских чистых дев», «Фемиды жрец, защитник беззащитных». Свой дом Гораций у Тютчева называет «смиренной обителью». Скупые строки Горация о пастухе, который вместе со своим стадом ищет убежища от зноя в роще «косматого Сильвана», служат Тютчеву поводом для изображения типично сентиментального пейзажа:

В священной рощице Сильвана,
Где мгла таинственна с прохладою слиянна,
Где брезжит сквозь листов дрожащий, тихий свет,
Игривый ручеек едва-едва течет
И шепчет в сумраке с прибрежной осокою;
Здесь в знойные часы, пред рощею густою,
Спит стадо и пастух под сению прохлад,
И в розовых кустах зефиры легки спят.

Свое переложение оды Горация Тютчев заканчивает в духе дружеских посланий, распространенных в русской литературе того времени; при этом вполне конкретные эгейские бурные воды заменяются метафорическим жизненным морем:

Отчизны мирныя покрытый небесами,
Не буду я богов обременять мольбами;
Но дружба и любовь, среди житейских волн,
Безбедно приведут в пристанище мой челн.

В этом юношеском стихотворении Тютчев развивает мысли и образы, которые будут волновать его впоследствии. Такова мысль об ограниченности человеческого познания, неспособного подняться за пределы «земного круга». Гораций говорит о мудрости богов, закрывших от человека будущее. Тютчев придает этому рассуждению романтическую окраску:

Как! прах земной объять небесное посмеет?
Дерзнет ли разорвать таинственный покров?
Быстрейший самый ум, смутясь, оцепенеет,
И буйный сей мудрец — посмешище богов!
Мы можем, странствуя в тернистой сей пустыне,
Сорвать один цветок, ловить летящий миг;
Грядущее не нам — судьбине;
Так предадим его на произвол благих!

Много своего вносит Тютчев в горациеву аллегорию времени — реки. У Горация река показана в двух состояниях: тихого течения и буйного разлива. В первом случае она мирно несет свои воды в море. У Тютчева эти воды становятся «сапфирными» и покрываются «сребром зыбей», в которых преломляет свои лучи «свет солнца золотой». Этой красочной живописи поэт учился у Державина. В картине бурной реки Тютчев опускает реалии подлинника — выкорчеванные деревья, смытые с берега камни и жилища, но ему удается достигнуть звуковой изобразительности, предвещающей в нем будущего певца «стихийных споров»:

Но час — и вдруг нависших бурь громады
Извергли дождь из черных недр:
Поток возвысился, ревет, расторг преграды,
И роет волны ярый ветр!..[28]

Вообще в «Послании Горация к Меценату», по сравнению с одой «На 1816 год» и с незначительными мелочами периода своего раннего творчества («Всесилен я и вместе слаб...», мадригал «Двум друзьям»), Тютчев сделал заметный шаг вперед на пути овладения стихотворной техникой. Его творческий рост получил должное признание: Общество любителей российской словесности постановило напечатать стихи своего юного сотрудника. Появление послания на страницах «Трудов» Общества было настоящим праздником для всего семейства Тютчевых[29].

1819-й год ознаменован в жизни Тютчева не только этим событием. Осенью того же года он был принят в Московский университет.

2

В прошении, поданном 29 сентября 1819 года в Правление Московского университета, Тютчев писал, что в течение двух лет он уже посещал «в сем университете профессорские лекции» в качестве вольнослушателя. Если считать, что Тютчев имеет в виду два академических года, то, следовательно, посещать университет он начал с осени 1817 года[30]. В таком случае, очевидно, имеется в виду систематическое посещение университетского курса, ибо слушать лекции Мерзлякова он начал раньше.

Д. Н. Свербеев, учившийся в Московском университете в 1814—1817 годах, рассказывая о тогдашней студенческой среде, выделя-

---

[28] Цитаты из стихов Тютчева даются по изд.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л., 1957 («Библиотека поэта». Большая серия, изд. 2).

[29] «Труды Общества любителей российской словесности», ч. XIV, 1819, стр. 32—36. Ср.: Аксаков, стр. 13.

[30] Архив МГУ, Фонд питомцев, № 11, «О принятии в студенты Федора Тютчева...», л. 1.

ет в ней группу вольнослушателей-«аристократиков»: «Отцы ли их гнушались для них студенчеством, или сами они опасались срезаться на экзаменах, но большая часть этих полубаричей, не делаясь студентами, пользовались слушанием лекций ввиду того, чтобы выдержать так называемый ,,комитетский экзамен" на право производства в чин VIII класса...». Свербеев иронически называет Тютчева «юнейшим из всех студентов-аристократиков» [31].

Прошение Тютчева о приеме его в университет показывает, что ни он, ни его отец не «гнушались» студенчеством и не искали более легких путей для получения необходимого аттестата.

Через месяц после подачи Тютчевым прошения «ординарный профессор красноречия и поэзии» А. Ф. Мерзляков и «экстраординарный профессор математики» Т. И. Перелогов экзаменовали его по русскому, латинскому, немецкому и французскому языкам, истории, географии и арифметике и нашли «способным к слушанию профессорских в университете лекций» [32]. 6 ноября 1819 года Тютчев был зачислен в состав своекоштных студентов университета.

Лекции в университете читались ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней. Утренние лекции начинались в 8 часов и продолжались до 12, а дневные начинались в 2 часа и кончались в 6 часов. Это не значит, однако, что каждый студент был обязан просиживать на университетской скамье по восемь часов в день. Программа лекций состояла как из основных курсов, так и из дополнительных, среди которых студент имел право выбора. По зачислении в университет каждый студент являлся к ректору и получал от него табель, в которую тут же записывались фамилии профессоров, чьи лекции ему предстояло слушать. Табель, выданная Тютчеву, не сохранилась, а потому мы не можем представить в полном объеме круг предметов, изучавшихся им в университете. Известно, что он слушал курс всеобщей истории у Н. Е. Черепанова, статистики главнейших европейских государств у И. А. Гейма, латинской словесности у И. И. Давыдова (читавший с большим успехом курс Р. Ф. Тимковский умер в начале 1820 года), славянского языка у М. Г. Гаврилова, теории поэзии и истории русской словесности у А. Ф. Мерзлякова, археологии и теории изящных искусств у М. Т. Каченовского. Кроме того, он посещал лекции профессора Х. Шлецера, читавшего на нравственно-политическом отделении политическую экономию, естественное и гражданское право. Надо думать, что Тютчев в университете продолжал изучение иностранных языков. Французскому языку и французской словесности он еще до поступления в университет обучался у жившего

---

[31] Д. Н. Свербеев. Записки, т. I. М., 1899, стр. 109, 111.

[32] Донесение А. Ф. Мерзлякова и Т. И. Перелогова в Правление Московского университета от 30 октября 1819 г.— Архив МГУ, Фонд питомцев, № 11, «О принятии в студенты Федора Тютчева...», л. 2.

в Москве француза Динокура[33]. На словесном отделении эти предметы преподавал Пельт. Впоследствии Тютчев в совершенстве владел французским языком и хорошо знал французскую литературу. Курс немецкого языка и немецкой литературы читал на словесном отделении проф. Ю. П. Ульрихс. Проявившийся в студенческие годы интерес Тютчева к немецкой литературе позволяет предположить, что он посещал лекции Ульрихса. Никаких данных нет у нас о том, где и когда познакомился поэт с английским и итальянским языками. Преподавателем английского языка и английской словесности в университете был Т. Эвенс; итальянский язык в программе университетских курсов отсутствовал. Вероятно, своим знанием итальянского языка Тютчев был обязан Раичу.

Из всех профессоров словесного отделения наибольшим авторитетом в глазах студентов пользовался Алексей Федорович Мерзляков. В 1819/20 и 1820/21 годах он читал эстетику, пиитику и риторику, а также занимался со своими слушателями критическим разбором «знаменитых российских писателей». К разбору отдельных поэтических произведений по существу сводилось Мерзляковым изучение истории русской словесности. Как теоретик он не был оригинален. Он читал свой курс, «следуя методе Эшенбурга», т. е. по довольно распространенному в то время учебному пособию, написанному немецким профессором и другом Лессинга И. И. Эшенбургом. Хотя и воспитанный в правилах европейского и русского классицизма, Мерзляков был способен чувствовать прекрасное и тогда, когда оно выходило за пределы традиционных норм. Поэт-эклектик, сочетавший одическую выспренность с сентиментальным морализмом, автор чувствительных романсов и песен, из которых одна — «Среди долины ровныя...» — приобрела широкую популярность, горячий ценитель русской народной поэзии и восторженный почитатель «Слова о полку Игореве», Мерзляков находил, что теоретические системы сковывают художника и что высшим эстетическим критерием является сердце. «Вот где система! — говаривал ⟨он⟩ бывало своим слушателям, указывая на сердце; и никто не требовал от него более: ибо в этом сердце кипела пучина жизни»,— вспоминал о Мерзлякове Н. И. Надеждин[34]. Ораторский талант Мерзлякова, снискавший ему любовь студенческой молодежи, проявлялся особенно в разборе литературных произведений. Эти лекции были в полном смысле слова импровизациями. «Он к ним не готовился. Приносил на кафедру Ломоносова или Державина, развертывал. Случай открывал оду. Речь свободно и роскошно лилась из уст импровизатора. Все зависело от настроения минуты. В критике и профессоре сказывался поэт по призванию. Эти импровизации, приводившие иногда в восторг его

[33] «Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 24—25.
[34] «Телескоп», ч. II, 1831, № 5, стр. 87.

слушателей, напечатлевались в их памяти. Светлая мысль, искра чувства электрически оживляли всю аудиторию» [35].

Несмотря на заражающее красноречие Мерзлякова, Тютчев сумел критически отнестись к «образу преподавания» знаменитого профессора. Ему хотелось, чтобы субъективизм в его лекциях уступил место историзму. Один из университетских товарищей Тютчева после разговора с ним на эту тему записал в своем дневнике: «Мерзляков должен,— сказал Тютчев,— показать нам историю русской словесности, должен показать, какое влияние каждый писатель наш имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка, чем отличается от другого» [36].

Полной противоположностью страстному и увлекающемуся Мерзлякову был профессор археологии и теории изящных искусств Михаил Трофимович Каченовский. Слушавший позднее его лекции по русской истории И. А. Гончаров так характеризует Каченовского: «Это был тонкий, аналитический ум, скептик в вопросах науки и отчасти, кажется, во всем... Особенно обширны были его познания в истории и во всем, что входит в ее сферу — археология и пр... Когда он касался... какого-нибудь спорного в истории вопроса, щеки его, обыкновенно бледные, загорались алым румянцем и глаза блистали сквозь очки, а в голосе слышался задор прежнего редактора «Вестника Европы». Он мысленно видел перед собой своих ученых противников и поражал их стрелами своего неумолимого анализа» [37].

Однако прежний «задóр» редактора «Вестника Европы», на страницах которого Каченовский сначала вел борьбу с литературной школой Карамзина, а затем обрушивался на Пушкина и романтизм, способствовал тому, что в представлении большинства студентов имя профессора стало синонимом литературной и научной косности, сухости и мертвечины. Разделяя такое именно отношение к Каченовскому, Тютчев, сидя на его лекциях, «строчил на него эпиграммы» и переговаривался с товарищами, так что профессор однажды посмотрел на них «самыми косыми глазами» [38]. Из эпиграмм Тютчева на Каченовского до нас дошла только одна, да и то в незаконченном наброске. Эта незаконченность делает эпиграмму не вполне вразумительной. Задумана она в форме широко распространенных в ту пору «разговоров в царстве мертвых», что

---

[35] «Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета», ч. II. М., 1855, стр. 96 (статья С. П. Шевырева).

[36] Дневник М. П. Погодина, запись от 13 октября 1820 г.— Отдел рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина (далее сокращенно: *ЛБ*).

[37] И. А. Гончаров. Полное собрание сочинений, т. 9. СПб., 1896, стр. 111—112 (Воспоминания. I. В университете).

[38] М. П. Погодин. Воспоминание о Ф. И. Тютчеве. «Московские ведомости», 1873, № 190, 29 июля; Дневник М. П. Погодина, запись от 1 ноября 1820 г. Цит. по кн.: Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1. СПб., 1888, стр. 95 (далее сокращенно: Барсуков).

уже само по себе подчеркивало отношение Тютчева к Каченовскому как к чему-то отжившему:

ХАРОН И КАЧЕНОВСКИЙ

Харон

Неужто, брат, из царства ты живых —
Но ты так сух и тощ. Ей-ей готов божиться,
Что дух нечистый твой давно в аду томится!

Каченовский

Так, друг Харон. Я сух и тощ от книг...
Притом (что долее таиться?)
Я полон желчи был — отмстителен и зол,
Всю жизнь свою я пробыл спичкой.

Сохранившийся автограф эпиграммы относится к последним месяцам 1820 года [39]. Таким образом, она хронологически совпадает с раздраженным выступлением Каченовского в «Вестнике Европы» против незадолго до того вышедшей поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Напрашивается предположение, не связана ли эпиграмма в какой-то мере с теми спорами, которые разгорелись вокруг пушкинской поэмы.

Для характеристики Тютчева-студента важно было бы знать, с кем из своих товарищей по университету он чаще и охотнее общался, с кем дружил. Ведь именно в эти годы обычно на всю жизнь завязываются крепкие дружеские отношения. В стихах, написанных в первые годы по окончании университета, Тютчев несколько раз упоминает о друзьях, но упоминания эти не связываются у нас с конкретными лицами. Можно назвать имена товарищей Тютчева, из которых одни вместе с ним были приняты в число студентов словесного отделения, другие на год раньше. Это — будущий собиратель и исследователь украинского фольклора Михаил Александрович Максимович, двоюродные братья поэта А. И. Полежаева Сергей и Дмитрий Струйские, мещанин Николай Зиновьевич Бычков, бывший семинарист Василий Дмитриевич Троицкий, сын статского советника Николай Иванович Ждановский и другие. Уже третий год слушал лекции профессоров словесного отделения поэт Федор Антонович Туманский [40]. Однако из всех молодых людей, одновременно с Тютчевым обучавшихся на словесном отделении, только с одним у него установились дружеские отношения, под-

[39] Хранится в *ЛБ*. На том же листе переписан рукой Тютчева отрывок из оды Пушкина «Вольность», о которой Тютчев беседовал с М. П. Погодиным 1 ноября 1820 г. как о литературной новинке.

[40] Архив МГУ, Дела правления, 2 стол, 1819 г., № 285; Фонд питомцев, № 11, л. 3—9; Дела правления, 2 стол, 1819, № 252; 1818 г., № 136; 1818 г., № 293; 1817 г., № 366.

державшиеся и в дальнейшем. Это был разночинец, сын вольноотпущенного дворового человека и домоправителя графа И. П. Салтыкова Михаил Петрович Погодин. Он был на три года старше Тютчева и годом раньше его поступил в университет. Трудолюбивейший студент, окончивший в 1821 году курс со степенью кандидата и золотой медалью, Погодин не раз выручал гораздо менее прилежного Тютчева: писал за него ответы на экзамене по всеобщей истории, снабжал книгами и конспектами. В записках к Погодину Тютчев называл его своим «благодетелем», а себя «постоянным просителем». И все же отношения двух студентов были далеки от тех братских отношений, которые существовали между Пушкиным и любым из его товарищей-лицеистов. В обращении Тютчева и Погодина друг к другу задушевное «ты» так и не сменило холодновато-официального «вы».

Восхищаясь способностями Тютчева и считаясь с его мнением, Погодин, однако, находил его слишком самоуверенным: «Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно...» [41] То же впечатление сдержанности, которое ощущается в некоторых высказываниях Погодина о Тютчеве, производят и записки Тютчева к нему. Читая их, с трудом веришь, что в них студент обращается к студенту, товарищ к товарищу. «Обстоятельства, любезнейший Михайло Петрович, эта самодержавная власть в нашем бедном мире, не позволили мне все это время видеться с вами,— так начинается записка, посланная Тютчевым из Троицкого в соседнее Знаменское, где летом 1820 года Погодин жил в качестве домашнего учителя в семье Трубецких.—... Сердечно сожалею, что ваше соседство более, до сих пор, для меня удовольствие отвлеченное, чем положительное. Надеюсь, однако, что не замедлю приятную мысль превратить в приятную существенность» [42]. В другой раз, зайдя к Погодину в Москве и не застав его дома, Тютчев оставил ему записку такого содержания: «Услышав сегодня, что вы в Москве, тотчас поехал к вам, любезный Михайло Петрович. Но как поймать удовольствия с первого разу довольно трудно, а должно наперед за ними гоняться, то и не удивило меня, что я не застал вас дома.— Приезжайте, сделайте одолжение, сегодня, если вам можно и если вам хочется одолжить вашего покорного Тютчева» [43].

Пусть эти записки — из первых по времени, но и на последующих сохранился тот же налет изысканной церемонности, лишь слегка ослабленный. Написанные по-русски, они несут на себе печать явного знакомства с французской эпистолярной традицией. Мастером подобного светски-отточенного эпистолярного стиля Тютчев покажет себя позднее.

[41] Дневник М. П. Погодина, запись от 23.I.1822 г.— Барсуков, стр. 163.

[42] «Из материалов о Ф. И. Тютчеве. Сообщил Д. Д. Благой». «Красный архив», т. 4, 1923, стр. 386.

[43] *ЛБ*. Ср.: «Красный архив», т. 4, стр. 389.

Записки Тютчева к Погодину, краткие и почти не обнаруживающие внутренней сути того, кто их писал, и дневник Погодина, обычно досадный своей скупостью,— основной источник наших сведений о Тютчеве-студенте.

Впоследствии Погодин описал Тютчева таким, каким он запомнился ему со времени их студенческих встреч: «Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку, в зелененьком сюртучке, лежит он, облокотясь на диване и читает книгу. Что это у вас? Виландов Агатодемон» [44].

Тютчев много и жадно читает. Закончив две первые части стихотворений Жуковского, незадолго до того вышедшие вторым изданием, он просит Погодина одолжить ему третью. Но потом снова посылает к нему нарочного с запиской: «... прошу вас ссудить меня еще раз первою частию — и второю, если такое баловство покажется вам не выходящим из пределов» [45]. При встрече с Погодиным Тютчев делится своими впечатлениями о «Новой Элоизе» Руссо: ему не нравится конец романа, описание смерти героини [46]. Зато он восхищен «Исповедью» Руссо, которую ему дал Погодин: «Никогда с таким рвением и удовольствием я еще не читывал.— Сочинение это всякому должно быть занимательно. Ибо, поистине, Руссо прав: кто может сказать о себе: *я лучше этого человека*» [47].

Однажды беседа двух молодых студентов коснулась «Слова о полку Игореве», подлинность которого оспаривал Каченовский. Тютчев посоветовал своему товарищу перевести в виде опыта это великое произведение древнерусской литературы на латинский язык [48].

Труды исторического содержания также привлекают к себе внимание Тютчева. Весной 1821 года вышел в свет девятый том «Истории государства Российского» Карамзина, заключавший повествование о царствовании Ивана Грозного. Книга эта была с захватывающим интересом встречена читателями. По шутливому свидетельству современника, улицы Петербурга опустели, ибо все по своим домам были «углублены в царствование Иоанна Грозного» [49]. «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — писал из глухого Остро-

[44] М. П. Погодин. Воспоминание о Ф. И. Тютчеве.

[45] «Красный архив», т. 4, стр. 389.

[46] Дневник М. П. Погодина, запись от 30 октября 1821 г.— *ЛБ*.

[47] *ЛБ*. Ср.: «Красный архив», т. 4, стр. 390.— Тютчев имеет в виду следующие слова Руссо: «Пусть трубный глас Страшного суда раздастся, когда угодно,— я предстану пред Верховным судией с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был... Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях... и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека» (Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения, т. III. М., 1961, стр. 10).

[48] Дневник М. П. Погодина, запись от 2 декабря 1820 г.— Барсуков, стр. 91.

[49] «Русское богатство», 1904, кн. 3, стр. 68.

гожска К. Ф. Рылеев одному из своих петербургских друзей.— Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита» [50]. Естественно, что и в Москве у Тютчева с Погодиным завязывается разговор «о Карамзине, о характере Иоанна IV, о рассуждении, напечатанном в „Вестнике Европы"» [51]. Это «рассуждение» — статья, помещенная без подписи в июньской книжке «Вестника Европы» и озаглавленная «О степени доверия к Истории, сочиненной князем Курбским». Автором статьи был «соревнователь» Общества истории и древностей российских при Московском университете Н. С. Арцыбашев. Он подверг серьезным сомнениям достоверность сведений, содержащихся в «Истории о великом князе московском» Курбского, которая послужила Карамзину основным источником для характеристики Грозного. Ссылаясь на исторические и биографические обстоятельства, при которых возникло сочинение Курбского, Арцыбашев задает вопрос: «...все ли им сказанное можно принять за неоспоримую истину, и не было ли ему причин иное уменьшать, иное увеличивать, а другое и совсем скрыть от потомства?» [52] К сожалению, лаконичная запись погодинского дневника не позволяет определить, чью точку зрения на Ивана Грозного — карамзинскую или арцыбашевскую — разделял Тютчев.

Но как бы ни были кратки дневниковые заметки Погодина, относящиеся к его встречам с университетским товарищем, они все же дают возможность судить о широте умственных запросов Тютчева. Примечательна, например, запись Погодина, помеченная 9 августа 1820 года: «Ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву, разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде (Agathodemon), Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо... Еще разговаривал о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? О препятствиях у нас к просвещению.— Тютчев прекрасный молодой человек» [53].

Здесь в сущности очерчен круг тем, к которым Тютчев и Погодин постоянно возвращаются в своих беседах. Они стремятся понять явления мировой литературы в их взаимосвязях, и это вызывает между ними разговор «о влиянии, какое словесность одного языка имеет на словесность другого». Для дальнейшей идейной эволюции как Тютчева, так и Погодина характерен отчетливо

---

[50] К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений. Academia, 1934, стр. 458.

[51] Дневник М. П. Погодина, запись от 17 июля 1821 г.— *ЛБ.*

[52] «Вестник Европы», 1821, № 12, июнь, стр. 279.—Продолжением полемики Арцыбашева с Карамзиным была другая его статья — «О свойствах царя Иоанна Васильевича» («Вестник Европы», 1821, № 18, сентябрь; № 19, октябрь).

[53] *ЛБ.* Ср.: Барсуков, стр. 70—71.

проявившийся интерес к немецкой литературе, признание «преимущества ее перед французскою» [54]. «Говорил с Тютчевым о Шиллере, Гёте, вообще о немецкой словесности, о богатстве ее и проч.»,— записывает Погодин 26 ноября 1820 года. А через несколько дней в его дневнике появляются такие строки: «... был у Тютчева, говорил с ним о просвещении в Германии, о будущем просвещении у нас, об ограниченности в познаниях наших писателей. Кто из них, кроме новейших, знал больше одного или двух языков? А у немцев какая всеобъемлемость! О Лессинге, Гёте, Шиллере, Шлецере...» [55] Иногда в этих беседах принимают участие и родители Тютчева, и это показывает, что они не отгораживались от интересов молодого поколения. «Говорил с Тютчевым и с его родителями о литературе, о Карамзине, о Гёте, о Жуковском, об университете»,— отмечает, например, Погодин 25 августа 1820 года. Жуковский, кстати сказать, был лично знаком с Тютчевыми и во время своих приездов из Петербурга в Москву бывал у них в доме [56].

Интригующие фразы «О препятствиях у нас к просвещению» (в записи от 9 августа 1820 года) и «О будущем просвещении у нас» (в записи от 2 декабря 1820 года) [57] до известной степени поддаются раскрытию при обращении к другим записям погодинского дневника. Не относящиеся непосредственно к Тютчеву, они помогают уяснить, какие препоны русскому просвещению усматривал в современной действительности Погодин. Это, во-первых, «пристрастие русских бояр к иностранцам», в силу которого они занимают «важнейшие, видные должности»; во-вторых, дороговизна книг; в-третьих, трудность доступа в университет для лиц низшего сословия. «Не все родятся гениями, коим никакие преграды мешать не могут,— замечает по этому поводу Погодин,— не столь твердым надобно открывать дороги» [58]. Естественно предположить, что и в беседах Погодина с Тютчевым развивались подобные же мысли. Наконец, едва ли случайно один из разговоров с ним об университете упоминается в дневнике Погодина рядом с именем пресловутого душителя просвещения Магницкого [59], простиравшего свое влияние не только на вверенный его «попечению» Казанский учебный округ, но и на все направление русского народного образования вообще.

---

[54] Дневник М. П. Погодина, запись от 13 октября 1820 г.— *ЛБ*.

[55] Там же, запись от 2 декабря 1820 г.— *ЛБ*. Ср.: Барсуков, стр. 90.

[56] В. А. Жуковский. Дневники. СПб., 1903, стр. 55.— Об одной из этих встреч с Жуковским Тютчев вспоминает в своем предсмертном стихотворении «17 апреля 1818».

[57] Тема просвещения неоднократно повторяется в записях бесед Погодина с Тютчевым. 10 ноября 1820 г. они разговаривают об университете, «о невежестве некоторых учащихся, о просвещении нашего дворянства», 15 октября 1820 г.— «о состоянии просвещения в России» и т. п.— *ЛБ*.

[58] Барсуков, стр. 88—89.

[59] Запись от 7 декабря 1821 г.: «Был у меня Тютчев, говорили о Магницком, об университете...» — *ЛБ*.

Студенческие годы Тютчева совпали с периодом реакции как во внешней, так и во внутренней политике царского правительства. На международных конгрессах Россия последовательно отстаивала принципы Священного союза, созданного для борьбы с революцией и «безверием». Внутри страны все тяжелее и невыносимее становился гнет аракчеевщины, начинавшей, впрочем, вызывать первые попытки противодействия (возмущение Семеновского полка в 1820 году). В области народного просвещения и науки принимались усиленные меры к тому, чтобы «христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения» [60]. С 1819 года и в Московском университете была открыта на отделении нравственно-политических наук кафедра богословия (до этого Московский университет являлся единственным из европейских университетов, в котором эта кафедра отсутствовала). Посещение лекций по этому предмету считалось обязательным для студентов всех отделений.

Весьма вероятно, что разговор Тютчева с Погодиным о религии, равно как неоднократные дневниковые размышления Погодина на ту же тему, в значительной мере был вызван желанием определить и осмыслить свое отношение к насаждаемым в университете началам «истинного просвещения».

Написанное для прочтения на торжественном университетском акте, состоявшемся 6 июля 1820 года, стихотворение Тютчева «Урания» кончается прославлением «гения просвещения» в его официальном понимании:

...Здесь паки гений просвещенья,
Блистая светом обновленья,
Блажит своих веселье дней! —
Здесь клятвы он дает священны,
Что постоянный, неизменный
В своей блестящей высоте,
Монарха следуя завстам и примеру,
Взнесется, опершись на Веру,
К своей божественной мете.

Поскольку «Урания» писалась по заказу университетского начальства, такая концовка была неизбежна, но, как показывает последующая эволюция мировоззрения Тютчева, она не противоречила его сознанию. Поэт всегда оставался сторонником монархии, освященной религией.

И тем не менее фанатизм и изуверство претили как будущему ревнителю триединой формулы «православие, самодержавие, народность» Погодину, так и будущему певцу славянофильства Тютчеву. Они смеются над проповедью приходского священника, который сравнивал Вольтера, Д'Аламбера и Дидро с «дьявольским

---

[60] «Сборник постановлений по Министерству народного просвещения», т. I. СПб., 1864, стр. 971.

числом, упоминаемым в апокалипсисе»[61]. По поводу распространившихся слухов о будто бы предстоящей ревизии университета Магницким Погодин обменивается с Раичем мыслями «о состоянии просвещения в России, об усилиях, которые употребляют наши мистики, подавить все стремление к нему...». Раздумывая о мерах, «принимаемых Магницким для погашения просвещения», Погодин приходит к выводу: «Может быть, они хороши в своем источнике. но они насильственные»[62].

Дома Тютчев воспитывался в «страхе божьем» и преданности престолу. Стариком он вспоминал, как в пасхальную ночь мать подводила его, ребенка, к окну, и они вместе дожидались первого удара церковного колокола[63]. В канун больших праздников у Тютчевых нередко служились всенощные на дому, а в дни семейных торжеств пелись молебны. В спальне и в детской блестели начищенные оклады родовых икон и пахло лампадным маслом. Но к студенческим годам Тютчев начал тяготиться обрядовой стороной религии, не хотел говеть. Мать сочла нужным подарить ему Библию на французском языке, надписав на ней своим крупным почерком: «Папинька твой желает, чтоб ты говел. Прости. Христос с тобой. Люби его»[64]. Вынужденное говение, однако, не вызывает в нем серьезного настроения, которое хотел бы видеть его «папинька», а наоборот. Зная, что Погодин собирается идти исповедоваться, Тютчев шутит: «... отпускаю вам все грехи, которые вы намереваетесь сказать священнику на исповеди — отпустите мне мои...»[65]. В дерзком четверостишии он перефразирует слова великопостной молитвы Ефрема Сирина («Господи и владыка живота моего, дух... празднословия не даждь ми»):

«Не дай нам духу празднословья!»
Итак, от нынешнего дня
Ты в силу нашего условья
Молитв не требуй от меня.

Тогда же, воспользовавшись текстом из 103 псалма: «Яко и вино веселит сердце человека», Тютчев пишет шуточно-эпикурейское стихотворение «Противникам вина», в котором подсмеивается над библейскими легендами о грехопадении первого человека и о Ное.

В общем же религиозное вольнодумство Тютчева-студента не выходило за рамки того поверхностного вольтерьянства, которое

---

[61] Дневник М. П. Погодина, запись от 6 декабря 1821 г.— Барсуков, стр. 141.

[62] Там же, записи от 13 и 22 марта 1822 г.— Барсуков, стр. 164.

[63] Ср. письмо Е. Л. Тютчевой к Ф. И. Тютчеву от 9 апреля 1857 г.— Центральный государственный архив литературы и искусства (далее сокращенно: *ЦГАЛИ*).

[64] Библиотека Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

[65] «Красный архив», т. 4, 1923, стр. 387.

с середины XVIII века было достаточно распространено в русских дворянских кругах. Пугая своих старозаветных родителей «безбожием», он в то же время внимательно изучает «Мысли» Паскаля и знакомит с ними Погодина [66]. Книга французского мыслителя и апологета христианской религии наложила определенный отпечаток на мировоззрение поэта.

Политический образ мыслей молодого Тютчева также отмечен чертами ограниченного свободомыслия, сочетающегося с твердой приверженностью к устоям русского монархического строя. Для уяснения идейной атмосферы, окружавшей юношу в эти годы, небезынтересно, что его учитель Раич и двоюродный брат Алексей Васильевич Шереметев состояли членами Союза благоденствия. Хотя имена Раича и Шереметева попали в составленный после расправы с декабристами «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ», политическое вольнодумство обоих носило весьма умеренный характер; недаром они были «оставлены без внимания» [67]. Сам Тютчев писал о своем учителе:

Как скоро Музы под крылом
Его созрели годы —
Поэт, избытком чувств влеком,
Предстал во храм Свободы,—
Но мрачных жертв не приносил,
Служа ее кумиру,—
Он горсть цветов ей посвятил
И пламенную лиру.

(«На камень жизни роковой...», 1822?)

В какой мере лира Раича «пламенела» звуками свободы, нам неизвестно. Тютчев лучше, чем мы, знал поэзию Раича, который в эти годы, очевидно, не только переводил «Георгики» Вергилия, но и писал стихи политического содержания. Беседуя с Погодиным «о молодом Пушкине, об оде его „Вольность“, о свободном благородном духе мыслей, появляющемся у нас с некоторого времени» [68], Тютчев, вероятнее всего, имел в виду настроения, которые высказывались в непосредственно близком ему кругу. Сам он переписывает строфы пушкинской оды, и то, что этот список был найден впоследствии в бумагах Погодина, дает возможность предполагать, что именно Тютчев впервые ознакомил с нею своего товарища.

---

[66] В одной из осенних записок 1820 г. к Погодину Тютчев просит его вернуть ему «Мысли» Паскаля.— Там же.

[67] «Восстание декабристов», т. VIII. Алфавит декабристов. Л., 1925, стр. 161 и 207.

[68] Дневник М. П. Погодина, запись от 1 ноября 1820 г.— *ЛБ*. Ср.: Барсуков, стр. 194.

Ода «Вольность» вдохновила Тютчева и на стихотворный ответ Пушкину. В дошедшем до нас современном списке он озаглавлен: «К оде Пушкина на вольность». Несколько странное заглавие довольно точно соответствует содержанию тютчевских стихов: это, действительно, не столько послание к самому Пушкину, хотя заключительная строфа и обращена прямо к нему, сколько размышление по поводу прочитанного.

В оде Пушкина Тютчев почувствовал пробуждение древнего «духа Алцея»,— греческого поэта-тираноборца VII—VI веков до н. э. «Огонь свободы» Тютчев сравнивает с «пламенем божьим», искры которого сыплются на «чела бледные царей». Это обличительный, тираноборческий пафос «Вольности» находит сочувственный отклик в душе молодого поэта. Недаром лексика его стихов — «огонь свободы», «звук цепей», «рабства пыль», «тираны закоснелые», «святые истины» — близка стилю русского гражданского романтизма преддекабрьской поры. Но было в пушкинской оде нечто, что заставило Тютчева — этого питомца дворянского гнезда — насторожиться. Не общий идейный смысл оды — призыв к царям склониться «под сень надежную Закона» — оказывался неприемлемым для Тютчева. Но ему показалось, что Пушкин чересчур играет с огнем, напоминая о том, о чем принято было молчать,— о цареубийстве 11 марта 1801 года.

Стихотворение Тютчева заканчивается следующим обращением к Пушкину:

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!
Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Под царскою парчою
Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца!

Итак, приветствуя глашатая «святых истин», Тютчев стремится ввести его обличения в определенные границы, призывает его «разнеживать», «растрогивать», «смягчать» сердца царей — не больше. Тираны тиранами, а самый принцип монархии должен оставаться неприкосновенным («блеска не мрачи венца»). По существу политическая позиция молодого Тютчева была просветительской позицией в духе сентиментализма. Знаменательно в связи с этим, что имя Карамзина не раз встречается в погодинских записях бесед с Тютчевым.

Знал ли Пушкин тютчевские стихи, вызванные одой «Вольность»? Очень возможно, что знал. В начале 1821 года приезжал в Москву из Бессарабии кишиневский приятель Пушкина, «душа души» его, Владимир Петрович Горчаков, один из тех, кому посвя-

щено замечательное стихотворение «Друзьям» («Вчера был день разлуки шумной...»). Находясь в Москве, Горчаков часто бывал в доме Тютчевых, где жил тогда его бывший товарищ по Училищу для колонновожатых А. В. Шереметев. У Шереметева Горчаков встречался с его двоюродным братом Тютчевым. В своих позднейших воспоминаниях «Выдержки из дневника об А. С. Пушкине» Горчаков писал о Тютчеве: «Его замечательные способности, несмотря на юность лет, восхищали многих, в том числе и его преподавателя русской словесности С. Е. Раича, столь известного своими литературными занятиями... В свое время, если будет возможно, я помещу некоторые из сочинений Ф. Т⟨ютче⟩ва в моем дневнике, и в особенности те, которые случайно сохранились у меня в рукописи» [69].

Среди стихотворений Тютчева, которыми располагал В. П. Горчаков, был список «К оде Пушкина на вольность». Только это стихотворение, не называя автора, и цитирует он в своем дневнике. Говоря о том, что политическая лирика Пушкина не оставалась «без замечаний» со стороны современников, Горчаков пишет: «Иные свои отметки излагали даже стихами; из подобных стихотворений предложу одно, написанное, как мне говорили, тогда же одним поэтом-юношею. Это стихотворение как-то случайно сохранилось в моих бумагах; за верность его списка не ручаюсь, но во всяком случае нахожу его замечательным» [70].

Из этих строк ясно, что текст стихотворения не был получен Горчаковым непосредственно из рук Тютчева. Список, действительно, не отличался исправностью. Но, каков бы он ни был, он был увезен Горчаковым из Москвы в Кишинев, а там, при своих чуть ли не ежедневных встречах с Пушкиным, Горчаков мог познакомить его со стихами московского поэта.

Неприятие деспотизма, сказавшееся в стихах «К оде Пушкина на вольность», уживалось в Тютчеве уже в эти годы с легитимизмом. Погодину он давал не только список оды «Вольность», но и «Mémoires sur la vie et la mort du duc de Berry» («Записки о жизни и смерти герцога Беррийского») Шатобриана, недавнего вождя роялистской оппозиции во Франции [71]. Надо думать, что еще в юности Тютчев познакомился с произведениями французских мыслителей и публицистов периода Реставрации, оказавших, как будет показано далее, исключительно сильное воздействие на формирование его политических взглядов. Один из мемуаристов прямо

---

[69] М. А. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, стр. 166.

[70] Там же, стр. 163.— Процитировав отрывок из стихотворения Тютчева (от строк: «Счастлив, кто гласом твердым, смелым...»), Горчаков замечает: «В этих стихах, как мне кажется, видны начатки сознания о назначении поэта, благотворность направления, а не та жгучесть, которая почасту только разрушает, но не творит» (там же, стр. 163—164).

[71] Дневник М. П. Погодина, запись от 30 октября 1821 г.— *ЛБ*.

указывает, что Тютчев уже тогда не избежал влияния идей Жозефа де Местра и «на всю жизнь сохранил его следы» [72].

Казалось бы, трудно примирить только что сказанное с четверостишием, которое юноша Тютчев еще до своего поступления в университет написал в честь такого яростного борца против феодализма и клерикализма, каким был Вольтер:

Пускай от зависти сердца зоилов ноют.
Вольтер! Они тебе вреда не нанесут...
Питомца своего Пиериды покроют
И *Дивного* во храм бессмертья проведут!

Это написано в мае 1818 года на принадлежавшем Тютчеву экземпляре отдельного издания поэмы Вольтера «La Henriade» («Генриада») [73].

Четверостишие Тютчева не оригинально: оно является переделкой четверостишия И. И. Дмитриева «К портрету М. М. Хераскова» («Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют...»). Тютчев вообще должен был хорошо знать Дмитриева: с ним «никогда не расставался» Раич, считавший его, наряду с Державиным, своим «путеводителем к Парнассу» [74].

На основании приведенного четверостишия складывается впечатление, что Тютчев, подобно Пушкину, с юношеских лет попал в сети старика «с очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой, || с устами, сжатыми наморщенной улыбкой» [75]. Но в то время как Тютчев прославлял Вольтера за «Генриаду», совсем иным его произведением зачитывались сверстники молодого поэта:

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle,
И летят под постель
Святцы [76].

Эта песенка Рылеева хорошо отражает умонастроение значительной части передовой русской дворянской молодежи преддекабрьских лет. У одних «святцы» швырялись под стол, а Вольтер не сходил со стола; у других том Вольтера попирал Библию

---

[72] Записка К. Пфеффеля о Тютчеве. Подлинник по-французски. — *МА*.

[73] «La Henriade. Poème avec les notes et les variantes, suivi de l'essai sur la poésie épique, par Voltaire». Paris, an XIV—1805.— Собрание К. В. Пигарева.

[74] «Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 20.

[75] Черновой набросок «Еще в ребячестве [бессмысленно лукавом]...» — Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 3. Изд-во АН СССР, 1948, стр. 472.

[76] К. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Л., 1934 («Библиотека поэта». Большая серия), стр. 309.

(вспомним Батюшкова: «Тут Вольтер лежит на Библии»)[77]. Антицерковная и эротическая поэма Вольтера «La Pucelle d'Orléans» («Орлеанская девственница») была в глазах Пушкина «книжкой славной, золотой, незабвенной, катехизисом остроумия». Этой «святой библией харит» напутствовал он однажды уезжавшего друга[78].

На фоне единодушных прославлений создателя «Орлеанской девственницы» тютчевское восхищение творцом «Генриады» представляется на первый взгляд неожиданным. Однако в свете тех идеологических воздействий, которые уже тогда определяли мировоззрение молодого Тютчева, оно не только не неожиданно, но и понятно. «Генриада» была выражением просветительских идеалов Вольтера. В посвящении «Генриады» английской королеве Вольтер писал: «Ваше величество найдете в этой книге великие и важные истины: нравственность, огражденную от суеверия; дух свободы, одинаково далекий от мятежа и насилия; постоянное подтверждение прав королей и постоянную защиту прав народов».

Просветительские идеи и национально-исторический сюжет эпопеи стяжали Вольтеру репутацию первого национального поэта Франции. Генрих IV, во славу которого написана «Генриада», изображен в поэме как просвещенный монарх, первый гражданин своего народа, поборник гуманизма и веротерпимости. Ополчаясь на фанатизм, Вольтер в «Генриаде» еще не восставал против религии. Тем самым из всех произведений французского писателя «Генриада» оказывалась наиболее приемлемой даже в ту эпоху, когда прах великого насмешника был выброшен из Пантеона. А тот факт, что героем «Генриады» был именно Генрих IV, родоначальник династии Бурбонов, придавал поэме особую ценность в период Реставрации. В глазах легитимистов потомки Генриха IV были призваны, как и он, занять французский престол «et par droit de conquête, et par droit de naissance» («и по праву завоевания, и по праву рождения»)[79].

Что, однако, могло послужить непосредственным поводом к написанию тютчевского четверостишия? Среди сохранившихся книг из библиотеки Тютчева есть двухтомное издание «Энеиды» Вергилия в переводе Делиля. В предисловии Делиль неоднократно упоминает о «Генриаде», сопоставляя ее с эпопеями Вергилия, Тассо и Мильтона. Выводы Делиля всегда не в пользу «Генриады».

---

[77] «К Филисе».— К. Н. Батюшков. Сочинения, т. I. СПб., 1887, стр. 14.

[78] Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 1. Изд-во АН СССР, 1937, стр. 63—64; т. 2, 1947, стр. 57.

[79] Интересно отметить, что уже в начале XIX в. Шатобриан предпринял попытку истолковать «Генриаду» в благоприятном для клерикально-монархической реакции смысле. См.: Chateaubriand. Le Génie du Christianisme, t. I. Paris, 1851, p. 195.—Впоследствии, в своей лекции о Вольтере, прочитанной после Реставрации, Вильмен назвал автора «Генриады» «самым надежным охранителем славы Генриха» (Villemain. Cours de littérature française, t. I. Paris, 1859, p. 185).

По его мнению, «автору *Генриады,* поэмы, которой чересчур восхищались при первом ее появлении и которую потом старались чрезмерно обесславить», более всего не хватает «разнообразия»; «Вольтер, когда писал это произведение, знал лишь книги, Париж и двор. Нравоучение, философия, политика — вот что беспрестанно попадается в его поэме»[80]. Другим минусом «Генриады» Делиль считал недостаток вымысла и ограниченность сферы «чудесного» («du merveilleux»).

Очень вероятно, что четверостишие Тютчева и является возражением на критику Делиля, которую он толкует как завистливую критику «зоила». Предположение это подкрепляется тем, что когда Тютчев написал четверостишие, экземпляр «Энеиды» Делиля уже находился в его библиотеке[81].

Но как бы ни восхищался Тютчев Вольтером, называя его «дивным», на его собственное поэтическое творчество Вольтер не оказал сколько-нибудь заметного влияния. Стихи Тютчева юношеских лет хранят следы иных впечатлений. Его увлечение немецкой литературой засвидетельствовано неоднократными записями в погодинском дневнике. Среди ранних переводов Тютчева имеется перевод известного стихотворения Шиллера «Прощание Гектора» («Hektors Abschied»; в тютчевском переводе озаглавлено: «Гектор и Андромаха»), в целом отличающийся точностью и местами хорошо передающий ритмический строй подлинника[82]. Скоро Шиллер станет величайшим, «божественным» в глазах Тютчева поэтом.

В 1820 году Тютчев пишет большое стихотворение «Урания». Написанное для прочтения на годичном акте университета, оно прежде всего напоминает стихи на академические торжества, составляющие целый раздел в собрании сочинений Мерзлякова. В особенности близка «Урания» к его стихотворению «Ход и успехи изящных искусств» (1812). В нем Мерзляков в хронологической последовательности рисует исторический путь развития искусств от седой древности до современной эпохи и прославляет

---

[80] «L'Enéide, traduite par Jacques Delille», t. 1. Paris, an XII—1804, p. 16.— Библиотека Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

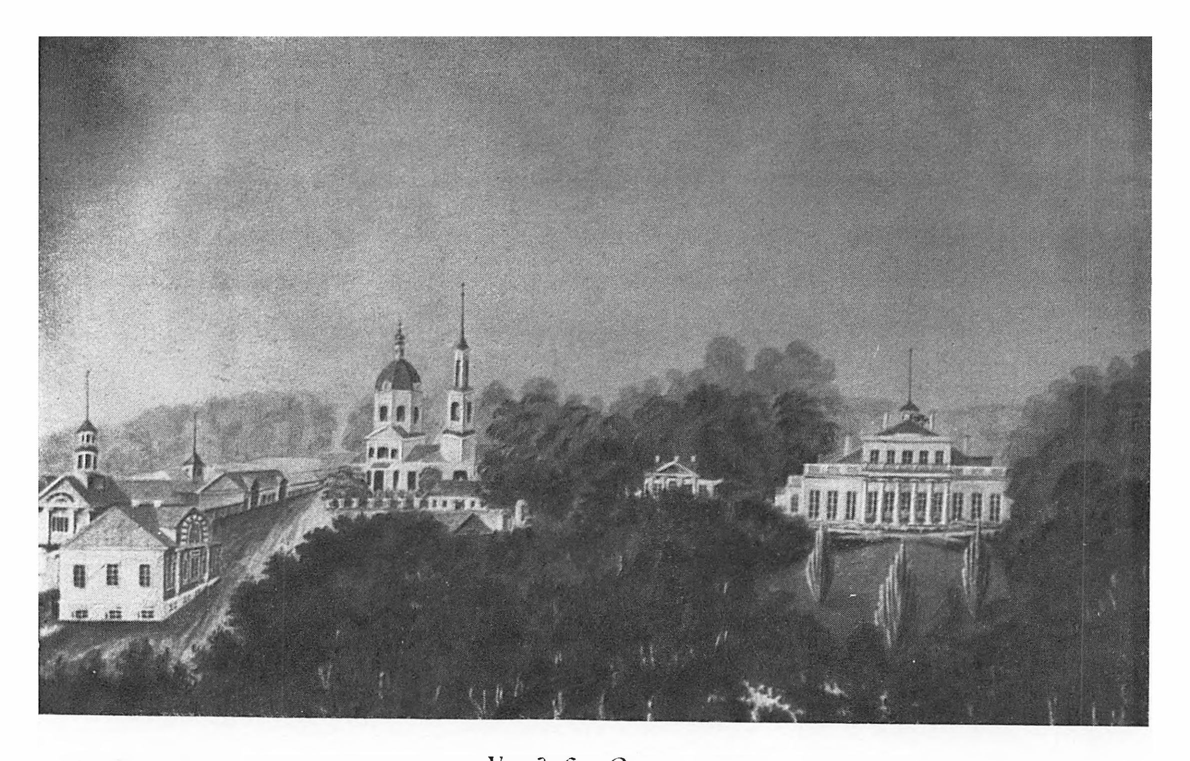
[81] На это указывают совершенно одинаковые переплеты с инициалами «Ф. Т.» на корешках, заказанные поэтом в одно и то же время. Четверостишие написано на первом чистом листе экземпляра «Генриады» после того, как книга была переплетена. В тексте имеется десять отмеченных карандашом мест. Полной уверенности в том, что отчеркивания принадлежат самому Тютчеву, нет, хотя по содержанию соответствующие места и могли привлечь его внимание. Таковы строки о фанатизме — «уродливом детище религии», утверждение, что «недостаточно быть героем, завоевателем, королем», но что монарх должен быть «просвещен небом», и др.

[82] Напечатан впервые в книге «Сочинения в прозе и в стихах. Труды Общества любителей российской словесности» (ч. 2. М., 1822, стр. 204—205) с ошибочной подписью: «Н. Тютчев». Ошибка объясняется тем, что в рукописях Тютчева буква «О» напоминает «Н».



Ф. И. Тютчев

Рисунок неизвестного художника. 1820-е годы.



Усадьба Овстуг

Фотография с несохранившейся акварели Драницына. 1849 г.

«век Александра славный»[83]. Возможны параллели между тютчевской «Уранией» и одним из программных стихотворений Карамзина «Поэзия» (1787). Именами псалмопевца Давида, мифического Орфея, Гомера, Софокла, Эврипида, древнегреческих идилликов — Биона, Феокрита и Мосха, Вергилия, Овидия, легендарного Оссиана, «натуры друга» Шекспира, Мильтона, английских и немецких предшественников романтизма — Юнга, Томсона, Геснера и «несравненного» Клопштока Карамзин, как вехами, отмечает различные эпохи в истории мировой поэзии. Не случайно, что Карамзин не называет ни одного французского и ни одного русского имени, но зато заканчивает свое стихотворение словами:

О Россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень[84].

В пору утверждения нового литературного направления — сентиментализма — такое умолчание как о корифеях французского классицизма, так и о русских поэтах XVIII века было естественным и понятным. Для Мерзлякова, чьи эстетические взгляды эклектичны по своей природе, борьба сентиментализма с классицизмом уже не представляла прежней остроты. «Венцом Европы новой» он провозглашает французский XVII век, период расцвета классицизма, «дни Людовика знамениты», обойденные Карамзиным; называет он и одно русское имя — имя Ломоносова: «Велик — но ах! еще единый». Тютчев в своем перечне знаменитых поэтов мира[85] так же, как и Карамзин, умалчивает о французах. У него упомянуты «певец слепой» — Гомер, «лебедь Мантуи» — Вергилий, «Феррарский орел» — Тассо, Камоэнс, Мильтон и Клопшток, но зато в один ряд с ними поставлены и «российский Пиндар» — Ломоносов, и «певец Фелицы» — Державин. Мало того. Если Карамзин еще только пророчествует о грядущем веке расцвета поэзии в России, то для Тютчева эта пора уже наступила. «Фивы новые» возникли, и их возникновение непосредственно связывается поэтом с появлением Державина.

---

[83] А. Ф. Мерзляков. Стихотворения, ч. 1. М., 1867, стр. 239—247.

[84] Н. Карамзин, И. Дмитриев. Избранные стихотворения. Л., 1953 («Библиотека поэта». Большая серия), стр. 64.

[85] Традиция подобных стихотворных перечней, содержащих эстетическое кредо их составителей, установилась еще с первой половины XVIII в. Заключенные первоначально в своего рода исторических обзорах и жанровых характеристиках («Эпистола от российския поэзии к Аполлину» Тредиаковского, «Эпистола о стихотворстве» Сумарокова), они в начале XIX в. преобразовались в форму своеобразных «каталогов» личных библиотек (дружеские послания «Мои пенаты» Батюшкова и «Городок» Пушкина). Эти «каталоги», разумеется, в значительной мере обнаруживают эстетические вкусы и литературные симпатии авторов посланий. Тютчев в «Урании» следует не за Батюшковым и Пушкиным, а за Мерзляковым и Карамзиным.

«Урания» Тютчева образно и стилистически близка еще к одному произведению русской поэзии — стихотворению М. Н. Муравьева «Храм Марсов». Описание храма Урании у Тютчева явно навеяно описанием святилища Марса у Муравьева[86]. Стихи этого представителя русской предромантической лирики вообще должны быть приняты во внимание при изучении литературных традиций в творчестве Тютчева.

Вместе с тем «Урания» свидетельствует о несомненном знакомстве Тютчева с философским стихотворением Шиллера «Художники» («Die Künstler»). Именно Шиллеру принадлежит развиваемая в стихотворении Тютчева мысль о том, что красота служит источником и двигателем духовной культуры человечества, что через красоту познается истина. Самый образ Урании — не музы астрономии, а божественного воплощения красоты — восходит к Шиллеру. В текст «Урании» введены две строки, которые являются слегка переиначенной цитатой из шиллеровских «Художников»:

Что нас на земле мечтою пленяло,
Как истина, то нам и здесь предстоит!

(Ср.: Was wir als Schönheit hier empfunden, wird einst als Wahrheit uns entgegengehn)[87]. Несколько утомительная своей растянутостью (около 200 стихов) и риторичностью, «Урания» интересна как выражение складывающегося романтического сознания поэта. «Дольнему миру» с его «волнениями и суетами» он противопоставляет мир фантазии, таинственный остров Урании. В этом стихотворении шестнадцатилетнего Тютчева наблюдается зарождение мотивов и образов, которые станут характерными для его романтической лирики[88].

В другом стихотворении, написанном в конце 1821 года и посвященном Андрею Николаевичу Муравьеву («Нет веры к вымыслам чудесным...»), бывшему так же, как и он сам, учеником Раича, Тютчев окажет открытое предпочтение «златокрылым мечтам», «чертогу волшебному добрых фей» перед «тесными» законами

[86] В стихах Тютчева «окрест благодатной» Урании «на тронах высоких... сидят велелепно» олицетворенные «добродетели»: Мир, Суд правый, Страх божий, Благосердие, Верность, Любовь к отчизне, Доблесть, Терпенье и Труд. «Так вышние силы свой держат совет». В стихотворении Муравьева «при престоле» «бога браней» Марса сидят его «любимцы»: Храбрость, Искусство, Власть, Твердость духа, Сила воображенья, Тайна, Прозорливость, Великодушие, Труд, Опыт, Благоразумие, Добродетель и Честь. «Се Марсов, юноши! совет» (Муравьев. Сочинения, т. 1. СПб., 1847, стр. 37—48).

[87] Сходство цитируемых строк Тютчева и Шиллера отмечено Р. Ф. Брандтом в работе «Матерьялы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его поэзия»» («Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. XVI, 1911, кн. 2, стр. 149).

[88] См.: D. Strémooukhoff. La poésie et l'idéologie de F. I. Tiouttchev. Paris, 1937, p. 33.

рассудка. И в его скорби о гибели «вымыслов чудесных» прозвучат ноты шиллеровской тоски по развенчанному, но столь лучезарному и жизнерадостному Олимпу древних эллинов.

К данному периоду творчества Тютчева относится еще одно произведение, свидетельствующее об усвоении поэтом романтического мировосприятия: переложение элегии Ламартина «L'isolement» («Уединение»). Этой элегией открывается первый сборник стихотворений французского поэта-романтика «Méditations poétiques» («Поэтические размышления»), вышедший в свет весной 1820 года и с восторгом встреченный читателями. Тютчевское переложение дошло до нас в двух редакциях, из них первоначальная ближе к подлиннику. В обоих случаях заглавие французской элегии изменено: «Одиночество» вместо «Уединение». Изменение заглавия обусловлено смысловыми оттенками, привнесенными в стихи Ламартина переводчиком. У Тютчева размышлениям Ламартина придано трагическое звучание; в них резко усилен мотив разобщенности поэта с внешним миром, сиротства, одиночества. Ламартин безучастно и меланхолически смотрит на расстилающийся перед его взором вечерний пейзаж, который с утратой любимого существа потерял для него свою прелесть, опустел. В стихах Тютчева это ощущение пустоты вытесняется ощущением смерти. Не в «равнодушной душе», как у Ламартина, а в «иссохшем сердце» поэта красоты природы не будят никаких чувств. В его глазах поля, рощи и долины не опустели, а омертвели, стали «бездушными», от них «дух жизни улетел»; мертва земля в сравнении с небом, осыпанным звездами; да и он сам подобен «мертвому листу» (у Ламартина — «увядший лист»), которому «пора из жизненной долины». Стихотворение завершается восклицанием, обращенным к грозе и вихрю: «Умчите ж, бурные, умчите сироту!» у Ламартина не гроза и вихрь, а «бурные ветры»). Слово «сирота» во французском тексте отсутствует. У Тютчева же, поставленное в самом конце стихотворения, оно приобретает особое значение, так как исподволь подготовлено. Стих Ламартина «Je contemple la terre, ainsi qu'une ombre errante» («Я созерцаю землю, подобно странствующей тени») Тютчев заменяет словами: «По чуждой мне земле скитаюсь *сирой* тенью», а через несколько строк вздыхает о «лучшем мире», где «нет *сирот»* [89].

Как и другие названные раньше стихотворения Тютчева, переложение этой элегии содержит тематические мотивы, которые будут развиты в его позднейшей лирике.

В годы своего пребывания в университете Тютчев принимает непосредственное участие в московской литературной жизни.

---

[89] Анализ тютчевского переложения элегии Ламартина дан в статье Н. Суриной «Тютчев и Ламартин» («Временник Отдела словесных искусств Государственного института истории искусств», III. Поэтика. Сборник статей. Л., 1927, стр. 149—151). Однако указанные выше особенности остались ею не замеченными.

Стихотворения, написанные им, не залеживаются у него в письменном столе, как случалось впоследствии со многими лучшими стихами поэта, а читаются в публичных собраниях, печатаются в периодических изданиях.

6 июля 1820 года в торжественном годичном собрании университета, состоявшемся в присутствии многих «знатнейших» как духовных, так и светских «обоего пола особ», магистр Маслов прочел тютчевскую «Уранию» [90]. В том же году она была напечатана в «Речах и отчетах» университета. 30 апреля 1821 года известный в то время любитель-декламатор Ф. Ф. Кокошкин выступил в Обществе любителей российской словесности с чтением стихотворения Тютчева «Весеннее приветствие стихотворцам» [91]. Там же 18 марта 1822 года одним из членов Общества, С. В. Смирновым, было прочитано переложение элегии Ламартина [92]. Оба стихотворения появились на страницах «Трудов» Общества.

В майском номере «Отечественных записок» за 1822 год было помещено письмо из Москвы, датированное 25 марта того же года и содержащее сообщение о последнем заседании Общества любителей российской словесности. В письме говорилось: «Нельзя было не заметить очень хороших стихов: *Уединение,* соч. г. Тютчева, юного, многообещающего поэта» [93]. Эти краткие, но лестные строки — первый печатный отзыв о Тютчеве.

3

Курс обучения в университете был во времена Тютчева трехгодичным. Таким образом, ему надлежало бы закончить его в 1822 году. Между тем еще летом 1821 года, т. е. по истечении двухлетнего срока пребывания на словесном отделении, Тютчев возбуждает ходатайство о разрешении ему держать выпускные экзамены. Намерение ли поступить на государственную службу и открывшиеся для него возможности, нежелание ли слушать лекции по тем предметам, которые он уже усвоил в бытность свою вольнослушателем университета, определило решение Тютчева закончить курс на год раньше установленного срока,— на это мы не находим ответа ни в архиве университета, ни в семейных бумагах Тютчевых. Так или иначе, 9 августа 1821 года Погодин писал одному из своих приятелей: «Тютчеву, кажется, вышло разрешение на экзамен. Князь Андрей Петрович Оболенский (попечитель

---

[90] «Московские ведомости», 1820, № 56, 14 июля, стр. 1537.

[91] «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 20. Летописи Общества. М., 1820 (по-видимому, ошибочно вместо 1821), стр. 252.

[92] «Сочинения в прозе и стихах. Труды Общества любителей российской словесности», М., 1822, ч. 2, стр. 265.

[93] «Отечественные записки», ч. X, 1822, № 25, май, стр. 279.— И в «Отечественных записках», и в протоколе заседания Общества любителей российской словесности стихотворение озаглавлено «Уединение». Очевидно, Тютчев изменил заглавие перед тем, как отдать стихи в печать.

Московского учебного округа.— *К. П.)* был у графини Остерман-Толстой, тетки Тютчева, и сказывал ей, что дело идет уже из Питера...»[94]. Действительно, 20 августа 1821 года министр духовных дел и народного просвещения князь А. Н. Голицын направил попечителю Московского учебного округа следующее отношение: «По уважению отличного засвидетельствования вашего сиятельства о способностях и успехах в науках своекоштного студента Московского университета Тютчева я согласен на допущение его к испытанию для получения степени действительного студента, так как недостающий к числу лет обучения его в студентском звании год можно заменить тремя годами бытности его вольным слушателем. Но как таковое позволение может послужить поводом к послаблению общих правил в отношении к другим, не имеющим подобных достоинств, то впредь допускать сего не следует, а должно стараться склонять вольных слушателей скорее записываться в число студентов, чем всякое сомнение прекратится и по имеющемуся за таковыми надзору большее число молодых людей будет выслушивать весь курс и приобретать все нужные познания»[95].

Обращает внимание, что в этом документе и во всех дальнейших, связанных с окончанием Тютчевым университета, продолжительность пребывания его вольнослушателем исчисляется тремя годами, а не двумя, как указано в прошении поэта о зачислении в студенты и повторено в одном из журналов словесного отделения[96]. Не прибавлен ли был лишний год для того, чтобы облегчить Тютчеву получение права на досрочную сдачу выпускных экзаменов?

8 октября 1821 года состоялось собрание Отделения словесных наук. Председательствовал Мерзляков, занимавший тогда должность декана. Присутствовали профессора Гейм, Черепанов, Гаврилов, Каченовский, Давыдов. В журнале отмечено: «Вследствие сообщения из Совета от 12 сентября под № 764 о том, чтобы Отделение словесных наук своекоштного студента Федора Тютчева допустило к испытанию на звание действительного студента и донесло, как об его успехах в науках, так и поведении,— члены Отделения приступили к испытанию означенного студента и предлагали ему, каждый по своей части, из всех предметов, к Отделению принадлежащих, вопросы, на которые отвечал он весьма основательно, ясно и удовлетворительно. По окончании испытания все члены Отделения, основываясь на положении о производстве в ученые степени, единогласно положили: *донести Совету,* что означенный студент Федор Тютчев, доказавший свои знания и на обыкновенном трехгодичном экзамене и сверх того отличив-

---

[94] Барсуков, стр. 112—113.

[95] Архив МГУ, Фонд питомцев, № 9, «Об увольнении из университета кандидата Федора Тютчева», л. 12.

[96] Архив МГУ, «Сообщения из Совета, прошения и журналы Отделения словесных наук» за 1820 г., журнал собрания от 22 июня 1820 г.

шийся своими упражнениями в сочинении, примерным поведением и успехами в науках, за что награжден он был похвальным листом, оказался теперь *достойным степени кандидата»* [97].

По представлению Совета Московского университета попечителю учебного округа 23 ноября 1821 года, как раз в день своего рождения, восемнадцатилетний Тютчев был утвержден «в кандидатском достоинстве». 5 декабря он подал прошение об «увольнении» из университета с «надлежащим аттестатом». Для включения в аттестат потребовались сведения о предметах, которые он слушал у профессоров других отделений, и Тютчев получил от профессора Шлецера свидетельство на латинском языке о прослушанных у него лекциях по политической экономии, естественному и частному гражданскому праву. В том же месяце Тютчеву был выдан отпечатанный в типографии и скрепленный университетской печатью аттестат [98].

Студенческие годы Тютчева закончились... 5 февраля 1822 года он в сопровождении отца и дядьки Николая Афанасьевича приехал в Петербург и был зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел [99].

В Петербурге Тютчев нашел приют в доме своего богатого и влиятельного родственника графа Александра Ивановича Остермана-Толстого [100], которому вскоре довелось сыграть видную роль в его жизненной судьбе.

Участник героического штурма Измаила, один из выдающихся по своему мужеству и решительности военачальников русской армии во время Отечественной войны 1812 года, Остерман-Толстой лишился левой руки в сражении под Кульмом (1813 г.). Назначенный в 1816 году командиром гренадерского корпуса и в следующем же году произведенный в генералы-от-инфантерии, он по состоянию здоровья был вынужден находиться в долгосрочном отпуску. Дом Остермана-Толстого на Английской набережной [101] всегда был гостеприимно открыт для всех родственников, приезжавших в Петербург и иногда подолгу проживавших под его кровом [102]. Место службы Тютчева — Коллегия иностранных дел —

---

[97] Архив МГУ, Фонд питомцев, № 9, «Об увольнении из университета кандидата Федора Тютчева», л. 9.

[98] Там же, л. 1, 2, 3 и 7.

[99] В послужном списке Тютчева значится: «По окончании курса в Московском университете со степенью кандидата в службу вступил в Государственную коллегию иностранных дел с переименованием правительствующим Сенатом в губернские секретари — 1822 г., февраля 24-го».— «Летопись», стр. 18—19.

[100] А. И. Остерман-Толстой был троюродным братом матери Тютчева.

[101] Ныне Набережная Красного флота, дом № 10. Сохранился в перестроенном виде.

[102] Одновременно с Тютчевым там же жил свойственник Остермана-Толстого, будущий декабрист Д. И. Завалишин (см.: «Древняя и новая Россия», 1879. № 4, стр. 314).

находилось на той же Английской набережной [103], неподалеку от дома Остермана-Толстого.

У нас нет данных о том, какие знакомства удалось Тютчеву завязать по приезде в новый для него город. Однако, по-видимому, у него начали устанавливаться кое-какие отношения с петербургскими литературными кругами. По крайней мере весной 1822 года (в апреле-мае) в Вольном обществе любителей российской словесности было прочитано и одобрено его переложение элегии Ламартина «Одиночество» [104]. Но одним этим фактом и ограничилась связь поэта с петербургской литературной средой. Собиравшийся в это время за границу Остерман-Толстой испросил для Тютчева место сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии в Баварии. Тотчас же по своем назначении на эту должность [105] Тютчев выехал в Москву.

В Москве Тютчев вновь встретился со своим бывшим наставником Раичем, незадолго до того, 29 апреля, защитившим магистерскую диссертацию «О дидактической поэзии». В стихотворении «На камень жизни роковой...», написанном возможно тогда же, Тютчев обрисовал жизненный путь Раича, поэта-мечтателя, постоянно пребывающего «в мире сем, как в царстве снов».

27 марта Тютчев присутствовал на заседании Общества любителей российской словесности. Здесь он имел случай видеть таких «тузов» литературной Москвы, как почетные члены Общества И. И. Дмитриев и князь И. М. Долгорукий. На заседании читалось одно из многочисленных «Подражаний псалму» эпигона классицизма Н. М. Шатрова, перевод оды Горация к Мельпомене, присланный почетным членом Общества В. В. Капнистом, рассуждение Мерзлякова «О способе разбирать сочинения, особливо стихотворные, по их существенным достоинствам». В. Л. Пушкин выступил со своей басней «Щегленок и воробей», а бывший издатель сентиментального журнала «Для милых» М. Н. Макаров — с повестью «Ильмена». Новый член Общества М. Н. Загоскин, в то время автор многочисленных, но малооригинальных комедий и интермедий, произнес благодарственную речь, «в которой между прочим кратко изложил ход русского театра и говорил о перенесении характеров трагических и комических со сцены одного народа на сцену другого» [106]. И произведения литературных корифеев, и тут же читавшиеся стихи менее известных стихотворцев представляли собой как бы вчерашний день русской поэзии. В Петербурге под наблюдением Гнедича уже готовилось первое издание пушкинского «Кавказского пленника».

---

[103] Ныне набережная Красного флота, дом № 32.

[104] «Летопись», стр. 19.

[105] Тютчев был «причислен к миссии в Мюнхене сверх штата» 13 мая 1822 г. См.: «Летопись», стр. 19.

[106] «Сочинения в прозе и стихах. Труды Общества любителей российской словесности», ч. 2, М., 1822, стр. 270.

На этом заседании Тютчев простился с Погодиным. «Он спросил меня о московских, я его о петербургских литературных новостях. Дал слово писать из Мюнхена»,— отметил Погодин в дневнике [107].

Через две недели после этого вечера карета, увозившая Остермана-Толстого и Тютчева за границу, тронулась из Москвы в далекий путь. Вместе с поэтом выехал в Мюнхен и его старый дядька Хлопов [108].

---

[107] Барсуков, стр. 174.

[108] День отъезда Тютчева на чужбину был в числе других памятных дат его жизни отмечен Хлоповым на обратной стороне иконы, завещанной своему питомцу (см. об этом ниже): «Святого апостола Варфоломея, день, в который мы с Федором Ивановичем выехали из Москвы в Баварию, 1822 г. июня 11». Икона хранится в Музее-усадьбе «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Мюнхене и Турине.

1822–1839 годы

1

Приблизительно через месяц после отъезда Тютчева из Москвы русский посланник в Мюнхене граф Воронцов-Дашков доносил своему начальнику в Петербург: «Новый атташе при моей миссии г-н Федор Тютчев только что приехал. Несмотря на малое количество дела, которое будет у этого чиновника на первых порах его пребывания здесь, я все же постараюсь, чтобы он не зря потерял время, столь драгоценное в его возрасте» [1].

Двадцать два года провел Тютчев вне России, лишь изредка приезжая на родину в отпуск. «Странная вещь — судьба человеческая! — восклицал поэт в одном из позднейших писем к родителям.— Надобно же было моей судьбе вооружиться уцелевшею Остермановою рукою, чтобы закинуть меня так далеко от вас!» [2].

Впоследствии Тютчев признавался, что он «не умел» служить [3]. Он намекал при этом на свойственное ему нерадивое отношение к своим служебным обязанностям. Но верно и то, что поэт не умел выслуживаться. По этим причинам он и не достиг сколько-нибудь высокого положения на дипломатическом поприще.

Тютчев начал свою службу в то время, когда взаимоотношения европейских держав определялись «пустым и трескучим документом», как назвал австрийский канцлер Меттерних дипломатический договор, известный под названием Священного союза.

---

[1] Депеша без даты за № 11. Дата получения — 28 июля 1822 г. Подлинник по-французски. Архив внешней политики России, Фонд Министерства иностранных дел (далее сокращенно: *АВПР*, *МИД*), Канцелярия, арх. № 8060, л. 25.— Считая, что курьер из Мюнхена в Петербург ехал более двух недель, относим депешу к первой половине июля 1822 г.

[2] Письмо от октября 1840 г.— *ЦГАЛИ.*

[3] См. его стихотворение «Живым сочувствием привета...» (1840).

Созданный для защиты основ феодализма и клерикализма в Европе, Священный союз с первых же лет своего существования подтачивался внутренними противоречиями, в основе которых лежали различные реальные интересы государств, взаимное недоверие и боязнь усиления одного партнера за счет другого.

Несмотря на это, вплоть до середины 1823 года европейские монархи неуклонно руководствовались в своей политике теми идеологическими принципами, на которых была построена система Священного союза. В соответствии с этими принципами осуществлены были вооруженные интервенции в целях подавления национально-освободительного движения в Италии и Испании.

Однако уже во второй половине двадцатых годов политика Священного союза утрачивает свою последовательность. Так, например, если раньше греческое национально-освободительное восстание расценивалось русской дипломатией как «мятеж» греков против их «законного» повелителя — турецкого султана, то теперь в интересах расширения своего влияния на Ближнем Востоке Россия сама содействует провозглашению независимости Греции. Лишь после июльской революции 1830 года во Франции царское правительство вновь становится активным оплотом легитимистского «порядка» в Европе, пытаясь, хотя и безуспешно, поддержать обветшавшие устои Священного союза.

Дипломатическая «школа», которую прошел Тютчев за границей, определенным образом способствовала развитию легитимистских принципов, не чуждых и ранее его политическому сознанию. Тем не менее в первое десятилетие своей жизни в Мюнхене он еще находится под влиянием «святых истин», распространение которых в русском обществе было связано с деятельностью Союза благоденствия. В мемуарах Д. Н. Свербеева имеется очень любопытное сообщение о его встрече с Тютчевым в Мюнхене в конце августа 1823 года. Питомец Московского университета, окончивший курс в тот самый год, когда Тютчев поступил в университет вольнослушателем, Свербеев со студенческих лет испытывал отвращение к помещичьему и самодержавно-чиновничьему произволу. Однажды, находясь в обществе нескольких крупных петербургских сановников, молодой Свербеев не побоялся на обращенный к нему вопрос: «Сколько у нас состояний?», т. е. сословий, ответить: «Два». И пояснил: «Деспоты и рабы» [4]. Это было сказано в самые мрачные годы аракчеевщины...

Назначенный младшим секретарем русской миссии в Швейцарии, Свербеев по пути к месту своей службы провел несколько дней в Мюнхене. Вместе с Тютчевым он осматривал достопримечательности города, посещал театры. Вспоминая о своем тогдашнем пребывании в Мюнхене, Свербеев рассказывает: «В Баварии, гораздо менее, нежели в других частях Германии, начали в то

[4] Д. Н. Свербеев. Записки, т. I, М., 1899, стр. 249.

время (в 20-х годах) развиваться революционные начала. Там царствовал ультрамонтанский католицизм, господствовали бароны, феодалы и добрый, конечно, нисколько не либеральный, но очень популярный первый король. Все это узнал я, проспоривши вместе с Тютчевым целый вечер с одним из второстепенных, хотя и замечательных депутатов Баварских штатов. Наши с Тютчевым религиозные убеждения и политические мнения приводили его в неистовство, а политическое мнение о том, что не только народная интеллигенция, но и весь народ имеет право участвовать в правительстве, представлялось этому барону феодалу-католику равносильным с учением французского террора, он отстаивал, вопреки нам, крепостное право. Наша же веротерпимость казалась ему атеизмом» [5].

Незачем, конечно, на основании этого свидетельства хоть в какой-либо степени радикализировать политические и религиозные взгляды молодого Тютчева. Свербеевское определение своих и тютчевских религиозных воззрений в эти годы как «веротерпимости», по-видимому, в достаточной степени точно. Что касается политических взглядов поэта, то из приведенных воспоминаний Свербеева можно сделать следующий вывод: Тютчев был противником крепостного права (по каким соображениям — социально-экономическим, политическим или моральным, мы не знаем) и сторонником представительной, всесословной формы правления.

Обычно политическое мировоззрение Тютчева анализировалось исследователями на основании его публицистических статей 40-х годов. Свидетельство Свербеева ускользнуло от внимания биографов поэта [6]. Между тем оно очень важно, ибо дает возможность изучать политические взгляды Тютчева в их эволюции и позволяет связать формирование его политического мировоззрения с русским общественным движением конца десятых — начала двадцатых годов. Ведь именно проблемы уничтожения крепостной зависимости и введения конституции в России были центральными проблемами идеологической пропаганды Союза благоденствия.

Считая, что «весь народ имеет право участвовать в правительстве», Тютчев едва ли думал о республике. Гораздо вероятнее, что он имел в виду конституционную монархию. Все, что мы знаем о политических воззрениях Тютчева, не оставляет сомнений в последовательности его монархических убеждений. Но это не мешало ему нередко с большой остротой осознавать несоответствие между его представлением о монархии и ее конкретным воплощением в русском самодержавном строе. «В России канцелярия и казарма», «Все движется около кнута и чина», «Мы знали афишку, но не знали действия» [7],— в таких саркастических афоризмах выразил

[5] Там же, т. II, 1899, стр. 143.

[6] Оно впервые было отмечено в рецензии Н. В. Королевой «Последние издания стихотворений Тютчева».— «Вопросы литературы», 1959, № 4, стр. 219.

[7] Дневник М. П. Погодина, запись от 20—25 июня 1825 г.— *ЛБ*. Ср.: Барсуков, 310.

Тютчев, приехавший в Россию в 1825 году, свои впечатления от аракчеевского режима последних лет царствования Александра I [8]. Вместе с тем насильственное ниспровержение самодержавного строя, хотя бы в глазах Тютчева он и обращался в режим «канцелярии и казармы», было неприемлемо для поэта.

Для уяснения политических настроений молодого Тютчева очень важно его стихотворение «14-ое декабря 1825», написанное за границей по получении известия о приговоре декабристам. К осужденным у поэта не нашлось слова сочувствия. Но вместе с тем он был далек и от апологии торжествующего самодержавия.

Его стихотворение представляет собой своего рода ораторскую речь, обращенную к декабристам. Оно состоит из двух строф. В первой дается как бы политическая оценка восстания 14 декабря:

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил,—
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.

Итак, в выступлении декабристов виновно прежде всего самодержавие, «самовластье». Это оно своим произволом «развратило» граждан, побудило их подняться против исторически сложившегося строя. Их вина тем самым оправдывается и смягчается виной самовластья. Но самовластье же и поразило декабристов своим карающим «мечом», и в этом оно по-своему право, ибо на его стороне «закон». Этот закон, со своим кажущимся Тютчеву «неподкупным беспристрастьем», скрепляет приговор самодержавной власти. Но важнее всего для поэта неписанный приговор народа.

Мнение о несочувствии или в лучшем случае равнодушии народа к восставшим, которые, как известно, сами опасались опереться на народные массы, долгое время было общераспространенным. Официальная версия изображала отношение народа к декабристам как открыто враждебное. На самом деле отношение широких народных слоев к декабристам было значительно более сложным.

Усилившиеся в 1826 году крестьянские волнения, как считают советские историки, находятся в явной зависимости от слухов, что вот-вот крепостные получат долгожданную «волю». В некоторых местах возмущения крестьян были вызваны молвой о том, что

[8] Д. Д. Благой обратил внимание на то, что позднее теми же словами Герцен охарактеризовал монархию Николая I: «Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки». См.: Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев).— В кн.: Д. Благой. Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы. М., 1959, стр. 432.

«воля» уже дарована народу покойным царем, но утаивается его преемником. «Народные волнения 1826 г. ...объективно связаны с первым русским революционным выступлением,— пишет М. В. Нечкина,— содержат в себе элемент откликов на него, поскольку стимулированы общей напряженной обстановкой, создавшейся в стране, и отмечены ясно выраженным антифеодальным характером». Знаменательно, в частности, что «крестьянское движение на Украине в 1826—1827 гг. развернулось в тех местах, где прошло восстание Черниговского полка» [9].

Известны факты явного сочувствия «простого» народа к декабристам. И в данном случае, конечно, «живейшее радушие» и пожелания «счастливого пути», с которыми встречали и провожали декабристов-изгнанников незнакомые им жители Тихвина, Ярославля, Вятки, Омска и других городов, еще более показательны, чем знаки внимания к своим заключенным командирам со стороны солдат и матросов.

Вместе с тем кое-где известия о расправе правительства с декабристами были встречены в народной среде с нескрываемым удовлетворением, что свидетельствовало о живучести в ней царистских иллюзий. В этом смысле характерны отклики на казнь декабристов, собранные агентом III Отделения С. И. Висковатовым среди дворовых и кантонистов: «...начали бар вешать и ссылать на каторгу, жаль, что всех не перевесили, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поравняли, да долго ль, коротко ль им не миновать этого» [10].

Когда Тютчев писал свое стихотворение, он, естественно, мог представлять себе отношение народа к декабристам только односторонне, в духе официальной версии. Но он глубоко заблуждался, утверждая, что память о них «как труп в земле, схоронена» от последующих поколений [11].

Во второй строфе Тютчев переходит к историко-философскому осмыслению восстания декабристов, как он его понимал:

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

---

[9] М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II. М., 1955, стр. 423.

[10] Б. Модзалевский. Донесение тайного агента о настроении умов в Петербурге после казни декабристов.— В кн.: «Декабристы». М., 1926, стр. 37.

[11] Следует, впрочем, отметить, что в рукописи имеется зачеркнутый вариант:

И память ваша для потомства
Земле, живая, предана.

В этих строках уже содержится бесповоротное осуждение декабристов, «безрассудно» отважившихся на заранее обреченное дело и ставших «жертвой» своего безрассудства. О жертвенном характере предстоящего выступления писали и многие декабристы (достаточно припомнить «Исповедь Наливайки» Рылеева), но декабристское понимание жертвы было глубоко отлично от тютчевского. Декабристы считали, что гибель ждет тех, кто первым отваживается восстать против «утеснителей народа», но, несмотря на то, их укрепляла мысль о том, что они должны пожертвовать собою «для будущей свободы отечества» [12]. В тютчевском понимании гибель декабристов бесцельна, ибо их жертвенная кровь «скудна» и не оставляет после себя никаких следов.

Но, наряду с таким осуждением декабристов, в каких застывших, неподвижных, мертвых и мертвящих образах рисует Тютчев победившее самовластье: «вечный полюс», «вековая громада льдов», «железная зима» со своим леденящим дыханием! Подобные образы — «тяжелое небо», «ледяная глыба», «полюс», «гранит громадный», «камень неизменный», «север роковой» — станут для Тютчева и в дальнейшем как бы символами императорской России.

Столь же внутренне противоречивый характер носит и стихотворный отклик Тютчева на подавление польского восстания — «Как дочь родную на закланье...» (1831). Отношение Тютчева к этому событию во многом сходно с отношением Пушкина. «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное,— писал Пушкин Вяземскому 1 июня 1831 года,— старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был впрочем наш образ мыслей» [13]. Эта же точка зрения выражена и в стихотворении Пушкина «Клеветникам России». Подобно Пушкину, Тютчев не склонен был связывать восстание в Польше с общеевропейским революционным движением. В глазах поэта взятие Варшавы русскими войсками оправдано прежде всего интересами сохранения государственной целостности России. Но «впечатления европейские» ему были хорошо известны: его непосредственному начальству по русской дипломатической миссии в Мюнхене то и дело приходилось жаловаться баварскому правительству на «скандальные вольности периодической печати», вызванные положением дел в Польше. И как раз в то время, когда баварское правительство приветствовало русский двор с восстановлением «порядка» в Варшаве, царский посланник обращал внимание королевского министра иностранных дел на новые проявления «демагогического шарлатанства» прессы. 16 сентября 1831 года мюнхенский юмористический журнал «Der deutsche Horizont» («Германский горизонт») вышел с титульным листом,

---

[12] Николай Бестужев. Воспоминание о Рылееве.— В кн.: «Воспоминания Бестужевых». М., 1951, стр. 34.

[13] Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 14. Изд-во АН СССР, 1941, стр. 169.

заключенным в траурную рамку, внутри которой было напечатано: «8 сентября русские вступили в Варшаву!.. Деспотизм победил; свобода кончилась! Горе! Горе! Горе!» [14] Как бы ответом если не прямо на этот выпад, то на подобные ему и звучат тютчевские негодующие стихи:

Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
Нет! нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!

В представлении поэта «роковой удар», нанесенный «горестной Варшаве», обусловлен исторической задачей, предопределенной русскому народу:

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.

В этих словах уже можно усматривать намек на будущие славянофильско-великодержавные идеи Тютчева. Точно установить, когда они зародились в политическом сознании поэта, нелегко. В дневнике М. П. Погодина от 6 февраля 1821 года записан разговор со студентом Кубаревым «о соединении всех славянских племен в одно целое, в одно государство» [15]. Мысль эта, по-видимому, очень увлекала Погодина, и если он делился ею с Кубаревым, то более чем вероятно, что он беседовал на ту же тему и с Тютчевым. В том же дневнике записана другая беседа, состоявшаяся 16 марта 1821 года между Погодиным, Тютчевым и ректором университета И. А. Геймом. Речь шла о восстании греческих патриотов против турецкого гнета. По этому поводу Гейм рассказал молодым студентам о так называемом «греческом проекте» Екатерины II и Потемкина. Проект, как известно, заключался в том, чтобы лишить турок их европейских владений и сделать Константинополь центром православной греческой империи. На греческий престол Екатерина прочила своего внука, при крещении нарочно названного Константином. Обсуждая этот проект применительно к событиям новейшего времени, Погодин и Тютчев пришли к выводу: «Целый народ выгнать трудно. Проезд целого народа чрез Мраморное море будет занимателен» [16].

---

[14] *АВПР, МИД*, Канцелярия, арх. № 171, л. 219.
[15] Барсуков, стр. 56.
[16] Там же, стр. 86.

Подобные разговоры могли придти на память Тютчеву в конце двадцатых годов, когда в ходе победоносной войны с Турцией Россия укрепляла свои позиции на Ближнем Востоке. Греция при ее помощи получила независимость, а сама Россия приобрела по Адрианопольскому мирному договору право защиты и покровительства единоверных ей подданных султана. Все это создавало почву для того, чтобы Тютчев мог связывать восточный и славянский вопрос в одно целое.

В 1829 году Тютчев написал стихотворение «Олегов щит», в котором (как и Пушкин в одноименном стихотворении) припомнил летописное сказание о щите, прибитом киевским князем Олегом на городских воротах осажденного им Царьграда. Этот легендарный щит и стал в представлении поэта символом той конечной, провиденциальной цели, к которой стремится русский народ во главе других славянских племен:

Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной мете!

Стихотворение «Как дочь родную на закланье...» заканчивается следующим обращением к польскому народу:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нем.

Сколь бы ни было туманно это понятие «общей свободы», ясно, что «кнут и чин», «зверство янычар», «чревобесие меча» претили сознанию поэта, а самый «коран самодержавья» нуждался в освящении некоей «таинственной метой».

Из трех перечисленных стихотворений Тютчева, позволяющих судить о его политических взглядах двадцатых — начала тридцатых годов, только одно — «Олегов щит» — тогда же было напечатано [17]. Два других — «14-ое декабря 1825» и «Как дочь родную на закланье...» — долгое время оставались неизданными [18]. И это понятно: далекие от передовых политических идеалов, они тем не менее были далеки и от казенно-официального славословия властям предержащим.

---

[17] «Галатея», ч. VI, 1829, № 34, стр. 144.

[18] Стихотворение «Как дочь родную на закланье...» впервые напечатано в журн. «Русский архив», 1879, вып. 3, стр. 385; «14-ое декабря 1825» — «Русский архив», 1881, вып. 2, стр. 340.

2

В годы пребывания Тютчева на дипломатической службе королевство Баварское представляло собой одну из наиболее крупных территориальных единиц, входивших в состав Германского союза.

Германский, а с 1828 года и Таможенный союз были внешними формами, плохо прикрывавшими экономическую отсталость и политическую раздробленность Германии. Полуфеодальным государством оставалась в то время и Бавария. Ее конституционные короли послушно следовали указке блюстителей европейского status quo и считали «полезными и необходимыми» лишь те изменения в законодательстве и государственном управлении, которые проистекали из «свободной воли, обдуманного и просвещенного решения тех, кому господь вверил власть».

Задачи русской императорской миссии в Мюнхене не исчерпывались функциями простого дипломатического представительства. Это был своеобразный орган политического контроля над точным со стороны баварского правительства выполнением тех принципов международной политики, которые были выработаны на европейских конгрессах 1815—1822 годов. Русский министр иностранных дел, родом саксонец, Нессельроде всячески внушал русским посланникам за границей, что «единственным залогом порядка общественного» в Европе является союз России с Австрией и Пруссией [19]. Хлопоча о том, чтобы сплотить крупные и мелкие немецкие дворы вокруг «этого отеческого союза», петербургский кабинет зорко присматривался к малейшим шероховатостям в их отношениях с одной из двух германских держав-«опекунш». В связи с этим царскому правительству не раз доводилось обращаться и к баварскому двору с «дружескими увещаниями», за которыми, однако, всегда скрывалась «сила обуздывающая».

Другой задачей русской дипломатической миссии в Мюнхене была поддержка престижа царской России как в глазах баварского правительства, так и в глазах баварских общественных кругов. В этих целях печатные, заведомо тенденциозные информации о таких событиях русской политической жизни, как, например, восстание декабристов, исходили непосредственно из канцелярии русской миссии.

Архивные материалы почти не дают возможности судить о том, в какой мере ум и знания Тютчева могли найти практическое применение в дипломатической работе. В первые годы жизни в Мюнхене у него, по-видимому, было мало дела. Поэт переписывал или писал под диктовку каллиграфическим почерком, столь отличающимся от его позднейшего «griffonnage», разные дипломатические

---

[19] Инструкция Нессельроде русскому посланнику в Мюнхене от 8 мая 1833 г.— *АВПР, МИД*, Канцелярия, арх. № 142, л. 218 об.

бумаги, преимущественно информационного характера. С назначением на должность второго секретаря русской миссии в Мюнхене Тютчеву доверяется составление депеш более серьезного содержания. Но наиболее ответственным и самостоятельным поручением, которое довелось ему выполнить за время его службы в Мюнхене, были переговоры с правительством новообразованного греческого королевства. Переговоры эти были вызваны следующими политическими обстоятельствами.

В 1832 году по предложению России, Англии и Франции первым королем независимой Греции был провозглашен баварский принц Оттон, второй сын короля Людвига I. Так как Оттону не исполнилось еще семнадцати лет, то при нем учреждено было регентство из трех баварцев: графа Армансперга, профессора Маурера и полковника Гейдена. Это регентство находилось под неусыпным наблюдением Петербурга, Лондона и Парижа. Все первое тридцатилетие в истории новообразованного королевства прошло под знаком непрестанной борьбы между тремя великими державами за право преобладающего влияния в Греции.

Образ действий греческого регентства тотчас же возбудил неудовольствие русского двора. Потребовалось словесно применить «силу обуздывающую», и применить ее через посредство баварского короля. Последний, в качестве отца короля греческого, оказывался, таким образом, в странном положении регента над регентством. Главным поводом для соответствующего вмешательства со стороны петербургского кабинета послужили длительные колебания короля Оттона по вопросу о перемене вероисповедания. По понятным причинам Россия настаивала на принятии им православия. Между тем, в случае если бы старший сын баварского короля умер бездетным, наследником престола становился Оттон, и с этим не могло не считаться баварское правительство.

В конце августа 1833 года Тютчев, лично знакомый с членами регентства, был направлен в столицу греческого королевства Навплию. Поэту было поручено устно разъяснить регентству, в чем именно действия последнего вызывали нарекания со стороны петербургского двора.

Нам неизвестно, как справился Тютчев с этим поручением, в каком духе происходили его переговоры с членами регентства. Однако составленный им по возвращении «проект» депеши обнаруживает умение поэта разбираться в закулисных хитросплетениях дипломатии.

«Волшебные сказки,— пишет Тютчев,— изображают иногда чудесную колыбель, вокруг которой собираются гении-покровители новорожденного. После того, как они одарят избранного младенца самыми благодетельными своими чарами, неминуемо является злая фея, навлекающая на колыбель ребенка какое-нибудь пагубное колдовство, имеющее свойством разрушать или портить те блестящие дары, коими только что осыпали его дружественные

силы. Такова приблизительно история молодой греческой монархии. Нельзя не признать, что три великие державы, взлелеявшие ее под своим крылом, снабдили ее вполне приличным приданым. По какой же странной, роковой случайности выпало на долю баварского короля сыграть при этом роль злой феи? И право, он даже слишком хорошо выполнил эту роль, снабдив новорожденное королевство пагубным даром своего регентства. Надолго будет памятен Греции этот подарок „на зубок“ от баварского короля».

По мнению Тютчева, отправка в Грецию трех человек, «не понимавших греческого языка» и принужденных объясняться с управляемой ими страной через переводчика, имела, однако, «то преимущество» для правителей, что позволяла им относить «на счет неудачного перевода все нелепости и промахи, которые они могли совершить». Но внешняя политика регентства лишена такого «преимущества»; между тем она также нуждается в «истолкователе».

Греческое регентство с первых же шагов проявило свою «независимость» тем, что нарушило установленную Аахенским конгрессом 1818 года «иерархию дипломатических агентов в Европе»: русскому посланнику на приеме у короля дали место ниже английского, позже его аккредитованного. Этого мало. Наступает, по мнению Тютчева, «один из наиболее торжественных моментов в жизни народа»: «посольства Греции явятся к европейским дворам». Кто же будет представлять Грецию в России? Вероятно, еще во время пребывания Тютчева в Навплии, следовательно, еще на месте, до него дошли слухи о намерении регентства назначить греческим посланником в Петербург... англичанина — генерала Ричарда Черча. «...Среди ее посольств есть одно, которому Греция хотела бы придать еще более величественный, еще более национальный характер,— иронизирует Тютчев...— И кому же из своих сынов вручит она честь этого посольства? У нее много славных имен, и весь мир знает их. Он мог бы сам, если нужно, назвать их регентству, и тому осталось бы только произвести выбор... Но регентство не так-то легко удовлетворить, когда дело идет о достоинстве нации. Все эти греки, на которых указывает ему общественное мнение, не удовлетворяют его. В самом деле, что в них греческого, кроме их имен, их крови, их языка, их религии? Чтобы достойно представить Грецию перед Россией, регентству требуется что-нибудь еще более греческое, чем все это; и такого „грека по преимуществу“ оно, наконец, находит: это — английский офицер». Тут Тютчев ставит вопрос: а что, если петербургский двор не согласится принять этого англо-греческого посланника? Ведь «весь позор отказа» падет на несовершеннолетнюю голову короля Оттона, и тогда последний окажется поставленным в положение «enfant du fouet (мальчишки для сечения), которого в старину наказывали за проступки королевских детей». Со своей стороны Тютчев предлагает следующий выход из могущих возникнуть

затруднений: во-первых, убедить баварского короля «сохранить за собой верховное руководство» в деле политических сношений Греции с иностранными правительствами; во-вторых, добиться от него соответствующего давления на регентство в смысле отмены произвольно установленного им «порядка старшинства иностранных представителей при навплийском дворе»; в-третьих, просить короля баварского определить к своему сыну надежного человека, который мог бы служить для него «противоядием влиянию салона г-жи фон Армансперг». «Я уже не говорю о том,— заканчивает Тютчев,— насколько такое лицо, *надлежаще выбранное,* могло бы оказать пользы нашим дипломатическим сношениям и каким коррективом оно послужило бы для нас по отношению к регентству» [20].

Депеше Тютчева нельзя отказать в остроте, если мы взглянем на нее с точки зрения соперничества России с Англией за преимущественное влияние на Ближнем Востоке. Сквозь ироническую форму этого документа в нем проглядывает весьма четкая дипломатическая программа, которая должна была бы прийтись по сердцу петербургскому кабинету: «возбудив отеческую заботливость» баварского короля, фактически перенести греческое Министерство иностранных дел из Навплии в Мюнхен, где оно было бы под надежным прикрытием от английских веяний. Но все эти чисто практические соображения были изложены Тютчевым в такой необычной для дипломатических документов форме, что его начальник нашел депешу «недостаточно серьезной», и она не была отправлена в Петербург.

3

Заграничный период — период исключительной важности в духовном и творческом формировании Тютчева. Тем более досадно, что недостаток фактических данных не позволяет со сколько-нибудь удовлетворительной полнотой установить, кто составлял непосредственное окружение поэта в эти годы его жизни.

До первого приезда Тютчева из-за границы в Россию в 1825 году при нем неотлучно находился его дядька Николай Афанасьевич Хлопов. «В Мюнхене старик остался верен всем русским обычаям,— рассказывает Аксаков,— и в немецкой квартире Тютчева устроил себе уютный русский уголок с иконами и лампадою, словно перенесенный из какого-нибудь московского прихода Николы на Курьих Ножках или в Сапожках. Он взял в свое заведывание хозяйство юного дипломата и собственноручно готовил ему стол,

---

[20] Подлинник по-французски. Автограф хранится в Славянской библиотеке в Париже. Текст депеши опубликован по копии в «Известиях по русскому языку и словесности», 1928, т. I, кн. 2, изд. АН СССР, стр. 529—532.

угощая его, а порою и его приятелей-иностранцев произведениями русской кухни»[21].

Находясь в Мюнхене, Николай Афанасьевич вел постоянную переписку с матерью поэта, сообщая ей все, что касалось жизни ее Феденьки в далеком и чужом городе[22]. В семье Тютчевых сохранилось воспоминание о том, как старый дядька ворчливо уведомлял Екатерину Львовну, что Федор Иванович обменялся часовыми цепочками с юной красавицей, графиней Амалией Лерхенфельд, в которую был влюблен, причем в обмен на золотую получил всего лишь шелковую. Невольно приходит на память пушкинский Савельич, и лишний раз поражаешься жизненности этого литературного образа!

Через несколько лет, расставшись со своим питомцем и проживая «на покое» в доме его родителей, Хлопов заказал икону в ознаменование самых значительных, по его мнению, событий из жизни поэта. На обратной стороне доски рукою Хлопова пояснено, какие это были события. В центре иконы помещено изображение богоматери «Взыскание погибших», празднуемой 5 февраля — «в сей день мы с Федором Ивановичем 1822 года приехали в Петербург, где он вступил в службу». По четырем углам иконы изображены во весь рост святые, память которых отмечается в другие знаменательные для Тютчева дни. Последним по времени и несомненно радостным для самого Хлопова памятным днем было 11 июня 1825 года, день первого приезда — «возвращения» — из Мюнхена в Москву, ровно через три года после отъезда их обоих на чужбину.

Эту икону Николай Афанасьевич завещал горячо им любимому Федору Ивановичу, о чем и сделал соответствующую надпись: «В память моей искренней любви и усердия к моему другу Федору Ивановичу Тютчеву сей образ по смерти моей принадлежит ему. Подписано сего 1826 марта 5-го. Николай Хлопов»[23].

Эти строки, выведенные крупными и четкими буквами уверенной рукой Николая Афанасьевича, прекрасно обрисовывают характер взаимоотношений, существовавших между дядькой и «дитятей», слугою и барином. Только одно слово «усердие» указывает, пожалуй, на социальное неравенство этих отношений. И то, что Тютчев много лет спустя с нежностью вспоминал о своем дядьке, подчеркивает, насколько сильны были связывавшие их чувства «искренней любви» и «дружбы».

Из остальных надписей, сделанных Хлоповым на иконе, в особенности любопытны две: «Генваря 19 1825 года Федор Иванович

---

[21] Аксаков, стр. 18.— В книге Аксакова указывается, что Н. А. Хлопов «остался в Мюнхене до самой женитьбы Федора Ивановича в 1826 году, а потом возвратился к Ивану Николаевичу, в доме которого, через несколько лет, и умер» (там же). Однако Хлопов, сопровождавший поэта в Россию в 1825 г., более уже не возвращался в Мюнхен.

[22] К сожалению, письма Хлопова к Е. Л. Тютчевой не сохранились.

[23] Музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

должен помнить, что случилось в Минхене от его нескромности и какая была опасность» и «20 генваря, то есть на другой же день, кончилось благополучно». По дошедшему до нас устному семейному преданию, записи эти относятся все к тому же увлечению Тютчева Амалией Лерхенфельд; будто бы из-за нее поэту грозила дуэль. В том же 1825 году счастливым соперником Тютчева оказался его сослуживец по мюнхенской миссии барон А. С. Крюденер, женившийся на «прекрасной Амалии».

Чувство, внушенное Тютчеву «младой феей» (когда в 1822 году он впервые встретился с А. Лерхенфельд, ей было четырнадцать лет), запечатлелось в душе поэта как одно из самых светлых воспоминаний «золотого» времени его жизни. Воспоминанию об этих счастливых днях Тютчев посвятил чарующие в своем глубоком лиризме строфы «Я помню время золотое...» (написано в середине 1830-х годов). Изображенный в них пейзаж (долина Дуная, руина замка на вершине холма, цветущие дикие яблони) реален при всей своей романтичности, и только наша недостаточная осведомленность в тютчевской биографии этих лет не позволяет уточнить, какую конкретную местность имел в виду поэт.

Увлечение Тютчева Амалией с годами перешло в дружбу, к которой, однако, всегда примешивался оттенок прежней влюбленности.

5 марта 1826 года Тютчев женился на вдове Элеоноре Петерсон, рожденной графине Ботмер. Род Ботмеров принадлежал к наиболее старинным аристократическим родам Баварии. Первый муж Э. Ботмер Александр Петерсон был русским дипломатом, занимавшим пост поверенного в делах в Веймаре.

Тютчев был на четыре года моложе жены. О красоте и женственности Элеоноры Тютчевой свидетельствуют ее портреты. Ее письма к родителям поэта и к деверю Н. И. Тютчеву рисуют ее как женщину любящую, чуткую, боготворившую мужа, но, по-видимому, серьезные умственные запросы были ей чужды. Деловая и хозяйственная сторона семейной жизни Тютчевых лежала всецело на ней. Не раз приходилось ей выступать в нелегкой роли «покровительницы или пестуна» своего мужа — и всегда с неизменным успехом. Чем была для Тютчева его жена, можно судить по его собственному признанию в одном из позднейших писем к родителям: «...я хочу, чтобы вы знали, что никогда человек не был столь любим другим человеком, сколь я любим ею. Я могу сказать, удостоверившись в этом почти на опыте, что в течение одиннадцати лет не было ни одного дня в ее жизни, когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня. Это нечто весьма возвышенное и весьма редкое, когда оно не фраза» [24].

---

[24] *ЦГАЛИ*. Цит. по статье: О. В. Пигарева. Из семейной жизни Ф. И. Тютчева (1832—1838. По неизданным материалам). «Звенья», кн. 3—4, 1934, стр. 273.

Через тридцать с лишком лет, в стихотворении «В часы, когда бывает...» (1858), Тютчев сравнивал любовь к нему его жены с солнечным лучом, озарившим стены комнаты:

Так мило-благодатна,
Воздушна и светла,
Душе моей стократно
Любовь твоя была.

Вместе с Тютчевыми жила свояченица поэта — Клотильда Ботмер (она была на 10 лет моложе сестры), впоследствии (в 1839 году) вышедшая замуж за второстепенного немецкого поэта, состоявшего на русской дипломатической службе, барона Аполлония Петровича Мальтица. Он и его брат, тоже поэт, принадлежали к числу посетителей тютчевской гостиной в Мюнхене. Завсегдатаями этой гостиной были также сослуживец Тютчева, с 1826 года первый секретарь русской миссии, педантичный Крюденер и его красавица-жена. Кроме начальства поэта по службе, русских посланников при баварском дворе — сначала (с 1828 по 1833 год) И. А. Потемкина, затем (с 1833 по 1837 год) князя Г. И. Гагарина, очень к нему расположенных [25], близкие отношения установились у него с племянником последнего, Иваном Сергеевичем Гагариным, с середины 1833 по конец 1835 года занимавшим должность атташе при русской миссии.

Прочитав в 1874 году биографию Тютчева, написанную И. С. Аксаковым, И. С. Гагарин писал одной из своих знакомых: «Было бы серьезной ошибкой воображать, что Тютчев, проведший двадцать два года в Мюнхене, был в течение всего этого времени погружен в германскую стихию. Несомненно, он прочитал изрядное количество немецких писателей, в течение нескольких месяцев часто видался с Гейне, беседовал иногда с Шеллингом, но по обществу, среди которого жил, по чтению, которое его увлекало, и по всем навыкам своего ума он был гораздо доступнее французским влияниям, нежели немецким. Близость Италии и Франции живо ощущалась в столице Баварии, и, не говоря о дипломатическом корпусе, отличавшемся более или менее космополитическим характером и составлявшем основу общества, которое мы наиболее усердно посещали, в самом баварском обществе были элементы французские и итальянские, которые, не нарушая немецкого благодушия, весьма способствовали устранению из общественных отношений всякой чопорности и придавали мюнхенским гостиным особенно любезный и изящный характер. Разговоры всегда велись по-французски. Были осведомлены о всем, что печаталось в Париже, особенно читали парижские газеты, а германская печать,

---

[25] О взаимоотношениях Тютчева с предшественником Потемкина графом Воронцовым-Дашковым нам ничего неизвестно.

германская литература, германские дела очень мало интересовали это общество»[26].

Доступность Тютчева «французским влияниям» Гагарин несколько односторонне объясняет воздействием мюнхенского общества. Тютчев, действительно, всегда проявлял большой интерес к Франции, но этому способствовали и более непосредственные впечатления. Другой мемуарист, близко знавший Тютчева с 1833 года, баварский аристократ и публицист Карл Пфеффель в заметке, составленной для И. С. Аксакова, рассказывает: «...в 1828 году, если не ошибаюсь, желание видеть и узнать один из великих очагов цивилизации привлекло Тютчева в Париж, где он пробыл довольно долго. Деля время между занятиями и светскими развлечениями, он усердно посещал незабвенные курсы лекций Гизо, Кузена и Вильмена и часто видался с некоторыми из выдающихся личностей той эпохи, а именно из числа последователей Руайе-Коллара... Он проникся спиритуализмом Кузена, либеральным доктринерством Гизо, классическими доктринами Вильмена... По примеру славных учителей, имена которых я только что перечислил, его разговор принимал часто форму ораторской речи: приходилось больше слушать его, чем отвечать»[27].

В сообщении Пфеффеля имеются фактические неточности. Тютчев был в Париже не в 1828, а в первой половине 1827 года[28]. В 1828 году ни Гизо, ни Кузен лекций не читали. Трудно предположить, чтобы Тютчев вторично приехал в Париж в следующем году, когда они возобновили свои курсы. На запрос И. С. Аксакова относительно пребывания Тютчева в Париже, очевидно вызванный заметкой Пфеффеля, И. С. Гагарин отвечал: «...я не помню, чтобы он мне когда-нибудь об этом рассказывал. Во всяком случае он бывал здесь лишь как многие из наших соотечественников,— осматривая памятники, посещая суды и политические собрания, но не имея никаких сношений с французским обществом»[29].

При тех материалах, которыми мы располагаем, проверить достоверность сведений Пфеффеля не представляется возможным. Несомненно, однако, что знакомство с политической жизнью Па-

---

[26] Письмо И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 4 ноября 1874 г. Подлинник по-французски.— Славянская библиотека в Париже.

[27] Подлинник по-французски.— *МА*.

[28] В моем собрании хранится визитная карточка: «Monsieur de Tuttchef, Gentilhomme de la Chambre de S. M. l'Empereur de Russie. Rue d'Artois, № 24» («Г-н Тютчев, камер-юнкер двора е. в. императора всероссийского. Улица д'Артуа, № 24»). На обороте несколько слов, адресованных В. А. Жуковскому: «Просит позволения засвидетельствовать свое почтение Василию Андреевичу» и помета другой рукой: «1827». Жуковский был в Париже в мае — июне 1827 г. Сколько времени провел в Париже Тютчев, установить не удалось. Русские источники не содержат никаких данных на этот счет. Архив парижской полиции, в котором должны были бы находиться сведения о пребывании Тютчева во французской столице, сгорел в 1871 г.

[29] Письмо И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 21 ноября 1874 г. Подлинник (черновой) по-французски.— Славянская библиотека в Париже.

рижа эпохи Реставрации, с идеями французских философов и публицистов этого времени оставило определенный след в сознании Тютчева.

Что же касается воспоминаний Гагарина, заслуживающих серьезного внимания, в них явно недооценивается значение «германской стихии» в жизни и духовном формировании поэта. Связи Тютчева с мюнхенской литературной и ученой средой были и шире, и крепче, чем это казалось Гагарину. Но сложились они, вероятно, уже по возвращении поэта в Мюнхен после первой поездки в Россию в 1825 году. По крайней мере, судя по скупым намекам в дневнике М. П. Погодина, видевшего Тютчева в бытность его в Москве, круг знакомств поэта ограничивался в то время мюнхенским придворно-аристократическим обществом [30].

Со второй половины двадцатых годов в Мюнхене наблюдается заметное оживление общественной жизни. Вступивший на престол в 1825 году король Людвиг I старался играть роль «просвещенного монарха» и «либерала». Он заявил, что незачем раздражать общественное мнение постоянными напоминаниями о монархических принципах, отменил цензуру для непериодических изданий и, называя себя «другом древних греков», пожертвовал крупную сумму денег в пользу греческих патриотов, боровшихся за национальную независимость. Людвиг I стремился превратить столицу своего королевства в «немецкие Афины»: в Мюнхене был возведен ряд архитектурных сооружений в классическом стиле, открыты музеи. Широкую известность далеко за пределами Баварии приобрел мюнхенский университет, куда были привлечены для чтения лекций знаменитый философ Шеллинг, выдающийся филолог-эллинист Тирш, известный естествоиспытатель Окен, философ-мистик Баадер. Среди вольнослушателей университета было немало иностранцев, в том числе и русских. Полтора года провел в Мюнхене Петр Васильевич Киреевский, будущий собиратель русских народных песен. Он, как и несколько позже его брат Иван, был привлечен сюда лекциями Шеллинга.

Рассказывая в письме к брату о своем первом знакомстве с Тиршем, ректором Мюнхенского университета, П. В. Киреевский пишет: «Потом говорил (Тирш.— *К. П.*) о Тютчеве, как о своем хорошем знакомом, и очень хвалил его. Говорил, что и Шеллинг *очень коротко* знаком с Тютчевым» (курсив мой.— *К. П.*) [31].

Не обходится без разговора о Тютчеве и первая встреча П. В. Киреевского с Шеллингом. «Очень хвалил Тютчева,— отмечает Киреевский в своем дневнике.— Das ist,— сказал он между

[30] «Говорил он об обществах: в Мюнхене общество малочисленное,— придворные и пр.» (Дневник М. П. Погодина, запись от 26 июня 1825 г.— *ЛБ*).

[31] Письмо П. В. Киреевского к И. В. Киреевскому от 12/24 сентября 1829 г. «Русский архив», 1905, кн. II, стр. 121.

прочим,— ein sehr ausgezeichneter Mensch, ein sehr unterrichteter Mensch, mit dem man sich immer gerne unterhält»[32].

Итак, ни знакомство Тютчева с Тиршем, ни знакомство с Шеллингом не было случайным или поверхностным. Сближению русского поэта с немецким философом могло немало способствовать то сочувственное отношение, которое в это время Шеллинг проявлял к России. Говоря с П. В. Киреевским о русско-турецкой войне, только что завершившейся Адрианопольским мирным договором, Шеллинг, между прочим, сказал: «России суждено великое назначение, и никогда еще она не выказывала своего могущества в такой полноте, как теперь; теперь в первый раз вся Европа, по крайней мере все благомыслящие, смотрят на нее с участием и желанием успеха; жалеют только, что в настоящем положении ее требования, может быть, слишком умеренны»[33].

Знакомство Тютчева с Шеллингом поддерживалось в течение многих лет. Н. А. Мельгунов, проживший в Мюнхене почти всю осень 1836 года, называет поэта «приятелем» Шеллинга[34]. О беседах Тютчева с Шеллингом, при которых ему доводилось присутствовать, вспоминал Карл Пфеффель[35].

Но, к сожалению, мы не располагаем никакими подробностями относительно общения Тютчева с философом, близким ему по своему мироощущению и оказавшим известное воздействие на его духовное самосознание.

Бо́льшими данными обладаем мы в отношении знакомства Тютчева с Генрихом Гейне. Первая встреча Тютчева с Гейне-поэтом предшествовала его личному знакомству с ним. В апреле 1823 года вышел сборник стихов Гейне под заглавием «Tragödien

---

[32] «Это превосходнейший человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь» («Московский вестник», 1830, ч. I, № 1, стр. 115).

[33] Там же.— Разговор происходил 7 октября 1829 г.

[34] Н. Мельгунов. Шеллинг. (Из путевых записок). «Отечественные записки», т. III, 1839, отд. VIII, стр. 120.— Мельгунов, как и П. Киреевский, упоминает о расположении Шеллинга к России: «...Шеллинг любит Россию и русских... Шеллинг, в особенности, ...имеет о России высокое понятие и ожидает от нее великих услуг для человечества» (там же, стр. 121).

[35] В некрологе Тютчева, помещенном в газете «Union» и перепечатанном в приложении к аксаковской биографии поэта, Пфеффель приводит запомнившееся ему возражение Тютчева Шеллингу, который якобы «увлекался идеею примирить философию с христианством без его ореола божественного откровения» (Аксаков, стр. 319). Приводимые Пфеффелем слова вообще характерны для взгляда Тютчева на религию, но, по-видимому, мемуарист запамятовал обстоятельства, при которых он их слышал. Как указывает П. С. Попов в неопубликованной работе «Тютчев и Шеллинг», «есть все основания отрицать правильность свидетельства Пфеффеля; такого спора не могло быть, или, иначе говоря, в уста Тютчева вложены слова, которые не могли быть возражением Шеллингу; Шеллинг должен был бы признать безусловную правильность всего высказанного Тютчевым, потому что по существу таковы же были и его мысли в данном вопросе» (*МА*, Н-17).

nebst einem lyrischen Intermezzo» («Трагедии с лирическим интермеццо»). В этом сборнике внимание Тютчева привлекло небольшое стихотворение «Ein Fichtenbaum steht einsam...», которое вскоре стало одним из популярнейших произведений Гейне как в Германии, так и за рубежом. В России это стихотворение приобрело большую известность главным образом благодаря переложению Лермонтова, но именно Тютчеву принадлежит честь его первого перевода на русский язык.

Перевод стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam...» («На севере мрачном, на дикой скале...») был помещен в альманахе «Северная лира» на 1827 год вместе с шестью оригинальными и переводными стихотворениями Тютчева. Одно [36] написано поэтом еще до отъезда за границу; три датируются 1823—1824 годами. Хотя альманах «Северная лира» и разрешен цензурой 1 ноября 1826 года, есть основания полагать, что и два недатированных стихотворения, одним из которых является перевод стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam...», относятся ко времени, предшествовавшему первому приезду Тютчева из Мюнхена в Россию в 1825 году.

К сравнительно ранним тютчевским переводам принадлежит, судя по своей художественной фактуре, и перевод стихотворения Гейне «Liebste, sollst mir heute sagen...» («Друг, откройся предо мною...») [37]. Немецкий подлинник был опубликован впервые в альманахе «Aurora» за 1823 год и перепечатан в том же сборнике «Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo».

Кроме двух упомянутых стихотворений, до знакомства Тютчева с Гейне могли быть переведены еще четыре: «Как порою светлый месяц...» («Wie der Mond sich leuchtend dränget...»), «Закралась в сердце грусть,— и смутно...» («Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich...»), «Вопросы» («Fragen») и «Кораблекрушение» («Der Schiffbrüchige»). Подлинники первых двух стихотворений, входящих в цикл «Die Heimkehr» («Возвращение на родину») были напечатаны в первом томе «Reisebilder» («Путевые картины»), вышедшем в мае 1826 года. Третье и четвертое стихотворения — из цикла «Die Nordsee» («Северное море») — появились во втором томе «Путевых картин», выпущенном в апреле 1827 года. В октябре того же года все четыре стихотворения были перепечатаны в сборнике «Buch der Lieder» («Книга песен»), объединившем все самое значительное, что до тех пор было написано Гейне в стихах.

К тому времени, когда между Тютчевым и Гейне установилось личное знакомство, Гейне был уже широко известным и популярным в Германии писателем. Немецкая молодежь не только заучивала, но и распевала его стихи. Реакционеры же всех мастей сразу

---

[36] Отрывок послания к А. Н. Муравьеву, приведенный в статье Делибюрадера (Д. П. Ознобишина) «Отрывок из сочинений об искусствах».

[37] Впервые напечатан в журн. «Галатея» за 1830 г.

почувствовали в авторе «Путевых картин» своего опасного врага. В некоторых немецких государствах «Путевые картины» тотчас по своем появлении подверглись запрещению.

Растущая известность Гейне побудила мюнхенского издателя барона Котту предложить ему редактирование газеты «Politische Annalen» («Политические летописи»). Казалось бы, редактирование умеренно либеральной газеты мало подходило для такого страстного противника социального зла во всех его проявлениях, каким был Гейне, но он принял предложение Котты, так как надеялся, что это откроет ему путь к профессуре в мюнхенском университете. В конце ноября 1827 года Гейне прибыл в Мюнхен, где и оставался до июля 1828 года.

«...Знаете ли вы дочерей графа Ботмера..? — писал Гейне 1 апреля 1828 года К. А. Фарнгагену фон Энзе.— Одна уже не очень молодая, но бесконечно очаровательная, состоящая в тайном браке [38] с молодым русским дипломатом и моим лучшим другом Тютчевым, и ее очень юная красавица-сестра — вот две дамы, с которыми я нахожусь в самых приятных и лучших отношениях. Они обе, мой друг Тютчев и я, мы часто обедаем partie carrée [39], а по вечерам, когда я встречаю у них еще несколько красавиц, я болтаю сколько душе угодно, особенно про истории с привидениями. Да, в великой пустыне жизни я повсюду умею найти какой-нибудь прекрасный оазис» [40]. Свояченица Тютчева Клотильда Ботмер на некоторое время овладела сердцем и вдохновением Гейне. Ряд стихотворений, позднее вошедших в цикл «Neue Frühling» («Новая весна»), навеян «приятными» часами, проведенными в ее обществе.

В статьях о Тютчеве и Гейне распространено утверждение, что влиянием бесед с русским поэтом объясняются на первый взгляд неожиданные для автора «Путевых картин» рассуждения о России в тридцатой главе третьей части его книги. Рассуждения эти вызваны победоносными действиями русских войск на Ближнем Востоке во время начавшейся в 1828 году русско-турецкой войны.

Гейне пишет: «...в удивительной смене лозунгов и вождей, в этой великой борьбе обстоятельства сложились так, что самый пылкий друг революции видит спасение мира только в победе России и даже смотрит на императора Николая как на гонфалоньера свободы». Гейне противопоставляет Россию Англии, где великая хартия вольностей якобы гарантирует личную свободу и где некогда находили убежище «все свободные умы»: «Если сравнить в смысле свободы Англию и Россию, то и самый мрачно настроенный человек не усомнится, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических обстоятельств, в России же — на

---

[38] Это место в письме Гейне представляется загадочным. По-видимому, по невыясненным причинам, женитьба поэта долгое время не оглашалась.

[39] Вчетвером (*франц.*).

[40] Heinric H e i n e. Briefe, Bd. I. Mainz [1950], S. 353; Ср.: Генрих Г е й н е. Собрание сочинений, т. 9. Гослитиздат, 1959, стр. 468.

основе принципов». И если Англия «застыла в своих, не поддающихся омоложению, средневековых учреждениях», то «принципы, из которых возникла русская свобода или, вернее, на основе которых она с каждым днем все больше и больше развивается, это — либеральные идеи новейшего времени; русское правительство проникнуто этими идеями, его неограниченный абсолютизм является скорее диктатурой, направленной к тому, чтобы внедрить идеи непосредственно в жизнь; это правительство не уходит корнями в феодализм и клерикализм, оно прямо враждебно силам дворянства и церкви; уже Екатерина ограничила церковь, а право на дворянство дается в России государственной службой; Россия — демократическое государство, я бы назвал ее даже христианским государством, если употреблять это столь часто извращаемое понятие в его лучшем космополитическом значении: ведь русские уже благодаря размерам своей страны свободны от узкосердечия языческого национализма, они космополиты или по крайней мере на одну шестую космополиты, поскольку Россия занимает почти шестую часть всего населенного мира» [41].

В рассуждениях Гейне, действительно, можно обнаружить соответствие тютчевским мыслям, но мыслям, высказанным значительно позднее — в его политических статьях сороковых годов. Таковы утверждения об отсутствии в России феодализма и клерикализма, сравнение «последствий русского варварства и английского просвещения» [42] и, наконец, признание России «христианской империей» [43]. Среди произведений Тютчева более раннего времени нет ни одного, где были бы высказаны подобные мысли, да и вообще до сороковых годов Тютчев ни разу не излагал своих взглядов на Россию с такой полнотой, с какой это сделал Гейне в цитированной главе «Путевых картин». Служит ли это основанием к тому, чтобы допустить в данном случае обратное воздействие — не Тютчева на Гейне, а Гейне на Тютчева? Едва ли, хотя некоторые высказывания, близкие к тем, которые содержатся в «Путевых картинах», обнаруживаются и в других произведениях Гейне, в частности, предшествующих его знакомству с Тютчевым [44].

Н. Я. Берковский справедливо указывает в примечаниях к «Путевым картинам», что, говоря о России, Гейне поддался «довольно распространенному в тогдашней европейской литературе заблуждению, будто в России царская власть выполняет революционную миссию и стоит ближе к интересам нации, чем к интересам дворянства. Император Николай I снискал себе известную популяр-

---

[41] Генрих Гейне. Собрание сочинений, т. 4. Гослитиздат, 1957, стр. 224—227.

[42] Ф. И. Тютчев. Россия и Германия.— Полное собрание сочинений. Изд. 6. СПб., Т-во А. Ф. Маркс, [1912], стр. 451—452.

[43] Его же. Россия и Революция.— Там же, стр. 457.

[44] См.: A. Kerndl. Studien über Heine in Russland, II. Heine und Tjutčev. «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. XXIV, Heft 2, 1956, S. 327—328.

ность в Европе своим вмешательством в греческие дела,— после битвы при Наварине, где Россия выступала в союзе с Францией и Англией, Турция вынуждена была предоставить грекам независимость. Гейне приписывает бескорыстные мотивы весьма корыстной и расчетливой, лишенной принципиальной последовательности политике Николая I на Ближнем Востоке»[45].

Очень возможно, что в плену этого распространенного заблуждения находился в конце двадцатых годов и Тютчев, еще не изживший усвоенных им от своих московских друзей «святых истин». В 1829 году он перевел на русский язык стихотворение баварского короля Людвига I «Императору Николаю I», в котором русский царь прославлялся как защитник и освободитель угнетенных греков. Характерно, что внимание Тютчева привлекла и тридцать первая глава «Путевых картин» Гейне, т. е. непосредственно следующая за той, в которой высказаны его размышления о России. Тридцать первая глава книги Гейне представляет собой восторженный гимн в прозе восходящему солнцу, символизирующему в глазах писателя наступление «прекрасного дня» свободы. Тютчев переложил прозу Гейне белыми стихами. Наряду со строками об «общей свободе» славянских народов в стихотворении «Как дочь родную на закланье...» этот перевод служит свидетельством того расплывчатого свободолюбия, которое было свойственно политическим взглядам Тютчева в этот период.

Дружеское общение Тютчева с Гейне прервалось летом 1828 года. Издание «Politische Annalen» прекратилось, и Гейне уехал в Италию, исторические и художественные памятники которой давно уже манили его к себе[46]. Он надеялся по возвращении в Мюнхен занять обещанную ему кафедру в университете и при отъезде заручился покровительством баварского министра внутренних дел, посредственного стихотворца и драматурга Эдуарда фон Шенка. Однако личное расположение к нему Шенка натолкнулось на озлобленное противодействие клерикально-католической клики, начавшей ожесточенную антисемитскую травлю Гейне в печати. Не догадываясь об этом и не имея никаких сведений о ходе своего дела, Гейне вспомнил о своем «лучшем» мюнхенском друге и обратился к его посредничеству.

---

[45] Генрих Гейне. Собрание сочинений, т. 4, стр. 495—496.

[46] В письме И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 28 октября 1874 г. содержится сообщение, что Тютчев «с женой и Генрихом Гейне совершил путешествие в Тироль и, кажется, в Северную Италию». При этом Гагарин высказывает уверенность в том, что до Инсбрука Тютчевы не расставались с Гейне (см.: Георгий Чулков. Тютчев и Гейне. «Искусство», 1923, № 1, стр. 362). По свидетельству самого Тютчева, он с женой и свояченицей К. Ботмер посетил Тироль «за пятнадцать месяцев» до рождения дочери Анны (см. ниже, стр. 89), следовательно, в самом начале 1828 г. Гейне незадолго до того приехал в Мюнхен. Свидетельство Тютчева трудно согласовать с сообщением Гагарина, так как знакомство поэта с Гейне состоялось, по-видимому, не ранее февраля 1828 г. (см.: A. Kerndl. Studien über Heine in Russland, II. Heine und Tjutčev, S. 285).

В письме, отправленном из Флоренции и датированном 1 октября 1828 года, Гейне сообщает Тютчеву, что, не получая от Шенка ответа на письмо, посланное уже около месяца назад, он только что написал ему второе письмо, которое и просит Тютчева доставить по назначению. «Навестите его через несколько дней,— добавляет Гейне,— он знает, что вы мой истинный друг, скажите, что я сообщил вам, от чего зависит мое возвращение в Германию. Ведь вы дипломат, вы легко сможете так разузнать о положении моих дел, чтобы Шенк и не подозревал, что я просил вас об этом, и не счел себя свободным от обязательства написать мне лично» [47].

Ответ Тютчева на это письмо нам неизвестен. Профессуры в Мюнхене Гейне не получил.

Расставшись с Гейне, Тютчев продолжал следить за его новыми произведениями. К концу 1829 — началу 1830 года может быть отнесен уже упомянутый перевод из третьей части «Путевых картин» (книга Гейне вышла в свет в декабре 1829 года).

В этой главе образ месяца, бледнеющего на небе при солнечном восходе, настолько поразил поэтическое воображение Тютчева, что дважды, в своеобразном творческом переосмыслении, возник под его пером в одновременно написанных стихотворениях: «В толпе людей, в нескромном шуме дня...» и «Ты зрел его в кругу большого света...».

Чтение вышедших в 1832 году публицистических очерков Гейне «Französische Zustände» («Французские дела») также натолкнуло Тютчева на создание самостоятельного стихотворения. Прочитав в книге Гейне следующие строки о Лафайете: «Конечно, он не гений, каким был Наполеон, в голове которого гнездились орлы вдохновения, меж тем как в сердце вились змеи расчета» [48], Тютчев тут же написал стихи о Наполеоне, в которых развил образы Гейне:

Два демона ему служили,
Две силы дивно в нем срослись:
В его главе орлы парили,
В его груди змии вились.
Ширококрылых вдохновений
Орлиный дерзостный полет,
Но в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчет.

---

[47] Письмо Гейне к Тютчеву было впервые напечатано Адольфом Штродтманом в немецком переводе с французского подлинника в гамбургском ежемесячнике «Orion» (1863, Bd. I, S. 379—388). Местонахождение оригинала неизвестно. Немецкий перевод неоднократно перепечатывался в собраниях писем Гейне, последний раз — в изд.: Heinrich Heine. Briefe. Erste Gesamtausgabe nach den Handschriften herausgegeben, eingeleitet und erläutert von Friedrich Hirth, Bd. 1. Mainz, [1950], S. 375—377; Bd. 4, Mainz, [1951], S. 199 (комментарий к письму). В русском переводе вошло в изд.: Генрих Гейне. Собрание сочинений, т. 9. Гослитиздат, 1959, стр. 478.

[48] Генрих Гейне. Собрание сочинений, т. 5. Гослитиздат, 1958, стр. 263—264.

В последующие годы Тютчев перевел одно стихотворение Гейне из цикла «Neue Gedichte» («Новые стихотворения»), напечатанное в 1834 году в первой части «Салона»,— «In welche soll'ich mich verlieben...» («В которую из двух влюбиться...») и создал замечательную вариацию на тему опубликованного там же стихотворения «Es treibt dich fort von Ort zu Ort...» («Из края в край, из града в град...»).

С отъездом Гейне из Мюнхена жизненные дороги двух поэтов разошлись. Правда, в июне 1830 года, по пути в Россию, Тютчев с женой и свояченицей «растрогали» Гейне своим посещением в глухом Вандсбеке [49]. Упоминания о Тютчеве и его семье изредка попадаются в переписке Гейне. 10 июня 1832 года, когда Гейне уже находился в Париже, драматург М. Беер писал ему из Мюнхена: «То, что вы во Франции,— это, конечно, выигрыш для публики и для вас. Это мнение разделяет со мной Тютчев, с которым я теперь часто вижусь и говорю о вас». В письме от 24 октября того же года Гейне просил Ф. Гиллера разузнать «в Мюнхене ли еще Тютчевы и что они делают», и прибавлял: «Не забудьте об этом» [50]. Последнее свидание Тютчева со своим мюнхенским другом состоялось в Париже в 1853 году. Гейне в это время уже был изнурен мучительной предсмертной болезнью; однако Тютчев «нашел его все еще полным жизни» [51].

Подробности этого последнего свидания нам неизвестны.

Именами Гейне, Шеллинга, Тирша, Беера, конечно, не ограничиваются связи Тютчева с представителями литературно-ученых и художественных кругов Мюнхена двадцатых — тридцатых годов. Тютчев был знаком и с Линднером, совместно с Гейне редактировавшим «Politische Annalen». Встречался он и с известным немецким архитектором Лео фон Кленце, украсившим Мюнхен своими постройками. Художнику Вильгельму Каульбаху, автору исторических и аллегорических композиций, Тютчев подсказал сюжет фрески «Битва гуннов», созданной в 1834—1837 годах и находящейся в Берлинском музее [52].

К сожалению, сведения о взаимоотношениях поэта со всеми этими лицами глухи и отрывочны. Но несомненно, что недостатка в обществе интересных для него собеседников Тютчев в эти годы не испытывал, а ведь это всегда являлось для него жизненной потребностью.

---

[49] См. письмо Гейне к К. А. Фарнгагену фон Энзе от 21 июня 1830 г. из Вандсбека.— Heinrich H e i n e. Briefe, Bd. I, S. 454.

[50] Heinrich H e i n e. Briefe, Bd. 2. Mainz, [1950], S. 2, 26.

[51] См.: А. О. С м и р н о в а - Р о с с е т. Автобиография. М., 1931, стр. 332; K. A. V a r n h a g e n v o n E n s e. Tagebücher, Bd. X, S. 323.

[52] См. письмо К. Пфеффеля к Эрн. Ф. Тютчевой от 23 февраля 1860 г *М. А*.

4

И. С. Аксаков писал в «Биографии Ф. И. Тютчева» о полном отрыве поэта от родины в заграничный период его жизни. Позднее В. Я. Брюсов указывал, что такое представление о Тютчеве ошибочно, ибо связи его с Россией не порывались и на чужбине[53]. При этом Брюсов ссылался на то, что Тютчев неоднократно за время своего пребывания за границей приезжал в Россию, общался с русскими, бывавшими в Мюнхене, печатал стихи в русских журналах и альманахах. Все это так. И тем не менее, если Аксаков и преувеличил степень отрыва Тютчева от родины, то все же в утверждении биографа была и доля истины.

На первых порах «русский дух» поддерживался в мюнхенской квартире Тютчева усилиями старого дядьки Хлопова. Но как ни любил поэт Николая Афанасьевича, общение с ним не могло заменить ему московских друзей. В это время, по-видимому, он наиболее остро ощущал разлуку с ними. По крайней мере, посылая им свой перевод «Песни Радости» Шиллера, сделанный в феврале 1823 года, он писал:

...Мне ли петь сей гимн веселый
От близких сердцу вдалеке,
В неразделяемой тоске,—
Мне ль Радость петь на лире онемелой?
Веселье в ней не сыщет звука,
Его игривая струна
Слезами скорби смочена,—
И порвала ее Разлука!

К первым же годам жизни Тютчева в Мюнхене должен быть отнесен и его перевод стихотворения Байрона «Lines written in an album at Malta» («Строки, написанные в альбом на Мальте»). Стихи эти переводились и до и после Тютчева[54], но только в его переводе допущено своеобразное переосмысление подлинника.

У Байрона стихотворение написано в альбом женщины. Поэт надеется, что когда-нибудь эти строки привлекут к себе ее «задумчивый взор» и она поймет, что на страницах альбома погребено его сердце. У Тютчева же стихотворение обращено не к женщине, а к друзьям. Изменено и самое заглавие: «В альбом друзьям». Любовная тема совершенно устранена из перевода и заменена темой

---

[53] В. Я. Брюсов. Легенда о Тютчеве. «Новый путь», 1903, ноябрь, стр. 16—30.

[54] Имеются, например, переводы И. И. Козлова («Новости литературы», 1822, № 12), П. А. Вяземского («Дамский журнал», 1823, № 1), Ал. Бистрома («Московский телеграф», 1825, № 15), М. Ю. Лермонтова («Стихотворения М. Лермонтова». СПб., 1840) и др.

разлуки с друзьями:

Как медлит путника вниманье
   На хладных камнях гробовых;
Так привлечет друзей моих
   Руки знакомой начертанье!..
Чрез много, много лет оно
   Напомнит им о прежнем друге:
«Его — нет боле в вашем круге;
   Но сердце здесь погребено!..» [55]

В той же книжке альманаха «Северная лира» на 1827 год, в которой впервые появились эти стихи, был помещен и перевод стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam...». Ссылка на то, что это перевод, в альманахе отсутствовала. Стихотворение было напечатано под заглавием «С чужой стороны», принадлежащим переводчику, и с пометой после текста: «Минхен». Тем самым, как было в свое время указано Ю. Н. Тыняновым, стихам об одиноком кедре (у Гейне — сосна), которому снится одинокая пальма, Тютчев придал «характер собственной лирической темы» [56]. Напечатанные же одновременно стихотворения «В альбом друзьям» и «С чужой стороны» приобрели в какой-то мере тождественный смысл — смысл дружеского привета с чужбины.

В 1825 году Тютчев провел несколько месяцев в России — в Москве и Петербурге. Своего прежнего воспитателя он в Москве не застал: С. Е. Раич еще весной того же года уехал на Украину с семьей одного харьковского помещика, сына которого он обучал, и вернулся оттуда только в августе 1826 года [57]. За это время распался его кружок. Встречался Тютчев со своим бывшим университетским товарищем М. П. Погодиным, но, насколько можно судить по записям погодинского дневника, между молодым дипломатом и сыном крепостного крестьянина наметилось некоторое отчуждение. «Увидел Тютчева, приехавшего из чужих краев,— пишет Погодин,— говорили с ним об иностранной литературе, о политике, образе жизни тамошнем и пр. Мечет словами, хотя и видно, что он там не слишком много занимался делом; он пахнет двором» [58]. Этот внешний налет дворцового лоска, усвоенный Тютчевым в придворно-аристократических гостиных Мюнхена и меньше всего отвечавший внутренней сущности поэта, обусловил предубежденное отношение Погодина к своему бывшему однокашнику. Тогда же он заносит в дневник и такую запись: «Смотрел на

---

[55] Цит. по тексту альманаха «Северная лира», 1827, стр. 441.
[56] «Тютчев и Гейне».— Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы. [Л.], 1929, стр. 395.
[57] См.: «Русский библиофил», 1913, № 8, стр. 28—29.
[58] Дневник М. П. Погодина, запись от 20—25 июня 1825 г.— *ЛБ*. Ср.: Барсуков, стр. 310.

маленькое кокетство Александры Николаевны Трубецкой, которой, как говорит, не нравится Тютчев, но она говорит с ним беспрестанно. Говорил он об обществах: в Мюнхене общество малочисленное,— придворные и пр. Et la bourgeoisie reste à coté [59],— сказала она. О, магнаты! Я думаю, а теперь уверен, что у них есть что-то в крови неприязненное с другими классами. Так и должно быть по законам физическим» [60].

Тем не менее взаимоотношения между Тютчевым и Погодиным продолжали поддерживаться по-прежнему. «Ездил к Тютчеву,— записывает однажды Погодин.— Говорили о бедности нашей в мыслях, о заморе, о духе, политике и пр. Взял у него о Бейроне и др. книги и восхищался» [61]. Погодин был занят в этом году подбором материала для задуманного им альманаха «Урания». Три стихотворения дал ему и Тютчев («К Нисе», «Песнь скандинавских воинов» и «Проблеск»). 17 сентября 1825 года, после очередной встречи с Тютчевым, Погодин отметил в дневнике: «Говорил с Тютчевым, с которым мне не говорится. Остро сравнивал он наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные к ним кораблекрушением» [62]. Погодин не указывает, чем именно вызвано данное замечание Тютчева. Возможно, что Погодин рассказывал ему о деятельности Общества истории и древностей российских, членом которого был избран незадолго до того,

В какой степени Тютчев в течение своего пребывания в Москве соприкасался с русской литературной жизнью, неизвестно. Имеются сведения, что он был вхож в литературно-артистический салон княгини Зинаиды Александровны Волконской, где, следовательно, имел возможность встречаться и с «любомудрами», и со многими другими представителями тогдашней литературной Москвы. Можно предполагать, что Тютчев посещал также своего бывшего университетского профессора А. Ф. Мерзлякова, находившегося в это время в Москве.

Один интересный эпизод из жизни Тютчева в Москве осенью 1825 года сообщает в своих мемуарах Д. И. Завалишин. Бывший в то время лейтенантом 8-го флотского экипажа, Завалишин в начале ноября 1825 года получил отпуск и приехал из Петербурга в Москву. Мачеха его была родной сестрой Е. Л. Тютчевой, и он на правах родственника остановился в доме Тютчевых. Завалишин привез с собой список «Горя от ума», сделанный им с подлинной рукописи Грибоедова. «Привезенным мною экземпляром „Горе от ума“,— рассказывает Завалишин,— немедленно овладели сыновья Ивана Николаевича, Федор Иванович... и Николай Иванович, офицер гвардейского генерального штаба, а также и племянник

---

[59] А буржуазия остается в стороне (*франц.*).
[60] Дневник М. П. Погодина, запись от 20—25 июня 1825 г.— *ЛБ*.
[61] Там же.
[62] *ЛБ*. Ср.: Барсуков, стр. 310.

Ивана Николаевича Алексей Васильевич Шереметев, живший у него же в доме... Как скоро убедились, что списанный мною экземпляр есть самый лучший из известных тогда в Москве, из которых многие были наполнены самыми грубыми ошибками и представляли сверх того значительные пропуски, то его стали читать публично в разных местах и прочли, между прочим, у кн. Зинаиды Волконской, за что и чтецам и мне порядочно-таки намылила голову та самая особа, которая в пьесе означена под именем кн. Марьи Алексеевны» [63].

В воспоминаниях того же Завалишина есть еще одна любопытная деталь, касающаяся Тютчева. Хотя мемуары Завалишина, в которых он, вопреки исторической правде, всячески выдвигает себя как одного из главных деятелей Северного общества, и считаются источником малоавторитетным, то, что говорится в них о Тютчеве, вряд ли может внушать подозрения в своей достоверности.

Одновременно с Тютчевым и Завалишиным находился в Москве их общий родственник граф А. И. Остерман-Толстой. Однажды, в конце ноября или в первых числах декабря, он вызвал к себе Завалишина и стал пенять ему за то, что тот не едет в Казань к матери. Завалишин отвечал, что ему, может быть, придется возвратиться в Петербург, и сослался на служебные обязанности. «Ну все это хорошо,— возразил ему Остерман-Толстой,— только вот что я тебе скажу: в Петербург отпущу я одного Федора, он не опасен; да и тому, впрочем, велел я скорее убираться к своему месту в Мюнхен» [64].

Из этого сообщения Завалишина следует, что Остерман-Толстой, во-первых, знал или подозревал о брожении умов в Петербурге и, во-вторых, был совершенно убежден в политической «неопасности» Тютчева. Эту деталь нельзя не учитывать при характеристике политического облика поэта.

Поездка Тютчева в Петербург была неизбежна в связи с предстоящим возвращением за границу. Где находился Тютчев в самый день восстания 14 декабря 1825 г., в точности неизвестно [65]. В конце месяца он был в Петербурге. Туда же в двадцатых числах приехал Погодин, незадолго до того выпустивший альманах «Урания». Среди помещенных в нем прозаических произведений была его антикрепостническая повесть «Нищий», и Погодин опасался, как бы правительство не усмотрело в ней «согласия с образом мыслей заговорщиков» и «не притянуло» его к допросу. Тютчев всячески старался ободрить своего товарища [66]. По-видимому, в последних числах декабря 1825 или в самом начале 1826 года,

---

[63] Дмитрий Завалишин. Воспоминания о Грибоедове. «Древняя и новая Россия», 1879, № 4, стр. 314.

[64] Д. И. Завалишин. Записки декабриста. СПб., 1906, стр. 176.

[65] См.: Георгий Чулков. Стихотворение Тютчева «14 декабря 1825 года».— «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928, стр. 66—67.

[66] См.: Барсуков, стр. 329.

подчиняясь приказанию своего старшего родственника и покровителя Остермана-Толстого, Тютчев выехал в Мюнхен, вновь расставшись с Россией на четыре с лишком года.

За это время в Мюнхен дважды приезжал его брат (в 1828 году и весной 1830 года). В течение ряда месяцев, начиная с осени 1829 года, Тютчев постоянно видался там же с П. В Киреевским, который брал у него книги по философии. «У Тютчева... я бываю непременно раза два в неделю и люблю его и все его семейство за их ум, образованность и необыкновенную доброту,— писал Киреевский брату 5/17 января 1830 года.— Они принимают меня и со мной обходятся так, как добрее и внимательнее нельзя...» [67].

Поэзия Тютчева не была пустым звуком для П. В. Киреевского. «Скажите Максимовичу, что Тютчев обещает дать пиес 7 для альманаха»,— сообщает он однажды своим московским родным, имея в виду задуманный Максимовичем альманах «Денница» [68].

Весной 1830 года прибыл в Мюнхен старший брат П. В. Киреевского Иван вместе с близким к семье Елагиных-Киреевских Николаем Матвеевичем Рожалиным. На следующий день по приезде И. В. Киреевский сообщил матери и отчиму: «Оба брата и жена Федора Ивановича очень милые люди, и покуда здесь, я надеюсь видеться с ними часто» [69]. В другом письме И. В. Киреевский, упоминая об отъезде Тютчевых в Россию, прибавляет: «Если вы увидите их отца, то поблагодарите его хорошенько за сына: нельзя быть милее того, как он был с Петрухою (П. В. Киреевским.— *К. П.*), который, несмотря на предупреждение, с которым, помните? поехал из Москвы, здесь был совершенно обезоружен тютчевским обхождением. Желал бы я, чтобы Тютчев совсем остался в России. Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому, что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам» [70]. Весьма вероятно, что предупреждение, о котором вспоминает в этом письме И. В. Киреевский, исходило от М. П. Погодина. С подобным же предупреждением, по-видимому, ехал за границу и Н. М. Рожалин, сын служащего Мариинской больницы в Москве, литератор-разночинец, переведший на русский язык «Страдания молодого Вертера» Гёте. В письме к А. П. Елагиной от 9 мая 1830 года Рожалин не без раздражения пишет о П. В. Киреевском: «Он поминутно нас гоняет к Тютчевым, у которых я был четыре раза, четыре раза не сказал ни слова

---

[67] «Русский архив», 1905, кн. II, стр. 130—131.

[68] Там же, стр. 131.— В тексте «Русского архива» под датой 5/17 января 1830 г., по-видимому, объединены два разных письма. Это явствует из того, что в начале письма сказано: «У Тютчева, как я уже писал к вам, я бываю непременно раза два в неделю...», а дальше говорится: «С Тютчевым видаюсь довольно часто...».

[69] Письмо от 6/18 апреля 1830 г.— И. В. Киреевский. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1861, стр. 54.

[70] Письмо от 21 мая/2 июня 1830 г.— Там же, стр. 58.

хозяйке и к которым поэтому едва ли еще пойду»[71]. Отъезд Тютчевых на несколько месяцев в Россию послужил для Рожалина удобным поводом к тому, чтобы не поддерживать с ними прерванного знакомства. Но в конце года, вопреки желанию Рожалина, ему пришлось вновь встретиться с Тютчевым. В двадцатых числах декабря 1830 года в Мюнхене произошли студенческие волнения, вследствие чего иностранцам, слушающим лекции в университете, было предложено покинуть Мюнхен. «...Что было для меня всего досаднее,— признается Рожалин в письме к А. П. Елагиной,— так это то, что я должен был идти кланяться Тютчеву, чтобы узнать, надо ли мне выезжать вместе с другими иностранцами. К счастью, король отменил приказ... Но увы, следствием первого принужденного визита к Тютчевым было то, что я вчера ходил к нему с поздравлением, да потом на обед! Тут он был русским министром[72] и русским дворянином, я русским нищим, и этот день наполнил меня таким унынием, что я следы его чувствую еще сегодня: ничем не могу заняться и точно как болен»[73].

Впечатления, которыми продиктованы два только что процитированных письма, столь отличные от впечатлений обоих братьев Киреевских, указывают на мучительное ощущение социального неравенства, которое испытывал Рожалин в общении с Тютчевым. Для Киреевских Тютчев — «нельзя быть милее», воплощение «ума, образованности и необыкновенной доброты»; для Рожалина, как и для Погодина, он прежде всего «русский дворянин», который «пахнет двором», с ним «не говорится».

О пребывании Тютчева в России в 1830 году до нас дошло еще меньше сведений, чем о месяцах, проведенных им на родине в 1825 году. По сообщению И. В. Киреевского в уже цитированном письме к матери и отчиму, Тютчев выехал из Мюнхена 16/28 мая (по данным послужного списка — 17/29 мая)[74]. Следовательно, в первой половине июня он уже должен был быть в России.

В этот приезд на родину Тютчев был только в Петербурге. Если бы он посетил Москву, то, конечно, не мог бы не встретиться со своим бывшим учителем и другом С. Е. Раичем. В это время Раич находился в Москве и издавал журнал «Галатея», который Тютчев немного позднее назвал «довольно пустым»[75]. Между тем в одном из писем 1843 года, рассказывая о своих московских встречах, Тютчев упоминает о Раиче, с которым он расстался «двадцать лет тому назад»[76]. Следовательно, с 1822 по 1843 год поэт с ним не видался.

[71] «Русский архив», 1909, вып. 8, стр. 596.

[72] Рожалин, очевидно, хочет сказать, что Тютчев держал себя, как министр, ибо министром, т. е. посланником, поэт в действительности не был.

[73] Письмо от 2 января 1831 г. «Русский архив», 1909, вып. 8, стр. 601.

[74] См.: «Летопись», стр. 30.

[75] См. письмо Тютчева к И. С. Гагарину от 7/19 июля 1836 г. «Стихотворения. Письма», стр. 376.

[76] Письмо к Эрн. Ф. Тютчевой от 14 июля 1843 г. из Москвы. «Стихотворения. Письма», стр. 383.

С пребыванием Тютчева в Петербурге в 1830 году связан эпизод, на который он намекает в одном из позднейших писем. Встретившись через десять лет в Дрездене со своей троюродной сестрой Е. П. Языковой, поэт писал жене: «Она — сестра одного из несчастных сибирских изгнанников, который столь романическим образом женился на француженке, причем в устройстве этого брака я принимал некоторое участие» [77]. Речь идет о самоотверженной и поэтической любви Камиллы Ле-Дантю, дочери гувернантки-француженки, к декабристу В. П. Ивашеву. История этой любви трогательно рассказана Герценом в «Былом и думах». Как раз в летние месяцы 1830 года между Москвой, где жила Камилла, Петербургом, где временно находились родители Ивашева, и Сибирью шла переписка о будущем браке молодой девушки с осужденным на каторгу «государственным преступником». В сентябре Камилла Ле-Дантю обращалась с прошением к царю о том, чтобы ей разрешено было разделить изгнание с дорогим для нее человеком. Просьба эта была удовлетворена 23 сентября, совсем незадолго до отъезда Тютчева из Петербурга за границу. Понятно, что поэт, связанный родственными отношениями с Ивашевыми, не мог не знать всех перипетий этого романа, но в чем именно проявилось его личное участие в этом деле, остается пока загадкой [78].

Если, таким образом, у нас нет возможности хоть сколько-нибудь отчетливо представить себе, как провел Тютчев четыре месяца своего пребывания в России, с кем общался [79], какие впечатления увез с собой в Мюнхен, то бесспорно, что даже столь кратковременное прикосновение к родной почве не прошло бесследно в его творчестве. На пути из Мюнхена в Петербург, уже среди русских полей и перелесков, написано Тютчевым стихотворение «Здесь, где так вяло свод небесный...». В автографе тексту этих стихов предшествует помета: «В дороге». Образы небесного свода, «вяло» смотрящего на «тощую землю», и «усталой природы», погрузившейся в «сон железный», предваряют те «родные ландшафты», которые не раз еще возникнут под пером Тютчева. То, что в рукописях поэта это стихотворение трижды встречается рядом со стихотворением «Странник» [80], наводит на мысль, не навеяно ли и оно дорожными впечатлениями — видом странника, бреду-

---

[77] Письмо к Эрн. Ф. Тютчевой от 27 сентября 1840 г. из Дрездена. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 18. СПб., 1914, стр. 2.

[78] Материалы семейного архива Ивашевых, опубликованные О. К. Булановой, не дают ответа на этот вопрос. Упоминаемый в одном из писем Тютчев (О. К. Буланова. Роман декабриста. М., 1925, стр. 122) — не Ф. И. Тютчев, уже уехавший тогда за границу, а его отец, который в это время находился в Петербурге.

[79] Известно только, что в этот приезд в Петербург Тютчев посетил поэта И. И. Козлова. В дневнике Козлова под 12 августа 1830 г. отмечено: «Пришел интересный и любезнейший Тютчев» («Старина и новизна», кн. 11. СПб., 1906, стр. 49).

[80] См. два автографа *ЦГАЛИ* и автограф из собрания Д. Д. Благого.

щего «чрез веси, грады и поля». Несомненен автобиографический характер относящегося к этому же времени стихотворения «Двум сестрам». Оно вызвано встречей поэта с женщиной (имя ее нам неизвестно), в которую он некогда был влюблен и с которой, по-видимому, ни разу не видался со времени своего отъезда из России. В младшей сестре узнает теперь он то, что когда-то так пленяло его в старшей: тихую ясность взора, «нежность» голоса, обаяние молодости.

И все, как в зеркале волшебном,
Все обозначилося вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

О радостях этих минувших дней поведал нам Тютчев в другом стихотворении, явно внушенном теми же воспоминаниями — «Сей день, я помню, для меня...» — и, как подтверждает помета в автографе, написанном также в 1830 году.

Впечатления от русской осени с ее «умильной таинственной прелестью», «зловещим блеском и пестротой» деревьев, «томным» шелестом опавших «багряных» листьев отражены в одном из гениальных стихотворений Тютчева «Осенний вечер». Русский листопад внушил ему и легкие строфы «Листьев». И, наконец, два стихотворения являются вновь как бы стихотворными дорожными записями, но сделанными уже на обратном пути из России за границу,— «Через ливонские я проезжал поля...» и «Песок сыпучий по колени...» (в двух автографах второго стихотворения перед текстом имеется помета: «доро́гой») [81].

Из Петербурга Тютчев выехал, очевидно, в самых первых числах октября 1830 года. По данным послужного списка, 23 октября он вернулся в Мюнхен [82].

За время, протекшее между пребыванием поэта в Петербурге в 1830 году и следующим приездом в Россию в 1837 году, он имел возможность встречаться в Мюнхене с князем П. А. Вяземским, А. И. Тургеневым, В. П. Титовым, Н. А. Мельгуновым. В 1831 году через Мюнхен направился в свое путешествие по Востоку А. И. Остерман-Толстой [83]. Но особенно важное место в биографии Тютчева этого периода занимает его дружба с князем Иваном Сергеевичем Гагариным.

Сын богатых и знатных родителей, И. С. Гагарин получил домашнее воспитание и семнадцати лет был зачислен в «архивны юноши», т. е. поступил на службу в московский Архив Министер-

---

[81] Эти четыре стихотворения в беловом автографе *ЦГАЛИ* датированы 1830 г.

[82] «Летопись», стр. 31.

[83] Сведения, сообщенные в «Русском архиве» (1878, вып. 3, стр. 362), будто в этом путешествии его сопровождал Тютчев, ошибочны.

ства иностранных дел. Выдержав через год экзамен при университете, он в середине 1833 года занял должность атташе при русской миссии в Мюнхене. Здесь Гагарин и сблизился с Тютчевым.

«Мне было девятнадцать лет,— вспоминал Гагарин впоследствии,— когда я оставил Россию с чувством живейшего отвращения к крепостничеству или рабству и вообще к злоупотреблению силой. В то время я совсем не знал света; я много размышлял, никому не сообщая моих мыслей; я жил в некоем идеальном мире, в мире утопий. Впоследствии я видел много утопий, появлявшихся открыто и стремившихся к осуществлению. Я не видал ничего, что превосходило бы смелостью те утопии, которыми питалось мое воображение, но в основе всего этого заключалась ненависть к силе, к злоупотреблению силой. Когда я приехал в Мюнхен, мне открылось зрелище житейской действительности; я принялся читать газеты, это было в 1833—1835 годах, между прочим, читал «National» и «Tribune», и я не замедлил обнаружить, к великому моему удивлению, что французские республиканцы в сущности призывали силу, возлагали свою надежду на силу и были всецело расположены пожертвовать всеми правами, чтобы обеспечить торжество своей партии. С этого времени началось мое отчуждение от республиканцев, которым, как мне всегда казалось, недоставало искренности. Я понял, что все революционные учения ставят силу выше права.

В то же время мои религиозные идеи приняли, напротив, весьма дурное направление. Под германским влиянием я стал привыкать к идее о безличном боге, что значило попросту исповедовать безбожие. Общество, среди которого я жил, далекое от борьбы с этими стремлениями, их поощряло; чтение «Globe», который давал мне Тютчев, производило такое же действие, и я могу сказать, что никогда я не был так далек от религиозных идей, как в те два года, которые я провел в Мюнхене.

Внимание мое в то время привлекал к себе иной ряд фактов. Я сравнивал Россию с Европой. Я видел в Европе различные нации, весьма несхожие между собою, обладающие каждая своим особым характером; тем не менее у всех них было нечто общее, и это нечто, которого я не находил в России, или, по крайней мере, Россия в сравнении с другими странами имела отличительный характер, отделявший ее от этих стран гораздо более глубокой разграничительной линией, чем та, которую можно заметить между Германией и Италией, Англией и Францией, Испанией и Швецией. Отчего происходит это различие? В чем состоит та общность, которая существует между различными европейскими нациями и остается чуждою России? Такова вставшая предо мною в Мюнхене задача, решения коей я с тех пор не переставал искать...» [84].

---

[84] Письмо И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой, январь 1875 г. Подлинник по-французски.— Славянская библиотека в Париже.

Эта позднейшая исповедь Гагарина представляет первостепенный интерес для его характеристики. Отвращение к крепостничеству, разочарование в буржуазных республиканцах, попытки разгадать, что объединяет между собою европейские нации и вместе с тем отделяет их от России, готовность предаться любому самообольщению, «лишь бы была деятельность мысли, лишь бы оторваться от действительности и найти причину, почему она так гадка» [85],— все это привело Гагарина в лоно католической церкви и побудило вступить в ряды наиболее воинствующих ее служителей. В 1843 году он стал священником ордена иезуитов.

В годы его пребывания в Мюнхене иезуитская сутана еще не мерещилась Гагарину. Недаром в только что приведенном письме он сам признается, что никогда не был так далек от религиозного миропонимания, как в это время. В связи с этим небезынтересно и то, что сообщает Гагарин уже непосредственно о Тютчеве. Вспоминая о нем под впечатлением книги И. С. Аксакова, Гагарин утверждает, что «в мюнхенском Тютчеве ничто не предвещало петербургского Тютчева» [86].

«Тютчев много читал,— рассказывает Гагарин,— и он умел читать, т. е. умел выбирать, что читать, и извлекать из чтения пользу, но я вряд ли ошибусь, если скажу, что он особенно увлекался чтением «Globe» последних лет Реставрации. Как сейчас вижу эти тома в четвертую долю листа, в картонных обложках почти черного цвета, с легкими мраморными или пестрыми разводами. Он рекомендовал мне это чтение, давал их мне и сам от времени до времени к ним возвращался...

В этой газете участвовали весьма талантливые люди, которые при Реставрации возглавляли оппозицию в философской и литературной области, а после июльской революции почти все заняли важные места и стали направлять общественное мнение. Именно в «Globe» появилась знаменитая статья, озаглавленная «Как кончаются догматы». Смерть христианства возвещалась в ней в недалеком будущем, и вообще дух газеты был далеко не христианский.

Не скажу, чтобы «Globe» был для Тютчева евангелием или требником, но, когда я его знавал, он вполне принадлежал к этой школе» [87].

Статья «Comment les dogmes finissent» («Как кончаются догматы»), упоминаемая в письме Гагарина, принадлежит французскому философу и политическому деятелю, ученику Кузена и Руайе-Коллара Теодору Жуффруа. Напечатанная впервые в газе-

---

[85] А. И. Герцен. Дневник, запись от 8 января 1843 г.— Собрание сочинений в тридцати томах, т. 2. М., 1954, стр. 257.

[86] Письмо И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 28 октября 1874 г. Подлинник (черновой) по-французски.— Славянская библиотека в Париже.

[87] Письмо И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 4 ноября 1874 г. Подлинник по-французски.— Там же.

те «Globe» («Глобус») от 24 мая 1825 года [88], статья эта чрезвычайно характерна для мировоззрения философа, утверждавшего, что, став неверующим, он ненавидел неверие и сохранил теплое воспоминание об утраченных религиозных представлениях и потребность в вере. Такое отношение к религии было родственно сознанию Тютчева, и неудивительно, что статья Жуффруа была сочувственно прочитана поэтом.

Беседы, которые Тютчев вел с Гагариным, затрагивали, по-видимому, самые разнообразные темы — от значения Пушкина для русской поэзии [89] до сущности типа дон Жуана [90]. В то же время, среди лиц, составлявших ближайшее окружение Тютчева, Гагарин был единственным человеком, способным оценить его поэтический талант. Это и предопределило ту роль, которую он сыграл впоследствии в творческой биографии поэта.

В Мюнхене Гагарин пробыл немногим более двух лет (до осени 1835 года). Насколько тесные дружеские отношения установились за это время между ним и Тютчевым, можно судить по первому письму, посланному ему поэтом после отъезда Гагарина на родину: «С момента нашей разлуки дня не проходило, чтобы я не ощущал вашего отсутствия. Поверьте, любезный Гагарин, немногие любовники могут по совести сказать то же своим возлюбленным... Чувствую, что если бы я дал себе волю, то мог бы написать вам большое письмо для того только, чтобы доказать вам недостаточность, бесполезность, нелепость писем... Боже мой, да как можно писать? Взгляните, вот подле меня свободный стул, вот сигары, вот чай. Приходите, садитесь и станем беседовать; да, станем беседовать, как бывало, и как я больше не беседую» [91].

К сожалению, из писем Гагарина к Тютчеву до нас дошли только два черновых отрывка. Между тем они должны были представлять немалый литературно-общественный интерес. В особенности досадно, что не сохранилось первое письмо Гагарина к поэту, посланное из Москвы, в котором он сообщал ему свои впечатления по возвращении в Россию. Некоторое весьма приблизительное представление об этом письме мы можем получить по ответному письму Тютчева.

---

[88] Перепечатана в кн.: Théodore Jouffroy. Mélanges philosophiques (Paris, 1833, p. 3—29), выдержавшей несколько изданий.

[89] В черновом отрывке письма к Тютчеву, написанном в марте 1836 г. в Петербурге, Гагарин вспоминает: «Мы часто говорили о месте, какое занимает Пушкин в поэтическом мире...» (Подлинник по-французски. «Книжки недели», 1899, январь, стр. 228—229).

[90] См. письмо И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 15/27 ноября 1874 г.: «Он говорил мне: „Есть бесконечное множество милых женщин, и каждая из них обладает особым обаянием. Представьте себе мужчину, способного различать и оценивать то, что есть чарующего в каждой из них, наделите его соответствующей силой, и вы получите дон Жуана“». (Подлинник по-французски.— Славянская библиотека в Париже).

[91] Письмо Тютчева к И. С. Гагарину от 2 мая 1836 г. Подлинник по-французски.— Славянская библиотека в Париже.

Тотчас по своем приезде в Москву Гагарин поспешил познакомиться с П. Я. Чаадаевым. Шеллинг, знавший Чаадаева, характеризовал его Гагарину как «одного из самых замечательных людей, которых он знал». Знакомство с Чаадаевым и дальнейшие отношения с ним, по собственному признанию Гагарина, оказали сильное влияние на его идейную эволюцию [92].

Знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева — первое в ряду задуманных и написанных им философско-публицистических писем — еще не было напечатано в «Телескопе» (оно появилось в нем в октябре 1836 года), но списки с него и с некоторых других уже в течение нескольких лет ходили по рукам. Мы не знаем, получил ли Гагарин возможность сразу же по приезде в Москву прочесть эти письма или же познакомился с идеями Чаадаева в личных беседах с ним, но совершенно несомненно, что основные положения чаадаевской философии истории должны были захватить его, ибо во многом оказывались созвучными его собственным исканиям.

Получить представление о несохранившемся письме по уцелевшему ответному письму, конечно, так же трудно, как судить о разговоре двух собеседников только по репликам одного из них. Но следует думать, что Гагарин познакомил своего мюнхенского друга с мистико-религиозной стороной концепции Чаадаева.

«Меня заинтересовало то, что вы рассказываете о ваших первых впечатлениях по возвращении в Россию,— писал Тютчев Гагарину.— ...Если уместно говорить о вещах совершенно неведомых, я сказал бы вам в общих чертах, что умственное движение, происходящее теперь в России, напоминает в некоторых отношениях, и принимая в расчет огромное различие времени и положения, попытку в пользу католицизма, предпринятую иезуитами... Это то же стремление, то же усилие присвоить себе современную культуру, но без ее принципа, без свободы мысли, и более чем вероятно, что результат будет таким же... Это случится хотя бы потому, что в самодержавный строй,— такой, каким он сложился у нас,— ipso facto [93] входит протестантское начало. Опека *г-на Уварова с братией* может быть хорошей или плохой, благотворной или зловредной. но во всяком случае она преходяща...» [94].

Это письмо, в котором не все поддается удовлетворительному разъяснению, должно было быть более понятным Гагарину, чем нам. Автор французской книги о Тютчеве Д. Стремоухов предпо-

---

[92] См. предисловие И. С. Гагарина к выпущенному им изд.: Pierre Tchadaïeff. Oeuvres choisies. Paris — Leipzig, 1862, p. 1—2.

[93] В силу самого факта (*лат.*).

[94] Письмо к И. С. Гагарину от 2 мая 1836 г. Подлинник по-французски.— Славянская библиотека в Париже. Цит. не вполне точно в кн.: D. Strémooukhoff. La poésie et l'idéologie de Tiouttchev. Paris, 1937, p. 121.

лагает, что под «протестантским началом» в николаевском абсолютизме поэт разумеет его иностранный, прусский характер. В пользу такого предположения говорит позднейшее утверждение Тютчева, что в России «не только в обществе, но и в сознании самого монарха» происходит непрерывная борьба между двумя антагонистическими принципами, воплощенными в русском абсолютизме и западном абсолютизме, причем второй является прямым отрицанием первого [95].

Если допустить правильность предположения Стремоухова, то, очевидно, Тютчев предвидел, что умственное движение, возглавленное Чаадаевым (так, по крайней мере, могло представляться поэту на основании сообщения Гагарина), не будет поддержано русским абсолютизмом, но их возможное столкновение он сводит всецело на религиозную почву: новая «попытка в пользу католицизма» обречена на неудачу в силу противодействия «протестантского начала». Характерно в связи с этим скептическое отношение Тютчева к «г-ну Уварову с братией» и к провозглашенной им теории так называемой официальной народности.

Из числа литературных новостей, которыми Гагарин счел нужным поделиться с Тютчевым, на первом месте стояло появление нового «истинного и глубокого таланта» — Бенедиктова, только что выпустившего первое издание своих стихотворений. Значение этого литературного факта преувеличивал не один Гагарин. Восторженно встретили стихи Бенедиктова Жуковский, Вяземский, Грановский, И. С. Тургенев и многие другие. Среди шумных похвал, расточавшихся по адресу Бенедиктова, резко отрицательное отношение к нему Пушкина вызывало к себе известное недоверие. Предполагая в великом поэте на самом деле чуждое ему по отношению к кому бы то ни было чувство зависти, Гагарин сообщал Тютчеву: «Пушкин, который молчит при посторонних, нападает на него в тесном кругу с ожесточением и несправедливостью, которые служат пробным камнем действительных достоинств Бенедиктова» [96].

Экземпляр стихотворений Бенедиктова Гагарин послал Тютчеву. Прочитав эту книгу, Тютчев примкнул к тем, кто сочувственно оценивал ее появление. В стихах Бенедиктова он почувствовал «вдохновение», а также, «наряду с сильно выраженным идеалистическим началом, наклонность к положительному, вещественному и даже чувственному» [97].

---

[95] См. письмо Тютчева к А. Ф. Аксаковой от 1 декабря 1870 г. «Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр. 246.

[96] Письмо И. С. Гагарина к Тютчеву, март 1836 г. Подлинник по-французски. «Книжки недели», 1899, январь, стр. 228—229. Ср.: Л. Гинзбург. Пушкин и Бенедиктов.— В кн.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 2. М.— Л., 1936, стр. 148—182.

[97] Письмо Тютчева к И. С. Гагарину от 3 мая 1836 г. Подлинник по-французски. «Русский архив», 1879, вып. 5, стр. 120.

В другом письме к Гагарину Тютчев сообщает, что прочел «Три повести» Н. Ф. Павлова. Кем они были доставлены поэту, неизвестно. Антикрепостническая направленность книги, как известно, привлекла внимание цензуры, и второе издание «Трех повестей» было запрещено. Тютчеву особенно понравилась третья повесть — «Ятаган», обличавшая жестокие порядки, царившие в николаевской армии. «Кроме художественного таланта, достигающего тут редкой зрелости,— писал поэт,— я был в особенности поражен возмужалостью, совершеннолетием русской мысли. И она сразу коснулась самой сердцевины общества. Свободная мысль сразилась с роковыми общественными вопросами и, однако, не утратила художественного беспристрастия. Картина верна, и в ней нет ни пошлости, ни карикатуры. Поэтическое чувство не исказилось напыщенностью выражений... Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторики, которая составляет язву или скорее первородный грех французского ума. Вот отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами...» [98].

Это письмо примечательно. Независимо от того, преувеличивал или нет Тютчев художественные достоинства повестей Павлова, оно проникнуто гордостью за «русскую мысль», за успехи русской художественной литературы. Недаром однажды Тютчев признался Жуковскому, что одинаково любит «отечество и поэзию» [99]. Находясь за границей, он с вниманием и удовлетворением следил за развитием русской художественной литературы, хотя, конечно, далеко не все произведения, появлявшиеся в России, попадали в поле его зрения.

5

Из трехсот девяноста стихотворений, составляющих полное собрание поэтических произведений Тютчева, сто двадцать восемь относятся ко времени его пребывания за границей. Однако эти сто двадцать восемь стихотворений, при всем их художественном значении, дают нам неизбежно неполное представление о его творчестве этой поры, ибо, по собственному признанию поэта, они представляют собою «лишь крошечную частицу *вороха,* накопленного временем, но погибшего по воле судьбы или, вернее, некоего предопределения». Вот как рассказывает об этом сам поэт в одном из писем: «По моем возвращении из Греции, принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил это лишь много спустя.

---

[98] Письмо Тютчева к И. С. Гагарину от 7/19 июля 1836 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 376.

[99] Письмо Тютчева к В. А. Жуковскому от 6/18 октября 1838 г.— Там же, стр. 379.

В первую минуту я был несколько раздосадован, но скоро утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки. Тут был, между прочим, перевод всего первого действия второй части „Фауста“. Может статься, это было лучшее из всего»[100].

Так шутливой исторической аналогией с гибелью величайшего из древних книгохранилищ утешил себя Тютчев в том, что думы и чувства многих лет, выраженные в стихах, оказались по собственной его рассеянности и неосторожности преданными уничтожению. Для нас, однако, гибель значительнейшего количества стихотворений, созданных Тютчевым в двадцатых — начале тридцатых годов, тем более прискорбна, что, судя по сохранившимся образцам, годы эти отмечены ярко выраженным творческим ростом поэта. Даже если бы литературная деятельность Тютчева прекратилась в середине тридцатых годов, и то написанных им до этого времени стихотворений было бы достаточно, чтобы упрочить за ним одно из первых мест в ряду русских лирических поэтов. Таковы стихотворения, которые позднее были охарактеризованы Некрасовым как «пейзажи в стихах»,— «Утро в горах», «Снежные горы», «Песок сыпучий по колени...» и многие другие; таковы овеянные живым и непосредственным восприятием природы тютчевские шедевры — «Весенняя гроза» (в первой, еще неполной редакции), «Весенние воды», «Осенний вечер», «В душном воздуха молчанье...», «Нет, моего к тебе пристрастья...»; таковы классические образцы натурфилософской лирики поэта — «Не то, что мните вы, природа...», «О чем ты воешь, ветр ночной?..», «Весна». Именно в эти годы были написаны Тютчевым и такие стихотворения, которые содержат его раздумья о своем месте в современной исторической действительности,— «Бессонница», «Цицерон», «Как птичка раннею зарей...», и такие задушевнейшие признания, как «Ты зрел его в кругу большого света...», «Silentium!», «Как над горячею золой...», «Душа моя — Элизиум теней...». Наконец, тогда же возникает и ряд превосходных произведений его любовной лирики, например «Люблю глаза твои, мой друг...» или «Я помню время золотое...».

Примечательно, что, рассказывая о случайном уничтожении своих рукописей, Тютчев выделяет, как «может статься, ...лучшее из всего» — перевод первого акта второй части «Фауста» Гёте. Переводы занимают видное место в творчестве Тютчева данного периода. Если общее число принадлежащих поэту переводов и переложений не превышает пятидесяти, то свыше тридцати из них падает именно на двадцатые и тридцатые годы. Хотя Тютчев и

---

[100] Письмо Тютчева к И. С. Гагарину от 7/19 июля 1836 г. из Мюнхена. «Стихотворения. Письма», стр. 376.— Говоря о пожаре Александрийской библиотеки, Тютчев намекает на распространенную в его время, но исторически недостоверную версию о сожжении сокровищ библиотеки по приказанию калифа Омара.

жаловался впоследствии на недостаточное знание немецкого языка, это, по-видимому, относилось к разговорной речи. Среди его переводов заграничного периода стихотворения немецких поэтов преобладают.

Из дошедших до нас ста двадцати восьми стихотворений Тютчева заграничного периода немногим более половины — семьдесят шесть (в том числе семнадцать переводов) — было напечатано на протяжении двадцатых — тридцатых годов. Остальные (за исключением трех — «Послание к А. В. Шереметеву», «Живым сочувствием привета...» и «К Ганке») увидели свет только после смерти поэта. Девять стихотворений из числа напечатанных во время пребывания Тютчева за границей были опубликованы дважды («Слезы», перевод «Песни радости» Шиллера, «Сон на море», «Утро в горах», «Снежные горы», «Как океан объемлет шар земной...», «Цицерон», «Весенние воды» и «Silentium!»), а перевод стихотворения Гейне «Как порою светлый месяц...» — трижды, но это едва ли свидетельствует о каком-либо особенном успехе именно этих стихов и скорее вызвано случайными причинами.

По годам стихи Тютчева, опубликованные за этот период, распределяются так: 1826 — три, 1827 — семь, 1829 — девять, 1830 — двенадцать, 1831 — пять, 1832 — три, 1833 — три, 1834 — два и одно из напечатанных ранее, 1835 — две перепечатки ранее опубликованных стихотворений, 1836 — восемнадцать и шесть из уже напечатанных ранее, 1837 — четыре, 1838 — пять, 1839 — четыре и два из напечатанных ранее, 1840 — два. В 1828 году были опубликованы два стихотворения, написанные поэтом еще до отъезда его из России.

В истории знакомства русского читателя с поэтическим творчеством Тютчева следует различать два периода: до и после 1836 года.

О настоящей литературной известности поэта в первый период говорить не приходится. Объясняется это отчасти тем, что ни одно из изданий, в которых печатался Тютчев,— ни «Урания» Погодина, ни «Северная лира» Ознобишина, ни «Галатея» Раича, ни «Денница» Максимовича — не пользовалось среди читателей успехом, хоть в какой-либо мере равным успеху «Полярной звезды» Бестужева и Рылеева, «Северных цветов» Дельвига или «Московского телеграфа» Полевого. С русской литературной жизнью Тютчев непосредственно связан не был, будучи своего рода иностранным корреспондентом московских периодических изданий, помещавшим в них от случая к случаю свои оригинальные стихи и переводы. Скупые критические высказывания о стихотворениях Тютчева тем не менее заслуживают нашего внимания, ибо свидетельствуют о том, что при всей малой известности поэта его стихи кое-кем были замечены.

В 1824 году рецензент французского журнала «Revue encyclopédique» сочувственно упомянул о тютчевском переводе элегии

Ламартина «L'isolement»[101]. Как уже указывалось в первой главе, перевод этот был сделан Тютчевым еще до отъезда за границу, напечатан в «Трудах Общества любителей российской словесности» за 1822 год и в переработанной редакции помещен в альманахе «Новые Аониды» на 1823 год, вышедшем в свет, когда переводчик уже находился на чужбине.

Стихи, написанные Тютчевым еще в бытность его в России, дали основание Н. А. Полевому отнести его в одном из своих обзоров к числу поэтов, которые «подают блестящие надежды»[102]. Эти слова Полевого делают честь его проницательности.

В рецензии на альманах «Северная лира» на 1827 год Н. М. Рожалин с одобрением отозвался о тютчевских переводах «Песни радости» Шиллера и стихотворения Гёте «Саконтала».

«Оригинальные пьесы» поэта, по мнению рецензента, также «могут порадовать читателей»[103].

Имя Тютчева промелькнуло и в другой рецензии на тот же альманах, написанной П. А. Вяземским.

Не останавливаясь на специальной оценке помещенных в нем стихов Тютчева и отмечая их наряду с произведениями других поэтов, Вяземский пишет: «...все они более или менее отличаются или игривостью мыслей, или теплотой чувства, или живостью выражения»[104]. Вяземскому принадлежит еще одно упоминание о Тютчеве на страницах «Литературной газеты». Пренебрежительно относясь к журналу Раича «Галатея», Вяземский делает исключение для двух поэтов, произведения которых печатаются в этом журнале: «Тютчев, Ознобишин, от времени до времени появляющиеся в „Галатее", могут почесться минутными Пигмалионами, которые покушаются вдохнуть искру жизни в мертвый обломок»[105].

В 1828 году Д. Дубенский в статье «О всех употребляющихся в русском языке стихотворных размерах» дважды цитировал стихи Тютчева: отрывок из «Песни скандинавских воинов» — в качестве примера двухстопного хорея, и «С чужой стороны» — в качестве примера разностопного стиха[106].

И. В. Киреевский в статье «Обозрение русской словесности за 1829 год» причислил Тютчева к поэтам «немецкой школы»: «Между поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомякова и Тютчева»[107]. Таким образом, Киреевский первым установил связь между поэзией Тютчева и лирикой любомудров.

---

[101] Рецензия принадлежит русскому корреспонденту журнала С. Д. Полторацкому («Revue encyclopédique», t. XXII, 1824, p. 136—137).

[102] «Московский телеграф», 1825, ч. 1, стр. 75.

[103] «Московский вестник», ч. II, 1827, № 5, стр. 86.

[104] «Об альманахах 1827 года».— П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. II. СПб., 1879, стр. 33.

[105] «О московских журналах».— «Литературная газета». 1830. № 8, стр. 60.

[106] «Атеней», ч. IV, 1828, № 14, стр. 119.

[107] «Денница», альманах на 1830 г., стр. XLI.

Рецензируя альманахи на 1831 год, в частности альманах «Денницу», анонимный критик «Литературной газеты» указывал: «...молодой поэт Тютчев не всегда владеет стихом; зато в произведениях его часто бывает глубокость, обнаруживающая в нем стихии поэта истинного» [108]. В качестве примера этой «глубокости» цитируется четверостишие «Последний катаклизм».

В том же 1831 году «Московский телеграф» отрицательно откликнулся на появление в альманахе «Сиротка» тютчевского перевода двух песен из «Ученических годов Вильгельма Мейстера» Гёте: «Нас изумил также Тютчев, который до сих пор не писал дурных стихов, в „Сиротке" есть его перевод из Вильгельма Мейстера, столь плохой, что досадно читать» [109].

Последним в ряду этих немногословных критических высказываний о стихах Тютчева было упоминание в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1836 год о его «прекрасном» переводе «Песни радости» Шиллера, перепечатанном в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» (1835) [110].

Важнейшей хронологической вехой в творческой биографии Тютчева стал 1836 год.

В конце 1835 года переехал из Мюнхена в Петербург сослуживец Тютчева И. С. Гагарин. Он был немало изумлен тем, что стихи поэта, столь его восхищавшего, почти вовсе неизвестны в петербургских литературных кругах. Гагарин поставил своей задачей познакомить их с творчеством своего мюнхенского друга.

«Вы просили меня прислать вам мое бумагомаранье,— писал Тютчев Гагарину 3 мая 1836 года.— Я поймал вас на слове. Пользуюсь случаем, чтобы от него избавиться. Делайте с ним, что хотите. Я питаю отвращение к старой исписанной бумаге, особливо исписанной мной. От нее до тошноты пахнет затхлостью» [111]. Характерно, что только под конец длинного письма, которое он писал в течение двух дней (2—3 мая), Тютчев вспомнил о просьбе Гагарина. Подчеркнутая пренебрежительность, с какой он отозвался о своих стихах, и впредь, за редкими исключениями, будет свойственна высказываниям поэта о своем творчестве.

Рукописи тютчевских стихотворений были доставлены в Россию Амалией Крюденер, муж которой в это время получил новое служебное назначение.

В письме к Тютчеву, рассказывая о «приятнейших часах», проведенных за чтением его стихов, Гагарин писал: «Мне недоставало одного: не с кем было разделить своего восторга, и меня страшила мысль, что я ослеплен дружескими чувствами. Наконец, намедни, я передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно ра-

[108] «Литературная газета», 1831, № 16, стр. 132.

[109] «Московский телеграф», 1831, № 4, стр. 538.

[110] «Журнал Министерства народного просвещения», 1836, июнь, стр. 618 (в обзоре изящной словесности, написанном Я. М. Неверовым).

[111] Подлинник по-французски. «Русский архив», 1879, вып. 5, стр. 119

зобранные и переписанные мною. Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание — Жуковского, в особенности,— все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала, то есть появятся через три или четыре месяца, а затем будет приложена забота к выпуску их в свет отдельным небольшим томом. Через день ознакомился с ними и Пушкин. Я его видел после того, и, говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувствованную оценку.

Я счастлив, что могу сообщить вам эти новости. По-моему, мало что может сравниться со счастьем внушать мысли и доставлять умственное наслаждение людям с дарованием и вкусом.

Поручите мне почетную миссию быть вашим издателем, пришлите мне еще что-нибудь и постарайтесь придумать подходящее заглавие» [112].

Письмо Гагарина помечено 12/24 июня 1836 года. Из России в Мюнхен письма в то время шли около месяца. Следовательно, Тютчев должен был получить это сообщение в начале июля. Ответное письмо поэта датировано 7/19 июля, т. е. написано с необычной для него поспешностью. Тютчев не скрывает от Гагарина «особого удовольствия», которое он испытал при чтении его письма. Но, сохраняя обычную небрежность тона, усвоенную по отношению к своим стихам, тут же прибавляет: «И тем не менее, любезный друг, я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой» [113].

Сославшись на то, что «теперь в России каждое полугодие печатаются бесконечно лучшие произведения», и высоко оценив только что прочитанные им «Три повести» Павлова, Тютчев, однако, снова обращается к своим стихам: «Но возвращаюсь к моим виршам: делайте с ними, что хотите, без всякого ограничения или оговорок, ибо они — ваша собственность...». И через несколько строк: «Однако, если вы настаиваете на печатании, обратитесь к Раичу, проживающему в Москве; пусть он передаст вам все, что я когда-то отсылал ему и что частью было помещено им в довольно пустом журнале, который он выпускал под названием „Бабочка“» [114].

---

[112] Подлинник по-французски. «Русский архив», 1879, № 5, стр. 120.— Перевод уточнен по фотокопии с автографа Славянской библиотеки в Париже.

[113] Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 375.

[114] Там же, стр. 376.

Итак, тон по-прежнему пренебрежительный — «бумагомаранье», «вирши», не заслуживающие «чести» быть напечатанными. И все-таки Тютчев дважды на протяжении письма к ним возвращается, что едва ли указывает на действительное безразличие к их судьбе.

По сообщению Гагарина, сначала предполагалось поместить пять или шесть стихотворений Тютчева в очередном томе пушкинского «Современника», который должен был выйти в свет «через три или четыре месяца». Действительно, в третьем томе журнала, поступившего в продажу через четыре с половиной месяца — в первых числах октября, было напечатано шестнадцать стихотворений поэта под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» и с подписью: «Ф. Т.» Восемь стихотворений под тем же общим заглавием и с той же подписью появилось в четвертом томе «Современника», выпущенном в конце 1836 года.

То, что в третьем томе «Современника» было напечатано не пять-шесть, а шестнадцать стихотворений Тютчева, и что помещены они были на самом видном месте — на первых же страницах журнала, свидетельствовало о высокой оценке их Пушкиным. «Мне рассказывали очевидцы,— вспоминал впоследствии Ю. Ф. Самарин,— в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное его стихов... Он носился с ними целую неделю» [115]. Один из этих очевидцев, П. А. Плетнев, писал в 1859 году: «Еще живы свидетели того изумления и восторга, с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, исполненных глубины мысли, яркости красок, новости и силы языка» [116].

Непосредственного высказывания Пушкина о стихах Тютчева до нас не дошло [117], но косвенное, без упоминания имени, суждение о нем как о поэте «немецкой школы» (выражение И. В. Киреевского в уже цитированном «Обозрении русской словесности за 1829 год») можно усматривать в нескольких строках критической статьи Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Полемизируя с выступлением М. Е. Лобанова в стенах Российской академии, содержавшим

---

[115] Письмо Ю. Ф. Самарина к И. С. Аксакову от 22 июля 1873 г. Цит. по статье: Георгий Чулков. «Стихотворения, присланные из Германии». (К вопросу об отношении Пушкина к Тютчеву)». «Звенья», кн. 2, 1933, стр. 259.

[116] П. А. Плетнев. Записка о действительном статском советнике Федоре Ивановиче Тютчеве. «Ученые записки II отделения имп. Академии наук». 1859, стр. LVII.

[117] Это отсутствие прямого высказывания Пушкина о полученных им тютчевских стихах послужило поводом к выдвинутой Ю. Н. Тыняновым гипотезе о холодном и даже неприязненном отношении великого поэта к Тютчеву. Несостоятельность аргументации Тынянова убедительно опровергнута Г. И. Чулковым. См.: Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. [Л.], 1929, стр. 330—336; Георгий Чулков. «Стихотворения, присланные из Германии», стр. 255—267.

СОВРЕМЕННИКЪ.

СТИХОТВОРЕНІЯ,

ПРИСЛАННЫЯ ИЗЪ ГЕРМАНІИ.

I.

УТРО ВЪ ГОРАХЪ.

Лазурь небесная смѣется,
Ночной омытая грозой,
И между горъ росисто вьется
Долина свѣтлой полосой.

Лишь высшихъ горъ до половины
Туманы покрываютъ скатъ,
Какъ бы воздушныя руины
Волшебствомъ созданныхъ палатъ.

Страница III тома журнала «Современник» за 1836 г. со стихами Тютчева.

огульный поклеп на современную русскую словесность, якобы представляющую «отголосок безнравия и нелепостей, порожденных иностранными писателями», в особенности французскими (имеются, в частности, в виду произведения «неистовых» романтиков), Пушкин указывает: «Французская словесность, со времен Кантемира имевшая всегда прямое или косвенное влияние на рождающуюся нашу литературу, должна была отозваться и в нашу эпоху. Но ныне влияние ее было слабо. Оно ограничилось только переводами и кой-какими подражаниями, не имевшими большого успеха... Поэзия осталась чужда влиянию французскому; она более и более дружится с поэзиею германскою и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики» [118].

Статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» была помещена в том же третьем томе «Современника», что и стихи Тютчева. При таком соседстве заглавие «Стихотворения, присланные из Германии», приобретало особое значение. Стихи эти как бы иллюстрировали только что цитированные строки из статьи Пушкина о Лобанове.

Печатание стихотворений Тютчева в «Современнике» не обошлось без цензурных придирок. Тексты, предназначенные для третьего тома журнала, рассматривались цензором А. Л. Крыловым в первой половине июля 1836 года. Из них сомнение цензора вызвали только две строфы (вторая и четвертая) в стихотворении «Не то, что мните вы, природа...», которые он предложил исключить. 14 июля Петербургский цензурный комитет утвердил это предложение [119]. За неимением автографа и списков стихотворения можно лишь догадываться о том, что в исключенных строфах полнее и резче, чем в остальных, было выражено пантеистическое мироощущение поэта, неприемлемое для ортодоксально-церковного мировоззрения цензора. Пушкин, со своей стороны, предложил заменить выброшенные строфы точками, мотивируя это тем, «что ценсура не тайком вымарывает и в том не прячется». Эта мотивировка вызвала возражения А. Л. Крылова: «...ценсура не в праве сама публиковать о своих действиях; тем более она не в праве дозволить посторонние на это намеки, в которых смысл может быть не одинаков. По крайней мере я не могу убедиться ни в позволительности отмечать точками ценсурные исключения, ни в том, чтобы такие точки могли быть нужны для сбережения литературного достоинства» [120]. Все же Пушкин настоял на своем. По-видимому, он предпочитал пожертвовать двумя строфами, чем вовсе

---

[118] Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 12. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 71.— На связь этой фразы со стихами Тютчева обращено внимание в комментариях М. А. Цявловского к Собранию сочинений Пушкина, выпущенному изд-вом «Academia» (т. 5, М.—Л., 1936, стр. 611).

[119] «Временник Пушкинского Дома». Пг., 1914, стр. 14.

[120] Письмо А. Л. Крылова к Пушкину от 28 июля 1836 г.— Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 16. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 144.

отказаться от этого стихотворения. Точки же могли служить указанием для автора, что исключение строф — дело рук цензуры, а не результат редакторского произвола [121].

Одно стихотворение, сначала пропущенное цензором, затем подверглось запрещению Комитета. Это те самые строки о Наполеоне — «Два демона ему служили...», мысль которых была внушена Тютчеву чтением «Французских дел» Гейне. Восьмистишие Тютчева, уже возвращенное Пушкину с подписью Крылова, было затребовано им обратно на том основании, что председатель Комитета кн. М. А. Дондуков-Корсаков «желает видеть» эти стихи, ибо они были пропущены в его отсутствие. Через несколько дней Крылов известил Пушкина: «Стихотворение под № XVI: *Два демона* и пр. предложено было князем Михаилом Александровичем снова в сегодняшнем заседании, и Комитет признал справедливее не допустить сего стихотворения за неясностию мысли автора, которая может вести к толкам, весьма неопределенным». В делах Комитета сохранился список стихотворения с тщательно зачеркнутой подписью цензора Крылова [122].

Задуманное Гагариным, Жуковским и Вяземским отдельное издание стихов Тютчева осуществлено не было, но первые шаги к его подготовке были сделаны. В частности, Гагарин воспользовался указанием Тютчева и через посредство С. П. Шевырева обратился к С. Е. Раичу с просьбой о предоставлении для печати имеющихся у него рукописей поэта. Ответ Шевырева Гагарину помечен 2 ноября 1836 года: «...вот собрание стихотворений Тютчева в том виде, как оно было мне доставлено от Раича. При издании призовите на помощь какого-нибудь опытного стихотворца, который взялся бы сверить с подлинником, чтоб не испортить текста, писанного в иных местах связной рукой. Это будет прекрасное собрание: Тютчев имеет особенный характер в своих разбросанных отрывках... Хорошо, если бы Пушкин в корректуре взглянул на стихотворения Тютчева» [123].

---

[121] Возможно, как полагает Е. Рыскин, что Пушкин добивался замены выпущенных строф точками и по другим соображениям: без них переход к третьей (пятой) строфе был бы не вполне ясен. См.: Е. Рыскин. Из истории пушкинского «Современника».— «Русская литература», 1961, № 2, стр. 199.— Интересно отметить, что в начале пятидесятых годов Н. В. Сушков обращал внимание Тютчева на отсутствующие в стихотворении «Не то, что мните вы, природа...» строфы и просил поэта вспомнить их. Тютчев этого сделать не смог. См.: «Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр. 377.

[122] Письма А. Л. Крылова к Пушкину от 25 и 28 июля 1836 г.— Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 143 и 144; «Временник Пушкинского Дома», стр. 15.

[123] «Литературное наследство», т. 58. 1952, стр. 132.— Ранее напечатано во «Временнике Общества друзей русской книги», III (Париж, 1932, стр. 148—149). Опубликовавший письмо Я. Полонский предполагает, что напечатанные в шестом томе «Современника» четыре стихотворения были из числа сообщенных Раичем, ибо два из них датированы 1830 г. и, сле-

Не будучи изданными отдельной книжкой, стихотворения Тютчева в течение нескольких лет (1837—1840) продолжали время от времени появляться на страницах «Современника» (с 1838 года они подписывались не «Ф. Т.», а «Ф. Т-в»). Большинство их, по-видимому, было отобрано из числа тех стихов, которые были пересланы Тютчевым Гагарину. Но четыре стихотворения написаны поэтом позднее. Это — «1-ое декабря 1837», «Итальянская villa», «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...» и «С какою негою, с какой тоской влюбленной...». Обстоятельства, при которых они были доставлены в редакцию «Современника», неизвестны.

В литературе о Тютчеве укоренилось представление о том, что печатавшиеся на страницах «Современника» стихи поэта за все пять лет не вызвали ни одного не только критического отзыва, но даже упоминания в тогдашней печати. Представление это ошибочно. Развернутых критических отзывов о поэзии Тютчева за это время, действительно, не появлялось (как, впрочем, не появлялось и ранее), но упоминания были — и упоминания сочувственные. Анонимный автор «Литературных известий», публиковавшихся в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» за 1838 год, четыре раза отмечает его стихи [124]. Последнее упоминание — о помещенном в двенадцатом томе «Современника» стихотворении «Арфа скальда» — в особенности значительно и любопытно: «По отделению *стихотворений* — «Современник» справедливо назваться может пантеоном истинной современной поэзии нашей... *Арфа скальда,* стихотворение *Ф. И. Т-ва* дышит той меланхолиею, той негою и таинственностию, которые так очаровательны в его вдохновенных стихах, приводивших в умиление Пушкина».

Строки эти вдвойне интересны. Во-первых, они обнаруживают, насколько живо в памяти осведомленных современников было отношение Пушкина к стихам Тютчева [125]; во-вторых, они позволя-

---

довательно, «попали к Раичу, когда у него уже не было собственного журнала» («Временник», стр. 154). Изучение автографов и списков стихов Тютчева, впоследствии пересланных Гагариным И. С. Аксакову и ныне находящихся в *ЦГАЛИ,* дает основание считать, что рукописи, идущие от Раича, имеют нумерацию перед текстом каждого стихотворения, а автографы, полученные Гагариным непосредственно от Тютчева, такой нумерации не имеют. Указанные Я. Полонским стихотворения принадлежат не к первой, а ко второй группе.

[124] См. № 12, 38, 42 и 48.— Эти неучтенные в тютчевской библиографии материалы указаны в неопубликованной статье Е. П. Казанович «Пушкин и Тютчев (К истории вопроса)», поступившей в *ЛН* из редакции сборников «Звенья».

[125] «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"» редактировались А. А. Краевским. В 1836 г. Краевский временно был помощником Пушкина по изданию «Современника». Возможно, как предполагает Е. П. Казанович, что Краевский был либо автором «Литературных известий», либо содержащиеся в цитированных строках сведения об отношении Пушкина к Тютчеву основаны на его свидетельстве.

ют расширить тот «круг людей со вкусом и поэтическим тактом», которыми — как вспоминал впоследствии В. Н. Майков, причислявший к ним и себя [126],— были замечены стихотворения «Ф. Т.».

6

В то время, когда стихи Тютчева печатались на страницах «Современника», в служебном положении и в личной жизни поэта произошли большие и серьезные перемены.

На дипломатическом поприще Тютчев был неудачником. За пятнадцать лет, что он находился в Мюнхене, на его глазах сменялись посланники, чиновники миссии повышались по службе и получали новые назначения, а он из сверхштатного атташе был произведен во вторые секретари [127], да так и остался в этой должности до конца своего пребывания в Мюнхене. «Мой удел при этой миссии довольно странен. Мне было суждено пережить здесь всех и не наследовать никому»,— иронизирует Тютчев в письме к родителям [128]. Между тем семья поэта увеличилась: у него было три дочери [129]. Тютчевы постоянно испытывали материальные затруднения; долги росли с каждым годом. Одновременно семейная жизнь поэта осложнилась и обстоятельствами иного рода.

Еще в начале 1833 года во время карнавала приехал в Мюнхен барон Фриц Дёрнберг со своей женой. Отцом Эрнестины Дёрнберг был баварский дипломат барон Христиан Гюбер Пфеффель, родом эльзасец, племянник известного баснописца Готлиба Конрада Пфеффеля. Овдовев, когда дочь была еще ребенком, он женился вторично — на гувернантке своих детей — и по долгу службы жил преимущественно за границей; девочка воспитывалась в пансионах Парижа и Страсбурга. Атмосфера родительского дома не была сладкой для Э. Пфеффель, что и побудило ее, главным образом, выйти замуж за нелюбимого ею Ф. Дёрнберга. В Мюнхене перед четой Дёрнбергов тотчас же распахнулись двери придворных и аристократических гостиных, и молодая женщина заняла одно из первых мест в ряду мюнхенских красавиц.

Первая встреча Тютчева с Э. Дёрнберг произошла на балу в феврале того же 1833 года. Поэт уже был ранее знаком с ее братом Карлом. Как впоследствии рассказывала она сама, ее муж в этот вечер внезапно почувствовал себя нездоровым и, предложив

---

[126] В. Майков. Критические опыты. СПб., 1891, стр. 135 (рец. на стихотворения А. А. Плещеева 1846 г.).

[127] Назначение Тютчева вторым секретарем миссии в Мюнхене состоялось 17 апреля 1828 г. См.: «Летопись», стр. 25.

[128] Письмо от 31 декабря 1836/12 января 1837 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

[129] Старшая дочь Анна родилась 21 апреля 1829 г., вторая — Дарья — 12 апреля 1834 г., младшая — Екатерина — 27 октября 1835 г.

ей остаться на балу, уехал. Прощаясь с Тютчевым, он сказал: «Поручаю вам мою жену» [130]. Эти вскользь брошенные слова приобрели неожиданно знаменательное значение.

Через несколько дней Ф. Дёрнберг умер от брюшного тифа.

Многое осталось от нас скрытым в истории отношений Тютчева с Э. Дёрнберг. Она уничтожила переписку поэта с нею за эти годы, а также свои письма к брату — ближайшему другу, от которого у нее никогда не было никаких тайн. Но и то, что уцелело в виде загадочных дат под сухими цветами альбома-гербария, постоянного спутника жизни Э. Пфеффель-Дёрнберг, в виде случайно невычеркнутых ее старательной рукой намеков в позднейших письмах к ней Тютчева, в виде глухих отголосков в переписке и дневниках немногих свидетелей интимной жизни поэта, наконец — и в особенности — в некоторых стихах его, которые в свете этих данных приобретают глубокое автобиографическое значение,— свидетельствует о том, что это не было чуждое «взрывам страстей» и «слезам страстей» увлечение, подобное любви-дружбе к «прекрасной Амалии». Нет, это была та самая «роковая» страсть, которая, по словам Тютчева, «потрясает существование и в конце концов губит его».

У нас нет ключа к полному раскрытию многозначительных дат под поблекшими цветами гербария: «Воспоминание о счастливых днях, проведенных в Эглофсгейме!! Цветы, сорванные 5 июня 1835 г.», «Воспоминание о 20 марта 1836 г.!!!» и наряду с этим — «Воспоминание о моем отъезде из Мюнхена!! Понедельник, 18 июля 1836 г.» [131]. Но эти пометы напрашиваются на сопоставление с некоторыми намеками в письмах Эл. Тютчевой к ее русским родным. Для нее 1836 год «был очень тяжелым»; «все ложное и неприятное в положении Теодора», который то и дело «скучает и часто раздражителен», побуждает ее мечтать о поездке в Россию на всю зиму [132]. Есть основания думать, что весной 1836 года роман Тютчева получил некоторую огласку. В явной связи с этим Эл. Тютчева пыталась покончить с собой, нанеся себе несколько ран в грудь кинжалом от маскарадного костюма. В письме к И. С. Гагарину, рассказывая об этом происшествии, Тютчев выставляет в качестве его единственной причины «прилив крови к голове» и «непреодолимое желание» жены освободиться от охватившей ее «неизъяснимой тоски». Настаивая на том, что причина этого происшествия «чисто физическая», Тютчев пишет: «..я жду от вас, любезный Гагарин, что если кто-нибудь в вашем присутствии вздумает представлять дело в более романическом, может

---

[130] Неизданные записки Д. Ф. Тютчевой.— Собрание К. В. Пигарева.

[131] Альбом-гербарий находится в собрании К. В. Пигарева.

[132] См. выдержки из писем Эл. Тютчевой к Е. Л. и Н. И. Тютчевым, приведенные в статье О. В. Пигаревой «Из семейной жизни Ф. И. Тютчева (1832—1838. По неизданным материалам)».— «Звенья», кн. 3—4, 1934, стр. 270, 273—274.

быть, по совершенно ложном освещении, вы во всеуслышание опровергнете нелепые толки». В том же письме Тютчев касается и своих служебных дел: «Вице-канцлер хуже тестя Иакова. Тот, по крайней мере, заставил своего зятя работать только семь лет, чтобы получить Лию; для меня срок был удвоен. Они правы, в конце концов. Так как я никогда не относился к службе серьезно,— справедливо, чтобы служба также смеялась надо мной. Пока положение мое становится все более и более фальшивым... Я не могу помышлять о возвращении в Россию по той простой и превосходной причине, что мне не на что будет там существовать; с другой стороны, у меня нет ни малейшего разумного повода упорно держаться службы, которая ничего не обещает мне в будущем. Боюсь, как бы недавнее злосчастное происшествие также не способствовало ухудшению моего положения. В Петербурге могут вообразить, что перемещением меня из Мюнхена они окажут мне очень большую услугу, но это вполне ошибочно. Я охотно покинул бы его при условии действительного повышения... Но довольно об этом. Стыдно, а главное весьма скучно столько говорить о себе» [133].

Цитируемое письмо было доставлено И. С. Гагарину Крюденерами. Одновременно ими же было привезено в Петербург и другое письмо, в котором начальник Тютчева князь Г. И. Гагарин ходатайствовал перед вице-канцлером Нессельроде о переводе его из Мюнхена: «Это письмо будет вручено вашему сиятельству г-ном бароном Крюденером. Умоляю вас, граф, оказать ему самое благосклонное внимание, когда он будет говорить вам о г-не Тютчеве, об его несчастном и отчаянном положении и о самой настоятельной необходимости извлечь его из этого состояния. Г-н Тютчев при своих замечательных способностях и столь же просвещенном, сколь и выдающемся уме, вследствие неприятного и ложного положения, в которое он поставлен своим роковым браком, не в состоянии в настоящее время исполнять обязанности секретаря миссии, и во имя христианского милосердия я умоляю ваше сиятельство извлечь его отсюда, что, однако, может быть сделано лишь при условии денежного вознаграждения в 1000 р. на уплату долгов: это было бы большим счастием для него и для меня» [134].

Еще больше года после этого письма пробыл поэт в Мюнхене. Внешне как будто ничего не изменилось в семейном быту Тютчевых. Поиски выхода из денежных затруднений и заботы о детях, казалось, поглощали все внимание Эл. Тютчевой. Но хлопоты по дому и игры с детьми не могли отвлечь жену поэта от ее основной заботы. Весной 1837 года она пишет Е. Л. Тютчевой

---

[133] Письмо от 3 мая 1836 г. Подлинник по-французски.— Славянская библиотека в Париже.

[134] Письмо кн. Г. И. Гагарина к гр. К. В. Нессельроде от 23 апреля 1836 г. Подлинник по-французски.— *АВПР*, СПб., Гл. арх., IV-6-1836-№ 11, л. 3.

о своем мужe: «Если бы вы могли его видеть таким, каким он уже год, удрученным, безнадежным, больным, затрудненным тысячью тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью, и не будучи в состоянии от этого отделаться вы убедились бы, так же как и я, что вывезти его отсюда волей или неволею — это спасти его жизнь. Что сказать вам еще? Есть тысяча вещей, говорящихся с трудом и совсем не пишущихся...» Далее она признается, что для нее самой, несмотря на столько «уз дружбы», связывающих ее с Мюнхеном, пребывание в нем стало «невыносимо» [135].

В начале мая 1837 года, получив четырехмесячный отпуск Тютчев с семьей выехал в Россию. Он покидал Мюнхен с намерением больше туда не возвращаться.

О пребывании Тютчева в России,— как и в предыдущий раз только в Петербурге, где в то время находились его родители и сестра Дарья, незадолго до того вышедшая замуж за Н. В. Сушкова,— мы знаем так же мало, как и о прошлых приездах поэта на родину. В письме к П. А. Вяземскому от 11 июля 1837 года Тютчев ссылается на полное отсутствие «местных знакомств» [136]. Из старых знакомых поэт нашел здесь Вяземского, Крюденеров И. С. Гагарина. Жуковского и А. И. Тургенева в Петербурге не было. Вероятно, к концу пребывания Тютчева в Петербурге круг его знакомств несколько расширился, но пока мы лишены возможности назвать конкретные имена.

Когда Тютчев приехал в Россию, прошло уже около четырех месяцев со дня трагической гибели Пушкина. Но Петербург еще продолжал обсуждать сложные обстоятельства последних месяцев жизни поэта, приведшие к роковому концу. О дуэли и смерти Пушкина Тютчев мог слышать и от Вяземского, и от Гагарина наряду с выражениями искренней и глубокой скорби до него несомненно долетали и слова резкого осуждения, но не по адресу Дантеса, а по адресу великого поэта. Думается, что именно в Петербурге, под живым впечатлением взволновавших его пересудов о том, кто прав — Пушкин или его убийца, и было написано Тютчевым стихотворение «29-е января 1837» [137]. Менее вероятно, чтобы эти стихи были написаны в Мюнхене при получении первого известия о смерти Пушкина: слишком громко звучат в них как бы подсказанные непосредственными впечатлениями негодование против «людского суесловья» и мысль о том, что Пушкин неподсуден «земной правде». Сам Тютчев отказывается выносить какой

---

[135] Письмо от 4/16 февраля 1837 г. Подлинник по-французски. Цит. по статье: О. В. Пигарева. Из семейной жизни Ф. И. Тютчева (1832—1838) стр. 274.

[136] «Стихотворения. Письма», стр. 378.

[137] Предположение о том, что стихотворение «29-е января 1837» написано в Петербурге, было высказано Е. В. Петуховым в брошюре «Ф. И. Тютчев» (Юрьев, 1906, стр. 6). Но Е. В. Петухов не мотивировал этого предположения.

либо приговор Пушкину-человеку. Но Пушкин-поэт для него «богов орга́н живой», национальная гордость и слава России.

Рукопись стихотворения «29-е января 1837» была вручена Тютчевым И. С. Гагарину, в бумагах которого и пролежала вплоть до 1874 года, когда Гагарин переслал его И. С. Аксакову вместе с другими стихотворениями поэта.

По словам того же Гагарина, Тютчев тяготился своим пребыванием в Петербурге. «Je n'ai pas le *heimweh,* mais le *herausweh»*,— будто бы говаривал он ему [138].

3 августа 1837 года состоялось назначение Тютчева на пост старшего секретаря русской миссии в Турине [139]. Ранним утром 8 августа, временно оставив семью в Петербурге, поэт отправился к месту своего нового назначения. Он ехал морем до Любека, затем сухим путем, через Берлин и Мюнхен.

В Турин Тютчев приехал в начале октября [140]. «Одним из самых грустных и угрюмых городов» на свете, несмотря на свои живописные окрестности, показалась ему столица Сардинского королевства, и это первое впечатление осталось неизменным. Приходилось утешаться тем, что Турин — «один из лучших служебных постов», что восемь тысяч рублей, составляющих оклад старшего секретаря миссии, достаются здесь гораздо легче, чем где бы то ни было, ибо и дела-то в Турине собственно нет никакого.

Дипломатический корпус в Турине был малочислен и держался в стороне от нерадушного местного общества. На первых порах Тютчеву оставалось довольствоваться обществом русского посланника при сардинском дворе Александра Михайловича Обрезкова и его жены. В конце года прибыл в Турин новый атташе русской миссии Эрнест Том-Гаве, по словам Тютчева, «добрый малый, высокий, несгибающийся, простодушный, несколько слабогрудый и чувствующий себя несчастным, как и полагается человеку, свалившемуся с неба в Турин» [141].

---

[138] «У меня не тоска по родине, но тоска по чужбине».— В том же письме к А. Н. Бахметевой от 9 ноября 1874 г. (*МА*), в котором Гагарин цитирует эти слова Тютчева, он рассказывает, что Тютчев находился в Петербурге во время процесса Дантеса, и в связи с этим приводит одну остроту поэта, в которой выражена его «тоска по чужбине»: «...однажды я встречаю Тютчева на Невском проспекте. Он спрашивает меня, какие новости; я ему отвечаю, что военный суд только что вынес приговор Геккерену.— „К чему он приговорен?“ — „Он будет выслан за границу в сопровождении фельдъэгеря“. „Уверены ли вы в этом?“ — „Совершенно уверен“.— „Пойду, Жуковского убью“». (Подлинник по-французски, кроме последней фразы. Цит. по кн.: «Тютчевиана. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева». М., 1922, стр. 21). Сообщение Гагарина внушает серьезные недоумения, ибо Дантес покинул Петербург 19 марта 1837 г., за два месяца до приезда Тютчева в Россию.

[139] «Летопись», стр. 45.

[140] В письме к родителям от 1/13 ноября 1837 г. Тютчев сообщает, что он «уже около месяца» находится в Турине.— *ЦГАЛИ.*

[141] Письмо Тютчева к родителям от 1/13 ноября 1837 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ.*

Как бы ни внушал себе Тютчев, что Турин — «один из лучших служебных постов», он не мог не сравнивать его с Мюнхеном и не прийти к выводу, что «в отношении общества и общительности Турин — совершенная противоположность Мюнхену».

И. С. Гагарин находчиво уподоблял поэта страстным театралам, которые ради присутствия на спектакле готовы подвергать себя разным лишениям: «Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развертывавшейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми ее изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями. Я не хочу сказать, что он был вполне бескорыстен; месту в партере он предпочитал кресло в оркестре или ложу на авансцене и способен был употребить некоторые усилия, чтобы их получить, но все наслаждения и все утехи самолюбия не имели бы в его глазах никакой цены, если бы для приобретения их надо было пожертвовать главным интересом представления» [142]. Можно сказать, что где-нибудь в другом месте — в Париже или Вене — его новый, более высокий дипломатический пост и мог бы доставить некоторую «утеху» тютчевскому самолюбию, но здесь, в Турине, ради служебных соображений ему невольно пришлось принести в жертву «главный интерес представления».

Через четыре с половиной месяца по приезде в Турин Тютчев писал родителям: «...я очень хотел бы иметь возможность сказать вам, что мне начинает нравиться в Турине, но это было бы слишком большой ложью. Нет, поистине мне здесь совсем не нравится и только безусловная необходимость вынуждает меня мириться с подобным существованием. Оно лишено всякого рода занимательности и представляется мне плохим спектаклем, тем более тошным, когда он нагоняет скуку, что единственным его достоинством было бы забавлять. Такова точно и жизнь в Турине. Она ничтожна в отношении дела и еще ничтожнее в отношении развлечений. Вернувшись в начале этого месяца из Генуи, где мне чрезвычайно понравилось, я сделал несколько попыток расширить немного круг моих знакомств. Среди тех, которые я завел напоследок, есть бесспорно несколько любезных женщин, чье общество во всякой другой стране было бы большим подспорьем. Но здесь все это разбивается о преграду негостеприимных и необщительных привычек. Так, например, с сегодняшнего дня всякие собрания прекращаются. Самое подобие общества исчезнет. И знаете почему? Потому что сегодня открывается театр. А театр здесь все. Без всякого преувеличения, все общество целиком прочно водворяется там на два карнавальных месяца. Только там и можно его встретить. В городе остаются лишь хворые и умирающие. Вчера

---

[142] Письмо И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 9 ноября 1874 г. Подлинник по-французски.— *МА*. Цит. в кн.: «Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр 182—183.

вечером все, как полагается, распрощались друг с другом, и все гостиные закрылись до конца карнавала. Судя по этому, можно было бы предположить, что спектакли по крайней мере весьма занимательны. Ничуть не бывало, ибо в течение двух месяцев мы будем развлекаться зрелищем все тех же двух пьес, так что после четвертого или пятого представления никто, разумеется, не дает себе труда их слушать. Удовольствие заключается в перебегании из ложи в ложу, оставаясь по пяти минут в каждой. Как я уже говорил вам, здесь есть несколько очень любезных женщин, и я думаю, что те, кто имеют честь состоять их любовниками, чувствуют себя весьма приятно в их обществе. Но необходимо быть таковым в настоящем, или в прошлом, или же домогаться этого в будущем для того, чтобы быть принятым у них. Это столь справедливо, что мужчина, коего вы реже всего можете встретить в доме, и есть хозяин дома. Вообще по ту сторону Альп и не представляют себе, какова распущенность нравов в этой стране. Но беспорядки подобного рода столь повсеместны, столь однообразны, что приняли всю видимость порядка, и нужно время, чтобы их приметить. Правда, все это было уже мне известно. И все же надо столкнуться с этим лицом к лицу, чтобы вполне осознать то впечатление, какое оно производит. Сюда следовало бы прислать всех людей, одаренных романическим воображением. Ничто так не способствовало бы их излечению, как зрелище того, что здесь происходит. Ибо то, что во всяком другом месте является предметом романа, следствием некоей страсти, которая потрясает существование и в конце концов губит его,— здесь становится результатом полюбовного соглашения и влияет на обычный распорядок жизни не более, нежели завтрак или обед... Я не слышал здесь разговоров ни об одной *падшей* женщине, но я не встретил ни одной женщины, любовника или любовников коей мне не указывали бы совсем открыто и без малейшего намека на злословие, точно так же, как сказали бы мне про карету, едущую по улице: это карета госпожи такой-то... Все, что я вам описываю, в изложении на бумаге представляется чем-то избитым, но, наблюдаемое на деле и вблизи, не лишено некоторой пикантности. То же можно сказать и о другом обстоятельстве, свойственном этой стране. Это — наряду с легкостью нравов — крайняя набожность, господствующая здесь, особливо среди женщин. Так, во время рождественского поста, который только что закончился, церкви были переполнены, весь город походил на монастырь. Ни театральных представлений, ни балов, ни концертов. В качестве единственного развлечения — проповедь по утрам. Зато женщины,— я говорю о принадлежащих к самому высшему обществу,— толпами присутствовали на ней. И какая проповедь! Что за строгость, что за суровость, что за нетерпимость! Вечером, правда, никто уже больше о ней и не помышлял»[143].

---

[143] Письмо от 13/25.XII.1837 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ.*

В письме Тютчева заслуживает внимания беглое упоминание о его возвращении из Генуи.

Среди стихотворений Тютчева есть одно, озаглавленное «1-ое декабря 1837» и полное глубокого автобиографического смысла. В автографе и в первопечатном тексте оно сопровождается пометой: «Генуя». Тема стихотворения — последнее прощание с любимой женщиной.

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

Содержание стихотворения перестало быть загадочным благодаря двум сухим цветкам (бессмертник и анютины глазки), обнаруженным в альбоме-гербарии Э. Дёрнберг, под которыми по-французски проставлена дата: «Генуя, 24 ноября 1837». По всей вероятности, дата обозначена по новому стилю и, следовательно, Тютчев выехал из Турина в Геную в середине ноября старого стиля. Отсутствовал он не более двух недель.

С пребыванием Тютчева и Э. Дёрнберг в Генуе связано также стихотворение «Итальянская villa». О прогулках с нею «вдоль стен Генуи, в виду прекрасных Средиземных волн, то мирных, то бунтующих» вспоминал поэт в одном из позднейших писем [144].

Третьим стихотворением, которое, судя по его общей тональности, можно отнести к Э. Дёрнберг, является стихотворение «С какою негою, с какой тоской влюбленной...».

Много лет спустя в одном из писем к той, с которой он навсегда было простился в Генуе, поэт признался, что из всего написанного им он больше всего ценит «два или три стихотворения», некогда посвященные ей [145].

7

Почти десять месяцев провел Тютчев в разлуке в семьей.

30 мая 1838 года, как рассказывал потом сам поэт в письме к родителям, он спокойно сидел в своей комнате, когда ему пришли сообщить, что близ Любека, у берегов Пруссии, сгорел русский пассажирский пароход «Николай I», 14 мая вышедший из Петербурга. Тютчев знал, что на этом пароходе должны были находиться его жена и дети, направлявшиеся в Турин тем же путем, какой летом 1837 года совершил он сам. О катастрофе ему сообщили прямо, без обиняков. Французские газеты, известившие об

---

[144] Письмо к Эрн. Ф. Тютчевой от 11 сентября 1858 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ*.

[145] Письмо к Эрн. Ф. Тютчевой от 22 октября 1852 г. «Старина и новизна», кн. 18. СПб., 1914, стр. 43.



Эл. Ф. Тютчева,

первая жена поэта

Портрет работы неизвестного художника. Масло. Конец 1820-х годов.



Эрн. Ф. Тютчева,

вторая жена поэта

Портрет работы Дюрка. Масло. Начало 1840-х годов.

этом несчастье, умалчивали о судьбе пассажиров. Тютчев тотчас же выехал из Турина, но только в Мюнхене узнал подробности о случившемся. Здесь же ожидало его письмо от жены с сообщением о предстоящем ее приезде в Мюнхен [146].

Пожар на пароходе «Николай I» вспыхнул в ночь с 18 на 19 мая. Когда разбуженные пассажиры выбежали на палубу, «два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа...» [147]. Так вспоминал об этом в своем очерке «Пожар на море» (1883) И. С. Тургенев, девятнадцатилетним юношей переживший страшную ночь.

Эл. Тютчева выказала во время этой катастрофы полное самообладание и присутствие духа. «Можно сказать по всей справедливости, что дети дважды были обязаны жизнью матери», которая «ценою последних оставшихся у нее сил смогла пронести их сквозь пламя и вырвать у смерти» [148],— так характеризует Тютчев поведение жены в выпавшем на ее долю испытании.

И. С. Тургенев в своем очерке «Пожар на море» пишет: «В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа Т..., очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырьмя дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я почел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог...» [149]. Надо думать, что речь идет именно об Эл. Тютчевой. Тургенев ошибся только в одном: с нею было не четыре, а три дочери.

«Мы живы! дети невредимы — только я пишу вам ушибленной рукой... Мы сохранили только жизнь... Бумаги, деньги, вещи — все потеряли всё, но погибших — всего пять человек! Никогда вы не сможете представить себе эту ночь, полную ужаса и борьбы со смертью!» — в таких словах извещала Эл. Тютчева свою русскую родню о катастрофе парохода «Николай I» [150].

Со своими «голыми и лишенными всего» детьми Эл. Тютчева, больная, добралась до Мюнхена, где 11 июня и встретилась с му-

---

[146] См. письмо Тютчева к родителям от 17/29 июня 1838 г. из Мюнхена.— *ЦГАЛИ*. Цит. в статье: О. В. Пигарева. Из семейной жизни Ф. И. Тютчева (1832—1838), стр. 285.

[147] И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1956, стр. 581.

[148] См.: письмо к родителям от 17/29 июня 1838 г. из Мюнхена. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ;* письмо к гр. К. В. Нессельроде от 6/18 октября 1838 г. из Турина. Подлинник по-французски.— *АВПР, МИД,* СПб. Гл. арх., IV-10-1839-№ 20.

[149] И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 587.

[150] Письмо к Д. И. Сушковой от 20 мая/1 июня 1838 г. из Любека. Подлинник по-французски.— *МА*.

жем. Полученное ею, так же как и остальными пострадавшими, пособие в 200 луидоров (4000 рублей ассигнациями) все ушло на покрытие дорожных расходов и на приобретение самого необходимого.

По приезде в Турин Тютчевы оказались в крайне стесненном материальном положении. Поселились они в предместье, так как квартира в самом городе была им не по средствам. Несмотря на 800 червонцев (8480 рублей ассигнациями), выданных Тютчеву из казны «в уважение убытков», понесенных при пожаре парохода «Николай I», поэту, по-видимому, приходилось очень туго.

Жена его ходила по торгам, стараясь по мере возможностей благоустроить свой домашний очаг. Поэт в этом отношении был для нее плохим помощником. Да и она сама, замечая «раздражительное и меланхолическое настроение» мужа, сознательно оберегала его от мелких треволнений их мало-помалу налаживающейся жизни. Однако переутомление, простуда и сильное нервное потрясение, от которого так и не могла оправиться Эл. Тютчева, сломили ее и без того хрупкое здоровье. 27 августа /9 сентября 1838 г. она умерла, по словам Тютчева — «в жесточайших страданиях» [151].

Смерть жены страшно потрясла поэта. В одну ночь он поседел у ее гроба [152].

Узнав о приезде в Италию В. А. Жуковского, путешествовавшего в свите наследника русского престола, Тютчев писал ему: «Есть ужасные годины в существовании человеческом... Пережить все, чем мы *жили* — *жили* в продолжение целых двенадцати лет... Что обыкновеннее этой судьбы — и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить. Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая... и вдруг поймем... и в одном слове, как в провале, как в пропасти, все обрушится» [153].

Через несколько дней по отсылке этого письма Тютчев встретился с Жуковским на озере Комо. «Горе и воображение» — такими словами определяет Жуковский тогдашнее состояние поэта [154]. Они вместе катались на пароходе по озеру; Жуковский рисовал, а Тютчев делился с ним своими переживаниями. Эти встречи немало сблизили поэтов. «Я прежде знал его ребенком, а теперь полюбил созревшим человеком... Он человек необыкновенно гениальный и весьма добродушный, мне по сердцу»,— писал тогда же о Тютчеве Жуковский тетке поэта Н. Н. Шереметевой [155]. Но «Светлана»-Жуковский не мог своей «голубиной» душой по-

---

[151] Письмо к гр. К. В. Нессельроде от 6/18 октября 1838 г. Подлинник по-французски.— *АВПР, МИД*, СПб., Гл. арх., IV-10-1839-№ 20.

[152] См.: Ф. Т. [Ф. Ф. Тютчев] Ф. И. Тютчев. Материалы к его биографии. «Исторический вестник», т. XCIII, 1903, июль, стр. 199.

[153] Письмо от 6/18 октября 1838 г. «Стихотворения. Письма», стр. 379.

[154] В. А. Жуковский. Дневники. СПб., 1903, стр. 428, запись от 13/25 октября 1838 г.

[155] В. А. Жуковский. Сочинения, т. 6. СПб., 1878, стр. 502.

стичь полную противоречий натуру Тютчева. И не без изумления заносит он в свой дневник следующие слова о полюбившемся ему собеседнике: «Глядя на север озера, он сказал: „За этими горами Германия“. Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене» [156].

Если бы не эта «мюнхенская» любовь, которой за несколько месяцев до того поэт сказал «последнее прости», он, возможно, и не вынес бы тяжести понесенной им утраты. И сам он в пятилетнюю годовщину смерти своей жены писал к той, которая уже заступила место его Нелли: «Сегодняшнее число — 9 сентября — печальное для меня число. Это был самый ужасный день моей жизни, и *не будь тебя* — он был бы, вероятно, последним моим днем» [157].

Однажды, уже после возвращения в Россию, оставшись вдвоем со старшей восемнадцатилетней дочерью Анной в Красной гостиной своей петербургской квартиры, Тютчев предался воспоминаниям о своем первом супружестве. На следующий день А. Ф. Тютчева постаралась дословно воспроизвести в дневнике рассказ отца. Запись эта и по своему содержанию представляет исключительный интерес и, кроме того, как бы доносит до нас живой голос поэта: «Вчера вечером я осталась одна с отцом: он сидел в большом кресле возле камина, я — на маленькой скамеечке у его ног; он казался грустным и подавленным. Никто из нас не говорил: я боялась нарушить его думы. Отец первым прервал молчание: „Итак,— сказал он мне,— одно поколение следует за другим, не зная друг друга: ты не знала своего деда [158], как и я не знал моего. Ты и меня не знаешь, так как не знала меня молодым. Теперь два мира разделяют нас. Тот, в котором живешь ты, не принадлежит мне. Нас разделяет такая же резкая разница, какая существует между зимой и летом. А ведь и я был молод! Если бы ты видела меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения... Мы совершили тогда путешествие в Тироль — твоя мать, Клотильда, мой брат и я. Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью,— больше, чем сон: исчезнувшая тень... А я считал ее настолько необходимой для моего существования, что жить без нее мне казалось невозможным, все равно как жить без головы на плечах. Ах, как это было давно; верно, тому уже тысяча лет! Придет день, Анна, когда ты вспомнишь о своей юности и вспомнишь, быть может, то, что я говорю тебе сейчас. Ты подумаешь: это было в Красной комнате возле камина...“ Он помолчал, затем заговорил снова: „Ах, как ужасна смерть! Как

---

156 В. А. Жуковский. Дневники, стр. 430, запись от 14/26 октября 1838 г.

157 Письмо к Эрн. Ф. Тютчевой от 27 августа/9 сентября 1843 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ*.

158 Незадолго до того умер И. Н. Тютчев, отец поэта.

ужасна! Существо, которое любил в течение двенадцати лет, знал лучше себя самого, которое было твоей жизнью и твоим счастьем, — женщина, которую видел молодой, прекрасной и смеющейся, нежной и любящей,— и вдруг... мертва, недвижна, обезображена тлением. Да ведь это ужасно, ужасно! Нет слов, чтобы передать все это. Я только раз в жизни видел, как умирают... Смерть ужасна! — Первые годы твоей жизни, дочь моя, годы, которые ты едва припоминаешь, были для меня самыми прекрасными, самыми полными годами страстей. Я провел их с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда,— так богаты, так полны были эти дни. Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки. Теперь они образуют в моей жизни точку, которая все отдаляется и которую я не могу настигнуть. И столько людей более или менее знакомых, более или менее любимых исчезло с этого горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем. И она также... И все-таки я обладаю ею, она вся передо мною, бедная твоя мать!“ Как передать невыразимую грусть его голоса, когда он перечислял столько далеких воспоминаний и столько горьких печалей? Я ничего не могла сказать: в самом деле, какое утешение способно умерить горесть того, кто оплакивает свою молодость и существ, которых он любил...» [159]. В одну из таких же минут было написано Тютчевым в 1848 году стихотворение, обращенное к памяти покойной жены,— «Еще томлюсь тоской желаний...». В нем он повторил ту же мысль, которую высказал в беседе с дочерью, говоря: «И все-таки я обладаю ею, она вся передо мною...».

Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

8

Смерть жены совпала с тем моментом в жизни Тютчева, когда дипломатическая карьера, казалось, начала складываться для него благоприятно.

Еще перед самым приездом Тютчева в Турин между русским посланником Обрезковым и сардинским министром иностранных дел произошло серьезное, хотя и глубоко смехотворное по своему существу столкновение. Яблоком раздора, повлекшим за собой обмен колкими дипломатическими нотами, послужил... дамский головной убор! Жена Обрезкова дважды появилась во дворце в таком головном уборе, который считался «исключительной приви-

---

[159] Дневник А. Ф. Тютчевой, запись от 4/16 мая 1846 г. Подлинник пофранцузски.— Собрание К. В. Пигарева.

легией королевы и принцесс» королевской крови. Циркуляр министра иностранных дел обстоятельно разъяснил дипломатическому корпусу, в каком именно головном уборе могут приезжать ко двору остальные дамы. Обрезков счел себя лично оскорбленным в лице своей жены и переслал в Петербург всю свою переписку с сардинским министром по поводу злополучного головного убора. При этом, уязвленный в своем достоинстве чрезвычайного посланника и полномочного министра его величества императора всероссийского, он просил об отставке.

Вице-канцлер Нессельроде представил эти «дипломатические» документы Николаю I. Царь признал все это дело сущим вздором, однако же нашел, что «мало любезный» образ действий сардинского министра «заслуживает урока». Император решил отозвать Обрезкова и «уклониться» от назначения его преемника.

Этот анекдотический эпизод непосредственно связан с дальнейшей дипломатической деятельностью Тютчева. Через два месяца по приезде в Турин он извещал родителей, что ему представляется случай быть в течение целого года поверенным в делах. Это неминуемо должно было отразиться и на получаемом им окладе, и на самом его дипломатическом стаже. Однако Обрезков задержался в Турине, и к исполнению своих новых обязанностей Тютчев приступил только 22 июля 1838 года [160].

Русско-сардинские дипломатические отношения по своему характеру очень напоминали русско-баварские. «Итальянским дворам,— гласит одна из инструкций Нессельроде,— предстоит принять лишь одно решение: пребывать верно и неизменно преданными системе монархического союза, призванного к тому, чтобы предохранить порядок общественный от тех опасностей, которыми ему все более и более угрожает распространение революционных доктрин». По своему «географическому положению» Австрия, с точки зрения русского правительства, «служит точкой опоры итальянскому полуострову и держит в своих руках, так сказать, звено цепи, связующей его с консервативным союзом». Дружба с Австрией для сардинского короля — «лучшая гарантия его спокойствия», в противовес дружбе с Францией, могущей «подать Сардинии лишь пример беспорядков и несчастий» [161].

И в то время, когда Италия «судорожно металась под гнетом Меттерниха» [162], итальянские государи цеплялись за спасительный монархический союз и призывали на помощь австрийское оружие для подавления национально-освободительного движения. Впрочем, мелким итальянским властителям приходилось постоянно помнить

---

[160] «Летопись», стр. 48.

[161] Инструкция русскому посланнику в Турине Кокошкину от 12 мая 1839 г. Подлинник по-французски.— *АВПР, МИД,* Канцелярия, арх. № 207, л. 123—125.

[162] Ф. Энгельс. Движения 1847 года — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4. М., 1955, стр. 460.

об услугах, оказанных им в 1814—1815 годах державами-победительницами при дележе наполеоновского наследства. Сардинский двор имел при этом особые основания к тому, чтобы «с искренностью и благодарностью» вспоминать о поддержке, полученной со стороны России: осуществленное на Венском конгрессе закрепление сардинского трона за савойской династией не вполне отвечало желаниям Австрии, имевшей свои виды на Пьемонт. Вот почему, сообщая в Петербург о приеме, оказанном в Генуе наследнику русского престола, Тютчев отмечает, что высшие должностные лица города не могли не помнить, что «если король, их повелитель, имеет удовлетворение принимать его (наследника.— *К. П.*) *у себя,* то этим корона Сардинии обязана России более, нежели какой-либо иной державе»[163].

Подробные донесения Тютчева о путешествии наследника по Италии любопытны поэтому не только с историко-бытовой стороны, но приобретают известный интерес и в свете тогдашних международно-политических отношений.

В одном из дипломатических документов царское правительство характеризовало свои взаимоотношения с Турином как взаимоотношения двух дворов, из которых «один уверен в своей слабости, а другой — в своем могуществе»[164]. Это не могло не отражаться и на внешних формах политических сношений. Так, например, по поводу «невероятного упущения», заключавшегося в том, что «король отказал себе в удовлетворении почтить высший орден Благовещения поднесением» его наследнику русского престола, Тютчев пишет Нессельроде: «Конечно, великому князю наследнику вовсе неважен лишний знак предупредительности и почтения со стороны туринского двора; ...но нам, в интересах наших сношений с этим двором, важно иметь возможность уяснить себе смысл подобного поведения, намерение, которое скрывается в глубине подобного противоречия»[165].

С целью получить необходимое разъяснение Тютчев счел нужным воспользоваться посредничеством прусского посланника. В результате «секретных объяснений», который тот имел по этому поводу, Тютчев смог сообщить в министерство следующее. Незадолго до приезда наследника посетил Турин его дядя Михаил Павлович, причем все лица его свиты получили пьемонтские знаки отличия. В ответ ожидали подобных же наград от русского двора. Несбывшиеся ожидания заронили в придворных кругах мысль, что в Петербурге не придают достаточного внимания столь

---

[163] Депеша Тютчева гр. К. В. Нессельроде от 12/24 февраля 1839 г., № 7. Подлинник по-французски.— *АВПР, МИД,* Канцелярия, арх. № 207, л. 25.

[164] Инструкция русскому посланнику в Турине Кокошкину от 12 мая 1839 г., л. 128 об.

[165] Депеша от 13/25 февраля 1839 г., № 10. Подлинник по-французски.— *АВПР, МИД,* Канцелярия, арх. № 207, л. 39.

щедро розданным сардинским орденам. Поэтому будто бы, несмотря на «искреннее желание» украсить гостя высшим пьемонтским орденом, туринский двор не решился этого сделать, ожидая какого-либо «легкого намека» со стороны русских. «Ибо, если верить лицам, взявшим на себя задачу представить апологию этого странного поведения, той державе, которая имеет перед другой столь решительное превосходство, в подобных случаях надлежит взять на себя в своем роде почин. Пожелание с ее стороны равносильно соизволению» [166].

Во всей этой истории весьма знаменательным является то, что все разъяснения по этому поводу (удовлетворительные или нет — дело другое) были получены Тютчевым через прусского посланника. Как видим, Тютчев верно следовал указаниям Нессельроде и внес в свои отношения с представителем Пруссии тот «дух единения, то доверие и ту дружественность», о которых так хлопотал вице-канцлер. Немудрено поэтому, что малейший признак шероховатостей в прусско-сардинских отношениях привлекал к себе настороженные взоры русской дипломатии. Недаром, например, Тютчев счел своим долгом известить графа Нессельроде о «пастырском послании» туринского архиепископа: русский поверенный в делах не мог не обратить внимания на содержавшиеся в этом документе «ненавистнические и весьма прямые намеки на прусское правительство по поводу его разногласия с папским престолом». Всякие выступления, подобные посланию туринского архиепископа, рассматривались петербургским кабинетом как своего рода подрыв вдохновляемой им «системы монархического союза», как проявление того же самого «духа времени», против которого были направлены все усилия царской России, добровольно взявшей на себя роль международного жандарма.

Депеша Тютчева интересна и в другом отношении, как яркая иллюстрация свирепствовавшей в Сардинии клерикальной реакции. Именно в это время иезуиты проникли во многие отрасли государственного управления и завербовали под свое знамя видных сановников и должностных лиц. «Печально наблюдать,— пишет Тютчев,— как в этой стране, где влияние духовенства так сильно и где оно могло бы быть так благотворно, оно нередко проявляется в формах, противных здравому смыслу. Приведу один пример из тысячи: несколько лиц, принадлежащих к высшей знати страны, объединились с целью учредить дом для призрения бедных и тем самым очистить улицы Турина от множества нищих, которые, на каждом перекрестке выставляя напоказ свои часто отвратительные болезни, являются как бы язвой, позорным пятном ложащейся на внешний вид этой столицы. Ну, так вот, противодействие духовенства препятствует до сих пор осущест-

---

[166] Депеша Тютчева гр. К. В. Нессельроде от 4/16 апреля 1839 г., № 11. Подлинник по-французски.— Там же, л. 42—44.

влению этого по существу своему самого похвального намерения, и противодействует оно на том странном основании, будто для человечества нет ничего полезнее повседневного лицезрения страдания, будто это служит предостережением небес и в то же время лучшим средством поддерживать общественное милосердие. К сожалению, истина как раз в обратном, ибо если что-либо может притупить чувствительность, так это, без сомнения, именно привычное созерцание страдания, в особенности же страдания, внушающего отвращение»[167].

Взаимоотношения между Россией и Сардинией определялись в основном политическими соображениями. Экономическая связь между этими двумя европейскими странами была тогда крайне слабой, в противовес довольно широкому развитию торговых сношений между Сардинией и Америкой. 5 октября 1838 года Тютчев доносил Министерству иностранных дел: «...за последние несколько лет торговля этой страны с Южной и Северной Америкой значительно возросла. Сардинское правительство уже учредило своих консульских агентов в важнейших пунктах Южной Америки. Эти успехи достигнуты преимущественно благодаря традиционной склонности генуэзцев к морским предприятиям, вследствие чего они, не колеблясь, переплывают Атлантический океан на жалких судах, по виду едва пригодных для плавания на внутренних морях. Среди предметов их вывоза первое место занимает наш хлеб из Одессы, которым они с большим для себя барышом снабжают рынки Нового света. Как это ни странно, в настоящее время сардинский флаг более известен в этих отдаленных краях, нежели в портах Балтийского моря»[168].

В ноябре 1838 года сардинское правительство обнародовало указ о временной отмене для всех стран без исключения дифференциальных пошлин на ввоз зерна. Ходили слухи о том, что по истечении положенного срока указ этот окончательно будет проведен в жизнь. Тютчев сообщает об этом как об «очень желательном» мероприятии в интересах русской торговли[169].

Несомненный интерес в связи с этим приобретает другая депеша Тютчева, касающаяся торгового соглашения между Сардинией и Соединенными Штатами Америки. Обстоятельно изложив условия этого соглашения, но зная, что в Петербурге больше всего ценятся такие донесения, которые рассчитаны на то, чтобы доставить развлечение и вызвать улыбку, Тютчев, словно спохватившись, просит вице-канцлера снисходительно отнестись к «длинноте и сухости» этой депеши. Мало того, он считает нужным даже

---

[167] Депеша Тютчева гр. К. В. Нессельроде от 5/17 октября 1838 г., № 4. Подлинник по-французски.— Там же, арх. № 212, л. 84—85

[168] Депеша Тютчева гр. К. В. Нессельроде от 5/17 октября 1838 г., № 3. Подлинник по-французски.— Там же, л. 78—79.

[169] Депеша Тютчева гр. К. В. Нессельроде от 23 ноября/5 декабря 1838 г., № 13.— Там же, л. 154.

оправдываться в том, что «подверг его сиятельство скуке» подобного чтения: «Я полагал, что соглашение, готовящееся между сардинским правительством и Соединенными Штатами, заслуживает внимания нашего двора не с одной коммерческой точки зрения. Действительно, одним из самых несомненных последствий этого соглашения будет все большее и большее проникновение американского флота в Средиземное море и облегчение ему путей для достижения целей, которые он преследует с таким рвением. Между тем все, что может благоприятствовать усилению и окончательному укреплению в Средиземном море такой державы, как Соединенные Штаты, в современных условиях не может не представлять значительной важности для России» [170].

Не часто́ доводилось Тютчеву говорить простым языком реального политика. Впоследствии свои мысли о будущем мировом значении России он облечет в пышную византийскую ткань панславистской фразеологии, и трезвого дипломата вытеснит поэт и мыслитель-утопист.

9

Одной из положительных сторон службы в Турине Тютчев считал, как это явствовало из его писем к родителям, отсутствие дела. При просмотре дипломатических документов, подписанных то ли Обрезковым, то ли Тютчевым, действительно, создается впечатление, что серьезного дела у русского представителя в Турине было очень мало. Обязанный время от времени давать министерству отчет в своих действиях, Тютчев не прочь бывал сослаться на «счастливую скудость событий» — «l'heureuse stérilité des événements», как убедительно звучит это на изысканном французском языке его донесений. Когда же представлялась какая-нибудь видимость дела, он почти всегда бывал уверен, что «опасное соперничество газет» обгонит его депеши. Но, удовлетворенный отсутствием дела, Тютчев в то же время тяготился отсутствием живых впечатлений.

Считая, что жизнь в Турине лишена для него «всякой занимательности», поэт всячески старался внести в нее хоть какое-нибудь оживление и разнообразие. Так, однажды он съездил в Парму, где жила тогда вдова Наполеона Мария Луиза. Единственное, что осталось Марии Луизе от немногих лет ее былого могущества, это был титул «ее величества». Русский посланник в Турине считался одновременно аккредитованным и при пармском дворе Марии Луизы. Насколько незначительным в политическом отношении было игрушечное государство бывшей французской императрицы, можно судить хотя бы по тому, что Обрезков в течение двух последних лет своего пребывания в Италии не находил

[170] Депеша Тютчева гр. К. В. Нессельроде от 23 ноября/5 декабря 1838 г., № 12. Подлинник по-французски.— Там же л. 150—152.

нужным показываться в Парме. Тютчев же — больше из любопытства, чем из служебной необходимости — счел своим долгом посетить жену человека, еще так недавно бывшего одним из «властителей дум» своего времени.

Свел знакомство Тютчев и с бывшим участником итальянского национально-освободительного движения карбонариев, многолетним узником австрийских тюрем, автором нашумевшей книги «Мои темницы» (1832) Сильвио Пеллико. Сохранилась собственноручная записка его к Тютчеву, относящаяся ко времени пребывания Жуковского в Турине:

«Милостивый государь,

Я чрезвычайно польщен честью, которую хочет оказать мне г-н Жуковский. В ближайшие дни я буду дома от 2 до 4 часов. Имею честь быть с глубоким почтением вашим всепокорнейшим слугою

Сильвио Пеллико.

Среда, 20 ф.⟨евраля⟩».

Эту записку Тютчев переслал Жуковскому, приписав на ней:

«Следовательно, если вам угодно, в 3-ем часу мы можем отправиться вместе ко многострадальцу.

Ф. Т.» [171].

В дневнике Жуковского под 8/20 февраля 1839 года, т. е. в тот же день, отмечено: «Посещение Сильвио Пеллико» [172].

Скучая в Турине, Тютчев ждал благоприятного повода, чтобы с ним расстаться: 1 марта 1839 года он обратился с письмом к Нессельроде, прося его разрешить ему вторично вступить в брак — с Эрнестиной Дёрнберг. Свое решение он оправдывал «необходимостью ухода и надзора» за детьми, временно находившимися на попечении тетки в Мюнхене. В том же письме Тютчев просил предоставить ему отпуск на несколько месяцев [173].

В ответном письме к поэту вице-канцлер писал, что со стороны министерства препятствий к вторичному вступлению его в брак не имеется; что же касается отпуска, то Тютчеву предлагается дождаться приезда в Турин только что назначенного посланника Н. А. Кокошкина [174].

Тютчев не посчитался с этим предписанием начальства. В мае он свиделся со своей будущей женой и ее братом во Флоренции; в начале июня, судя по дате двух подписанных им дипломатиче-

---

[171] Подлинник записки С. Пеллико по-французски; приписка Тютчева — по-русски.— *ЛБ*, Авт. ин., папка 7, ед. хр. 38.

[172] В. А. Жуковский. Дневники, стр. 468.

[173] Письмо Тютчева к гр. К. В. Нессельроде от 1/13 марта 1839 г. Подлинник по-французски.— *АВПР*, *МИД*, СПб. Гл. арх., IV-10-1839-№ 20, л. 3—4.

[174] Депеша гр. К. В. Нессельроде к Тютчеву от 15 апреля 1839 г.— Там же, л. 5.

ских депеш, был в Генуе [175]. Дальнейший образ действий Тютчева остается не вполне ясным. Следующий рассказ И. С. Аксакова, хотя и консультировавшегося в процессе своей работы над биографией поэта с его второй женой, грешит явными неточностями: «Исправляя, за отсутствием посланника, должность поверенного в делах и видя, что дел, собственно, не было никаких, наш поэт в один прекрасный день, имея неотложную надобность съездить на короткий срок в Швейцарию, запер дверь посольства и отлучился из Турина, не испросив себе формального разрешения. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даром. О ней узнали в Петербурге, и ему повелено было оставить службу, причем сняли с него и звание камергера...» [176].

Несколько иначе передает те же сведения Е. П. Казанович со слов человека «слышавшего этот рассказ из уст самого Тютчева» (вероятно, С. П. Фролова): «Намереваясь жениться, этот „поверенный в делах“ самопроизвольно эти дела покинул и, взяв с собою дипломатические шифры, отправился в Швейцарию со своей будущей женой..., с нею там обвенчался, а шифры и другие важные служебные документы — в суматохе свадьбы и путешествия потерял» [177].

В официальных делах, касающихся службы Тютчева, на это обстоятельство нет никаких намеков. Согласно данным тютчевского послужного списка, он «с успехом» исполнял обязанности поверенного в делах при сардинском дворе с 22 июля 1838 года по 25 июня 1839 года. В другом документе указывается, что «коллежский советник Тютчев выехал из Турина 25 июня 1839 года и отправился через Швейцарию в Мюнхен, откуда более к своему посту не возвращался» [178]. Эта дата находится в противоречии с датой последней депеши, посланной Тютчевым в Петербург из Турина и помеченной 1/13 июля 1839 года. Очевидно, лишь в первой половине июля старого стиля Тютчев навсегда покинул немилую ему столицу Сардинского королевства и дорогую могилу на сельском кладбище близ города.

17/29 июля 1839 года в Берне Тютчев венчался с Э. Дёрнберг.

Официальное извещение о браке Тютчева было послано в Петербург только в конце декабря и подписано русским посланником в Мюнхене Д. П. Севериным. Время приезда в Турин нового посланника выяснить не удалось, но, по всей очевидности, он приехал тогда, когда Тютчева уже там не было.

6 октября 1839 года из Мюнхена Тютчев послал Нессельроде просьбу о своем освобождении от должности первого секретаря русской миссии в Турине, одновременно испрашивая разрешение

---

[175] О пребывании Тютчева во Флоренции см. в неизданных записках Д. Ф. Тютчевой.— Собрание К. В. Пигарева.

[176] Аксаков, стр. 25—26.

[177] Е. Казанович. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.). «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928, стр. 132.

[178] «Летопись», стр. 48, 52 и 55.

отложить до весны свое возвращение в Россию. «Он ответил мне очень учтиво согласием на мою просьбу»,— сообщал поэт родителям [179]. 8 ноября состоялось «отозвание» Тютчева от занимаемой им должности «с оставлением до нового назначения в ведомстве Министерства иностранных дел», и поэту был предоставлен временный отпуск. Судя по официальным бумагам, длительное «неприбытие из отпуска» и послужило причиной того, что 30 июня 1841 года Тютчев был исключен из списка чиновников Министерства иностранных дел и лишился звания камергера.

При всей сбивчивости и хронологической несогласованности сведений, связанных с отъездом Тютчева из Турина, ясно одно: допущенная им в той или иной форме «поэтическая вольность» по отношению к своим служебным обязанностям положила предел его дипломатической карьере.

---

[179] Письмо от 1/13 декабря 1839 г. из Мюнхена. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Снова в России. Тютчев и общественно-политическая действительность 1840-х — начала 1870-х годов

1

После своего увольнения от должности старшего секретаря русской миссии в Турине Тютчев еще в течение нескольких лет продолжает оставаться за границей, в Мюнхене.

В 1841 году поэт совершает путешествие в Прагу, где знакомится с выдающимся деятелем чешского национального возрождения Вацлавом Ганкой. Знаменитый чешский патриот, ученый и писатель был убежденным другом России и русской культуры. На прощанье Тютчев оставил Ганке стихотворение «Вековать ли нам в разлуке?..», которое является его первым поэтическим обращением к славянам. В этих стихах он призывает их подать руки друг другу и выражает бодрую уверенность в том, что мечты отцов о братском единстве славянских народов станут явью для внуков. Такой же величественной явью для Тютчева, в свете его пражских впечатлений, стал рост национального самосознания западных славян. Два года спустя, вспоминая в письме к Ганке свое пребывание в древней столице Чехии, Тютчев писал: «...посетив Прагу, нельзя не чувствовать на каждом шагу, что на этих горах, под полупрозрачною пеленою великого былого, неотразимо и неизбежно зреет еще большая будущность!» [1]. Поездка в Прагу окончательно укрепила ранее зародившийся интерес Тютчева к историческим судьбам славянских народов. С этого времени славянская тема становится одной из основных тем тютчевской политической лирики и публицистики.

Несмотря на многолетние связи Тютчева с Мюнхеном, пребывание на чужбине, не обусловленное служебным положением,

[1] Письмо от 16/28 апреля 1843 г.— «Стихотворения. Письма», стр. 382.

становится все более и более тягостным для поэта и затруднительным в материальном отношении. Он настойчиво ищет путей возвращения на службу или официальной легализации своего пребывания за границей.

С этой целью летом 1843 года Тютчев на четыре месяца приезжал из Мюнхена в Москву и Петербург. В Москве он не был восемнадцать лет. На многое теперь он взглянул иными глазами — глазами путешественника, попавшего в новый для него город. «Вчера, 13-го (июля.— *К. П.*), между 2 и 3 часами пополудни я дорого дал бы за то, чтобы ты оказалась возле меня,— писал он жене.— Я был в Кремле. Как бы ты восхитилась и прониклась тем, что открывалось моему взору в тот миг!.. Если тебе нравится Прага, то что же сказала бы ты о Кремле!» [2]

Еще в письме, посланном с дороги, Тютчев, подсмеиваясь над собой, заметил, что впадает «в тон присяжного туриста» [3]. То же самое сказывается порою и в его московских письмах. «Здесь имеется несколько клубов вроде лондонских,— сообщает он, например, в письме от 27 июля,— и некоторые из них поставлены прямо-таки на широкую ногу. Тут и обедают, тут и играют в карты; есть тут и целое собрание русских и заграничных газет, книг, брошюр и т. д.» [4]. Неподдельное восхищение вызвал в Тютчеве Малый театр. Упоминая о том, что по вечерам часто бывает в театре, Тютчев пишет: «Здесь есть сносная французская труппа и столь хорошая русская, что я был поражен от неожиданности. За исключением Парижа, нигде за границей нет труппы, которая могла бы соперничать с нею. Это, вероятно, расовая особенность, ибо такое же мастерство игры я наблюдал в польском театре в Варшаве» [5].

Однако за время пребывания Тютчева в Москве не было у него недостатка и в иных впечатлениях, естественных для человека средних лет, после долголетнего отсутствия посетившего места, где протекли его юные годы, и повстречавшего людей, которых он знал молодыми. «Всякий раз, когда мне предстоит встреча со старым знакомцем, меня охватывает невыразимая тревога,— пишет поэт.— ...Люди, воспоминание о которых здешние места оживили во мне до такой остроты, что мне стало казаться, будто я только накануне расстался с ними, предстали передо мною почти неузнаваемыми от разрушений времени. О, что за ужас! Не могу не верить в некое страшное колдовство, когда вижу эти сморщенные, поблекшие лица, эти беззубые рты». И далее Тютчев рассказывает о встрече с С. Е. Раичем, которого он не видал со времени своего

[2] Письмо от 14 июля 1843 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 383.

[3] Письмо к жене от 11/23 июня 1843 г. из Варшавы. «Старина и новизна», кн. 18. СПб., 1914, стр. 6.

[4] Письмо к жене. Подлинник по-французски.— *ЛБ*.

[5] Письмо к жене от 26 июля 1843 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 18, стр. 8.

отъезда за границу: «Еще вчера мне попался на глаза такой пример. Это мой учитель русского языка; я расстался с ним двадцать лет тому назад, когда он был во цвете лет, а нынче это лишенный почти всех зубов человечек, со старческой физиономией, представляющей, так сказать, карикатуру на его прежнее лицо. Я никак не могу опомниться от этого удара» [6].

В Петербурге Тютчев вел переговоры о своем возвращении на службу с вице-канцлером К. В. Нессельроде, а перед отъездом из России провел несколько дней у графа А. Х. Бенкендорфа в его замке близ Ревеля. «...Что мне было особенно приятно,— писал Тютчев родителям,— это его внимание к моим мыслям относительно известного вам проекта и та поспешная готовность, с которою он оказал им поддержку у государя...» [7].

Дипломатическая служба и связанная с нею жизнь за рубежом позволили Тютчеву накопить немалый запас наблюдений и впечатлений, которые определенным образом отразились на его политическом сознании. Тютчев пришел к заключению, что Священный союз объединяет только правительства, государей Германии с Россией, но что со стороны печати, задающей тон общественному мнению, господствует «пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение» по отношению к России. Не пытаясь разгадать причины такого настроения, Тютчев задается целью выступить в роли посредника между русским правительством и немецкой прессой. В этом и заключался тот «проект», о котором упоминает поэт в письме к родителям. По возвращении из России в Мюнхен Тютчев пытается склонить на сторону русских интересов, как он их понимал, одного из видных немецких публицистов того времени Я. Ф. Фалльмерайера.

Автор некогда нашумевшей теории о славянском происхождении новоэллинов не случайно обратил на себя внимание Тютчева. По мнению поэта, заслугой Фалльмерайера было «введение в обращение идеи Восточной великой самостоятельной Европы в противовес Западной» [8].

Записывая разговор с Тютчевым по поводу одной своей статьи, состоявшийся еще до поездки поэта в Россию, Фалльмерайер занес в свой дневник от 12 марта 1843 года: «...г. Тютчев... проповедовал хвалы моему имени у сарматов; „на меня рассчитывают“». Из конспективного изложения автора дневника вырисовываются вехи обстоятельного разговора, в котором Тютчев раскрыл перед Фалльмерайером свою точку зрения на восточный вопрос: «Европейский

---

[6] Письмо к жене от 14 июля 1843 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 383.

[7] Письмо от 3 сентября 1843 г. Подлинник по-французски. Аксаков, стр. 30.

[8] См. запись из дневника Фалльмерайера от 17 марта 1843 г., приведенную в статье Е. Казанович «Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.)».— «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928, стр. 151.

гнев, зависть к равному; однако все враждебные меры имели следствием только возвеличение и славу ненавистного соперника. „Мы хотим только существовать“; Византия — священный город; патриарх и торговля; Киев — центральный пункт и сердце славянства; Балк — мать городов; зудит переместить столицу; славянская карта Шафарика; краинское (Крайна) ближе всего к русскому» [9].

Многие намеки в этой беглой записи были потом раскрыты и развиты в политических статьях и письмах Тютчева. Знаменательно упоминание о славянской карте мира, приложенной к незадолго до того вышедшей книге чешского ученого Шафарика «Slovanský národopis». Эта карта, показывавшая обширность и величие славянского мира, пришлась по сердцу панславистам. В связи с утверждением Тютчева: «Мы хотим только существовать» многозначительным представляется и то, что среди мелькавших в беседе возвышенных понятий, вроде «священный город», «сердце славянства», «мать городов», проскользнула и такая прозаическая фраза, как «патриарх и *торговля*».

Осенью того же года Фалльмерайер вновь виделся с Тютчевым, только что вернувшимся из России. 11 октября Фалльмерайер записал в дневнике: «Вечером чай у Тютчева; продолжительный секретный разговор и формальные предложения защищать пером **дело (русское дело? — *К. П.*) на Западе, т. е. выдвигать правильную постановку восточного вопроса в противоположность Западу, как и до сих пор, не насилуя своего убеждения; Бенкендорф решит в следующем году дальнейшее» [10]. Запись Фалльмерайера указывает на то, что переговоры Тютчева с ним были санкционированы шефом жандармов, а через него, вероятно, и самим царем.

В своих переговорах с Фалльмерайером Тютчев потерпел неудачу, и это вполне естественно. Поэт не учел того, что Фалльмерайер был одновременно крупным ученым-ориенталистом и убежденным немецким националистом. Он мог в своих научных трудах высказывать понятие о Восточной Европе как определенной этнографической единице, но поддерживать русские интересы в восточном вопросе никак не входило в его расчеты. Через несколько лет, словно намекая на прошлые беседы с Тютчевым, Фалльмерайер писал в предисловии к своей книге: «Fragmente aus dem Orient» (1845): «Лишить турок собственности и втянуть эстетически-восприимчивые *немецкие племена* в западню составляет душу и жизнь российства» [11].

---

[9] «Урания. Тютчевский альманах», стр. 151.

[10] Там же, стр. 152.

[11] Подробнее об этом эпизоде биографии Тютчева см.: К. Пигарев. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России. «Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр. 192—193.

Испытав неудачу в переговорах с Фалльмерайером, Тютчев избирает иной путь для осуществления той же цели противодействия антирусской пропаганде на Западе.

21 марта 1844 года влиятельная немецкая газета «Allgemeine Zeitung», выходившая в Аугсбурге, напечатала письмо, полученное редакцией от одного русского («von russischer Hand»), имя которого при этом названо не было. Принадлежность письма Тютчеву была установлена в 1930 году [12]. Однако текст его до сих пор оставался неизвестным советским читателям, а потому и приводится здесь полностью как первый публицистический опыт поэта:

«19 марта. В приложении к № 78 „Allgemeine Zeitung" от 18 марта я прочел статью о русской армии на Кавказе. Наряду с прочими странностями там встречается место, смысл которого приблизительно таков: „Русского солдата зачастую можно приравнять к французскому каторжнику, сосланному на галеры. Вся остальная часть статьи по своему направлению, в сущности говоря, является лишь развитием этого положения. Разрешите ли вы русскому сделать по этому поводу два кратких замечания? Эти занятные вещи пишутся и печатаются в Германии в 1844 году. Ну что ж, люди, которых таким образом приравнивают к каторжникам, те же, что неполных тридцать лет тому назад проливали кровь на полях сражений своей отчизны, дабы достигнуть освобождения Германии, кровь каторжников, которая слилась с кровью ваших отцов и ваших братьев, смыла позор Германии и завоевала ей независимость и честь. Это мое первое замечание. Второе сводится к следующему: если вы встретите ветерана наполеоновской армии, напомните ему его славное прошлое и спросите, кто из противников, с которыми он воевал на полях Европы, был наиболее достоин уважения, кто после отдельных поражений держался гордо,— можно поставить десять против одного, что наполеоновский ветеран назовет вам русского солдата. Пройдитесь по департаментам Франции, где вражеское вторжение 1814 года оставило свой след, и спросите жителей этих провинций, какой солдат из войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, строжайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям, безоружным гражданам,— можно поставить сто против одного, что вам назовут русского солдата. Если же вы захотите узнать, кто был самым необузданным, самым хищным,— о, это уже не русский солдат. Вот те немногие замечания, которые я хотел сделать по поводу упомянутой статьи; я не требую, чтобы вы поделились ими с вашими читателями. Эти и многие другие, с ними связанные воззрения — вы знаете это столь же хорошо, как

---

[12] См.: S. Jacobsohn. Der erste Brief Tjutčevs an Dr. Kolb, den Redakteur der Augsburger «Allgemeine Zeitung».— «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. VI, 1930, Doppelheft 3/4, S. 410—416.— Письмо Тютчева было напечатано в «Allgemeine Zeitung» в переводе с французского подлинника.

и я,— живут в Германии во всех сердцах, а потому им отнюдь не нужно места в газете. В наши дни, благодаря прессе, нет больше той нерушимой тайны, которую французы называют тайной комедии; во всех странах, где царит свобода печати, пришли к тому, что никто не смеет сказать про истинную причину данного положения то, что каждый об этом думает. Этим объясняется, почему я только шопотом раскрываю вам загадки о настроении умов в Германии по отношению к русским. После веков раздробленности и долгих лет политической смерти немцы смогли получить свою национальную независимость только благодаря великодушному содействию России; сейчас они воображают, что смогут укрепить ее с помощью неблагодарности. Ах, они заблуждаются. Они лишь доказывают этим, что и сейчас еще чувствуют свою слабость».

Поводом к этому полемическому выступлению послужила одна статья из цикла статей, печатавшихся в «Allgemeine Zeitung» под заглавием «Briefe eines deutschen Reisenden vom Schwarzen Meer» («Письма немецкого путешественника с Черного моря»). В статье, которую имеет в виду Тютчев, говорилось, что в России военная служба часто является наказанием за такие проступки и преступления, которые во Франции вообще лишили бы человека права носить мундир, а военнослужащего обрекли бы на исключение из рядов армии. Тем самым, как указывает автор статьи, можно было бы считать, что у русских наказание легче, чем у французов, ибо преступник отделывается тем, что на него надевают не одежду каторжника, ссылаемого на галеры, но «почетную одежду» солдата. Однако «25 лет службы в этой почетной одежде при такой дисциплине дело немалое...».

Редакция «Allgemeine Zeitung» сопроводила письмо Тютчева примечанием, в котором разъясняла, что ее корреспондент в полной мере признает выдержку, скромность и мужество русского солдата, что он далек от мысли вообще равнять его с каторжником и что точный смысл строк, обративших на себя внимание Тютчева, не дает оснований для подобного умозаключения. Значительно более резко возражал Тютчеву несколько позже сам «немецкий путешественник». По его словам, «только полным незнанием немецкого языка» можно оправдать столь превратное истолкование его статьи. Автору письма следовало бы обратиться к услугам человека, более сведущего в немецком языке, «прежде чем выступать с разглагольствованиями, может быть, весьма патриотичными, но совершенно нелогичными» [13].

За первым публицистическим выступлением Тютчева последовало второе, также облеченное в форму письма к редактору «Allgemeine Zeitung» Густаву Кольбу. На этот раз письмо не было опубликовано в газете, а вышло летом 1844 года в Мюнхене ано-

---

[13] «Allgemeine Zeitung», 6 Juni 1844. Цит. по указанной статье С. Якобсона.

нимной брошюрой на французском языке [14]. Обращаясь вновь к Густаву Кольбу, Тютчев пишет, что его побуждает к этому прием, оказанный «Allgemeine Zeitung» его «замечаниям», и «разумный и умеренный комментарий», который был дан к ним редакцией.

Когда Тютчев начинал свою деятельность публициста, европейская печать была занята обсуждением книги маркиза А. Кюстина «La Russie en 1839» («Россия в 1839 году»), появившейся в 1843 году в Париже и содержавшей злое и меткое разоблачение николаевской «фасадной империи». Выход в свет этой книги произвел настоящую сенсацию, тем более, что в бытность свою в России Кюстин был принят Николаем I и общался с представителями высших слоев русского общества.

Говоря в своей книге о тех русских, с которыми ему доводилось встречаться и беседовать, Кюстин разделил их на две «породы» (espèces): одни из «осторожности» и «самолюбия» изощряются в неумеренных похвалах своей родине, другие напускают на себя «либо глубокое пренебрежение, либо чрезмерную скромность всякий раз, что говорят о России». «До сих пор,— замечает Кюстин,— я не попался на удочку ни тем, ни другим; но хотелось бы мне отыскать третью породу — просто-напросто русских» [15].

Нужно ли говорить, что едва появилась книга Кюстина, как первая «порода» русских немедленно же выступила с ее печатными опровержениями. Официозный характер их бросался в глаза.

Кюстин оказался в роли Диогена, искавшего человека с зажженным среди бела дня фонарем; тщетно искал маркиз «просто» русских, тщетно потому, что искал их не там, где мог найти. «Тягостно влияние этой книги на русского,— писал один из таких «просто-напросто русских», А. И. Герцен,— голова склоняется к груди, и руки опускаются; и тягостно оттого, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места, и миришься с ним за многое, и более всего за любовь к народу» [16].

А вот что отметил в своем дневнике от 29 сентября 1843 года Фарнгаген фон Энзе: «Камергер фон Т. посетил меня, привез мне поклоны из Москвы и Петербурга. О Кюстине отзывается он довольно спокойно, *поправляет, где требуется, и не отрицает достоинств книги* (курсив мой.— *К. П.*). Она произвела в России огромное впечатление: вся образованная и дельная часть публики более или менее согласна с мнениями автора; книгу почти вовсе не бранят, напротив, еще хвалят форму изложения. Сам генерал

[14] «Lettre à m-r le docteur Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle». Munich, 1844.— Единственный имеющийся в СССР экземпляр этой брошюры хранится в *ЛБ*.

[15] Custine. La Russie en 1839, t. I Paris, 1843, p. 226.

[16] Дневник Герцена, запись от 26 октября 1843 г.— А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 2. М., 1954, стр. 312—313.

фон Бенкендорф откровенно признался императору: „Monsieur de Custine n'a fait que formuler les idées que tout le monde a depuis longtemps sur nous, que nous avons nous-même“ [17]. Однако император крайне огорчен тем, что автор как бы старается всюду отделить государя от его народа» [18].

Хотя Фарнгаген фон Энзе обозначил только одной начальной буквой фамилию своего собеседника, не может быть сомнений в том, что это Федор Иванович Тютчев, видевшийся с ним в Берлине на пути из Петербурга в Мюнхен. Что Тютчев еще в 1841 году был лишен камергерского звания, Фарнгаген, конечно, мог и не знать, а потому и называет его по-прежнему «камергером».

Слова, якобы сказанные шефом жандармов царю по поводу книги Кюстина, вероятно, были переданы Тютчеву самим Бенкендорфом и таким путем попали на страницы дневника Фарнгагена. То обстоятельство, что последний услышал об этом от Тютчева, придает его записи значительную долю достоверности.

Разговор Тютчева с Фарнгагеном фон Энзе любопытен и в другом отношении, как свидетельство того, что не все русские были одинаково непримиримы к «собаке» Кюстину.

Брошюра Тютчева «Lettre à m-r le docteur Gustave Kolb» появилась меньше чем через год после беседы поэта с Фарнгагеном. В самом начале статьи он касается злободневной книги Кюстина: «...не опасайтесь, чтобы в качестве русского я ввязался в свою очередь в жалкую полемику, вызванную недавно одним жалким памфлетом. Нет, милостивый государь, это не достаточно серьезно. Книга г. Кюстина служит новым доказательством того умственного бесстыдства, того духовного растления (отличительной черты нашего времени, особенно во Франции), благодаря которым дозволяют себе относиться к самым важным и возвышенным вопросам более нервами, нежели рассудком; дерзают судить весь мир менее серьезно, чем, бывало, относились к критическому разбору водевиля. Что же касается до противников г. Кюстина, до так называемых защитников России, то они, конечно, искреннее его, но они уже слишком простоваты. Они представляются мне людьми, которые в избытке усердия в состоянии поспешно поднять свой зонтик, чтобы предохранить от дневного зноя вершину Монблана» [19].

Нельзя, однако, не отметить существенной разницы между тютчевской оценкой книги Кюстина в письме к Кольбу и вышеприведенным свидетельством Фарнгагена фон Энзе. И это понятно.

---

[17] «Г-н Кюстин только придал форму тем понятиям, которые все имеют о нас и даже мы сами» (*франц.*).

[18] K. A. Varnhagen von Ense. Tagebücher, Bd. II. Leipzig, 1861, S. 216.

[19] Статья перепечатана в подлиннике и переводе в «Сочинениях Ф. И. Тютчева» (СПб., 1886; СПб., 1900) и в «Полном собрании сочинений Ф. И. Тютчева», изд. А. Ф. Маркса (СПб., 1912; СПб., 1913). Цит. здесь и далее в заново отредактированном мною переводе.

В частной беседе с немцем, состоявшим некогда на русской службе и хорошо знавшим Россию, Тютчев мог отзываться о Кюстине «довольно спокойно» и «не отрицать достоинств книги». Другое дело, когда он ставил своей задачей — как мы увидим далее — печатно вразумлять на русский счет немецкое общественное мнение. Можно сказать, что в первом случае он относился к вопросу «рассудком» (разве его собственное, ранее приведенное определение царства «канцелярии и казармы» не отзывается впечатлениями, подобными впечатлениям Кюстина?), во втором — классовыми «нервами». И в этом он был не одинок.

Точку зрения большинства «общественного мнения» в России ярче других, быть может, выразил В. А. Жуковский, сказавший, что «нападать надобно не на книгу, ибо в ней много правды, но на Кюстина» [20]. Досадовали на него как раз за то, что он «придал форму тем понятиям», которые и до него уже бродили в публике, за то, что напоказ всей Европе он вынес сор из царских палат и дворянских чертогов.

Понятной становится и кажущаяся противоречивость позиции Тютчева по отношению к книге Кюстина. Однако он не берет на себя задачу апологии России. «Истинный защитник России — это История, постоянно в течение трех столетий разрешающая в ее пользу все тяжбы, в которые вовлекались последовательно ее таинственные судьбы». Статья Тютчева посвящена проблеме русско-германского союза. «La Russie et l'Allemagne» («Россия и Германия») — таково заглавие, под которым тютчевская статья перепечатывалась в собраниях сочинений поэта. Тютчев подчеркивает господствующее в Германии разъединение между «строгой и обдуманной политикой» германских правительств по отношению к России и враждебно настроенным на ее счет немецким общественным мнением. В результате «освобождения Европы» в 1815 году Германия при помощи России разрешила в свою пользу двухвековой поединок с Францией. Отныне в Европе уже не две силы а, три: «Европа Карла Великого очутилась лицом к лицу с Европою Петра Великого». Из создавшегося порядка вещей вытекают три «единственно возможных» исхода: первый — преобладание Германии в центре Европы, второй — преобладание Франции, третий — союз Германии с Францией против России. Но последнее было уже безуспешно испробовано в 1812 году, а первое осуществимо лишь при условии верности Германии союзу с Россией. Во имя чего же вмешалась Россия в распрю между «двумя началами, двумя великими народностями, которые в течение веков оспаривали друг у друга европейский Запад», и «разрешила эту распрю в пользу Германии и германского начала? Она хотела раз навсегда утвердить торжество права, исторической законности над революционным движением».

---

[20] «Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу». СПб., 1895, стр. 297.

В той же статье Тютчев останавливается и на России, на ее историческом будущем. В «противовес» Европе Западной он выдвигает Европу Восточную, где «Россия во все времена служила душою и двигательною силой...». Самые выражения, в которых Тютчев отзывается о России, свидетельствуют о его глубоком сродстве с московскими славянофилами. Восточная Европа — это «целый мир», единый по своему духовному началу, солидарный в своих частях, живущий своей собственной, органической, самобытной жизнью. Широко развернутая перед несочувственным взором Фалльмерайера славянская карта Шафарика оказала Тютчеву существенное подспорье при выработке его панславистских планов. Восточный вопрос считается «неразрешимым» только потому, что «неизбежное разрешение» его уже давно предопределено. «...Остается только узнать, обретет ли Восточная Европа, уже на три четверти сложившаяся, эта истинная империя Востока, для которой первая империя византийских кесарей, древних православных императоров, служила лишь слабым и неполным предначертанием, обретет или нет Восточная Европа свое последнее самое существенное дополнение, и получит ли она его путем собственного хода событий, или будет вынуждена добывать его силою оружия, подвергая мир величайшим бедствиям...».

Ни в России, ни за границей брошюра Тютчева не вызвала сколько-нибудь живого отклика. Дошедшие до нас суждения о ней ограничиваются отзывами в частных письмах. А. И. Тургенев, считая, что тютчевское «Письмо к г-ну доктору Густаву Кольбу» «хорошо писано», в то же время собирался писать на него замечания. Одобряя намерение поэта «вразумлять Европу на наш счет», А. И. Тургенев, однако, писал: «Ему стоит только писать согласнее с его европейским образом мыслей — и тогда он будет ближе к цели, которую себе предполагает»[21]. Неодобрительно отнесся к статье Тютчева декабрист-эмигрант Н. И. Тургенев: «...не об истории Византии и о ее наследии следует помышлять русским, у коих сердце бьется любовью к их земле, а о голоде и холоде, о палках и кнуте, одним словом о рабстве и его уничтожении»[22]. Тютчев как бы предвидит подобные возражения: «Несовершенства нашего общественного строя, недостатки нашей администрации, положение наших низших классов» — все это так. Но «в конце концов мы не одни на белом свете». И Тютчев предлагает «взглянуть, например, на Англию, на ее фабричное население», на Ирландию, и «на правдивых весах» дипломата-публициста «бедственные последствия английского просвещения» (иначе — промышленного переворота) перетягивают «бедственные последствия русского варварства» (иначе — крепостничества).

[21] Письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 24 июня и 16 октября 1844 г. «Остафьевский архив», т. IV. СПб., 1899, стр. 290 и 301.

[22] Письмо к А. И. Тургеневу, цитируемое в письме последнего к П. А. Вяземскому от 14 ноября 1845 г.— Там же, стр. 333.

Брошюра Тютчева дошла до Николая I. Тютчев узнал потом, что император «полюбопытствовал узнать, кто был ее автором», и «заявил, что нашел в ней все свои мысли» [23]. Это неудивительно. В брошюре заметно сказывались принципы агонизирующего Священного союза, дорогого сердцу царя. Отстаивая их, Тютчев был вполне искренен, ибо его политические убеждения в ту пору во многом были сродни понятиям Зимнего дворца. Лишь много позднее Тютчев перестанет отождествлять интересы правящих кругов с национальными задачами России.

Одобрение, которым Николай I отметил статью Тютчева, облегчило нерадивому дипломату возвращение на государственную службу. В конце сентября 1844 года Тютчев с женой и двумя детьми от второго брака [24] переезжает из Мюнхена в Петербург, а через полгода снова зачисляется в ведомство Министерства иностранных дел; тогда же было возвращено поэту и звание камергера.

2

«Тютчев — лев сезона»,— отозвался о нем П. А. Вяземский, очевидец его первых успехов в петербургском светском кругу [25]. Таким бессменным «львом сезона», увлекательным собеседником, тонким острословом и любимцем салонов Тютчев остался вплоть до конца своих дней. И недаром классический в своем роде литературный портрет Тютчева, принадлежащий перу М. П. Погодина, изображает поэта в блестящей обстановке «большого света»: «Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ...вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердой поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто б не нашел, на что бы нужно обратить внимание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... он отвечает отрывисто, сквозь зубы... смотрит рассеянно по сторонам... Кажется ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость, только что полученную, слово за слово его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... Вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных

---

[23] Письмо к родителям от 27 октября 1844 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

[24] Дочь Мария, родившаяся 23 февраля 1840 г., и сын Дмитрий, родившийся 14 июня 1841 г. Уже в Петербурге, 30 мая 1846 г., у Тютчевых родился второй сын, Иван.

[25] Письмо к А. И. Тургеневу от 29 января 1845 г. «Остафьевский архив», т. IV, стр. 309.

особенною силой ума, несколько острот едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шопотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале у княгини Н.»[26].

Так было и в первые годы по возвращении поэта в Россию (кстати сказать, уже тогда, еще не достигший пятидесятилетнего возраста, но рано поседевший, он производил впечатление «старичка»), так продолжалось и на самом склоне его лет. Служба отнимала у него немного времени. Погодину казалось даже, что «настоящую службу» Тютчева всегда составляла беседа в обществе. Эта устная беседа в петербургских гостиных и равная ей по оживлению и остроте эпистолярная беседа с многочисленными корреспондентами являлись, действительно, своеобразными формами его общественно-политической деятельности. Однако общественно-политическая деятельность поэта порою принимала и более прямое, непосредственное выражение.

В 1848 году под впечатлением западноевропейских революционных событий Тютчев вновь обращается к публицистике.

Февральская революция во Франции произвела в полном смысле слова ошеломляющее действие на русские придворно-официальные и дворянско-помещичьи круги. Вслед за падением июльской монархии и провозглашением Французской республики революционное пламя охватило почти все страны Западной Европы. Тютчев был потрясен этими событиями, видя в них осуществление того, что еще в 1830 году он предсказывал как наступление «революционной эры».

12 апреля 1848 года поэт продиктовал жене статью на французском языке «La Russie et la Révolution» («Россия и Революция»)[27]. «Февральский взрыв» — утверждает Тютчев — показал, что «Европа трактатов 1815 года», Европа Священного союза к этому времени уже перестала существовать, что ей не удалось обуздать Революцию (он пишет это слово с большой буквы) «конституционными заклинаниями», ибо «революционное начало» уже «проникло в общественную кровь». Основная мысль статьи сводится к тому, что «давно уже (а именно с 1789 года.— *К. П.*) в Европе существуют только две действительные силы — Революция и Россия». Не сегодня-завтра они вступят в единоборство, и «вся политическая и религиозная будущность человечества» находится в зависимости от исхода этого поединка.

В статье «Россия и Революция» Тютчев во многом близко сходится со славянофилами. Особенностью «нравственной природы»

---

[26] М. П. Погодин. Воспоминание о Ф. И. Тютчеве. «Московские ведомости», 1873, № 190, 29 июля.

[27] Текст статьи в подлиннике и переводе см. в «Сочинениях Ф. И. Тютчева» (СПб., 1886; СПб., 1900) и в «Полном собрании сочинений Ф. И. Тютчева», изд. А. Ф. Маркса (СПб., 1912; СПб., 1913).

русского народа он, как и они, считает его «способность к самоотверженню и самопожертвованию». Как известно, именно это антиисторическое представление о русском народе, пропагандировавшееся славянофилами, встретило резкий отпор со стороны Белинского. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский писал, что славянофилы, «сознавая потребность высшего национального начала и не находя его в действительности, хлопочут выдумать свое и неясно, намеками указывают нам на смирение, как на выражение русской национальности... Этот взгляд, может быть превосходный в теоретическом отношении, не совсем уживается с историческими фактами» [28].

По мнению Тютчева, в силу указанного им нравственного свойства народа, а не только в силу господствующей в ней религии, Россия — «прежде всего христианская империя». Наоборот, определяющей чертой исторического развития западноевропейского буржуазного общества является «противохристианское начало», воплощенное как в католицизме с его обожествлением власти папы, так и в революции с ее отрицанием авторитета власти. Из этого положения о двух различных и враждебных друг другу началах, заложенных в историческом развитии Запада, с одной стороны, и России, вернее — всего «славяно-православного» Востока, с другой, Тютчев и делает вывод о неизбежности столкновения между Революцией и Россией, которая в ходе этой борьбы должна сплотить вокруг себя западных и восточных славян.

Идеологические основы давно уже обветшавшей системы Священного союза и теперь находят в Тютчеве своего защитника, но с одной существенной оговоркой или поправкой. В одном из писем, хотя и относящемся к несколько более позднему времени, но отражающем точку зрения Тютчева в пору написания «России и Революции», жена поэта сообщала своему брату: «Мой муж считает, что пора наконец друзьям и недругам понять ту очевидную истину, что Россия прежде всякого личного интереса всегда и повсюду представляет великий принцип власти и что этот принцип до того отождествился с ее существованием, что она, так сказать, обречена повсюду и всегда поддерживать все законные и признанные правительства, до тех пор, по крайней мере, пока их можно поддержать. Но бесспорно также, что если они окончательно рухнут, то Россия, в силу того же принципа, столь же неминуемо обязана будет скорее сама занять их место, чем уступить его революции» [29].

Свою статью Тютчев заканчивает внушительной картиной грандиозного катаклизма, которым охвачена Западная Европа: «Запад исчезает, все рушится, все гибнет в этом общем воспламе-

---

[28] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1957, стр. 23.

[29] Письмо Эрн. Ф. Тютчевой к К. Пфеффелю от 23 апреля 1849 г. Подлинник по-французски.— *МА*.

нении. Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 г., Римское папство и все западные королевства, католицизм и протестантизм, вера уже давно утраченная и разум, доведенный до бессмыслия, порядок отныне немыслимый, свобода отныне невозможная, и над всеми этими развалинами, ею же созданными, цивилизация, убивающая себя собственными руками...». В тогдашнем Петербурге, в атмосфере торжества внутренней реакции, далекому от широкой народной жизни Тютчеву казалось, что одна Россия не только остается в стороне от этого всеобщего погрома, но и способна ему противостоять: «И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающею святым ковчегом эту империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, сынам ее, являть себя неверующими и малодушными?»

То представление о николаевской России и те надежды на ее «призвание», какие нашли выражение в цитированных строках Тютчева, были вообще характерны для консервативно настроенных кругов русского общества. Поразительно почти дословное совпадение этих строк с тем, что писал Жуковский своему воспитаннику — наследнику престола — под непосредственным впечатлением от известий о февральской революции во Франции: «Более, нежели когда-либо, утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения, и что она будет им не для себя одной, но и для других, если только посреди этой бездны поплывет самобытно, не бросаясь в ее водоворот, на твердом корабле своем, держа его руль и не давая волнам собою властвовать» [30].

Одинаковое восприятие западноевропейской революционной действительности и одинаково иллюзорное представление о феодально-крепостнической России повлекло за собой общность образа, которым пользуются Жуковский и Тютчев: «ковчег спасения», «святой ковчег». Прямая зависимость Тютчева от Жуковского в данном случае, по-видимому, исключена. Но в том же году Тютчев создал стихотворное произведение на тему Революции и России — «Море и утес», на этот раз уже непосредственно навеянное тогда же написанным стихотворением Жуковского «Русскому великану». У обоих поэтов в образе бунтующих волн воплощен революционный Запад, а в образе незыблемого утеса — самодержавная Россия, только под пером Тютчева эти образы лишились той обнаженной аллегоричности, которая присуща стихам его старшего современника [31].

---

[30] Письмо от 17 февраля 1849 г. В. А. Жуковский. Сочинения, т. XII. СПб., 1902, стр. 46.

[31] Стихотворение Жуковского и отрывок из стихотворения Тютчева (последняя строфа) были одновременно напечатаны в газете «Русский инвалид» от 7 сентября 1848 г. Сравнительный их анализ см.: Д. Благой. Три века. М., 1933, стр. 217—220.

Статья Тютчева в рукописи была прочитана Николаем I, выразившим желание, чтобы она была напечатана за границей. В России широкого общественного резонанса она не имела, оставшись известной лишь в узком кругу единомышленников поэта.

Копия «России и Революции» была переслана в Мюнхен шурину поэта барону К. Пфеффелю, который способствовал ее рукописному распространению в дипломатических и политических кругах Германии и Франции. Весной 1849 года барон Поль Шарль де Бургуэн, бывший в течение многих лет французским посланником в Мюнхене и лично знакомый с Тютчевым, выпустил ее в Париже под вымышленным и интригующим названием «Mémoire présenté à l'empereur Nicolas depuis la révolution de Février, par un Russe, employé supérieur aux affaires étrangères» («Записка. поданная императору Николаю после февральской революции одним русским, чиновником высшего разряда в министерстве иностранных дел»). Бургуэн сопроводил ее своим комментарием, в котором, очень лестно отзываясь о таланте автора, выражал сомнение в том, что Россия действительно обладает такими большими силами, как принято думать. Брошюра была издана в количестве двенадцати экземпляров. В Россию ни один из них, по-видимому, не попал. Они были разосланы издателем самым влиятельным политическим деятелям Франции, в том числе президенту республики Луи Наполеону Бонапарту, Моле, Тьеру и другим [32]. Журнал «Revue des Deux Mondes» поместил в своей двухнедельной хронике изложение этого «чуть ли не официального документа» («document quasi-officiel») с пространными цитатами [33]. Выдержки из статьи Тютчева появились в разных французских и немецких газетах [34].

Осенью 1849 года Тютчев задумал обобщить свои раздумья по вопросам истории и политики в большом историко-философском трактате на французском языке «La Russie et l'Occident» («Россия и Запад»). Статья «Россия и Революция» должна была войти в него в качестве восьмой главы. В рукописях поэта сохранилось два плана и конспективные наброски [35]. Закончена и обработана в виде

[32] См. письмо К. Пфеффеля к Эрн. Ф. Тютчевой от 16/28 мая 1849 г.— *МА*.

[33] «Revue des Deux Mondes», t. II, 15 juin 1849, p. 1053—1055.

[34] Сразу же по выходе в свет статьи Тютчева извлечения из нее были перепечатаны в газетах «Le Constitutionnel», 7 janvier 1850, и «L'Indépendance belge», 12 janvier 1850. Судя по данным семейной переписки Тютчевых, отклики на статью появились также в «Allgemeine Zeitung» и «Historisch-politische Blätter für das Katholische Deutschland». В книгохранилищах Москвы и Ленинграда не удалось выявить этих материалов.

[35] Большая часть их опубликована в переводе И. С. Аксаковым в «Биографии Ф. И. Тютчева» (М., 1886, стр. 199—227). В одном плане значится девять глав (I. Положение дел в 1849 г., II. Римский вопрос, III. Италия, IV. Единство Германии, V. Австрия, VI. Россия, VII. Россия и Наполеон, VIII. Россия и Революция, IX. Будущее). В другом плане — восемь (отсутствует глава «Россия и Революция»). Рукопись хранится в *ЛБ*.

самостоятельной статьи лишь вторая глава — «La Question romaine» («Римский вопрос») [36].

Насильственное и повсеместное подавление Революции ничуть не свидетельствует, в глазах Тютчева, о ее бессилии. «Революция,— утверждает он в набросках к «России и Западу»,— потерпела в настоящее время поражение, но крепче ли от того стали сами правительства? Какой *Символ веры* могут они противопоставить революционному *Верую*?» [37]. Правительства Европы обнаружили, что «если они еще довольно сильны для противодействия разрушению, то не довольно сильны для созидания». Тютчев сравнивает 1848 год с землетрясением. Хотя и «не все поколебленные им здания» превратились в развалины, «но зато те, которые устояли, дали такие трещины, что ежеминутно грозят падением» [38].

«Землетрясение» 1848 года придало окончательную форму тютчевским взглядам на западноевропейскую цивилизацию и на взаимоотношения Запада и России.

В понимании Тютчева Революция представляет собой естественное порождение («чистейший плод») всей западноевропейской цивилизации нового времени, органическое развитие современной буржуазной мысли, т. е. «апофеоз человеческого *я* в самом буквальном смысле слова». Игнорируя социально-политическую сущность Реформации и сводя ее к одной религиозной борьбе, Тютчев утверждал, что именно Реформация проложила дорогу Революции. Возникнув в качестве «реакции христианского чувства» против исказившего его идеалы католичества, протестантство упразднило авторитет церкви и предпочло «апеллировать к суду личной совести». Но, придя к «отрицанию авторитета церкви», оно логически пришло к отрицанию «и самого начала всякого авторитета». «Через этот пролом, который протестантство пробило, так сказать, само того не ведая, ворвалось впоследствии в западное общество противохристианское начало» [39]. Его законченным выражением, воплощенным во французской буржуазной революции 1789 года, стало «самовластие человеческого *я*, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся в силу этого права овладеть обществом» [40].

Уже из этого схематического изложения философско-исторической концепции Тютчева очевидной становится ее несамостоятельность и обнаруживается, насколько сильным было воздействие, оказанное на нее французскими реакционными публицистами — Шатобрианом, Бональдом, Жозефом де Местром и другими. В осо-

---

[36] Текст статьи в подлиннике и в переводе см. в «Сочинениях Ф. И. Тютчева» (СПб., 1886; СПб., 1900) и в «Полном собрании сочинений Ф. И. Тютчева», изд. А. Ф. Маркса (СПб., 1912; СПб., 1913).

[37] Аксаков, стр. 202.

[38] Там же, стр. 203.

[39] «Римский вопрос».

[40] «Россия и Революция».

бенности роднит его с ними перенесение чисто политических вопросов в сферу религиозную.

«В Тютчеве резко означились две стороны,— писал о нем К. Пфеффель,— сторона скептическая, вольтерьянская, и сторона религиозная, чтобы не сказать мистическая, которая проявлялась в нем под влиянием великих политических и социальных потрясений, как те, свидетелями коих мы были в 1830, 1848, 1870 и 1871 годах. В эти моменты он являл собою вдохновенного пророка» [41]. Это важное наблюдение человека, близко знавшего Тютчева, позволяет многое понять в отношении поэта к религии.

Не всякому, общавшемуся с Тютчевым, удавалось подметить двойственность его духовного облика. Для тех, кто не имел случая наблюдать его в минуты «великих политических и социальных потрясений», приписывание ему свойств «вдохновенного пророка» могло казаться по меньшей мере натянутым. И, наоборот, истинной сущностью Тютчева могло представляться то, что Пфеффель назвал его «скептической стороной». Так, например, И. С. Гагарин, вспоминая поэта таким, каким он остался в его памяти со времени их мюнхенских встреч, писал одной своей корреспондентке: «В религиозном отношении он вовсе не был христианином. Католичество и протестантство были в его глазах историческими фактами, достойными внимания философа и государственного деятеля, но ни в католичестве, ни в протестантстве, равно как и в восточном православии, он не усматривал факта сверхъестественного и божественного. Его религией была религия Горация, и я был бы чрезвычайно удивлен, если бы мне сказали тогда, что он станет когда-нибудь ревнителем восточной церкви и пламенным патриотом и что он будет в петербургских салонах играть роль какого-то православного графа де Местра» [42].

При всем своем желании канонизировать Тютчева-славянофила И. С. Аксаков не умолчал о его внутренней раздвоенности, столь дисгармонировавшей с цельными натурами таких ортодоксальных славянофилов, какими были Хомяков или Константин Аксаков. Религиозное сознание поэта его биограф определяет словами: «Вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управлявшая волею, недостаточно освящавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства» [43]. В противоположность славянофилам Тютчев был совершенно равнодушен к «церковно-русской стихии». Рассказывая в письме к жене о своем отъезде из Москвы в 1843 году и о проводах, устроенных ему родителями, он со снисходительной иронией упоминает про «обязательный молебен» («te deum obligé»). В этих «глубоко исторических формах» быта, связанных с религиозным

---

[41] Заметка о Тютчеве. Подлинник по-французски.— *МА*.

[42] Письмо к А. Н. Бахметевой, октябрь 1874 г. Подлинник по-французски.— Славянская библиотека в Париже.

[43] Аксаков, стр. 47—48.

обрядом, Тютчев склонен находить поэтическую сторону, но с одной характерной оговоркой: «для того, кто лишь мимоходом и в меру своего удобства приобщается этому» [44].

Противоречие между «практическим» отношением Тютчева к религии и его «теоретическими» суждениями о ней отнюдь не означает неискренности с его стороны. Самого себя он считал во власти того же недуга, который, по его убеждению, гложет современное человечество: «...корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца... В современном настроении преобладающим аккордом это — принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. Вот чем мы *все* заражены, *все* без исключения, и вот откуда идет это повсеместное отрицание *власти,* в каком бы то виде ни было» [45].

Осуждая и казня в себе самом этот «принцип личности», Тютчев и считал религию необходимым цементом общества. Он подчеркнул это однажды в одном из позднейших писем: «Латинское слово *religio* (религия) происходит от глагола связывать, *religare*» [46]. Тютчевская этимология слова «religio» была ошибочной, но от нее не отказался бы и Ж. де Местр, в сущности во всех своих писаниях проводивший одну и ту же мысль, которую он высказал впервые также «под влиянием великого политического и социального потрясения» 1789 года: «Если в Европе не произойдет нравственной революции, если религиозное чувство не будет укреплено в этой части мира, то общественные узы распадутся» [47].

Высказывания Тютчева на философские и политические темы позволяют установить немало точек соприкосновения между ним и французскими политическими мыслителями и моралистами первой трети XIX века. Когда он говорит Шеллингу: «Вера в сверхъестественное в сущности как нельзя более естественна для человека» [48], он почти дословно повторяет Гизо. Когда он рассуждает о причинной связи между «взрывом Реформы» в XVI столетии и взрывом Революции в XVIII веке, он лишь оттачивает мысль, общую идеологам Реставрации: «Едва только люди начинают сомневаться в вопросах религии, они сомневаются и в политике» [49]. Отсюда попытка воскресить преданность традиции, основанную на вере в сверхъестественное, возвратить нравственному чувству ре-

---

[44] Письмо от 26 августа 1843 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 18. СПб., 1914, стр. 8.

[45] Письмо к И. С. Аксакову от 7/19 мая 1871 г. «Литературное наследство», т. 31—32, 1937, стр. 763.

[46] Письмо к Эрн. Ф. Тютчевой от 20 октября/1 ноября 1870 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ*. Ср.: «Старина и новизна», кн. 22, Пг., 1917, стр. 268.

[47] J. de Maistre. Considérations sur la France. Paris, 1821, p. 36.

[48] Статья К. Пфеффеля о Тютчеве. Подлинник по-французски.— Аксаков, стр. 319.

[49] Chateaubriand. Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes..., 1826, p. 180.

лигиозную форму, отнятую у него веком энциклопедистов, наконец критика человеческого разума и осуждение «первейшего революционного чувства — высокомерия ума»[50].

Французский литературовед Мельхиор де Вогюэ назвал Тютчева «русским Бональдом»[51]. Вскоре после выхода в свет статьи «Россия и Революция» французский журнал «Revue des Deux Mondes» сравнил его с Жозефом де Местром[52]. В уже цитированной заметке о Тютчеве Карл Пфеффель писал: «Когда он покинул Россию в 1822 году, умы в ней находились еще под влиянием теократических идей, пущенных в обращение Жозефом де Местром, и мистицизма императора Александра I. Этого влияния не избег, конечно, и молодой Тютчев и на всю жизнь сохранил его следы». Однако влияние не исключало и коренного расхождения между Тютчевым и названными политическими мыслителями и притом по самому основному для них вопросу: по вопросу о католицизме. Стоит вникнуть в тютчевскую оценку исторических судеб католицизма, чтобы понять, насколько она несовместима с убеждениями таких идеологов католической реакции, какими были Бональд и Местр.

Тютчев возводит корни «глубокого и непримиримого разрыва, веками донимающего Запад», к тому дню, когда «Рим разорвал последнее звено, связывавшее его с православным преданием вселенской церкви» и тем самым создал себе «свою отдельную судьбу»[53]. Первопричиной того, что Ж. де Местр называл «разрушительным духом XVI века»[54] и послужили, по мнению Тютчева, «захваты Рима». Римская церковь перестала быть «обществом верующих», она сделалась «политическим учреждением, политической силою, государством в государстве», одним словом «римской колонией, водворенной в завоеванной стране»[55].

Римский вопрос, т. е. вопрос о будущности папства, неспроста так занимает и волнует Тютчева. Самым ранним проявлением тютчевского интереса к нему является перевод монолога дон Карлоса (перед гробницей Карла Великого) из драмы Виктора Гюго «Эрнани», самым последним — чтение за несколько недель до смерти книги Вильмена «История Григория VII». Можно предположить, что монолог дон Карлоса был воспринят Тютчевым сквозь призму местровских суждений об утраченном мировом единстве. Пройдет несколько лет — и Тютчев создаст свою систему великого славянского единства, систему Жозефа де Местра наизнанку.

---

50 «Россия и Революция».

51 «La poésie idéaliste en Russie. F. I. Tutcheff».— Melchior de Vogüé. Regards historiques et littéraires. Paris, s. a., p. 294.

52 «Revue des Deux Mondes», t. II, 1849, 15 juin, p. 1054.

53 «Римский вопрос».

54 J. de Maistre. Quatre chapitres inédits sur la Russie. Paris, 1859, p. 65.

55 «Римский вопрос».

Почему папство является краеугольным камнем всей системы Местра? Потому именно, что он видел в нем надежный оплот феодально-монархического принципа. На это прямо указывают следующие строки Местра: «Папы вступали порою в борьбу с государями, но с идеей верховной власти никогда... Папы повсеместно были признаны посланцами божества, от которого исходит верховная власть. Величайшие государи искали в помазании утверждения и, так сказать, дополнения их права». И наконец: «...папская власть была всегда властью консервативной» [56].

Вот это-то положение Ж. Де Местра, правда, не называя вещи своими именами, и развивает Тютчев, говоря: «Папство — вот столп, который еще кое-как поддерживает на Западе весь тот край христианского здания, что уцелел после великого погрома XVI века и последовательных обвалов, совершившихся с той поры» [57]. Несмотря на это красноречивое «кое-как», обращение Тютчева к папству закономерно и знаменательно.

В начале 1850 года статья Тютчева «La Question romaine» появилась во французском журнале «Revue des Deux Mondes», куда она была переслана К. Пфеффелем. Напечатана она без подписи под заглавием «La Papauté et la Question romaine» («Папство и Римский вопрос») и с подзаголовком: «au point de vue de Saint-Pétersbourg» («с точки зрения С. Петербурга») [58]. Отмежевываясь, таким образом, от основных положений автора, редакция тем самым намекала на то, что его статья является выражением официозно-петербургских взглядов на католицизм, чего в действительности не было.

Статья Тютчева написана через несколько месяцев после того, как светская власть папы, свергнутая в результате революционных выступлений итальянских патриотов в начале 1849 года, была восстановлена войсками Французской республики. Тютчев, однако, не склонен считать такое положение дел прочным. По его твердому убеждению, «папство, с постепенным развитием скрытого в нем порока, пришло через несколько столетий к такому периоду существования, в котором жизнь, как было кем-то сказано, дает себя чувствовать лишь трудностью бытия». Разрешение римского вопроса зависит от того, «каковы будут свойства, дух и стремления того нового правительства», которому рано или поздно будет передана отнятая у папства светская власть над Римской областью и «под опеку» которого будет поставлено папство. В конце статьи Тютчев довольно прозрачно давал понять, как он представлял себе его дальнейшие судьбы. По крайней мере французские читатели сразу сообразили, что неспроста вспоминает Тютчев о том «всеобщем волнении», с каким было встречено в 1846

---

[56] J de Maistre. Du Pape. Paris, 1843, p. 181—183.

[57] «Римский вопрос».

[58] «Revue des Deux Mondes», t. V, 1850, 1 janvier, p. 115—133.— Статья датирована 1/13 октября 1849 г.

году появление в соборе св. Петра русского императора — «появление православного императора, возвратившегося в Рим после стольких веков отсутствия».

В бумагах Тютчева сохранилось следующее письмо редактора и основателя «Revue des Deux Mondes» Франсуа Бюлоза к К. Пфеффелю; последний переслал его поэту. Письмо это помечено 3 января 1850 года:

«Милостивый государь,

Я получил Записку о *Римском вопросе,* которую вы благоволили прислать мне из Мюнхена, и вы найдете ее в только что появившемся номере «Revue» от 1 января. Надеюсь, что автор, писатель с очень большим дарованием, владеющий с поразительной силой нашим языком, извинит мне предпосланные его записке оговорки. «Revue» не могло принять этой статьи без такого предисловия. Прошу вас соблаговолить передать автору это объяснение и одновременно чувства восхищения, питаемого мною к силе и точности его мысли. Допуская кое-какие оговорки, которыми со своей точки зрения не должно пренебрегать «Revue», но которые оно всегда будет высказывать с тем уважением, коего заслуживает человек столь выдающийся,— русский писатель будет всегда с радостью здесь принят и таким образом станет, быть может, проводником в Западной Европе идей и настроений, одушевляющих его страну и его правительство. Что же касается «Revue», то повторяю вам, милостивый государь, и прошу вас известить о том вашего шурина (если я верно осведомлен), что оно будет в восторге служить таким путем духовным посредником между двумя великими странами. Примите, господин барон, уверение в моем высоком уважении.

Ф. Бюлоз,

главный редактор „Revue des Deux Mondes"»[59].

Оговорки, о которых пишет Бюлоз, это небольшое введение, предшествующее в «Revue des Deux Mondes» статье Тютчева о римском вопросе. Автором этого полемического предисловия был известный католический публицист Лоренси. Как и следовало ожидать, особое внимание Лоренси привлекли к себе заключительные строки тютчевской статьи, приведенные выше, «Карл Великий более не в Париже и не в Аахене, он в Москве или в Санкт-петербурге — замечает по этому поводу Лоренси.— И, что в особенности следует отметить, новый Карл Великий намеревается, придя в Рим, принести с собою, подобно древнему Карлу Великому, большую материальную силу, но вовсе не думает искать в Риме духовного и нравственного освящения своей власти. Напротив, это он, так сказать, приходит освятить папство!»[60]

---

[59] Подлинник по-французски.— Собрание К. В. Пигарева.
[60] «Revue des Deux Mondes», t. V, 1850, 1 janvier, p. 116.

То, что проскользнуло в последних строках статьи Тютчева, в словах о *возвращающемся* в Рим православном императоре, должно было стать основным выводом его трактата о России и Западе. И что бы сказал Лоренси, если бы ему попались в руки такие заметки и стихи Тютчева, в которых мысль его была высказана без всяких обиняков!

По-видимому, к тому же времени, когда Тютчев писал свои политические статьи, относится его стихотворение «Русская география», в котором начертана фантастическая карта «России будущего». Границы ее простираются

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Тремя «заветными столицами» этой воображаемой державы объявляются Тютчевым «Москва и град Петров и Константинов град». При этом «град Петров» — это не Петербург, а Рим, город святого Петра, религиозный центр «великой православной империи, законной империи Востока». Непостижимо, как мог Тютчев верить в реальность такой чудовищной утопии, до какой не додумывался ни один из самых крайних панславистов! Но он вполне искренно верил в нее. Доказательством тому служит «пророческий» тон его набросков к «России и Западу».

«Движение, потрясающее в настоящее время Запад,— писал, например, Тютчев в заметке, датированной 27 декабря 1848/8 января 1849 года,— найдет свое разрешение и предел лишь тогда, когда увидят православного папу в Риме, подчиненного светской власти православного императора в Константинополе» [61].

Это опять витийственный язык Ж. де Местра, но его система «великого единства» опрокинута с ног на голову. И хотя в статье о Римском вопросе точки над *и* не были еще расставлены так определенно, как в этих беглых строках, Лоренси оказался достаточно проницательным, чтобы уловить своеобразную эволюцию политической мысли Тютчева. «Было бы любопытно проследить,— замечает Лоренси,— как та самая школа, вождем которой был некогда г. де Местр, а евангелием — доктрины „О папе“, дошла наконец — и посредством известной национальной логики, до признания того, что царь есть настоящий папа» [62].

По словам современников, статья Тютчева о папстве «наделала много шуму в Париже» и в течение некоторого времени составляла тему «модного разговора» в петербургских и московских светских кругах» [63]. Заграничная газетная пресса поместила полемиче-

---

[61] Перевод с французского.— *МА*.— Более пространное развитие той же мысли содержится в заметке Тютчева, датированной 12 сентября 1849 г. и опубликованной мною в «Литературном наследстве» (т. 19—21, 1935, стр. 196).

[62] «Revue des Deux Mondes», t. V, 1850, 1 janvier, p. 118.

[63] Письмо А. О. Россета к А. О. Смирновой от 16 января 1850 г. «Рус-

ские отзывы о ней католических публицистов [64]. В России писать возражение на нее собирался П. Я. Чаадаев. «Превосходной» назвал статью Тютчева А. С. Хомяков, несмотря на свое несогласие с отдельными ее положениями [65]. Несколько позже, в 1852 году, вышла в Париже брошюра Лоренси «La Papauté. Réponse a M. de Tutcheff» («Папство. Ответ г. Тютчеву»), в свою очередь, вызвавшая опровержение со стороны А. С. Хомякова в брошюре «Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales à l'occasion d'une brochure de M. Laurenite» («Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоренси») [66]. Спор вокруг статьи Тютчева перешел с политической почвы на чисто богословскую. Сам Тютчев участия в нем не принимал, так как в то время, когда его статья о римском вопросе печаталась в «Revue des Deux Mondes», он уже охладел к работе над трактатом «La Russie et l'Occident» и более уже никогда к нему не возвращался.

3

В первые годы по возвращении из-за границы связи Тютчева с русской литературной жизнью оказываются еще менее заметными, чем в бытность его на чужбине. За девять лет (с 1841 по 1849 год) им не было напечатано ни одного стихотворения [67]. В сознании современников он занимает более чем скромное место в ряду разных второстепенных и третьестепенных поэтов двадцатых и тридцатых годов. Имя Тютчева мельком упомянул Белинский в статье о Д. Давыдове (1840): «Достойны внимания переводы и даже некоторые оригинальные произведения гг. Ротчева, Тютчева, Маркевича, Верderевского и даже г. Раича» [68]. В числе поэтов, «созданных» Пушкиным, которые без него «не выказали бы собственного поэтического огня», назван Тютчев в статье Гоголя «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее значение» (1847) [69]. Как справедливо заметил В. В. Гиппиус, оба высказывания, очевидно,

---

ский архив», 1896, кн. 1, стр. 371; письмо П. А. Плетнева к П. А. Вяземскому от 14/26 февраля 1851 г.— П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. III. СПб., 1885, стр. 404.

[64] По сообщению К. Пфеффеля в письме к Эрн. Ф. Тютчевой от 29 марта/10 апреля 1850 г., на статью Тютчева откликнулись «L'Ami de la réligion et du roi» и «L'Autorité». К сожалению, разыскать соответствующий материал в библиотеках Москвы и Ленинграда не удалось.

[65] Письмо А. И. Кошелева к А. Н. Попову от 1 февраля 1850 г. «Русский архив», 1886, вып. 3, стр. 353; письмо А. С. Хомякова к А. И. Кошелеву, январь 1850 г.— А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, т. VIII. М., 1900, стр. 200.

[66] Напечатана в 1853 г. в Париже.

[67] Только отрывок (одна строфа) из стихотворения «Море и утес» был помещен в газете «Русский инвалид», 7 сентября 1848 г.

[68] «Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова» — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1954, стр. 342.

[69] Н. В. Гоголь. Пол. собр. соч., т. 8. Изд-во АН СССР, 1952, стр. 386.

подразумевают Тютчева — сотрудника «Галатеи», а не «Ф. Т.» — сотрудника «Современника»[70]. Тем более значителен отзыв В. Н. Майкова (1846), непосредственно относящийся к «Стихотворениям, присланным из Германии» и выводящий поэзию «Ф. Т.» из круга обыденных поэтических явлений: «...переводы [Плещеева.— *К. П.*] из Гейне напомнили нам одного русского поэта, которого никто не помнит, хотя в мое время, лет десять назад, его стихи и обратили на себя внимание людей со вкусом и поэтическим тактом. Считаем долгом напомнить об них, потому что видеть забвение истинно-поэтических произведений еще прискорбнее, чем видеть явление бездарных виршей, вооруженных самолюбивыми претензиями. Стихотворения, о которых говорим мы, напечатаны в „Современнике" 1836 и 1837 гг. под названием „Стихотворения, присланные из Германии" и принадлежат автору, подписавшемуся буквами „Ф. Т." Там они и умерли... Странные дела делаются у нас в литературе!»[71].

Отзыв В. Н. Майкова в известной мере предварил статью Н. А. Некрасова «Русские второстепенные поэты», напечатанную в январском выпуске «Современника» за 1850 год. Она появилась в годы, которые можно назвать годами поэтического застоя. В течение десятилетия, последовавшего за смертью Пушкина, один за другим уходят из жизни такие поэты, как Полежаев, А. Одоевский, Д. Давыдов, Козлов, Лермонтов, Кольцов, Баратынский, Языков. Из представителей младшего поколения поэтов (Некрасов, Фет, Полонский, А. Майков, А. Григорьев, Плещеев и другие) еще ни один не завоевал в эти годы признания у читателей и критиков, интересы которых были поглощены художественной прозой. Создалось даже мнение о том, что поэзия вообще изжила себя.

В том, что к концу сороковых годов стихи исчезают со страниц журналов, до известной степени сказалось влияние критических суждений Белинского. Тогдашнее отношение Белинского к поэзии хорошо разъяснено А. Лаврецким: «В последний период своей деятельности Белинский видел в вытеснении стихов прозой своего рода признак зрелости литературы, все больше обращающейся к таким проблемам, о которых удобнее писать прозой. Конечно, это не означало гонения на поэзию... Однако Белинский неоднократно утверждал, что после Пушкина и Лермонтова на внимание может рассчитывать поэт, если не равного им, то во всяком случае выдающегося дарования. Белинский был не только против посредственных стихов, как ошибочно полагают некоторые исследователи, но и против стихов, хотя и талантливых, но недостаточно значительных. Именно такая формулировка правильно отражает позицию Белинского. А в ней была своя опасность! Не только повышалась

---

[70] Вступительная статья к кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л., 1939 («Библиотека поэта». Большая серия), стр. 11.

[71] В. Майков. Критические опыты. СПб., 1891, стр. 135 (рецензия на стихотворения А. Н. Плещеева).

требовательность к качеству стихотворных произведений, но создавалась атмосфера, неблагоприятная для развития поэтических талантов. Если право на существование имеют только большие поэты, то климат становится уже слишком суровым, чтобы в нем могли со временем дать плод скромные, но все же живые ростки поэзии, чтобы могли крепнуть и развиваться дарования, которым нужны годы работы над собой для реализации своих возможностей» [72].

Подходя к оценке поэзии с критерием ее «дельности», Белинский дает сочувственную оценку повестям в стихах и сатирическим стихотворным очеркам, близким по направлению и стилю к натуральной школе («Параша» и «Помещик» И. С. Тургенева, «Две судьбы» и «Машенька» Майкова), зато решительное осуждение вызывают с его стороны лирические «вздоры» Огарева или Фета.

Неблагоприятный для русской поэзии «климат» сороковых годов сказался в полном исчезновении стихов, начиная с 1846 года, со страниц крупнейших журналов — «Современника», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения». Попыткой вернуть поэзии утраченное ею в современной литературе место, отстоять право на признание за каждой подлинной поэтической индвидуальностью, независимо от размеров ее дарования, и была статья Некрасова «Русские второстепенные поэты» [73].

«Стихов нет»,— такими словами открывается статья Некрасова. Упомянув о «дружных осуждениях журналистики, которым часто без разбора, подвергались у нас стихи в последние годы», Некрасов замечает: «В применении к предшествовавшей стихотворной эпохе, когда люди без таланта и признания угрожали наводнить всю литературу плохими стихами, это было хорошо, даже необходимо. Но нам кажется, что теперь, когда дело уже сделано, нужно более снисхождения, более внимания к появляющимся поэтам (192)... Как ни толкуют о положительности нашего времени, мы уверены, что хороший поэт был бы совсем не лишний в настоящей русской литературе: между любителями чтения всегда есть люди (и мы имеем слабость принадлежать к числу их), которым не довольно одних романов и повестей, как бы они ни были хороши, у которых просто есть слабость, обратившаяся в потребность, время от времени прочесть новое хорошее стихотворение...» (193). Некрасов далек от мысли, что в России выродились поэты. В доказательство он приводит несколько стихотворений из редакционного портфеля «Современника». По мнению Некрасова, «обнаруживая талант» (194), они в то же время свидетельствуют о «недостатке самобыт-

---

[72] А. Лаврецкий. Литературно-эстетические взгляды Некрасова. «Литературное наследство», т. 49—50. Н. А. Некрасов, 1. М., 1946, стр. 63.

[73] «Современник», 1850, № 1, отд. VI, стр. 42—74.— Цит. по изд.: Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX. М., 1950, стр. 190—221.

ности» (196), который, однако, может быть преодолен путем дальнейшего совершенствования таланта. Некрасов считает необоснованными сетования «любителей стихов» на то, что «читать нечего» (203). Он берется «показать, что еще недавно поэтов с истинным талантом у нас являлось гораздо более, чем привыкли считать» (193).

Напомнив о том, что журнал «Современник» был основан Пушкиным в 1836 году, Некрасов сообщает, что с третьего же тома в этом журнале «начали появляться стихотворения, в которых было столько оригинальности, мысли и прелести изложения, столько, одним словом, поэзии, что, казалось, только сам же издатель журнала мог быть автором их. Но под ними весьма четко выставлены были буквы „*Ф. Т*“; носили они одно общее название: „*Стихотворения, присланные из Германии*“». Несмотря на такое название, «не подлежало никакому сомнению, что автор их был русский: все они написаны были чистым и прекрасным языком, и многие носили на себе живой отпечаток русского ума, русской души. Подпись Ф. Т-в, вместо Ф. Т., появившаяся вскоре под одним из них, окончательно подтвердила, что автор их наш соотечественник». Как указывает Некрасов, стихи с такой подписью печатались в «Современнике» вплоть до 1840 года, но ни один журнал не обратил на них «ни малейшего внимания» (204). Это тем более изумляет Некрасова, что, по его глубокому убеждению, «стихотворения г. Ф. Т. принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии» (205).

Когда Некрасов писал свою статью, он, по-видимому, не знал полной фамилии автора «Стихотворений, присланных из Германии» и не располагал никакими дополнительными сведениями о заинтересовавшем его поэте. Об «Ф. Т.» он говорит только в прошедшем времени: «Г. Ф. Т. написал очень немного» (205); «...жаль, что он написал слишком мало» (207); «Немного написал г. Ф. Т., но имя его всегда останется в памяти истинных ценителей и любителей изящного...» (217); «Поэтическая деятельность г. Ф. Т. продолжалась пять лет, начиная с 1836 г. по 1840 г. включительно» (221); при этом Некрасову не было известно, печатал ли «Ф. Т.» где-либо свои стихи, кроме «Современника», или нет.

Из тридцати двух стихотворений Тютчева, помещенных в «Современнике» 1836—1840 годов, двадцать четыре полностью приведены в статье Некрасова.

«Главное достоинство» стихотворений поэта Некрасов видел «в живом, грациозном, пластически-верном изображении природы», в умении подметить «самые тонкие, неуловимые черты и оттенки ее» (205). В качестве примеров тютчевских «пейзажей в стихах» Некрасов цитирует стихотворения «Утро в горах», «Снежные горы», «Полдень» «Песок сыпучий по колени». «Все эти стихотворения очень коротки, а между тем ни к одному из них решительно нечего прибавить... Каждое слово метко, полновесно, и от-

тепки расположены с таким искусством, что в целом обрисовывают предмет как нельзя полнее» (206).

Такую же «удивительную способность» поэта передавать «характеристические черты картин и явлений природы» (207) усматривает Некрасов и в стихотворениях «Осенний вечер», «Что ты клонишь над водами...» и «Весенние воды».

Другую группу стихов, в которых «к мастерской картине природы присоединяется мысль, постороннее чувство, воспоминание» (211), составляют, по мнению автора статьи, такие стихотворения, как «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...»), «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...», «Как океан объемлет шар земной...», «Я помню время золотое...».

К третьей группе стихотворений, носящих на себе «легкий, едва заметный оттенок иронии», Некрасов относит «С какою негою, с какой тоской влюбленной...», «И гроб опущен уж в могилу...» и «Итальянская villa». Любопытно, что этот «оттенок иронии» напомнил ему Гейне, но он тут же подчеркивает, что стихотворения эти написаны в ту пору, «когда еще ни о самом Гейне, ни о подражателях ему в русской литературе не было и слуху» (213). Некрасов не подозревал, что именно Тютчев еще в двадцатых годах не только переводил Гейне, но и был дружен с немецким поэтом.

Переходя к стихотворениям, в которых «преобладает мысль» (215), Некрасов цитирует «Silentium!», «Как птичка раннею зарей...», «Как над горячею золой...», а в заключение приводит несколько стихотворений «смешанного содержания» (218), в том числе «В душном воздуха молчанье...» и «О чем ты воешь, ветр ночной?..».

Самая классификация тютчевских стихов Некрасовым в зависимости от того, что, по его мнению, определяет то или иное стихотворение, не всегда убедительна. В своей интересной статье о литературно-эстетических взглядах Некрасова А. Лаврецкий показал, что «при всей глубине некрасовского понимания Тютчева есть в нем и односторонность». Сосредоточив свое внимание на теме природы в поэзии Тютчева, Некрасов почти обошел другую, не менее важную и органически связанную с ней тему «трагизма человеческой личности, ее отъединения от природы и коллектива» [74]. Не осознал в полной мере Некрасов и космического характера тютчевской лирики природы, места в ней темы хаоса. Стихотворения «Сон на море» и «День и ночь» отнесены Некрасовым к числу «сравнительно слабейших» (220).

И тем не менее значение статьи Некрасова исключительно велико. Велико главным образом благодаря смелости и прямоте, с какой он оценивает произведения поэта, по существу безвестного. По поводу стихотворения «Я помню время золотое...» он, например,

---

[74] А. Лаврецкий. Литературно-эстетические взгляды Некрасова, стр 66.

замечает: «...нет сомнения, от такого стихотворения не отказался бы и Пушкин» (212). Стихотворение «Осенний вечер» сопровождается следующим утверждением: «Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце; вот почему мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым...» (207). Назвав свою статью «Русские второстепенные поэты», Некрасов поясняет, что он имел в виду противопоставить их «по степени известности» таким поэтам, как Пушкин, Лермонтов, Крылов и Жуковский, а не по степени таланта. Это и дает ему право заявить: «Несмотря на заглавие..., мы решительно относим талант г. Ф. Т-ва к русским первостепенным поэтическим талантам» (220).

Статья Некрасова заканчивается пожеланием, чтобы стихотворения «Ф. Т.» были выпущены отдельным изданием. «...Мы можем ручаться,— добавляет он, — что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения...» (221).

Загадочные инициалы «Ф. Т.» скоро были разгаданы читателями «Современника». Так под непосредственным впечатлением от перепечатанных Некрасовым стихов А. С. Хомяков писал А. Н. Попову в январе 1850 года: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него... Не стыдно ли молчать, когда бог дал такой голос?» [75] «Досада многих» расшевелила Тютчева. Он послал несколько стихотворений своему давнему товарищу М. П. Погодину, издателю журнала «Москвитянин». Три из них («Наполеон», «Поэзия» и «По равнине вод лазурной...») были помещены без подписи в первой апрельской книжке «Москвитянина» с таким неожиданным примечанием: «Мы получили все эти стихотворения (вместе с десятью, которые будут помещены в следующем номере) от поэта, слишком известного (?!) всем любителям русской словесности. Пусть читатели порадуются вместе с нами этим звукам и отгадывают имя» [76]. На самом деле Тютчевым было прислано в редакцию «Москвитянина» еще одиннадцать, а не десять стихотворений: восемь (в том числе «Когда в кругу убийственных забот...», «Слезы людские, о слезы людские...» и «Святая ночь на небосклон взошла...») появились во второй апрельской книжке журнала с тремя звездочками вместо подписи, а три («Рим ночью», «Кончен пир, умолкли хоры...» и «Восток белел. Ладья катилась...») вошли в первый июльский выпуск; здесь стихотворения подписаны инициалами «Ф. Т.», хотя в оглавлении и названа фамилия автора. Из всех этих стихотворений только одно — «Восток белел...» — уже было ранее опубли-

[75] А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, т. VIII. М., 1900, стр. 200.

[76] «Москвитянин», ч. II, 1850, № 7, апрель, кн. 1, стр. 162.

ковано в «Современнике» 1836 года и теперь перепечатывалось с незначительным изменением, остальные же были написаны в конце сороковых годов. В мае 1850 года М. А. Максимович поместил два стихотворения Тютчева («Русской женщине» и «Неохотно и несмело...») в журнале «Киевлянин», опять-таки с тремя звездочками вместо подписи [77]. В следующем году на страницах «Москвитянина» появилось еще пять стихотворений поэта: «Еще шумел веселый день...», «Смотри, как на речном просторе...», «Море и утес...» (с подписью «Ф. Т-в»), «Совет» (с подписью «Ф. Т.») и «Наш век» (без подписи) [78]. В том же году муж сестры Тютчева Н. В. Сушков включил в свой литературный сборник «Раут» его перевод стихотворения Шиллера «Das Siegesfest» (у Тютчева — «Поминки»). Перевод подписан: «Ф. Т...в», но тут же, в примечании, раскрыто полное имя автора: «Мы имеем два прекрасных перевода этой пьесы: один Мансурова, другой Жуковского, под заглавием „Торжество победителей“. Знатоки немецкой литературы удостоверили нас, что этот, новый, перевод самый близкий к подлиннику. „Поминки“ случайно попались нам, и мы решились поместить их в нашем „Сборнике“ без ведома автора, да уж, видно, такова участь его: князь Иван Сергеевич Гагарин собрал стихотворения Тютчева, и Пушкин напечатал их в „Современнике“, а Тютчев, живя тогда в Баварии, и не подозревал, что Петербург читает его произведения» [79]. В рецензии на «Раут» Некрасов отметил, что тютчевский перевод из Шиллера «был бы очень хорош, если бы мы не имели перевода Жуковского...» [80].

Н. В. Сушков первым намеревался осуществить пожелание Некрасова и выпустить в свет отдельное издание стихотворений Тютчева. Именно этим намерением вызваны следующие строки в письме поэта к Сушкову от 27 октября 1851 года: «...Я сердечно умилился при виде вашего писания: в вас поистине избыток христианской любви — неутомимая, неистощимая, всеобъемлющая попечительность... от кедра до иссопа,— от братниных поручений до моих стихов-подкидышей — благоговею — и молчу...» [81]. Одновременно Тютчев послал Сушкову свою «лепту» для очередного сборника «Раут». Это были пять стихотворений: «Не остывшая от зною...», перевод песни Миньоны из «Ученических годов Вильгельма Мейстера» Гёте, «Первый лист», «Волна и дума» и «Графине Ростопчиной (В ответ на ее письмо)». Все они появились в «Рауте»

---

[77] «Киевлянин», 1850, кн. III, стр. 191—192.— Озаглавлены «Моей землячке» и «Гроза».

[78] «Москвитянин», ч. III, 1851, № 11, кн. 1, стр. 237—239; ч. IV, 1851, № 16, август, кн. 2, стр. 379; ч. VI, 1851, № 22, ноябрь, кн. 2, стр. 220.

[79] «Раут. Литературный сборник...» Изд. Н. В. Сушкова. М., 1851, стр. 76.

[80] «Современник», т. XXVII, 1851, № 5, май, отд. V, стр. 11. Ср.: Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX. М., 1950, стр. 232.

[81] «Стихотворения. Письма», стр. 395.

на 1852 год под общим заглавием: «Стихотворения Ф. И. Тютчева». К заглавию сделана сноска: «В нынешнем году будет напечатано полное собрание стихотворений Тютчева» [82]. Сообщение это было сочувственно встречено «Современником». В рецензии на «Раут» 1852 года, по-видимому, принадлежащей Некрасову, говорится: «Это известие, вероятно, порадует наших читателей столько же, сколько порадовало нас. Г. Тютчев принадлежит к очень небольшому числу *истинных* русских *поэтов*». По мнению рецензента, стихи Тютчева занимают «первое место» в ряду стихов, напечатанных в «Рауте», хотя «никак не могут идти в сравнение с теми, которые принадлежат к лучшей поре его поэтической деятельности и с которыми впервые познакомил публику Пушкин в своем «Современнике» [83]. Однако два стихотворения — «Не остывшая от зною...» и «Волна и дума» — тут же полностью приводятся рецензентом.

Работа по подготовке собрания стихотворений Тютчева была начата. Н. В. Сушков заказал писарскую копию с его стихов как напечатанных ранее, так и полученных им в рукописи от близких поэта. В какой мере сам Тютчев принимал участие в этой работе, сказать трудно. Тетрадь с копиями его стихотворений была послана ему на просмотр Сушковым; на некоторых ее страницах встречаются поправки рукой поэта. По невыясненным причинам издание это не осуществилось. Лишь в 1854 году в приложении к «Современнику» вышло первое отдельное издание стихотворений Тютчева, подготовленное к печати И. С. Тургеневым.

Где и когда познакомился Тютчев с И. С. Тургеневым, неизвестно. В конце сороковых годов он еще, по-видимому, не принадлежал к числу близких знакомых поэта. На это указывают следующие строки в письме Э. Ф. Тютчевой к П. А. Вяземскому от 8 ноября 1849 года: «На днях состоялся литературный вечер у кн. Одоевского. Читали драму, озаглавленную *Нахлебник*. Автор ее — молодой человек, имя которого я забыла, если, впрочем, я его когда-либо знала; кажется, это племянник Тургенева (имеется в виду А. И. Тургенев.— *К. П.*)? Возможно ли это. Что касается меня, то я ни в чем не уверена. Актер Щепкин, как говорят, превосходно прочел пьесу. Мой муж находит, что это произведение отличается захватывающей и совершенно трагической правдой» [84]. В письмах Тютчева упоминание о Тургеневе впервые встречается в связи с «Записками охотника». 13 сентября 1852 года поэт пишет жене в Овстуг: «...я только-что прочитал два тома „Записок охотника“ Тургенева, где встречаются восхитительные страницы, отмеченные такой мощью таланта, которая благотворно дейст-

[82] «Раут на 1852 год. Исторический и литературный сборник...» Изд. Н. В. Сушкова. М., 1852, стр. 201.

[83] «Современник», т. XXXII, 1852, № 4, апрель, отд. IV, стр. 77. Ср.: Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, стр. 77.

[84] Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*, ф. 195, ед. хр. 2899, л. 14.

вует на меня: понимание природы часто представляется вам как откровение. Нам нужно прочесть это вместе» [85]. В другом письме к ней же, выражая свое удовлетворение по поводу того, что и она оценила книгу Тургенева, Тютчев намекает на обстоятельства, вызвавшие арест и высылку писателя из Петербурга в Спасское-Лутовиново в мае 1852 года: «И когда подумаешь, что вследствие какого-то грубого недоразумения... Надо пожелать ему, художнику, найти в своем таланте достаточно воздуха и сил, чтобы не дать задохнуться человеку... Если он вас навестит, чего я вам желаю от всего сердца, передай ему от меня душевный привет» [86]. Последние строки свидетельствуют о том, что к этому времени между Тютчевым и Тургеневым уже установилось более близкое знакомство.

9 декабря 1853 года Тургенев возвратился из Спасского-Лутовинова в Петербург, а 19 декабря Тютчев сообщал жене: «...изгнанник Тургенев вернулся в Петербург и живет по соседству со мной. Я часто и с удовольствием вижусь с ним. Он поручил мне в особенности напомнить тебе о нем» [87].

Результатом этих частых встреч было то, что Тургенев «уговорил» поэта согласиться на издание сборника его стихотворений [88]. В апреле 1854 года вышел в свет третий, мартовский, выпуск «Современника», в приложении к которому было помещено девяносто два стихотворения Тютчева (приложение имеет особую пагинацию и оглавление). Девятнадцать стихотворений поэта было напечатано дополнительно в майском номере «Современника». Все эти стихи были переизданы в том же году отдельной книжкой уменьшенного формата.

Тургенев не ограничился ролью издателя и редактора Тютчева. В апрельском выпуске «Современника» он поместил свою статью «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» [89]. Этой статьей он продолжал начатое Некрасовым открытие «одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина».

Тургенев характеризует талант Тютчева как талант чисто лирический, в котором «нет никаких драматических или эпических начал», но который является полным выражением личности автора. Каждое стихотворение поэта, по мнению Тургенева, порождено мыслью, но мыслью, облеченной в художественный образ. Язык

---

[85] Подлинник по-французски.— *ЛБ*. Ср.: «Старина и новизна», кн. 18, стр. 40.

[86] Письмо от 10 декабря 1852 г. из Петербурга. Подлинник по-французски.— *ЛБ*. Ср.: «Старина и новизна», кн. 18, стр. 44.

[87] Письмо от 19/31 декабря 1853 г.— *ЛБ*.

[88] См. письмо Тургенева к С. Т. Аксакову от 10 февраля 1854 г. «Вестник Европы», 1894, кн. 2, стр. 482.

[89] «Современник», т. XLIV, 1854, № 4, отд. III, стр. 23—26. Ср.: И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 11. М., 1956, стр. 163—167.

Тютчева «часто поражает читателя счастливой смелостью и почти пушкинской красотой своих оборотов». Тургенев заканчивает статью такими словами: «Г-н Тютчев может сказать себе, что он... создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет».

О том, какими деятельными и энергичными «пропагандистами» поэзии Тютчева были Некрасов и Тургенев, как они старались расширить круг читателей и ценителей его стихов, можно судить по позднейшему свидетельству Л. Н. Толстого: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К⁰ едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта» [90].

Выход в свет собрания стихотворений Тютчева был, несомненно, крупным событием тогдашней литературной жизни. Недаром Чернышевский собирался написать об этих «прекрасных» стихах отдельную статью [91].

Однако, наряду с положительными оценками стихов Тютчева, появились в журналах и отзывы отрицательные. По поводу стихотворений, помещенных в приложении к мартовской книжке «Современника», рецензент журнала «Пантеон» писал: «Из этих девяноста двух стихотворений есть десятка два хороших, десятка два посредственных, остальные очень плохи». Основным недостатком тютчевских стихов рецензент считает «много неправильных и изысканных выражений». К хорошим стихотворениям он причисляет «Душа хотела б быть звездой...», «Я очи знал,— о, эти очи!..», «Пошли, господь, свою отраду...», «Не говори: меня он, как и прежде, любит...», «Обвеян вещею дремотой...», «Предопределение», «Не остывшая от зною...» и «Сияет солнце, воды блещут...». В качестве примера «хорошего по мысли, но слабого по выражению» стихотворения приводится «О, не тревожь меня укорой справедливой...». За ним, без всяких комментариев, перепечатано стихотворение «Последняя любовь». Бросается в глаза, что из стихов заграничного периода рецензент выделил как хорошее только одно — «Душа хотела б быть звездой...». Цитируя другое стихотворение того же времени — «Утро в горах», которое Некрасов в своей статье относил к мастерским «пейзажам в стихах», он иронизирует: «...что в этом стихотворении? Таких можно написать десяток в несколько часов, без малейшего труда» [92].

Возможно, что именно появление на страницах «Пантеона» этого неблагоприятного отзыва и побудило Тургенева выступить в следующей же книжке «Современника» со своей статьей «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». «Пантеон» в свою

---

[90] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I. Гослитиздат, 1955, стр. 413.

[91] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XVI. М., 1953, стр. 28.

[92] «Пантеон», т. XIV, 1854, кн. 3, март, отд. IV, стр. 17—18.

СТИХОТВОРЕНІЯ

Ѳ. ТЮТЧЕВА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА

1854

Титульный лист первого издания стихотворений Тютчева.

очередь не преминул резко отрицательно отозваться и о статье Тургенева, в которой якобы содержится «много странного, ошибочного и изысканного» [93].

Столь же отрицательно были встречены «Пантеоном» и девятнадцать стихотворений Тютчева, дополнительно напечатанных в майской книжке «Современника». Решительно осуждены рецензентом все тютчевские переводы, не исключая и превосходного, до сих пор не превзойденного перевода «Приветствия духа» Гёте. Из оригинальных стихотворений в доказательство своего «беспристрастия» и «дарования г. Тютчева, в котором однако же еще больше претензий на дарование», рецензент приводит «Успокоение» («Гроза прошла — еще курясь, лежал...») [94]. Несочувственную оценку вызвали те же девятнадцать стихотворений и со стороны журнала «Отечественные записки»: «...вновь напечатанные стихи Тютчева ничего не прибавляют к его известности, как поэта,— даже жаль, что они напечатаны» [95]. Вместе с тем именно «Отечественные записки» вступили в полемику с критическими суждениями «Пантеона» о поэзии Тютчева.

В августовской книжке «Отечественных записок» за 1854 год была помещена большая статья по поводу выхода в свет отдельного издания стихотворений Тютчева [96]. Автор этой восторженной статьи неизвестен. Связывая лирику Тютчева с «золотым веком» русской поэзии, т. е. с пушкинской эпохой, критик «Отечественных записок» подчеркивает то, что составляет «неотъемлемую собственность самого поэта». «Между многими удивительными свойствами поэтической фантазии,— пишет он,— есть всегда одно особенное: она творит новый мир над старым, или так меняет точку зрения, что даже старое, давно знакомое глазу, поражает глаз какою-то небывалою новизною» (68). Тютчев в своих изображениях природы умеет находить «новый угол зрения, откуда мир представляется ему совсем в ином виде» (67). Этой переменой «угла» или «точки» зрения объясняет критик «Отечественных записок» такие чисто тютчевские образы и выражения, которые поднял на смех рецензент «Пантеона», но которые принадлежат к числу «самых метких слов, какие когда-либо говорила наша поэзия».

«Пантеон» не остался в долгу перед «Отечественными записками». Во имя логики, здравого смысла и правил языка он снова ополчился на «*громокипящий* кубок», «*мглистый* полдень», «*сумрачный* свет» звезд, «изнеможение *в кости»* (вместо «в костях») и другие метафоры и эпитеты Тютчева. То, в чем критик «Отечественных записок» видел глубокое своеобразие тютчевских стихов, было расценено рецензентом «Пантеона» как «явная нелепость,

---

[93] «Пантеон», т. XIV, 1854, кн. 4, апрель, отд. V, стр. 31.

[94] Там же, т. XV, 1854, кн. 6, июнь, отд. IV, стр. 10—11.

[95] «Отечественные записки», т. XCV, 1854, кн. 7, июль, отд. IV, стр. 44—46.

[96] Там же, кн. 8, август, отд. IV, стр. 55—75.

невозможность, несообразность»[97]. «Отечественные записки» не продолжали спора, но будущая судьба поэзии Тютчева показала, что правда на стороне тех, кто приемлет дерзновенность тютчевских образов и тютчевской поэтической лексики, а не на стороне тех, кто в данном случае берет на себя роль защитников «здравого смысла».

К статье «Отечественных записок» во многом близка статья А. А. Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева», появившаяся несколько лет спустя в журнале «Русское слово»[98].

Статья эта носит в своем роде программный характер, выражая основы эстетических воззрений Фета. Ее направленность против враждебной ему революционно-демократической эстетики очевидна. В самом начале статьи Фет заявляет, что вопросы «о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п.» он считает «кошмарами, от которых давно и навсегда отделался». Его интересует другое: «что такое поэзия и какое главное качество поэта» (64). С этой точки зрения он и подходит к оценке стихотворений Тютчева.

Называя Тютчева «поэтом мысли» (75), Фет поясняет, в чем, по его мнению, заключается разница между «поэтической мыслью» и «философской мыслью»: «Как самая поэзия — воспроизведение не всего предмета, а только его красоты, поэтическая мысль только отражение мысли философской и опять-таки отражение ее красоты; до других ее сторон поэзии нет дела. Чем резче, точнее философская мысль, чем вернее обозначена ее сфера, чем ближе подходит она к незыблемой аксиоме, тем выше ее достоинство. В мире поэзии наоборот. Чем общей поэтическая мысль, при всей своей яркости и силе, чем шире, тоньше и неуловимей расходится круг ее, тем она поэтичней» (68). Тютчева Фет считает «полным, самобытным, а потому нередко причудливым и даже капризным... властелином» (73) именно поэтической мысли.

Одним из основных художественных достоинств Тютчева Фет, как и критик «Отечественных записок», признает его «зоркость»: «Он не только видит предмет с самобытной точки зрения,— он видит его тончайшие фибры и оттенки» (73). Наряду с этим Тютчеву как «великому мастеру» (80) свойственно сочетание «лирической смелости», больше того — «дерзновенной отваги», со строжайшим «чувством меры» (76). Правда, в некоторых стихотворениях Тютчева Фет усматривает «пятна», но они не мешают ему в каждом стихотворении видеть «солнце», особый «светящий мир». А ведь «думая о солнце, забываешь о пятнах» (68).

Подчеркивая, что «немалого требует г. Тютчев от читателей, обращаясь к их сочувствию» (84), Фет выражает уверенность, что

---

[97] «Пантеон», т. XVII, 1854, кн. 10, октябрь, отд. V, стр. 20—21.
[98] «Русское слово», 1859, февраль, отд. II, Критика, стр. 63—84.

«яркому поэтическому огню г. Тютчева суждена завидная будущность не только освещать, но и согревать грядущие поколения» (83).

Статья Фета писалась в пику революционно-демократической критике, требовавшей от поэзии общественного звучания. Стихи Тютчева привлекались им в качестве образцов художественной ценности «чистой поэзии» и тем самым становились как бы орудием литературной борьбы. Между тем, борясь с теорией и практикой «искусства для искусства», сами революционные демократы никогда не боролись с Тютчевым. В примечаниях к «Рассказу о Крымской войне (по Кинглеку)» Чернышевский назвал его «истинным поэтом» [99]. Находясь в каземате Петропавловской крепости, Чернышевский просил А. Н. Пыпина прислать ему в числе других книг «Тютчева (если можно достать)» [100]. В конце того же 1859 года, в котором была напечатана статья Фета, появилась знаменитая статья Добролюбова «Темное царство». Среди содержащихся в ней общетеоретических суждений об искусстве встречается сравнение двух поэтов-лириков — Фета и Тютчева. Возможно, что сравнение именно этих двух поэтов и противопоставление одного другому обусловлено в какой-то мере полемическими целями. Чисто эстетическому критерию, положенному в основу оценки тютчевской поэзии Фетом, Добролюбов противопоставляет совершенно иной критерий, определяющий ее понимание революционными демократами: «Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни,— можно решить и то, как велик его талант. Без этого все толкования будут напрасны. Например, у г. Фета есть талант, и у г. Тютчева есть талант: как определить их относительное значение? Без сомнения не иначе, как рассмотрением сферы, доступной каждому из них. Тогда и окажется, что талант одного способен во всей силе проявиться только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы; а другому доступна, кроме того,— и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни. В показании всего этого и должна бы собственно заключаться оценка таланта обоих поэтов. Тогда читатели и без всяких эстетических (обыкновенно очень туманных) рассуждений поняли бы, какое место в литературе принадлежит и тому и другому поэту» [101].

Эти строки Добролюбова принадлежат к самым вдумчивым оценкам тютчевской поэзии в русской критической литературе.

---

[99] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. X. М., 1951, стр. 337.

[100] Там же, т. XIV, 1949, стр. 488.

[101] «Современник», т. LXXVI, 1859, № 7, отд. III, стр. 39; Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. 2. М., 1935, стр. 52.

Значительнейшая часть стихотворений Тютчева, включенных в сборник 1854 года, была извлечена из разных периодических изданий двадцатых — тридцатых годов; перепечатаны в нем были и новые стихи поэта, опубликованные после появления статьи Некрасова. Впервые увидели свет на страницах сборника 1854 года двадцать пять стихотворений. За исключением двух — «Глядел я, стоя над Невой...» и «Колумб» (1844), все они были написаны поэтом уже в начале пятидесятых годов.

Среди этих новых произведений Тютчева выделяется около десятка стихотворений, по глубине психологического раскрытия любовной темы не имеющих себе равных в его лирике заграничного периода. Таковы «Предопределение», «О, как убийственно мы любим...», «Не говори: меня он, как и прежде, любит...», «О, не тревожь меня укорой справедливой...», «Сияет солнце, воды блещут...», «Последняя любовь» и некоторые другие. Все эти стихи в основе своей автобиографичны и, взятые вместе, представляют как бы лирическую повесть о любви поэта к Елене Александровне Денисьевой [102]. Но значение этих стихов далеко выходит за пределы автобиографичности: в них личное поднято на высоту общечеловеческого.

Е. А. Денисьева принадлежала к старому, но обедневшему дворянскому роду. Она рано лишилась матери. Отец ее, майор А. Д. Денисьев, участник Фридландского сражения, женился вторично и служил в Пензенской губернии. Елена Александровна осталась на попечении своей тетки, инспектрисы Смольного института, в котором воспитывались по переезде в Петербург дочери Тютчева от первого брака Дарья и Екатерина. Там же училась и Денисьева, впрочем, находившаяся в институте на особом положении. Жила она у тетки, а не вместе с остальными воспитанницами, пользовалась свободой в посещении классных занятий и, как рассказывает в своих воспоминаниях муж ее сестры А. И. Георгиевский, «была под разными более или менее случайными влияниями как воспитанниц старшего класса, так и посторонних». Тетка ее, А. Д. Денисьева, вообще отличавшаяся сухим и властным характером, проявляла большую снисходительность к племяннице, «очень рано начала вывозить ее в свет и в обществе оставляла на произвол судьбы, сама садясь за карты». Нередко Е. А. Денисьевой доводилось подолгу гостить в разных петербургских богатых домах, например в семье графа Г. А. Кушелева-Безбородко, где царила своего

---

[102] О взаимоотношениях Тютчева с Денисьевой см.: Ф. Т. [Ф. Ф. Тютчев] Федор Иванович Тютчев. (Материалы к его биографии). «Исторический вестник», т. XCIII, 1903, июль, стр. 199—201; Георгий Чулков. Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева). [М.], 1928; Ф. И. Тютчев. Два новых стихотворения. Комментарии Е. Казанович. «Звенья», кн. 1, 1932, стр. 86—91.

рода светская богема. Рассказывая о Денисьевой, А. И. Георгиевский пишет: «...природа одарила ее большим умом и остроумием, большою впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, и когда она попала в блестящее общество, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, при своей природной веселости и очень счастливой наружности всегда собирала около себя множество блестящих поклонников»[103].

К какому времени относится начало увлечения Тютчева Денисьевой, нам неизвестно. Имя ее впервые встречается в семейной переписке Тютчевых за 1846 и 1847 годы[104]. Вместе со своей теткой Елена Александровна бывала в доме поэта. Встречался с нею Тютчев и в Смольном институте при посещении им своих дочерей. По свидетельству Георгиевского, увлечение поэта нарастало постепенно, пока, наконец, не вызвало со стороны Денисьевой «такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником...». В августе 1850 года Тютчев вместе с Денисьевой и старшей дочерью Анной совершил поездку в Валаамский монастырь. Описание этой поездки содержится в письме А. Ф. Тютчевой к своей тетке Д. И. Сушковой[105]. Дочь поэта, по-видимому, еще не подозревала о тех близких отношениях, которые к тому времени уже установились между ее отцом и Денисьевой. Впоследствии, в стихотворении, датированном 15 июля 1865 года, Тютчев писал:

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

Эпитет «блаженно-роковой» очень точно определяет значение совершившегося как в жизни самого поэта, так и в судьбе его возлюбленной.

В глазах той части петербургского общества, к которой принадлежали Тютчев и Денисьева, любовь их приобрела интерес светского скандала. При этом жестокие обвинения пали почти исключительно на Денисьеву. Перед ней навсегда закрылись двери тех домов, где прежде она была желанной гостьей. Отец от нее отрекся. Ее тетка А. Д. Денисьева вынуждена была оставить свое место в Смольном институте и вместе с племянницей переселиться на частную квартиру.

---

[103] Неизданные воспоминания А. И. Георгиевского. Возможность ознакомиться с ними предоставлена мне его внуком, членом-корреспондентом Академии наук СССР Б. Н. Делоне.

[104] См. письмо Эрн. Ф. Тютчевой к А. Ф. Тютчевой от 14 ноября 1846 г. и письмо Д. Ф. Тютчевой к ней же от августа 1847 г.— *ЦГАЛИ*.

[105] Письмо от 10 августа 1850 г.— *МА*.

Любовь Тютчева и Денисьевой продолжалась в течение четырнадцати лет, до самой ее смерти. У них было трое детей [106]. Все они по настоянию матери записывались в метрические книги под фамилией Тютчевых, что, однако не снимало с них «незаконности» их происхождения и не давало им никаких гражданских прав, связанных с сословной принадлежностью отца. Под влиянием фальшивого положения, в котором оказалась сама Денисьева, пренебрегшая всем ради любимого человека, в ней начали развиваться религиозная экзальтация, болезненная раздражительность и вспыльчивость. Поэта она любила страстной, беззаветной и требовательной любовью, внесшей в его жизнь немало счастливых, но и немало тяжелых минут. Хорошо характеризует Денисьеву одно письмо Тютчева к А. И. Георгиевскому, написанное уже после ее смерти: «Вы знаете, она, при всей своей поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих — ей только те из них нравились, где выражалась любовь моя к ней — выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она для меня — в этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее... Я помню, раз как-то ...она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но *она*). И что же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование *не совсем великодушно,* что, зная, до какой степени я весь ее („ты мой собственный", как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно» [107].

В некоторых работах о Тютчеве утверждается, что, полюбив Денисьеву, Тютчев пожертвовал своим «весьма в то время блестящим положением. Он почти порывает с семьей, не обращает внимания на выражаемые ему двором неудовольствия, смело бравирует общественным мнением и если в конце концов не губит

---

[106] Дочь Елена, родившаяся 20 мая 1851 года, сын Федор, родившийся 11 октября 1860 года, и сын Николай, родившийся 22 мая 1864 года.

[107] «Стихотворения. Письма», стр. 449.

себя окончательно, то тем не менее навсегда портит себе весьма блистательно сложившуюся карьеру»[108]. В действительности все обстояло не совсем так. Служебная карьера Тютчева никогда не складывалась «блистательно». В год, когда его любовь к Денисьевой получила огласку, он имел чин статского советника и занимал достаточно скромный пост старшего цензора при Министерстве иностранных дел. Его повышение в чинах и в дальнейшем проходило без особых перебоев. В общественном положении поэта никаких перемен не произошло. Если Денисьева была отвержена «светом», то Тютчев по-прежнему оставался завсегдатаем петербургских аристократических салонов, постоянно бывал на раутах у великих княгинь Марии Николаевны и Елены Павловны; неизвестны нам и какие-либо конкретные факты, которые свидетельствовали бы о «неудовольствиях», якобы выражаемых ему так называемым «большим двором». С семьей Тютчев не «порывал» и никогда не смог бы решиться на это. Он не был однолюбом. Подобно тому, как раньше любовь к первой жене жила в нем рядом со страстной влюбленностью в Э. Дёрнберг, так теперь привязанность к ней, его второй жене, совмещалась с любовью к Денисьевой, и это вносило в его отношения к обеим женщинам мучительную раздвоенность. Поэт сознавал себя виновным перед каждой из них за то, что не мог отвечать им той же полнотой и безраздельностью чувства, с какими они относились к нему.

В первый год своей близости с Денисьевой Тютчев писал ей:

О, не тревожь меня укорой справедливой!
Поверь, из нас из двух завидней часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.

И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.

И тогда же, в письме к жене, он сделал такое беспощадное по отношению к себе самому признание: «Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше! Сколько достоинства и серьезности в твоей любви, и каким мелким и жалким я чувствую себя рядом с тобою!.. Увы, это так, и я вынужден признать, что хотя ты и любишь меня в четыре раза меньше, чем прежде, ты все же любишь меня в десять раз больше, чем я того стою. Чем дальше, тем больше я падаю в собственном мнении, и когда все увидят меня таким, каким я вижу самого себя, дело мое будет кончено. Какой-то странный инстинкт всегда заставлял меня оправдывать тех, кому я

[108] Ф. Т. [Ф. Ф. Тютчев] Федор Иванович Тютчев. (Материалы к его биографии), стр. 200.

внушал отвращение и неприязнь. Я бывал вынужден признать, что люди эти правы, тогда как перед лицом привязанностей, цеплявшихся за меня, всегда испытывал чувство человека, которого принимают за кого-то другого. Это не мешает мне — напротив — хвататься за остатки твоей любви, как за спасительную доску...» [109]. Лето 1851 года Э. Ф. Тютчева провела в Овстуге, и письма поэта, остававшегося в Петербурге, показывают, как по-прежнему болезненно переносил он разлуку с ней. «...Нет в мире существа *умнее* тебя,— пишет он ей однажды.— Мне не с кем больше поговорить... Мне, говорящему со всеми» [110]. А в другом письме: «...единственное мало-мальски сильное чувство, которое я испытываю,— это чувство глухого возмущения тем, что, покинутый тобою, я не могу в свою очередь *покинуть самого себя»* [111].

Но, быть может, одним из самых знаменательных и задушевнейших признаний из когда-либо сделанных поэтом являются стихи, написанные им весной 1851 года:

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..

В автографе этому стихотворению предшествует помета на французском языке: «Pour vous (à déchiffrer toute seule)», т. е. «Для вас (чтобы разобрать наедине)». Листок бумаги, на котором были набросаны эти стихи, Тютчев вложил в принадлежавший его жене альбом-гербарий. Незамеченные ею, стихи много лет пролежали между страницами альбома и лишь в 1875 году, почти через четверть века после их написания и через два года после смерти их автора, были случайно обнаружены той, к которой они относились.

Пересылая копию этого стихотворения Е. Ф. Тютчевой, И. С. Аксаков писал: «Стихи эти замечательны не столько как стихи, сколько потому, что бросают луч света на сокровеннейшие, интимнейшие брожения его сердца к его жене... Но что особенно поразительно и захватывает сердце, это то обстоятельство,— как видно из письма вашей belle-mère (мачехи.— *К. П.*), полученного сегодня,— что она об этих русских стихах не имела никакого понятия... В 1851 г., как она пишет, она еще не настолько знала по-русски, чтобы понимать русские стихи, да и не умела еще разбирать

[109] Письмо от 21 августа 1851 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ.*
[110] Письмо от 31 июля 1851 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ.*
[111] Письмо от 6 августа 1851 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ.*

русского писанья Ф.⟨едора⟩ И.⟨вановича⟩... Каков же был ее сюрприз, ее радость и скорбь при чтении этого привета d'outre-tombe (замогильного.— *К. П.*), *такого* привета, такого признания ее подвига жены, ее дела любви. Она пишет: „C'est tout un évènement dans ma vie désolée" („Это целое событие в моей безрадостной жизни".— *К. П.)*. Стон благодарности, ответный возглас утешенной любви исторгся из ее груди — понапрасну! *Он запоздал*!» [112].

5

Пятидесятые годы — не только годы личных душевных потрясений, пережитых поэтом, но и годы тяжелых испытаний его политического мировоззрения.

В 1853 году началась Восточная война. Она началась в тот самый год, к которому за несколько лет перед тем Тютчев относил исполнение своего «пророчества» о «всеславянской» монархии, приурочивая его к четырехсотлетней годовщине крушения Византийской империи. В этом совпадении мистически настроенный поэт не преминул увидеть вещее предзнаменование, перст промысла, указующий России путь к ее «таинственной мете́».

На первых порах Тютчев окрылен надеждами. Он мечтает о «великих и прекрасных событиях». Он предсказывает, что «когда окончится борьба, Западу придется иметь дело уже не с Россией, а с чем-то исполинским и окончательным, чему еще нет имени в истории, но что уже существует и... растет в сознании всех современников, друзей и недругов — безразлично». И заканчивает свое прорицание словами: «Да будет так!» [113] В другом письме он называет это «исполинское и окончательное» его настоящим именем: «Великая Греко-российская Восточная империя» [114].

Вскоре же по открытии военных действий Тютчеву стало ясно, что дело не ограничится столкновением между Россией и Турцией. В начале 1854 года он писал жене, находившейся за границей: «Мы, по всем доступным человеку предположениям, накануне одного из самых ужасных кризисов, когда-либо потрясавших мир. Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год... Россия опять одна против всей враждебной Европы» [115].

Коалицию западноевропейских держав, принявших сторону Турции, Тютчев расценивает как «заговор», направленный на то, чтобы преградить России путь к осуществлению ее провиденциальной миссии. Неравное соотношение борющихся сил не страшит Тютчева: исход завязавшейся борьбы он ставит теперь в зависи-

---

[112] Письмо от 8 июня 1875 г.— Собрание К. В. Пигарева.

[113] Письмо к жене от 21 апреля/3 мая 1854 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 19. Пг., 1915, стр. 115.

[114] Письмо к ней же от 1/13 апреля 1854 г.— Там же, стр. 112.

[115] Письмо к ней же от 2/14 февраля 1854 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 104—105.

мость от революционного взрыва, который изнутри сокрушит образовавшуюся западноевропейскую коалицию. «...Если бы Запад был *единым,*— рассуждает Тютчев,— мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного — и вот мы на краю пропасти. И теперь-то Красный и спасет нас в свою очередь» [116]. Весь вопрос сводится для поэта к следующему: что окажется сильнее — ненависть ли Запада, как «Красного», так и не-Красного, «католического», к России или ненависть, которая разделяет их между собою? [117]

Если бы Тютчев читал передовые статьи Маркса и Энгельса в газете «New York Daily Tribune» («Нью-Йоркская ежедневная трибуна»), то он увидел бы, до какой степени был лишен основания его расчет на «Красного». Основоположники самой передовой революционной теории давали в них поразительный по глубине и тонкости анализ царской внешней политики. Ставя своей целью идейную подготовку рабочего класса к новой революционной ситуации в Европе, Маркс и Энгельс подчеркивали важность поражения России как основного оплота международной реакции. Русская восточная политика оценивалась теоретиками марксизма прежде всего с точки зрения интересов европейского революционного движения. В статье «Действительно спорный пункт в Турции», напечатанной в «New York Daily Tribune» 12 апреля 1853 года, Энгельс рассматривает торговое значение Ближнего Востока для Англии, делающее ее «упорным и непримиримым противником русских планов аннексий и территориального расширения». В конце статьи говорится: «...на европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной стороны, Россия и абсолютизм, с другой — революция и демократия. Теперь революция кажется подавленной, но она живет, и ее боятся так же сильно, как боялись всегда... Но если Россия овладеет Турцией, ее силы увеличатся почти вдвое, и она окажется сильнее всей остальной Европы, вместе взятой. Такой оборот событий был бы неописуемым несчастьем для дела революции. Сохранение турецкой независимости или пресечение аннексионистских планов России, в случае возможного распада Оттоманской империи, являются делом величайшей важности. В данном случае интересы революционной демократии и Англии идут рука об руку. Ни та, ни другая не могут позволить царю сделать Константинополь одной из своих столиц, и если дело дойдет до крайности, то мы увидим, что обе эти силы окажут царю одинаково решительное противодействие» [118].

Итак, тютчевские упования на «Красного» как на возможного «спасителя» царской России были лишены почвы. Но в первый же

[116] Письмо к ней же от 24 февраля/8 марта 1854 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 399.

[117] Письмо к ней же от 19/31 декабря 1853 г. «Старина и новизна», кн. 18. СПб., 1914, стр. 63.

[118] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 9. М., 1957, стр. 11, 15.

год войны Тютчева постигли разочарования иного рода — разочарования в самой жизнеспособности николаевской империи, еще так недавно представлявшейся ему «Великаном — и Великаном хорошо сложенным» [119].

Уже в конце 1853 года Тютчев делится с женой грустным размышлением о том, что в Петербурге очень много людей, которые, «благодаря своему положению», могут причинить России «гораздо больше вреда», чем ее внешние враги [120]. Позднее он признается, что ему становится трудно хотя бы «на минуту преодолеть невыразимое отвращение, омерзение, смешанное с бешенством» при зрелище того, что происходит [121]. Он возмущен «подлостью, глупостью, низостью и нелепостью» [122] правительственных кругов, ведущих его родину к военному и дипломатическому позору, их полной несостоятельностью перед лицом испытания, постигшего страну. Он не может отделаться от ощущения человека, запертого в карете, которая «катится по все более и более наклонной плоскости», и вдруг замечающего, что «на козлах нет кучера» [123]. Он негодует на упорное стремление официальной России быть «всего лишь изнанкой Запада» [124], на отсутствие чувства национального достоинства у лиц, облеченных властью. Тютчев поражается тому, что в бюллетенях о военных действиях, которые появляются в русской печати, старательно преуменьшаются или замалчиваются потери противника.

Однажды канцлер Нессельроде заставил вычеркнуть в газетной статье слова о «пиратской войне», которую англичане ведут у русских берегов, найдя это выражение «слишком оскорбительным». «И вот какие люди управляют судьбами России во время одного из самых страшных потрясений, когда-либо возмущавших мир! — с гневом восклицает поэт.— Нет, право, если только не предположить, что бог на небесах насмехается над человечеством, нельзя не предощутить близкого и неминуемого конца этой ужасной бессмыслицы, ужасной и шутовской вместе, этого заставляющего то смеяться, то скрежетать зубами противоречия между людьми и делом, между тем, что есть и что должно бы быть,— одним словом, невозможно не предощутить переворота, который сметет всю эту ветошь и все это бесчестие» [125].

---

[119] Письмо к С. С. Уварову от 20 августа 1851 г. Подлинник по-французски. «Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр. 582—583.

[120] Письмо от 11/23 декабря 1853 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ*. Ср.: «Старина и новизна», кн. 18, стр. 62.

[121] Письмо к жене от 18 августа 1854 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 413.

[122] Письмо к ней же от 9 июня 1854 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 402.

[123] Письмо к ней же от 13 июня 1854 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 19, стр. 118.

[124] Письмо к ней же от 23 ноября/5 декабря 1853 г.— Там же, стр. 60.

[125] Письмо к ней же от 20 июня 1855 г. Подлинник по-французски, «Стихотворения. Письма», стр. 421—422.

Не меньшее негодование вызывает в Тютчеве поведение завсегдатаев петербургских салонов. Еще до официального объявления Россией войны Турции Тютчев писал жене: «Здесь,— в салонах разумеется,— беспечность, равнодушие и косность умов феноменальны. Можно сказать, что эти люди так же способны судить о событиях, готовящихся потрясти мир, как мухи на борту трехпалубного корабля могут судить об его качке...» [126]. Светскую публику, которая «мнит себя цивилизованной», Тютчев называет «накипью русского общества»; он решительно отмежевывает ее от «настоящего народа» и считает «подделкой под истинный народ». Зато он утверждает, что «жизнь народная, жизнь историческая осталась еще нетронутой в массах населения. Она ожидает своего часа, и когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем» [127].

Легкомыслие высших кругов петербургского общества, порою граничащее с прямым антипатриотизмом, в особенности остро ощущается Тютчевым в сравнении с «истинными чудесами» храбрости, воодушевления и самопожертвования, проявляемыми защитниками Севастополя. Не это ли неподдельное восхищение героями севастопольской обороны помогло Тютчеву, столь далекому от фронтовой действительности, проникнуться строгой красотой и суровой правдой «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого, впервые напечатанных летом 1855 года в «Современнике»? Много лет спустя Толстой вспоминал: «Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах,... говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих „Севастопольских рассказов", особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно» [128].

О первом впечатлении, произведенном на поэта оставлением Севастополя, рассказывает в своем дневнике А. Ф. Тютчева: «Мой отец только что приехал из деревни (Овстуга.— *К. П.*), ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его не раздраженным; из его глаз только тихо катились крупные слезы...» [129]. Запись эта сделана 3 сентября 1855 года. По собственному признанию поэта, впечатление это было «подавляющим и ошеломляю-

---

[126] Письмо от 3/15 октября 1853 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 396.

[127] Письмо от 30 ноября 1854 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 415.

[128] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. [М.], 1959, стр. 191—192.

[129] Подлинник по-французски.— А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров, I. [М.], 1928, стр. 49.

щим»[130]. Но едва оно слегка улеглось, как он снова предался раздражению и гневу. Львиную долю ответственности за происшедшее он теперь возлагает на Николая I, и севастопольская трагедия осознается им как естественное следствие всей внешней и внутренней политики царя.

А ведь еще сравнительно недавно представление о русском «утесе» было неразрывно связано в глазах поэта с представлением о Николае! Даже жестокие разочарования, испытанные Тютчевым в первый же год Крымской войны, не вытравили в нем этого представления. Из дневника А. Ф. Тютчевой мы узнаем, как встретил поэт неожиданную смерть царя: «Я поехала обедать к своим родителям и застала их под очень сильным впечатлением. „Как будто вам объявили, что умер бог" — сказал отец со свойственной ему меткостью речи»[131]. И в этих словах еще не было ни капли иронии... Когда на похороны Николая прибыл представитель Австрии, только что «удивившей мир своей неблагодарностью», Тютчев разделял негодование придворных кругов и в патетических стихах клеймил «австрийского Иуду» («По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны императора Николая»)[132].

И однако же вскоре после смерти царя Тютчев не смог не ощутить того, что ощутили многие и многие его современники, независимо от их общественного положения и политических взглядов и симпатий. Ощущение это с присущей ей прямотой выразила В. С. Аксакова: «...все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать...». Она же записала в своем дневнике, что Тютчев назвал наступившее время «оттепелью»[133].

По мере того как все более и более в область прошлого отдалялась «венчанная тень» Николая[134], яснее и яснее становились поэту пагубные плоды деятельности самодержца, парализовавшей все отрасли государственного организма. В мае 1855 года, сообщая жене о критическом положении русских войск под Севастополем, Тютчев делится с ней следующим размышлением: «По-видимому, то же недомыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, сказалось и в нашем военном управлении, да и не могло быть иначе. Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или ограничения — ничто не было пощажено, все подверглось этому давлению, всё и все оту-

---

130 Письмо к жене от 9 сентября 1855 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 422.

131 А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров, I стр. 185.

132 Несмотря на австрофильскую политику Николая I, Австрия во время Крымской войны уклонилась от предложенного ей Россией нейтралитета.

133 В. С. Аксакова. Дневник 1854—1855 годов. СПб., 1913, стр. 66, 102.

134 «Венчанная тень» — выражение из стихотворения Тютчева «По случаю приезда австрийского эрцгерцога...». В первоначальной редакции — «священная тень».

пели»[135]. Уничтожающая характеристика николаевского царствования, хотя сам Николай здесь и не назван! Впервые, без всяких обиняков, заговорил Тютчев о злополучной роли Николая I в судьбах страны лишь осенью 1855 года под впечатлением исхода кровавой агонии Севастополя: «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Если бы кто-нибудь, желая войти в дом, сначала заделал бы двери и окна, а затем стал пробивать стену *головой*, он поступил бы не более безрассудно, чем это сделал два года назад незабвенный покойник»[136].

Еще более беспощадную историческую оценку умершего императора дает Тютчев в эпиграмме-эпитафии, текст которой, записанный дочерью поэта в семейном альбоме, оставался неизвестным вплоть до Октябрьской революции[137]:

Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые,—
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

По всей вероятности, эпиграмма написана именно осенью 1855 года, когда Тютчев подводил итоги «тридцатилетнему режиму глупости, развращенности и злоупотреблений» и видел в падении Севастополя лишь «первое звено целой цепи еще более страшных бедствий»[138]. 1856-й год Тютчев встретил мрачными раздумьями:

Еще нам далеко до цели,
Гроза ревет, гроза растет,—
И вот — в железной колыбели,
В громах, родился Новый Год.
. . . .
Для битв он послан и расправы,
С собой принес он два меча:
Один — сраженний меч кровавый,
Другой — секиру палача.
Но для кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен?..

(«1856»)

---

[135] Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 418.

[136] Письмо к жене от 17 сентября 1855 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 426.

[137] Впервые напечатана в журнале «Былое», 1922, № 19, стр. 76.

[138] Письма к жене от 24 и 17.IX.1855 г. Подлинники по-французски. «Старина и новизна», кн. 19, стр. 149; «Стихотворения. Письма», стр. 425—426.

Эволюция, происшедшая во время Крымской войны в политическом сознании Тютчева, в его взглядах на современную ему русскую действительность, в его оценке личности и деятельности Николая I весьма знаменательна. Примерно так же смотрели на события и многие другие представители консервативных кругов русского общества. «Ото всей России — войне сочувствие... Крестовый поход...»,— восхищается С. П. Шевырев под впечатлением флигель-адъютантских донесений о «дивных и единодушных наборах» [139]. А М. П. Погодин мечтает о славянском, дунайском или юго-восточном европейском союзе под главенством царской России, со столицей в Константинополе. Но положение осложняется. Весной 1854 года по рукам во множестве списков расходится стихотворение А. С. Хомякова «России». Воспевая «брань святую», поэт одновременно изобличает крепостническую Россию в тяжких грехах:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

Война затягивается... Связь военных неудач с упорно отстаиваемой правительством политической системой делается все очевиднее. А. И. Кошелев впоследствии вспоминал: «...мы были убеждены, что даже поражение России сноснее для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде» [140].

В чем же в глазах современников, даже таких, как славянофил Кошелев, могла заключаться польза от понесенного Россией поражения? Прежде всего в перемене самого направления политики. Ревностный идеолог «православия, самодержавия, народности», Погодин и тот писал в это время: «...нельзя жить в Европе и не участвовать в общем ее движении, не следить за ее изобретениями, открытиями физическими, химическими, механическими, финансовыми, административными, житейскими» [141]. А это и означало переход отсталой феодально-крепостнической России на путь буржуазного развития.

Если в начале сороковых годов в статье «Письмо к г-ну доктору Густаву Кольбу», добиваясь укрепления престижа Российской империи перед лицом международного общественного мнения, Тютчев намеренно закрывал глаза на «положение низших классов» в России, то после Крымской войны проблема реформ, и прежде всего крестьянской реформы, живо волнует поэта. Он считает крестья-

[139] См.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 13. СПб., 1899, стр. 18.
[140] А. И. Кошелев. Записки. Берлин, 1884, стр. 79—80.
[141] Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 13, стр. 126.

янскую реформу неизбежной, хотя бы ценой «испытаний» и «наказаний», слишком заслуженных помещичьим классом. Но, хорошо зная правительственные круги, их «полный разрыв со страной и историческим прошлым страны», Тютчев не ждет от задуманной реформы ничего иного, кроме замены старого произвола новым, «в действительности более деспотическим, ибо он будет облечен во внешние формы законности»[142]. Нельзя не признать дальновидности этих скептических предсказаний поэта.

Севастопольская катастрофа и Парижский мир 1856 года, лишивший Россию права иметь военный флот на Черном море, нанесли жесточайший удар всей политической концепции Тютчева. Сжечь все то, чему он до сих пор поклонялся, Тютчев не имел мужества. О великой исторической миссии России как объединительницы славянства он будет думать и позднее, хотя в глубине души и не очень веря в реальность этих дум. Он не без иронии отзовется в частном письме о «неудавшемся императоре Востока»[143]; он не без горечи посмеется над подарком шубы Александром II черногорскому князю Николаю, сказав, что ничего другого Россия не может предложить балканским славянам[144]; наконец, он уклонится однажды от участия «в каком-то славянском обеде», дабы «избавить себя от скуки слышать столь бесполезное и даже смешное пережевывание общих мест», которые стали для него «тем более тошнотворными», что он сам им содействовал[145].

Под влиянием севастопольского поражения тютчевские взгляды на восточный вопрос претерпевают характерные изменения, общие большинству славянофилов. На смену идее политического объединения славянских племен была выдвинута в качестве более непосредственной задачи проблема духовного объединения славян. В связи с этим и высказывания Тютчева по этому вопросу лишаются прежней откровенно панславистской окраски. Даже тогда, когда он говорит, что славянские страны — *«дроби*, а Россия — *знаменатель*, и только подведением под этот знаменатель может осуществиться сложение этих дробей»[146], он меньше всего имеет в виду политическое поглощение славянских стран Россией. Но это не значит, что вызванная сложившимися после Крымской войны обстоятельствами пассивная внешняя политика России в восточном вопросе приходилась Тютчеву по сердцу. В письмах, рассчитанных на известное распространение в петербургских, московских и даже

---

[142] Письмо Тютчева к А. Д. Блудовой от 28 сентября 1857 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 433—435.

[143] Письмо к жене от 1 июня 1857 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 19, стр. 165.

[144] Письмо к Е. Ф. Тютчевой от 3 января 1869 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 470.

[145] Письмо к жене от 9 октября 1870 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 22. Пг., 1917, стр. 267.

[146] Письмо к И. С. Аксакову от 10 мая 1867 г.— *ЦГАЛИ*.

заграничных гостиных, он старался уверить себя и других, что Россия «лучше всего соблюдает интересы славянства» своим невмешательством в славянские дела. «Наш договор по отношению к ним (славянам.— *К. П.*) слегка напоминает тот, который господь бог заключил с дьяволом по поводу своего верного друга и раба Иова. Он дал ему право мучить его и всячески досаждать ему, но с условием не посягать на его душу, на его жизнь»,— пишет однажды Тютчев княгине Е. Э. Трубецкой [147]. Это было, конечно, лишь остроумным самоутешением для поэта. В письмах к жене он бывал более откровенным. Имея в виду русские правительственные сферы, он признается: «...я примиряюсь с нашим вынужденным бездействием в настоящую минуту, ибо их действительное бессилие составляет нашу единственную гарантию против бедственных последствий их ума» [148].

Тютчев вообще был невысокого мнения об *их* умственных способностях. Отправляясь присягать Александру II (кстати сказать, под разными предлогами он откладывал этот акт, пока, наконец, от него не «потребовали» принесения присяги), Тютчев находил, что для *них* было бы гораздо полезнее, если бы он мог «одолжить им хоть немного ума» [149].

Вся дальнейшая общественно-политическая деятельность Тютчева и была направлена на то, чтобы «одолжить» хоть частицу своего ума и ума своих единомышленников лицам, стоявшим у кормила.

6

С февраля 1848 года Тютчев занимал должность старшего цензора при Министерстве иностранных дел [150]. На его обязанности лежал просмотр газетных статей и заметок по вопросам внешней политики. П. С. Усов, в то время помощник редактора «Северной пчелы», рассказывает в своих воспоминаниях: «Все известия и статьи, касающиеся внешней политики, дозволялись к печати в тогдашних газетах не обыкновенною цензурою, но назначенными для этой цели чиновниками Министерства иностранных дел. Они чередовались по неделям... Федор Иванович Тютчев (известный поэт) пропускал к печати все, что ни посылалось ему на одобрение. По своим большим связям, имея доступ к графу Нессельроде и к князю Горчакову, он разрешал гораздо более, чем обыкновенный чиновник министерства. Получал ли Ф. И. Тютчев за свой цензурный либерализм замечания, редакторы не знали, потому что он ни-

---

[147] Письмо от 6 декабря 1871 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

[148] Письмо от 21 июля 1866 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 21. Пг., 1916, стр. 228—229.

[149] Письмо от 21 мая 1855 г. Подлинник по-французски.— *ЛБ*. Неточно напечатано в «Старине и новизне» (кн. 19, стр. 134).

[150] «Летопись», стр. 72.

когда не являлся в редакции с упреками, что его „подвели". Это была в высшей степени благородная личность»[151].

Некоторое представление об отношении официальных кругов к «цензурному либерализму» Тютчева могут дать следующие документы. Конфиденциальным письмом от 26 мая 1849 года председатель комитета, учрежденного для надзора за духом и направлением русской печати (так называемого «Комитета, высочайше учрежденного во 2-й день апреля 1848 года»), Д. П. Бутурлин обратил внимание министра народного просвещения графа С. С. Уварова на статью, помещенную в «С.-Петербургских ведомостях» от 11 мая. Статья эта озаглавлена «Великое герцогство Тосканское». Комитет признал «предосудительным», что автор статьи «как бы восхваляет разные... совершенно несоответственные нашему политическому устройству преобразования, как-то: сохранение знатными гражданами одних только своих наследственных титулов без всяких сопряженных с ними дотоле преимуществ, уничтожение особых прав духовенства господствующей там веры и уравнение перед законом всех граждан». Комитет предложил министру сделать «соответственное вразумление» и предупреждение редактору газеты А. Н. Очкину. Заключение комитета утверждено высочайшей резолюцией: «Дельно».

На запрос Уварова Очкин письменно ответил, что статья одобрена «иностранною цензурою». В доказательство он представил корректуру, пояснив: «Иероглифы, начертанные наверху, значат: печатать позволяется. Ценсор Ф. Тютчев». К делу приложен экземпляр корректуры с очень неразборчивой надписью: «п. п. Ф. Тютчев».

Уваров распорядился ответить Бутурлину, что политическая часть «С.-Петербургских ведомостей» рассматривается не подчиненным Министерству народного просвещения Петербургским цензурным комитетом, а Министерством иностранных дел, которое и разрешило к печати статью о герцогстве Тосканском[152].

Мы не знаем, чем кончилось это дело и повлекло ли оно за собой какие-либо неприятности для Тютчева. Но, по-видимому, трения с начальством у него бывали нередко. «Намедни у меня были кое-какие неприятности в министерстве,— сообщает он жене 23 июля 1854 года,— все из-за этой злосчастной цензуры. Конечно, ничего особенного важного — и, однакоже, если бы я не был так нищ, с каким <наслаждением?> я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за

---

[151] П. С. Усов. Из моих воспоминаний. «Исторический вестник», т. VII, 1882, январь, стр. 126.

[152] Центральный государственный Исторический архив Ленинграда (*ЦГИАЛ*), ф. 779, оп. 4, 1849 г., ед. хр. 149459, л. 1—10.

отродье, великий боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы» [153].

В ноябре 1857 года Тютчев представил князю А. М. Горчакову, сменившему графа К. В. Нессельроде на посту министра иностранных дел, докладную записку на французском языке под названием «Lettre sur la censure en Russie» («Письмо о цензуре в России»). Оглядываясь на недавнее прошлое, на цензурные условия николаевского времени, он писал: «...там было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма» [154]. В правительственных сферах во все времена существовало «какое-то предвзятое чувство сомнения и нерасположения» к писателям. Пытаясь поколебать это чувство, Тютчев ссылается на то, что современная русская литература, обладающая живым пониманием действительности и «весьма замечательным талантом в ее изображении» проявляет «искреннюю заботливость о всех положительных нуждах, о всех интересах, о всех язвах русского общества». Правительству, со своей стороны, следовало бы «прийти к тому сознанию, к которому обыкновенно приходят с таким трудом родители относительно вырастающих на их глазах детей, а именно: что настает возраст, когда мысль тоже мужает и желает, чтобы ее признавали таковою». Цензуру Тютчев определяет как «предел», а не как «руководство». Задачи правительства в создавшихся исторических условиях должны состоять не в подавлении печати, а в ее направлении. Касаясь возникновения свободной русской печати за границей, Тютчев видит значение герценовского «Колокола» в том, что его издатель служит «представителем свободы суждения, правда на предосудительных основаниях, исполненных неприязни и пристрастия, но тем не менее настолько свободных (отчего в этом не сознаться?), чтобы вызывать на состязание и другие мнения, более рассудительные, более умеренные, а некоторые из них даже положительно разумные». По-видимому, Горчаков говорил с Тютчевым о намерении правительства создать в Петербурге печатный орган для противодействия влиянию Герцена. Тютчев замечает, что такое словесное «оружие» сможет рассчитывать на успех лишь в том случае, если издатели газеты получат необходимую долю свободы и будут уверены, что «они призываются не к полицейскому труду, а к делу, основанному на доверии».

Записка Тютчева свидетельствует о том, до какой степени заблуждался поэт, стараясь добиться доверия правительства к печатному слову. Будущее показало, что для правительства Александра II, как и для правительства Николая I, единственно приемлемым методом «направления» печати был метод полицейского

[153] Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 408.

[154] Здесь и далее цит. по изд.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. Изд. 6. Редакция П. В. Быкова. СПб., изд. Т-ва Маркс, [1912], стр. 502—515.

преследования. Тютчев впоследствии очень образно определил его сущность, сказав по поводу запрещения «Современника», что этот способ расправы напоминает ему «лечение зубной боли посредством удара кулаком» [155]. Поэт не раз имел случай убедиться в том, что, за исключением явно официозных изданий, все органы печати, даже печати консервативной, не были гарантированы от подобных методов «лечения» их недугов.

Но «Письмо о цензуре в России» было составлено Тютчевым в момент временного и относительного ослабления цензурного гнета. В несомненной связи с этим «Письмом» и, видимо, благодаря покровительству Горчакова в апреле 1858 года Тютчев был назначен председателем Комитета цензуры иностранной [156]. Он занял пост, остававшийся вакантным после смерти пресловутого А. И. Красовского, которого И. С. Аксаков назвал «маньяком, одержимым свободобоязнью и какою-то гипертрофиею подозрительности» [157].

Председателем Комитета цензуры иностранной Тютчев оставался в течение пятнадцати лет, до самой своей смерти. Среди подчиненных Тютчева были его большие почитатели поэты А. Н. Майков (при назначении Тютчева председателем комитета он уже занимал должность младшего цензора) и Я. П. Полонский (с 1860 года секретарь комитета, с 1863 года младший цензор).

В наше время стали доступными для изучения отчеты Тютчева по комитету, журналы заседаний и прочие архивные материалы, связанные с деятельностью поэта в цензурном ведомстве. Интересно сопоставить эти документальные данные с тем своеобразным «отчетом» в стихах, который в 1870 году был вписан Тютчевым в альбом одного из его сослуживцев:

Веленью высшему покорны,
У *мысли* стоя на часах,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцером в руках.

Мы им владели неохотно,
Грозили редко и скорей
Не *арестантский,* а *почетный*
Держали караул при ней.

В первом же отчете о деятельности комитета, подписанном Тютчевым [158], говорится: «Желая удовлетворить потребностям читающей публики и принимая в соображение развитие русской литературы, я старался дать больший простор и иностранной, не выходя,

---

155 Письмо к А. И. Георгиевскому от 8 июня 1866 г.— *ЦГАЛИ.*

156 «Летопись», стр. 120.

157 Аксаков, стр. 274.

158 М. Брискман считает, что в целом отчеты по комитету писаны не Тютчевым, но заключения их принадлежат ему лично. См. его сообщение «Ф. И. Тютчев в Комитете ценсуры иностранной» («Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр. 566). Стиль заключений не дает, однако, основа-

впрочем, при этом из законных пределов и держась точного смысла Устава о цензуре» [159]. Как бы ни связывали комитет эти «законные пределы», деятельность его под председательством Тютчева заметно отличалась от предшествующего периода, когда в течение двадцати четырех лет во главе этого учреждения стоял Красовский. При Тютчеве количество запрещенных изданий из года в год сокращалось, что было в особенности заметно сравнительно с увеличением ввоза книг из-за границы. Любопытно, что в одном из отчетов комитет как бы оправдывается в этом, ссылаясь на то, что такое сокращение запрещенных изданий объясняется не «послаблением» с его стороны, а «более либеральным взглядом нашего правительства на отечественную и иностранные литературы» [160]. И хотя, действительно, в первые годы пребывания Тютчева на посту председателя комитета был произведен по предписанию правительства пересмотр книг, с давних пор находившихся под запретом, многое в деятельности поэта и его сотрудников все же объясняется стремлением по возможности избежать цензурных строгостей и придирок.

С 1850 года в практике комитета существовало разделение недозволенных книг на две группы: безусловно запрещенных и запрещенных для публики, т. е. выдаваемых отдельным лицам по особому разрешению. В бытность Тютчева председателем комитета безусловное запрещение почти не применялось, а в проекте изменения Устава иностранной цензуры, разработанном в комитете, предлагалось совершенно отказаться от безусловного запрещения. Гораздо реже, чем прежде, практиковалось комитетом при Тютчеве исключение в книгах, разрешенных для публики, отдельных мест путем вырезывания или выскабливания.

В связи с пересмотром ранее запрещенных в целости или разрешенных с исключением «предосудительных» мест книг были дозволены для публики мистерия Байрона «Каин» (запрещена в 1822 году), его же драма «Преображенный урод», ряд произведений Бальзака, в том числе «Сто озорных рассказов», «Кузина Бетта», «Обедня безбожника», труды социально-политического, экономического и исторического содержания, как, например, книги французского буржуазного политико-эконома Ф. Бастиа, «История Французской революции» Тьера, «История Жирондистов» Ламартина и другие. При этом, подтвердив прежнее запрещение труда Л. Блана «История десяти лет», комитет «по поручению г. председателя» вновь вернулся к этому сочинению. Рассматривавший его цензор Лебедев, «указывая на социально-демократическое направление этого сочинения», считал необходимым «во всяком слу-

---

ний присоединиться к этому мнению, ибо он не напоминает ни русских писем, ни официальных бумаг поэта. Тем не менее заключения этих отчетов представляют большой интерес, ибо они достаточно полно и отчетливо характеризуют самое направление деятельности комитета.

[159] «Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр. 568.

[160] Отчет за 1863 год.— Там же, стр. 571.

чае» исключение в нем отдельных мест. Но комитет определил «сочинение это позволить, как пережившее свою эпоху» [161].

Ссылка на то, что книга стала уже достоянием истории, нередко позволяла комитету пропускать такие произведения, о разрешении которых раньше нельзя было и помышлять. Иногда мотивировкой для дозволения книги служило своеобразное умаление ее идейного содержания. Так, например, рекомендуя разрешить вышедшие на немецком языке мемуары декабриста Розена, цензор Шульц отмечает, что якобы из этих записок «всякий может убедиться, что декабристы ложно понимали общественную пользу и любовь к отечеству». Написанная «чистосердечно и без всякой задней мысли», книга Розена будто бы обнаруживает «политическую несостоятельность» декабристов и «раскрывает факты в настоящем виде». В то же время, как указывает Шульц, «книга эта важна в другом отношении: она знакомит западную публику с лучшими качествами русского семейного быта. Описанные в ней женщины и мужчины внушают уважение своим образованием и безропотною покорностию судьбе». Комитет утвердил мнение цензора о разрешении книги в подлиннике и о дозволении ее перевода на русский язык [162].

Некоторые произведения мировой литературы разрешались комитетом на том основании, что они «отнесены к классическим». Именно по этой причине дозволены были прежде запрещенное издание стихов Гейбеля и французский перевод «Декамерона» Боккаччо. В другой раз, вопреки мнению цензора Лебедева, комитет разрешил том сочинений Шелли, в котором была напечатана поэма «Королева Маб», «пропитанная самым демагогическим и атеистическим направлением». Комитет счел возможным «в полном собрании классика Шелли поэму эту позволить» [163].

Много затруднений доставлял Комитету цензуры иностранной Гейне. С одной стороны, его произведения принадлежали к числу книг, которые не могли «не поколебать основания заграничного общества», с другой — они также относились к классическим, а потому и должны были бы пользоваться «снисхождением цензуры» [164]. Такое двойственное отношение к Гейне сказалось в том, что комитет не решался дозволять некоторые тома его сочинений, а также прибегал к исключению из них отдельных мест.

Нередко между комитетом и цензорами, рассматривавшими ту или иную книгу, возникали разногласия, причем, как правило, разрешались в пользу ее дозволения. Такие разногласия обнаружились, например, при обсуждении книги Дарвина «The descent of man» («Происхождение человека»). Цензор Любовников, читавший первый том этого труда, представил подробное его изложение на усмотрение комитета. В своем заключении комитет отметил, что

[161] *ЦГИАЛ*, ф. 779, оп. 4, 1862 г., ед. хр. 42, л. 61, 66 об., 71, 100 об.

[162] Там же, 1869 г., ед. хр. 49, л. 71.

[163] Там же, л. 211.

[164] «Литературное наследство», т. 19—21, стр. 571; *ЦГИАЛ*, ф. 779, оп. 4, 1865 г., ед. хр. 45, л. 238.

новое произведение Дарвина составляет продолжение «замечательного его труда „О происхождении видов“, уже одобренного цензурой»; что «имя автора пользуется всемирною известностию»; что «автор, хотя и доказывает происхождение человека различно от того, как это значится в книгах Ветхого завета, но, идя строго научным путем, он не касается книг священного писания и не опровергает их»; что «преграда к ознакомлению русской публики с теорией такой всемирной знаменитости, каков Дарвин, ... не будет достигнута потому, что так или иначе, а русская интеллигенция ознакомится с учением современного светила науки...». В результате, не считая возможным ни запретить труд Дарвина в подлиннике, ни препятствовать его переводу на русский язык, комитет постановил представить свое мнение «на утверждение высшего начальства». На следующем же заседании было оглашено отношение Главного управления по делам печати о том, что решение, вытекающее из мнения комитета, не требует утверждения высшей инстанции. Однако на этот раз цензор Любовников заявил, что по первому тому он «не пришел к окончательному цензурному заключению о всем сочинении Дарвина». Это вынудило комитет отложить окончательное решение о книге впредь до того, как будет получено ее продолжение. Рассмотрев второй том труда Дарвина, цензор потребовал запрещения обоих томов в виду их материалистического направления. Но, вопреки мнению цензора, комитет постановил «дозволить оба тома к обращению в публике» [165].

В течение многих лет Комитет цензуры иностранной был подчинен Министерству народного просвещения. В 1863 году вместе с другими цензурными учреждениями, подведомственными этому министерству, он был передан в Министерство внутренних дел. Смысл этой передачи хорошо уясняется из доклада министра народного просвещения А. В. Головнина, не желавшего в условиях роста революционного движения нести ответственность за печать. Головнин лицемерно ссылался на то, что Министерство народного просвещения обязано «покровительствовать литературе, заботиться о ее развитии, о преуспеянии оной»; вследствие этого, находясь в «более близких» к литературе отношениях, оно видит «не одни уклонения и ошибки», но и «заслуги», а потому и «не может быть ее строгим судьей». Не таково положение Министерства внутренних дел: «Оно обязано только наблюдать за ненарушением закона и способнее Министерства просвещения оценивать важность нарушения, ибо имеет сведения чрез высшую полицию о разных неблагонамеренных стремлениях, которые проявляются в государстве другим путем, и потому в состоянии судить о том — есть ли связь между ними» [166]. Тем самым «строгим судьей» литературы факти-

[165] *ЦГИАЛ,* ф. 779. оп. 4, 1871 г., ед. хр. 51, л. 21—23, 29—29 об., 87 об.— 88.

[166] См.: Мих. Лемке. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. СПб., 1904, стр. 261—263.

чески становилась «высшая полиция». Усиление правительственной реакции после выстрела Каракозова (1866) не могло не отразиться и на деятельности Комитета цензуры иностранной. Совет Главного управления по делам печати предписал комитету «воспрещать... по возможности ко всеобщему употреблению» ввозимые из-за границы книги, заключающие «хотя бы и не совсем очевидное революционное направление». Одновременно предлагалось пересмотреть ранее находившиеся под запретом, но после 1857 года разрешенные книги. В результате пересмотра вновь попали в список запрещенных такие произведения, как «История французской революции» А. Тьера или «История десяти лет» Л. Блана [167].

Возникает естественный вопрос, каково было отношение правительства и лично Александра II к цензурной деятельности Тютчева и возглавляемого им комитета. Нам неизвестно, было ли доведено до царя содержание тютчевского «Письма о цензуре в России» или нет, но можно ручаться, что высказанные в нем мысли не соответствовали взглядам Александра II на печать. Предписывая в 1857 году министру народного просвещения А. Норову пересмотреть существующие цензурные постановления, что являлось уступкой общественному мнению, царь тем не менее предлагал руководствоваться по отношению к литературе «разумной бдительностью». Повышенной бдительностью в этом направлении отличался московский генерал-губернатор граф Закревский, представивший в 1858 году в III Отделение список «подозрительных» лиц, в котором видное место занимали имена литераторов — братьев Аксаковых, Самарина, Хомякова, Погодина, Кетчера, Павлова и многих других [168]. Можно ручаться, что в этот перечень лиц, «готовых на все», «желающих возмущений и беспорядков», Тютчев не попал только потому, что не жил в Москве. Но вот что сообщает П. В. Долгоруков, впоследствии публицист-эмигрант и корреспондент «Колокола», в письме к Н. В. Путяте от 21 декабря 1858 года: «... с душевною горестью сообщаю вам о невообразимой мере, принятой против литературы. Учрежден Высший комитет для разрешения цензурных недоумений, для управления общественным мнением и для внушения журналистам направления, согласного с видами правительства!!! Комитет этот составлен из Николая Муханова, Александра Адлерберга и Тимашева. ...Ковалевский (министр народного просвещения с 1858 года.— *К. П.*) просил назначить иных лиц, а именно литераторов, называя Тютчева, И. С. Тургенева и других. Государь рассердился и сказал ему: „Что твои литераторы? Ни на одного из них нельзя положиться“» [169]. В обстановке революцион-

---

[167] *ЦГИАЛ,* ф. 779, оп. 4, 1866 г., ед. хр. 46, л. 90—90 об., 105—106 об.
[168] Русский архив», 1885, вып. 7. стр. 449—450.
[169] «Мурановский сборник», вып. 1, 1928, стр. 112—113.—Упоминаемый в письме Долгорукова Комитет по делам книгопечатания как самостоятельное учреждение просуществовал до начала 1860 г., когда был слит с Главным управлением цензуры.

ной ситуации конца пятидесятых годов ни Тютчев, ни Тургенев в глазах царя не заслуживали доверия; надежнее было «положиться» на адлербергов, мухановых и тимашевых.

Приведенные Долгоруковым слова Александра II сказаны были тогда, когда еще не прошло и года со дня назначения Тютчева председателем Комитета цензуры иностранной. Следовательно, они отражают не столько недовольство царя непосредственной деятельностью поэта на новом посту, сколько общее нерасположение к писателям и настороженность к более или менее независимому суждению. Несомненно, однако, что в дальнейшем отношение Тютчева к цензурной политике правительства было хорошо известно в верхах. Пользуясь своим положением (в качестве председателя комитета он являлся членом Совета Главного управления по делам печати) и связями (главным образом дружбой с Горчаковым), Тютчев не раз выступал в роли заступника изданий, которым грозили те или иные репрессии. В то же время он настойчиво пытался *направлять* самих издателей с тем, чтобы завоевать доверие правительства к «разумно-честной печати». Конечно, издания, за которые ратовал Тютчев, были органами охранительного лагеря, но это не мешало ему вообще рассматривать царскую цензуру как «лицемерно-насильственный произвол» [170]. И борьба с ним не раз приводила Тютчева к открытым столкновениям с начальством.

В 1866 году отношения Тютчева с цензурным ведомством настолько обострились, что, по-видимому, назревала угроза его отставки. Сохранилось письмо к нему министра внутренних дел П. А. Валуева, написанное с подчеркнутой сухостью. Оно начинается обращением: «Господин тайный советник». Далее говорится: «Давно уже ваше превосходительство высказали мне то малое сочувствие, которое внушает вам направление, данное делам печати, и что вы сознаете трудность продолжать участвовать в этой отрасли служебного поприща. Со своей стороны я также составил себе на этот счет совершенно определенное мнение. Личное уважение, отдаваемое вам мною, чувства искреннего почтения, которое я вам засвидетельствовал, и очень естественное отвращение к принятию решения, которое могло бы быть вам мало приятным, не позволяли мне до сих пор привести в действие намерение, которое я давно уже довел до сведения государя императора. Изменения, происшедшие в личном составе Управления по делам печати, принуждают меня тем не менее приступить к этому». Письмо заканчивается приглашением «почтить» его своим посещением в тот же вечер, чтобы обсудить «форму» и «материальные условия», при которых это решение было бы приемлемым для поэта [171].

Как это ни странно, ни в семейной переписке Тютчевых, ни в

---

[170] Письмо к И. С. Аксакову от 18 апреля 1867 г. «Мурановский сборник», вып. 1, стр. 19.

[171] Письмо от 7 декабря 1866 г. Подлинник по-французски. «Литературное наследство», т. 19—21, стр. 594.

дневнике его дочери М. Ф. Бириглевой, обычно отмечавшей, где и у кого бывал поэт, нет никакого намека на это письмо. Напрашивается вопрос, было ли оно послано. Так или иначе, но Тютчев продолжал занимать должность председателя Комитета цензуры иностранной, по-прежнему не боясь вступать в открытые пререкания с руководителями цензурного ведомства. А каковы были эти руководители, можно судить хотя бы по следующему факту, о котором рассказывает в своем дневнике член Совета Главного управления по делам печати В. М. Лазаревский. На одном из заседаний возникли «горячие и продолжительные прения» между Тютчевым и начальником управления М. Р. Шидловским по поводу передовой статьи в одесской газете «День», издававшейся Обществом распространения просвещения между евреями: «Ф. И. Тютчев заметил между прочим: „Для чего литература и печать, если отрицать значение ее заявлений?“ „Для забавы, для забавы! — крикнул не своим голосом Шидловский. — Для того, чтобы людям, которым нечего делать, было что читать. Другого значения литература и вообще печать не имеют!“ Все умолкли. Многие поотодвинулись на своих креслах от стола...» [172]. Упомянутый в записи Лазаревского Шидловский ранее был губернатором в Туле. Именно он послужил Щедрину прототипом для образа градоначальника с «органчиком» в голове в «Истории одного города».

В бытность Шидловского начальником Главного управления по делам печати произошел инцидент, давший повод управлению вынести отрицательную оценку всей деятельности Комитета цензуры иностранной. До 1871 года комитет пользовался правом не только разрешать к обращению в публике книги на иностранных языках, но и определять, какие книги могут быть переведены на русский язык. Но в начале этого года было возбуждено судебное преследование против издателя русского перевода книги А. Буша «Биография и деятельность Роберта Оуэна», в которой были усмотрены «в высшей степени кощунственные порицания религии и нападки на брак и собственность». При этом оказалось, что книга была разрешена к переводу на русский язык Комитетом цензуры иностранной. Этот факт обсуждался в Совете Главного управления по делам печати, заключение которого было утверждено министром внутренних дел. В заключении Совета отмечалось, «что настоящий случай в деятельности Комитета *далеко не единственный* и действия иностранной цензуры *вообще* представляются *весьма неудовлетворительными,* что цензурными постановлениями своими Комитет неоднократно парализировал действия внутренней цензуры по отношению преследований ею судом гг. переводчиков, что, позволяя себе серьезные упущения, гг. цензора иностранной цензуры почти только занимаются исключением кратких, незна-

---

[172] Запись от 23 февраля 1871 г. См.: Б. Пашковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия. «Литературное наследство», т. 49—50, 1946, стр. 470.

чительных фраз и выражений, останавливаясь на ничего незначащих мелочах, в то же время допускают *действительно вредные* книги к обращению и обнаруживают таким образом *совершенно неправильный взгляд на свое дело*, относясь к нему не с должным вниманием». Последствием такой оценки деятельности комитета было лишение его права «определять свои решения касательно перевода иностранных сочинений на русский язык» [173].

Многолетний опыт общения Тютчева с цензурным ведомством позволил ему накопить обширный запас наблюдений над теми людьми, которым было вверено дело печати. В одном из писем поэт подытожил эти наблюдения в следующем афоризме: «Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты» [174]. Эти же строки нашли стихотворное выражение:

Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит ее — но вот беда,
Что дело не дойдет до рвоты.
(1868)

Через несколько лет, в 1873 году, когда в журнале «Русский архив» было напечатано его «Письмо о цензуре в России», Тютчев писал дочери А. Ф. Аксаковой: «Эта статья явилась как раз вовремя, чтобы наглядно показать тот путь вспять, который мы проделали с 57 года... Перечитывая свою записку, которая и сейчас еще полна злободневности, я убедился, что самое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум» [175].

Таков был горький вывод, к которому привела поэта его служба в цензуре.

7

В поэтическом творчестве Тютчева шестидесятых — начала семидесятых годов преобладают стихи на политические темы и мелкие стихотворения «на случай». И те и другие нередко писались поэтом как бы по обязанности, что оправдывает частое отсутствие в них подлинного вдохновения. Сколь бы иронически ни отзывался порою сам Тютчев о «бесполезном и смешном пережевывании общих мест» славянофильства, его политические стихотворения все же грешат такими «общими местами». Близость Тютчева к придворно-правительственным сферам, цену которым в глубине души он прекрасно знал, наложила на многие из его политических стихов печать откровенной реакционности и полуофициозности. Было бы тем не менее ошибочным на основании этих стихотворений, обычно

---

[173] *ЦГИАЛ*, ф. 779, оп. 4, 1871 г., ед. хр. 51, л. 28—29.

[174] Письмо к Н. И. Тютчеву от 13 апреля 1868 г. «Стихотворения. Письма», стр. 467.

[175] Письмо от апреля 1873 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 486, 487.

в художественном отношении риторически холодных, говорить о творческом ущербе Тютчева. Наряду с ними мы находим в его поэзии этих лет великолепные стихи так называемого «денисьевского цикла» и превосходные образцы лирики природы («Как хорошо ты, о море ночное...», «Как неожиданно и ярко..», «В небе тают облака...» и др.), принадлежащие к числу признанных шедевров поэта.

В 1868 году И. С. Аксаковым и И. Ф. Тютчевым, младшим сыном поэта, было выпущено в свет второе издание его стихотворений. Выход его, однако, не вызвал в литературной среде такого живого отклика, какой в свое время вызвал сборник 1854 года.

Начиная с середины шестидесятых годов личная жизнь Тютчева омрачается рядом тяжелых утрат. Первой из них была смерть Е. А. Денисьевой, умершей от чахотки 4 августа 1864 года, через два месяца с небольшим после рождения своего последнего ребенка — сына Николая.

На другой день после похорон, 8 августа, Тютчев писал А. И. Георгиевскому: «Александр Иваныч! Все кончено — вчера мы ее хоронили. Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все...» [176].

В первые же дни после смерти Денисьевой Тютчева посетил Фет. Сраженный «роковой своей потерей», поэт полулежал на диване и, без слов, пожав гостю руку, пригласил его сесть рядом с собой. «Должно быть его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий,— вспоминал Фет,— так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел» [177].

По получении письма о кончине Денисьевой Георгиевский решил на несколько дней съездить в Петербург, чтобы своим участием как-нибудь поддержать потрясенного горем поэта. «О приезжайте, приезжайте, ради бога, и чем скорее, тем лучше! — торопил Тютчев Георгиевского.— ...Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней, и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...» [178].

По приезде в Петербург Георгиевский остановился у Тютчева, семья которого была в отъезде, и провел у него три дня в неистощимых разговорах о Денисьевой. Вспоминая о своем пребывании в Петербурге, Георгиевский рассказывает: «Для Федора Ивановича

---

[176] «Стихотворения. Письма», стр. 444—445.

[177] А. А. Фет. Мои воспоминания, ч. II. М., 1890, стр. 4.—Фет ошибочно относит это свидание к январю 1864 г., т. е. к тому времени, когда Денисьева еще была жива.

[178] Письмо от 13 августа 1864 г.— «Стихотворения. Письма», стр. 445.

было драгоценной находкой иметь такого собеседника, который так любил и так ценил его Лелю, который уже успел составить о ней довольно верное представление и который так дорожил всеми подробностями ее характера, ее воззрений и всей богатой ее натуры. В этих беседах со мною Федор Иванович так увлекался, что как бы забывал, что ее уже нет в живых. В своих о ней воспоминаниях он нередко каялся и жестоко укорял себя в том, что в сущности он все-таки сгубил ее и никак не мог сделать ее счастливой в том фальшивом положении, в какое он ее поставил. Сознание своей вины несомненно удесятеряло его горе и нередко выражалось в таких резких и преувеличенных себе укорах, что я чувствовал долг и потребность принимать на себя его защиту против него самого; но по свойственной человеческой природе слабости не было недостатка и в попытках к самооправданию... Беседы наши... оживлялись и поддерживались тем, что мы объезжали все те места, которые ознаменованы были теми или другими событиями в жизни Лели ...За эти три дня постоянной беседы со мной о Леле Федор Иванович как бы несколько ожил и приободрился» [179].

Георгиевский уговаривал Тютчева уехать с ним вместе в Москву, рассчитывая «вновь втянуть его в умственные и политические интересы, которыми он жил до сих пор», но поэт предпочел поездку за границу, где в то время находились его жена и дочери.

Сразу же после смерти Денисьевой Тютчев послал жене не дошедшее до нас письмо. В дневнике дочери поэта Марии под 14 августа 1864 года отмечено, что ее мать получила от него «таинственное» письмо и что в течение ближайшей недели он намеревается свидеться с ними [180].

Тютчев выехал из Петербурга за границу в двадцатых числах августа 1864 года. 5 сентября он прибыл в Женеву, где и оставался с семьей до середины октября. Отсюда Тютчевы переехали на юг Франции, в Ниццу, и прожили там до весны следующего года. Вспоминая о своем пребывании за границей осенью 1864 года, жена поэта впоследствии рассказывала, что она видела своего мужа плачущим так, как ей никого и никогда не доводилось видеть плачущим [181]. Отношение Э. Ф. Тютчевой к поэту в это время лучше всего характеризуется ее же собственными словами: «...его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина» [182].

Из Женевы Тютчев писал Георгиевскому: «Не живется, мой друг Александр Иваныч, не живется... Гноится рана, не заживает... Чего я ни испробовал в течение этих последних недель — и обще-

---

[179] Неизданные воспоминания А. И. Георгиевского.— Собрание Б. Н. Делоне.

[180] «Летопись», стр. 161.

[181] См. письмо Эрн. Ф. Тютчевой к Д. Ф. Тютчевой от 16/28 октября 1888 г.— *МА*.

[182] Письмо Эрн. Ф. Тютчевой к Д. Ф. Тютчевой от 25 ноября/7 декабря 1874 г. Подлинник по-французски — *МА*.

ство, и природа, и, наконец, самые близкие родственные привязанности... я готов сам себя обвинять в неблагодарности, в бесчувственности; но лгать не могу: ни на минуту легче не было, как только возвращалось сознание» [183].

В приписке к этому же письму, обращенной к М. А. Георгиевской, сестре Денисьевой, Тютчев признается, что чувствует себя «как бы на другой день после ее смерти» [184]. Насколько живо и остро вставало в памяти поэта все пережитое им у постели умирающей, показывает его стихотворение, посвященное ее последним минутам,— «Весь день она лежала в забытьи...».

Мысль Тютчева беспрестанно возвращается к утраченному. Он неспособен воспринимать с прежней живостью и непосредственностью столь пленявшие его всегда красоты швейцарской природы. Написанное им в Женеве стихотворение «Утихла биза ...Легче дышит...» заканчивается такими горькими строками:

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...

Тогдашнее состояние поэта очень точно выражено и в третьем стихотворении, написанном в Ницце:

О, этот Юг! о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет,— и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

В декабре 1864 года Тютчев послал эти три стихотворения (позднее к ним было присоединено еще одно — «Как хорошо ты, о море ночное...») в редакцию журнала «Русский вестник», настаивая на том, чтобы под ними было проставлено его полное имя. Тем самым он как бы хотел посмертно выполнить волю Денисьевой и «гласно и во всеуслышание» заявить, чем она была для него. На этот раз те же самые соображения, которые поэт некогда излагал Денисьевой в ответ на ее пожелание, чтобы он издал с посвящением ей свои стихи, были представлены ему самому Георгиевским как членом редакции «Русского вестника», и стихотворения появились в журнале с одной буквой «Т.» вместо подписи.

Заграничное пребывание не излечило Тютчева от того «душевного увечья», которое было нанесено ему смертью Денисьевой, и не

[183] Письмо от 6/18 октября 1864 г.— *ЦГАЛИ*. Ср.: Георгий Чулков. Последняя любовь Тютчева. [М.], 1928, стр. 47, 48.

[184] Подлинник по-французски.— Там же, стр. 50.

вывело его из состояния «страшного одиночества» [185]. Признаваясь в письме к Я. П. Полонскому, что «все испробовано», но «ничто не помогло, ничто не утешило», Тютчев пишет: «Одна только потребность еще чувствуется. Поскорее торопиться к вам, туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею...» [186].

В Петербург Тютчев вернулся в конце марта 1865 года. Вернулся к новым могилам. Вскоре по его возвращении, 2 мая, умерла от скоротечной чахотки четырнадцатилетняя дочь Тютчева и Денисьевой Елена, а на другой день скончался от той же болезни их годовалый сын Николай.

За этими потерями последовали другие. В 1866 году Тютчев хоронит свою девяностолетнюю мать. На протяжении 1870 года умирают старший сын поэта Дмитрий и единственный брат Николай. В 1872 году погибает от чахотки младшая дочь Тютчева Мария, жена севастопольского героя Н. А. Бирилева. Не досчитывается Тютчев и многих своих сверстников, многих завсегдатаев того круга, к которому он принадлежал. «При всем желании нельзя избежать чувства все возрастающего ужаса, видя, с какой быстротой исчезают один за другим наши оставшиеся в живых современники. Они уходят, как последние карты пасьянса»,— пишет однажды Тютчев жене [187].

Возвращаясь из Москвы с похорон брата, поэт написал стихотворение «Брат, столько лет сопутствовавший мне...». В нем он говорит:

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Но, вопреки этим словам, Тютчев никогда не терял интереса к «живой жизни», к окружающей действительности. «Живая жизнь» была связана для него прежде всего с общественно-политическими интересами. С середины шестидесятых годов поэт находился в непрестанном ожидании новых социальных потрясений. Его внимание в особенности было приковано к событиям на Западе.

16 июня 1866 года началась австро-прусская война, спровоцированная Бисмарком с тем, чтобы добиться выхода Австрии из Германского союза и создания нового Северо-Германского союза под главенством Пруссии. Военные действия продолжались немногим более двух недель и прекратились после разгрома австрийской

---

[185] Письмо Тютчева к А. И. Георгиевскому от 6/18 октября 1864 г.— *ЦГАЛИ*.

[186] Письмо к Я. П. Полонскому от 8/20 декабря 1864 г. «Стихотворения. Письма», стр. 448.

[187] Письмо от 14 сентября 1871 г.— Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 484.

армии под Садовой (3 июля). Узнав о перемирии, заключенном между Австрией и Пруссией в соответствии с планами Бисмарка, Тютчев писал жене: «Война только прервана. То, что теперь окончилось, было лишь прелюдией великого побоища, великой борьбы между наполеоновской Францией и немцами...» [188].

И, действительно, Вторая империя, империя Наполеона III, вступала в период кризиса. По горькой иронии судьбы одним из центральных экспонатов французского художественного отдела на открывшейся в 1867 году в Париже Всемирной выставке была статуя умирающего Наполеона, как бы символизировавшая закат наполеоновской легенды, близкий конец империи Наполеона Малого (Napoléon le Petit). Призрак войны реял над выставкой. Один из историков Второй империи по этому поводу замечает: «Война была увы! — бичом весьма давнишним. Но новым и поистине оригинальным было то, что она была отнесена к разряду промышленности. Разумеется, шедевры искусства истребления следовало искать в прусском отделе выставки. Там демонстрировалась чудовищная пушка, изделие крупповских заводов, которая привлекала взоры и казалась воспоминанием о прошлом, вызовом будущему» [189].

Празднества, состоявшиеся в Париже в связи с открытием выставки, наводят Тютчева на мысль о назревающих в Европе «кризисах и бедствиях». «Под общество подведена мина,— пишет он дочери,— и вот за счет этой уже заряженной мины разыгрываются все эти подтасовки торжествующего в своей цивилизации и обнимающегося в мире и братстве человечества» [190].

Историческое чутье на этот раз не изменило Тютчеву. Прошло всего лишь три года со времени парижской выставки, и разразилась франко-прусская война. Пожалуй, ни одно политическое событие, кроме Крымской кампании, не нашло такого яркого отражения в переписке Тютчева, как именно эта война. Она застала его за границей, где он проходил курс лечения. Письма поэта к жене, дочерям, шурину К. Пфеффелю выказывают крайнюю степень нервного напряжения, в котором он находился. «Начало конца света», «великая резня народов», «публичный опыт людоедства», «оргия крови» — таковы определения происходящего, то и дело срывающиеся с его пера [191]. То, что война окажется роковой для Франции, сразу же стало ясно поэту. «Война началась ровно восемь дней назад,— писал он дочери Анне 31 июля/12 августа 1870 года из Тёплица,— и вот уже судьба Франции поставлена в

---

[188] Письмо от 21 июля 1866 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 462.

[189] P. de la Gorce. Histoire du Second Empire, t. V. Paris, 1905, p. 206.

[190] Письмо к А. Ф. Аксаковой от 21 июня 1867 г. Подлинник по-французски. «Литературное наследство», т. 19—21, стр. 235.

[191] Письма к Эрн. Ф. Тютчевой от 6/18 июля и 15/27 октября 1870 г., к А. Ф. Аксаковой от 19/31 июля 1870 г. и 1/13 февраля 1871 г.— Подлинники по-французски. «Литературное наследство», т. 31—32, 1937, стр. 753, 754, 761, 762.

зависимость от случайности одного сражения, которое, быть может, разыгрывается в настоящую минуту» [192].

Отношение Тютчева к кровавому столкновению между двумя европейскими державами было двойственным. Негодуя на «внутреннее разложение» Франции Наполеона III, «обезумевшей от безнравственности», он считает заслуженными и справедливыми «кары, готовые на нее обрушиться». По его мнению, она «сама себе вынесла приговор», сама навлекла на себя «божий суд» [193]. И тем не менее, как признается поэт в письме к Пфеффелю, «человеку, принадлежащему к европейской цивилизации, невозможно присутствовать при таком глубоком падении Франции, не испытывая ужасающего щемления сердца» [194]. Утверждая, что в завязавшейся борьбе «нравственное превосходство решительно на стороне Германии», Тютчев в то же время не скрывает своих опасений насчет последствий конечной победы Пруссии: «В самом деле, если Франция уже не действительность, если она лишь призрак, пустая газетная фраза, если этой ужасной войне суждено будет завершиться полным торжеством Пруссии, то для нас создастся весьма опасное и угрожающее положение» [195]. В объединении Германии под гегемонией милитаристской Пруссии Тютчев усматривал серьезную угрозу для России и других славянских народов. Ведь именно идеологов воинствующего пруссачества имел в виду поэт, когда еще задолго до франко-прусской войны писал о немцах, проникнутых «глубоким, фанатически-нетерпимым и непримиримым убеждением в превосходстве своего племени» над другими народами [196].

Письма Тютчева времени франко-прусской войны обнаруживают его умение предвидеть развитие событий и оценивать их историческое значение. Уже в августе 1870 года, говоря о неминуемых ее последствиях, он предсказывает, что Франции грозит расчленение, ибо она не в силах будет воспрепятствовать отторжению от нее Эльзаса и Лотарингии [197]. Вместе с тем, несмотря на оглушительные успехи немцев, Тютчев не хочет верить в их «окончательное и полное торжество»: «Франция может быть сломлена, и, вероятно, оно так и будет, но ее поражение станет жестокой и болезненной занозой в теле ее победителя» [198]. Совсем незадолго до провозгла-

---

[192] Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 478.

[193] Письмо к Д. Ф. Тютчевой от 1/13 августа 1870 г. Подлинник по-французски. «Литературное наследство», т. 31—32, стр. 757.

[194] Письмо от 22 августа 1870 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 22. Пг., 1917, стр. 288.

[195] Письма к Д. Ф. Тютчевой от 1/13 августа 1870 г. и к А. Ф. Аксаковой от 7/19 августа 1870 г. «Литературное наследство», т. 31—32, стр. 757.

[196] Письмо к А. Ф. Тютчевой от 3/15 июля 1859 г. Подлинник по-французски.— Ф. И. Тютчев. Стихотворения. М., 1945, стр. 296.

[197] См. письмо к К. Пфеффелю от 22 августа 1870 г. «Старина и новизна», кн. 22. Пг., 1917, стр. 288—289.

[198] Письмо к жене от 14/26 августа 1870 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 263.

шения Парижской коммуны поэт высказывает мысль, что «разгром Франции осложнится, вероятно, гражданской войной» [199].

Но Тютчев не считает, что революция грозит одной Франции, ибо «все демократии материка» составляют, по его мнению, «в сущности одну единую демократию». Это и дает ему право утверждать: «Нынешняя война, жестокая война, столкнется с внутренней войной партий, настоящей социальной войной...». Он предвидит, что Европа будет расколота «на два лагеря: социальную революцию и военный абсолютизм» [200].

С тех консервативных позиций, на которых стоял Тютчев, он осудил и не мог не осудить Парижскую коммуну. Но он понял, что врагам ее нечего противопоставить ей, кроме грубой силы. В первые же недели существования Коммуны он писал: «Возможно, что и на сей раз европейское общество не даст нападающим поработить себя, но уже в нем нет того, что могло бы победить их и сдерживать» [201]. Характерно, что, имея в виду Парижскую коммуну, Тютчев говорит о «европейском обществе» в целом, т. е. не рассматривает ее как явление местное, изолированное от общеевропейского революционного движения.

В 1872 году Тютчев, до того времени стойкий монархист, пишет одной из своих светских корреспонденток, известной в политических кругах Парижа и Петербурга княгине Е. Э. Трубецкой: «...нельзя скрывать от себя, что при современном состоянии умов в Европе то из ее правительств, которое решительно взяло бы на себя почин в деле великого преобразования, открыв республиканскую эру в европейском мире, сделало бы значительный шаг вперед по сравнению со своими соседями — друзьями или недругами. Ибо чувство преданности династии, без которого нет монархии, повсюду слабеет, и если порою происходят обратные проявления, то это лишь *всплеск* в общем течении». Правда, Тютчев еще не решается распространить высказанное им положение на Россию, где, как он утверждает, «династический принцип имеет будущее», но при этом делает весьма значительную оговорку, по существу сводящую на нет это утверждение: «...при условии sine qua non, что династия все более и более проникнется национальным духом, ибо вне этого, вне энергического и сознательного национального духа, русское самодержавие — бессмыслица» [202].

В начале семидесятых годов, как и раньше, западноевропейские политические события находились в центре внимания

---

[199] Письмо к А. Ф. Аксаковой от конца февраля — начала марта 1871 г. Подлинник по-французски. «Литературное наследство», т. 31—32, стр. 762.

[200] Письмо к А. Ф. Аксаковой от 14 января 1871 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 480, 481.

[201] Письмо к ней же от 27 марта 1871 г. Подлинник по-французски. «Литературное наследство», т. 31—32, стр. 763.

[202] Письмо от 15 июля 1872 г. Подлинник по-французски.— А к с а к о в, стр. 163.

Тютчева[203], но это не мешало ему живо интересоваться и событиями внутренней общественно-политической жизни России. Так, например, летом 1871 года он целыми днями просиживал на процессе участников общества «Народная расправа», известном под названием «нечаевского процесса» (по имени организатора общества — С. Г. Нечаева). Ошибочно видя в «нечаевщине» проявление самой сути революционного движения, Тютчев тем не менее делает знаменательное признание: «Зло пока еще не распространилось, но где против него средства? Что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения? Одним словом, что может противопоставить революционному материализму весь этот пошлый правительственный материализм? That is the question (Вот в чем вопрос.— *К. П.*)...»[204].

Жадного интереса к политике не могли поколебать в Тютчеве и первые угрожающие симптомы в состоянии его здоровья. 4 декабря 1872 года поэт утратил свободу движения левой рукой и ощутил резкое ухудшение зрения; его начали одолевать мучительные головные боли. Тем не менее, когда в газетах появилось сообщение о смерти Наполеона III, Тютчев, несмотря на сильное недомогание, задумал стихами откликнуться на это событие. 30 декабря, после бессонной и тревожной ночи, он заявил жене, что хочет продиктовать их ей. Почти весь день прошел в этой работе, доставившей немало труда обоим. Ослабленный слух и незнакомство с правилами стихосложения мешали Э. Ф. Тютчевой исправно записывать стихи, к тому же невнятно произносимые поэтом. Самому ему стихотворение стоило невероятных усилий, и при каждой замеченной ошибке жены он сильно раздражался. К вечеру диктовка была закончена, а на следующий день Тютчев повез стихи в редакцию газеты «Гражданин». Начав читать их вслух, поэт обнаружил пропущенные им неточности, что вызвало в нем новый приступ раздражения. Больше всего, по-видимому, взволновало его то, что он уже не смог сам исправить искаженного текста (отредактированное А. Н. Майковым стихотворение было напечатано в № 2 «Гражданина» за 1873 год). Домой Тютчев вернулся в состоянии крайнего нервного возбуждения. В тот же день, однако, он еще раз выехал из дома и провел вечер накануне нового года в гостях. Утром 1 января 1873 года, невзирая на предостережение окружающих, поэт пошел на прогулку, намереваясь посетить кое-кого из знакомых. На улице с ним случился удар, парализовавший всю левую половину.

«Первым делом Тютчева по мере того, как он стал приходить в сознание,— рассказывает И. С. Аксаков,— было — ощупать свой

---

[203] См. подробнее: К. В. Пигарев. Ф. И. Тютчев о французских политических событиях 1870—1873 гг. «Литературное наследство», т. 31—32, стр. 753—776.

[204] Письмо к А. Ф. Аксаковой от 17 июля 1871 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 484.

ум. Жить — значило для него мыслить, и с первым, еще слабым возвратом сил, его мысль задвигалась, заиграла и засверкала, как бы тешась своею живучестью. Прикованный к постели, с ноющею и сверлящею болью в мозгу, не имея возможности ни приподняться, ни перевернуться без чужой помощи, голосом едва внятным, он истинно дивил и врачей, и посетителей блеском своего остроумия и живостью участия к отвлеченным интересам. Он требовал, чтоб ему сообщались все политические и литературные новости...» [205]. С приехавшим из Москвы Аксаковым Тютчев тотчас же начал говорить о политике, о Хивинском походе, о смерти Наполеона III. Свое безысходное болезненное состояние он определил словами: «C'est mon Sédan» («Это мой Седан») [206].

О прежней ясности тютчевского ума можно судить по письмам, которые поэт диктовал, а некоторые и писал собственноручно во время своей болезни. Пытался он также сочинять стихи. Из всех подобных попыток значительно и по своему содержанию, и по силе словесного выражения только одно четверостишие, обращенное к жене:

Все отнял у меня казнящий бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

«У меня нет ни малейшей веры в мое возрождение; во всяком случае нечто кончено, и крепко кончено для меня,— писал Тютчев дочери Анне.— Теперь главное в том, чтобы уметь мужественно этому покориться. Всю нашу жизнь мы проводим в ожидании этого события, которое, когда настает, неминуемо преисполняет нас изумлением. Мы подобны гладиаторам, которых в течение целых месяцев берегли для арены, но которые, я уверен, непременно бывали застигнуты врасплох в тот день, когда им предписывалось явиться...» [207].

Менее всего был способен Тютчев «мужественно покориться» неизбежному и примириться со своим недугом. По словам жены поэта, он испытывал «отчаяние и страстное, неудержимое, лихорадочное желание жить» [208]. Он требовал, чтобы к нему допускали всех, кто приезжал осведомляться о его здоровье. «Общество — его стихия, и вне общества он впадает в тоску...», — писал И. С. Аксаков Е. Ф. Тютчевой [209]. В памятной книжке Э. Ф. Тютчевой чуть ли не ежедневно отмечаются имена лиц, навещавших больного поэта. Среди этих посещений одно в особенности его

[205] Аксаков, стр. 310.

[206] См. письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой от 3 января 1873 г. «Летопись», стр. 226, 227.

[207] Подлинник по-французски.— Аксаков, стр. 311.

[208] Письмо Эрн. Ф. Тютчевой к А. Ф. Аксаковой от 10 апреля 1873 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

[209] Письмо от 12 января 1873 г. «Летопись», стр. 229.

тронуло. Это было посещение графини А. М. Адлерберг, в первом браке Крюденер. 1 апреля 1873 года дрожащей рукой Тютчев написал следующие несколько строк, которые послал своей дочери Дарье: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй» [210].

Однажды к Тютчеву привели четырехлетнюю внучку, дочь его покойного старшего сына Дмитрия. Глядя на ребенка и намекая на свои утраты последних лет, поэт сказал: «C'est une fleur qui croît sur les tombes» («Это цветок, растущий на могилах»). В памяти девочки запечатлелся облик больного деда, лежащего на придвинутой к открытому окну кушетке, и огромный букет сирени у его изголовья [211].

19 мая Тютчева перевезли на дачу в Царское село. Он начал передвигаться, хотя и с помощью посторонних. Но 11 июня последовал второй удар. Окружающие с минуты на минуту ожидали его смерти. Однако он пришел в себя и спросил еле слышным голосом: «Какие последние политические известия?».

Тютчев прожил еще немногим более месяца. О его безнадежном состоянии свидетельствовало то, что теперь он утратил потребность в обществе и почти все время был погружен в глубокое молчание. Редкие и короткие ответы его на вопросы врачей и близких отличались, впрочем, прежним остроумием. Один раз, как бы вновь желая вызвать в себе привычное ощущение жизни, он неожиданно попросил: «Faites un peu de vie autour de moi» («Сделайте так, чтобы я немного почувствовал жизнь вокруг себя»).

О последних минутах поэта проникновенно рассказывает Аксаков: «Ранним утром 15 июля 1873 года лицо его внезапно приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса; глаза широко раскрылись, как бы вперились в даль,— он не мог уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова,— он, казалось, весь уже умер, но жизнь витала во взоре и на челе. Никогда так не светилось оно мыслью, как в этот миг, рассказывали потом присутствовавшие при его кончине... Чрез полчаса вдруг все померкло, и его не стало... Он *просиял и погас*» [212].

18 июля гроб с телом поэта был перевезен из Царского села в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Узнав о смерти Тютчева, Тургенев писал Фету из Буживаля: «Милый, умный, как день умный Федор Иванович, прости — прощай!» [213].

---

[210] Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 486.

[211] Записано со слов О. Д. Дефабр, рожденной Тютчевой, внучки поэта.

[212] Аксаков, стр. 316.— Слова, выделенные курсивом,— цитата из стихотворения Тютчева «Как над горячею золой...».

[213] Письмо от 21 августа 1873 г.— А. Фет. Мои воспоминания, ч. II. М., 1890, стр. 279.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лирик — мыслитель — художник

1

Личная и общественная жизнь Тютчева прошла в стороне от большой дороги русской литературной жизни его времени. Связи Тютчева с литературными кругами были эпизодическими. Дошедшие до нас суждения его о литературе, о поэзии отрывочны. По ним трудно воссоздать сколько-нибудь отчетливую систему эстетических взглядов поэта.

В воспоминаниях и письмах современников образ Тютчева как бы ограничен рамками светской гостиной. Даже Вяземский, непосредственный свидетель восторженного отношения Пушкина к стихам Тютчева, узнав о его смерти, оплакивал в нем остроумного и увлекательного собеседника и ни словом не обмолвился о поэте: «Бедный Тютчев! Кажется, ему ли умирать? Он пользовался и наслаждался жизнью и в высшей степени данным от провидения человеку даром слова. Он незаменим в нашем обществе. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о нем, что если он и не *златоуст*, то *жемчужноуст*. Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бессознательно спадавших с языка его! Надо составить по ним *Тютчевиану,* прелестную, свежую, живую, современную антологию. Малейшее событие, при нем совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее пред ним, иллюстрированы и отчеканены его ярким и метким словом...» [1]. В известном стихотворении Апухтина «Памяти Ф. И. Тютчева» перед нами опять-таки возникает образ не Тютчева-поэта, а Тютчева-собеседника, чей ум сверкал «в кругу друзей», «в шуме свет-

---

[1] Письмо П. А. Вяземского к П. И. Бартеневу, конец июля 1873 г.— Аксаков, стр. 289—290.

ских фраз и суеты салонной» [2]. К. Пфеффель, неспособный по незнанию русского языка судить о стихах Тютчева, но восхищавшийся беседами с ним и ценивший его французскую политическую прозу, считал, что творческие силы Тютчева были скованы условиями современной ему русской действительности: «Родись и живи он во Франции, он без сомнения оставил бы по себе памятники, которые бы увековечили его имя. Родясь и живя в России, не имея другой аудитории, кроме общества, отличающегося скорее любопытством, чем познаниями, он рассеял на ветер, в разговорах, сокровища своего ума и мудрости, еще быстрее забытые, чем распространенные» [3]. Сам Тютчев, встретившись однажды со старым знакомым, который припомнил ему его давние остроты, не без горечи заметил: «Итак, вся жизнь ушла только на это...» [4].

Приведенные примеры (их можно было бы умножить) показывают, как односторонне воспринимали Тютчева те, с кем он больше всего общался. Был ли сам поэт удовлетворен той общественной средой, которая окружала его со времени дипломатической службы и до конца дней? Нет. В предыдущей главе уже цитировались высказывания Тютчева, не оставляющие сомнения в том, какое острое чувство негодования и презрения вызывало в нем порою светское общество. Нередко, оставив наскучивший ему пошлостью какой-нибудь салон, где его меткие слова только что возбуждали взрывы одобрительного смеха, он, углубленный в самого себя, часами одиноко бродил по улицам Петербурга. Э. Ф. Тютчева была права, утверждая, что, несмотря на кажущуюся любовь к светскому образу жизни, ее муж «все же никогда не был светским человеком в точном значении этого слова» [5]. Но в том-то и заключалась трагедия Тютчева, что, прожив всю жизнь в среде, менее всего способной его понять и оценить, он в силу классовых традиций, предрассудков и привычки не мог и не хотел переступить за ее пределы. Вечно на людях, он тем не менее был одиноким. Это хорошо почувствовал в нем Л. Н. Толстой. Узнав о предсмертной болезни поэта, он писал в одном письме: «...вы не поверите, как это меня трогает. Я встречался с ним раз 10 в жизни: но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки» [6]. И это одиночество в особенности остро ощущалось не Тютчевым-дипломатом, не Тютчевым-публицистом, не Тютчевым-цен-

---

[2] А. Н. Апухтин. Сочинения СПб., 1900, стр. 264.

[3] Письмо К. Пфеффеля к редактору газеты «Union» Лоренси от 6 августа 1873 г. Подлинник по-французски.— Аксаков, стр. 295.

[4] Письмо к жене от 14 сентября 1871 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 485.

[5] Письмо Эрн. Ф. Тютчевой к И. С. Аксакову от 20 апреля 1874 г. Подлинник по-французски. Цит. в моей вступительной статье к кн.: «Стихотворения. Письма», стр. 15.

[6] Письмо Л. Н. Толстого к А. А. Толстой, февраль 1873 г.— Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62. М., 1953, стр. 9.

зором, а именно Тютчевым-поэтом. Недаром встречавшийся с ним в разных петербургских домах В. П. Боткин сделал следующее наблюдение: «...никто из посещаемых им мужчин и дам... не чувствует и не понимает поэзии его стихов» [7]. Ни в мюнхенском, ни в петербургском «большом свете» Тютчев-поэт не находил той «животворной воодушевляющей среды», в которой при болезненном недоверии к самому себе всегда особенно нуждался.

Естественно задать вопрос, отзывалось ли и как отзывалось в поэзии Тютчева это отсутствие вокруг него «животворной воодушевляющей среды», в какой мере были сильны в его стихах мотивы одиночества? В свое время символисты и декаденты опирались на знаменитое тютчевское стихотворение «Silentium!» (1830?) как на проявление крайнего индивидуализма и даже эгоцентризма поэта, сознательно отгораживавшегося от людей. Действительно, казалось бы, трудно с большей определенностью выразить призыв к самоуглублению, к уходу в свой внутренний мир:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи,—
Любуйся ими — и молчи.

Но тема тютчевского «Silentium!» не одинока в русской литературе. Она появляется в ней вместе с первыми предромантическими настроениями. Еще Карамзин, разъясняя Дмитриеву свой отрывок «О любви», писал: «Я хотел единственно сказать..., что любовь сильнее всего, святее всего, *несказаннее* всего» [8]. Мысль о недостаточности слова для выражения всей глубины и сложности человеческих переживаний в особенности характерна для поэтов-романтиков. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) Пушкин вкладывает в уста поэта, отстаивающего свою внутреннюю свободу, слова:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья...
Блажен, кто молча был поэт... [9]

---

[7] См.: А. Фет. Мои воспоминания, ч. 1. 1890, стр. 448.

[8] Письмо от 31 декабря 1797 г.— «Письма Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб., 1866, стр. 89.

Процитировав эти строки Карамзина в своей статье «Древнерусская повесть как один из источников повестей Н. М. Карамзина „Райская птичка", „Остров Борнгольм" и „Марфа Посадница" (Из истории раннего русского романтизма)», Л. В. Крестова замечает: «Именно Карамзин начинает в русской литературе романтическую тему «несказанного», которую подхватывают и продолжают впоследствии Жуковский и Тютчев» («Исследования и материалы по древнерусской литературе». М., 1961, стр. 208).

[9] Сближение этих строк из «Разговора книгопродавца с поэтом» Пушкина с «Silentium!» Тютчева впервые сделано Д. Н. Стремоуховым в его

Шевырев в стихотворении «Звуки» (1827?) утверждал, что только музыка может быть языком чувств; ни живопись, ни поэзия не в состоянии выразить их. О языке слов Шевырев говорит так:

Он мне знаком: на нем я лепетал,
Беседовал в дни юные с мечтами;
Но много чувств я в сердце испытал
И их не мог изобразить словами.

О невозможности для человека найти слова, чтобы передать самые сокровенные свои думы и чувства, писал позднее Баратынский:

Знай: внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку... [10]

(«Осень», 1837)

И, наконец, ту же мысль повторил Лермонтов в стихотворении «Не верь себе» (1839):

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Открыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный,—
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

Можно установить известное родство между лермонтовским образом «родника» и тютчевским образом «ключей». Вторая строфа «Silentium!» читается так:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи,—
Питайся ими — и молчи.

книге «La poésie et l'idéologie de Tiouttchev» (Paris, 1937); см. также: Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев).— В кн.: Д. Благой. Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы. М., 1959, стр. 449.

[10] Сопоставление этих строк «Осени» Баратынского со стихотворением Тютчева «Silentium!» впервые сделано В. Ф. Саводником в его книге «Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева» (М., 1911, стр. 159). См. также: Лев Озеров. Е. А. Баратынский.— В кн. Е. А. Баратынский. Стихотворения и поэмы. Л., 1958 («Библиотека поэта». Малая серия, изд. 3), стр. 35.

Однако в данном случае неважно, существует ли между этими образами прямая зависимость (Лермонтов, конечно, мог знать стихотворение Тютчева, дважды напечатанное на протяжении четырех лет — сначала в «Молве» 1833 года, а затем в «Современнике» 1836 года). Гораздо важнее другое.

Все эти примеры указывают на то, что в стихотворении Тютчева «Silentium!» развивается один из общих мотивов романтической поэзии. В основе его лежит противопоставление сильно и тонко чувствующей личности бесчувственному и равнодушному обществу. Но, будучи общим, этот мотив все же не является определяющим для поэтического сознания названных поэтов. У Тютчева же он варьируется в ряде стихотворений заграничного периода, тем самым становясь глубоко личным лейтмотивом его лирики.

Мысль о том, что сокровенное «я» поэта остается недоступным для посторонних, нашла выражение в следующем небольшом стихотворении:

Ты зрел его в кругу большого света —
То своенравно весел, то угрюм,
Рассеян, дик иль полон тайных дум,
Таков поэт — и ты презрел поэта!

На месяц взглянь: весь день, как облак тощий,
Он в небесах едва не изнемог,—
Настала ночь — и, светозарный бог,
Сияет он над усыпленной рощей!

(Начало 1830-х годов)

Несколькими выразительными чертами обрисован в этих стихах образ поэта, чьим жизненным девизом стало «Silentium!». Он может порою быть судорожно веселым, но это только личина, которую он на себя надевает. На самом деле между ним и «большим светом» нет ничего общего. В глазах света поэт чаще представляется рассеянным, угрюмым и даже диким, но все это лишь внешнее обличие, скрывающее внутреннюю его суть: он «полон тайных дум».

В другом стихотворении, написанном в первой половине тридцатых годов, Тютчев еще резче заявляет о своей отрешенности от окружающей действительности:

Душа моя — Элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобою!

Не преувеличивая значения биографических факторов в лирике Тютчева, нельзя все же не отметить, что мотивы таких стихотворений, как «Silentium!», «Ты зрел его в кругу большого света...» и «Душа моя — Элизиум теней!..», не повторяются в творчестве поэта после возвращения его на родину. Это свидетельствует

прежде всего о том, что подобные специфически романтические мотивы вообще с годами ослабевают в его стихах, а то и вовсе исчезают. Вместе с тем едва ли можно полностью не принимать в расчет и того обстоятельства, что эти три стихотворения написаны в годы, когда даже в своей семье Тютчев был лишен возможности изъясняться на родном языке и когда самый близкий ему тогда человек — его первая жена — не имела никакого представления о нем как о поэте. Мюнхенский «большой свет», быть может, в еще меньшей степени, чем петербургский, мог располагать поэта к тому, чтобы допустить кого бы то ни было в тот заветный мир «таинственно-волшебных дум», который он скрывал в своей душе. Но как бы ни были значительны эти стихотворения, и в особенности «Silentium!», о котором Л. Н. Толстой однажды сказал: «Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения» [11], они вовсе не означают, чтобы Тютчев принципиально отрицал возможность для поэта найти путь к сердцу читателя. Не он ли сам, узнав о приеме, оказанном в 1836 году его стихам Пушкиным, Вяземским и Жуковским, писал И. С. Гагарину: «Ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие,— не удовольствие тщеславия или самолюбия..., но удовольствие, которое испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в сочувствии ближнего. В сущности как только человек расстался со сферой чувств, для него, пожалуй, не остается иной реальности, кроме этого сочувствия, этой умственной симпатии. На этом основаны все религии, все общества, все языки» [12].

Казалось бы, что о такой «умственной симпатии» к Тютчеву как поэту свидетельствовали и появление в 1850 году статьи Некрасова, посвященной разбору его стихов, и забота Тургенева о выпуске в 1854 году первого сборника его стихотворений, и отдельные критические высказывания о нем в периодической печати. И тем не менее в силу того, что жизнь поэта протекала в среде, далекой от живых вопросов современной литературы, непосредственной и прочной связи с читателем Тютчев не ощущал. Вот почему если с переездом из Мюнхена в Петербург Тютчев и не накладывал на себя зарока молчания, он все же принимал «сочувствие ближнего» к своим стихам как своего рода счастливую неожиданность:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

(1869)

---

[11] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. (Записи за пятнадцать лет), т. II. М.— Пг., 1923, стр. 303.

[12] Письмо к И. С. Гагарину от 7/19 июля 1836 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 375.

И тютчевское «Silentium!», и тютчевское сомнение в том, как «отзовется» его слово, в корне противоположны следующему убеждению Некрасова: «...нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого... Надо иметь веры в ум и проницательность другого по крайней мере столько же, сколько в собственные!» [13]. Разница между некрасовским и тютчевским представлением об «изреченной» мысли легко объяснима. Мировоззрению Некрасова был чужд индивидуализм, а передовая идеология, выразителем которой он выступал в своем творчестве, укрепляла его связь с обширными демократическими кругами читателей и питала в нем веру в людей, которые могут понять любое обращенное к ним слово поэта. Ярко выраженный индивидуализм Тютчева, отрицать который невозможно, долгое время делал его поэзию поэзией для немногих. Самому Тютчеву он доставил немало душевных мук. Но его индивидуализм не заключал в себе ни эгоистического высокомерия, ни презрения к человеку вообще. Ведь в сущности не отрицание, а утверждение душевного мира человека во всем богатстве и сложности его переживаний содержится и в тютчевском «Silentium!» («Есть целый мир в душе твоей || таинственно-волшебных дум»). Но «все пошлое и ложное» в людях, «бессмертная пошлость», стирающая в человеке человеческое,— вот что было неприемлемо для Тютчева и от чего подчас он испытывал желание укрыться в свой внутренний «элизиум».

Долгое время господствующим в истории литературы было представление о Тютчеве как о создателе отрешенных от действительности произведений «чистого искусства». Именно такое представление десятилетиями прививалось школьным и университетским преподаванием [14] и стало обычным для широких кругов читателей. И если под «чистым искусством» подразумевать искусство, оторванное от передовых социальных идей современности, наиболее ярким выразителем которых в русской поэзии того времени, когда этот термин появился, был Некрасов, то против такого понимания Тютчева трудно было бы что-либо возразить. И тем не менее поэзия Тютчева — и притом не в таких стихах, в которых поэт

---

[13] Письмо к Л. Н. Толстому от 5/17 мая 1857 г.— Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. X. М., 1952, стр. 335.— Противопоставление этих строк Некрасова тютчевскому «Silentium!» сделано А. Лаврецким в статье «Литературно-эстетические взгляды Некрасова» («Литературное наследство», т. 49—50, 1946, стр. 66).

[14] Эта долголетняя традиция в настоящее время преодолевается. См.: А. А. Зерчанинов, Д. Я. Райхин. Русская литература. Учебник для IX класса средней школы. М., 1959, стр. 32—34.—Здесь материал о Тютчеве дан в виде самостоятельного раздела вслед за разделом о поэтах «чистого искусства» — Фете и Майкове. Вне каких-либо «ярлыков» рассматривается творчество Тютчева и в новейших вузовских учебниках. См.: А. Н. Соколов. История русской литературы XIX века, т. I. Изд. МГУ, 1960, стр. 370—373; «История русской литературы XIX века», т. I. Под ред. Ф. М. Головенченко и С. М. Петрова. М., 1960, стр. 418—423.

непосредственно откликался на события общественно-политической жизни, а в своих лучших лирических образцах, часто отмеченных печатью глубоко субъективного восприятия или впечатления,— представляет собой в высшей степени своеобразное отражение современной ему действительности.

Творчество Тютчева — одно из сложнейших явлений русской литературы, и эта сложность не позволяет зачислить поэта, всю жизнь чуждавшегося литературных группировок, в ряды какой-либо литературной рати. Самый термин «чистое искусство», оправданный в условиях идейно-литературной борьбы пятидесятых — шестидесятых годов, теперь уже явно недостаточен для исторически объективного понимания творчества даже такого поэта, как Фет, который положил его в основу своего эстетического кредо. Тем менее применим этот термин к творчеству Тютчева, не укладывающемуся в узкие рамки того или иного литературного течения.

В противоположность теоретикам «искусства для искусства», Тютчев никогда не был принципиальным противником общественной тематики в художественной литературе. Достаточно припомнить его сочувственный отзыв о «Трех повестях» Н. Ф. Павлова [15].

Не менее примечателен и отзыв поэта о «Записках охотника» Тургенева. «Я так и думал, что ты оценишь книгу Тургенева,— писал он жене.— Полнота жизни и мощь таланта в ней поразительны. Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: чувства художественности и чувства глубокой человечности. С другой стороны, не менее поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного, и сокровенного природы со всей ее поэзией» [16].

Оба суждения Тютчева весьма знаменательны и способствуют более правильному пониманию некоторых сторон его собственного творчества.

Знаменательно и другое: сочувственное отношение к поэзии Тютчева революционных демократов, не склонных относить его к числу поэтов, тратящих свой талант на «образцовое описание листочков и ручейков». В особенности важно уже цитированное в предыдущей главе высказывание о нем Добролюбова. Хотя и не подкрепленное конкретным анализом его стихотворений, оно имеет исключительно большое значение для понимания творчества поэта. Отметив лишь основные достоинства поэзии Тютчева («знойную страстность, суровую энергию и глубокую думу»), Добролюбов в то же время указал путь, по которому должно идти

---

[15] См. выше, стр. 78.

[16] Письмо к жене от 10 декабря 1852 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 18. СПб., 1914, стр. 44.

ее изучение. Какие «стороны жизни» и с какой широтой отобразились в стихах поэта, насколько глубоко проник он «в самую сущность явлений» — вот в чем должно заключаться решающее мерило для оценки того вклада, который он внес в русскую поэзию.

2

Страстная любовь к жизни и постоянная внутренняя тревога, в конечном счете обусловленная трагическим восприятием реальной действительности, составляют основу мироощущения Тютчева-поэта.

Из русских поэтов только один может в этом отношении быть уподоблен Тютчеву. Это — Александр Блок. И именно Блок с его «безумной любовью» к жизни и «неотступным чувством катастрофы», отравлявшим эту любовь, блестяще вскрыл истоки той внутренней тревоги, которую он ощущал с не меньшей остротой, чем Тютчев.

Блок утверждал, что историческая эпоха внушает поэту, способному ее чувствовать, даже ритмическую форму его стихов. В своей замечательной лекции о Катилине, разбирая стихотворение Катулла «Аттис», в котором филологи усматривают «описание одной из фаз знаменитого и несчастного романа Катулла и Лезбии», Блок высказал следующие мысли: «Я думаю, что предметом этого стихотворения была не только личная страсть Катулла, как принято говорить; следует сказать наоборот: личная страсть Катулла, как страсть всякого поэта, была насыщена духом эпохи; ее ритмы, ее размеры, так же, как ритм и размеры стихов поэта, были внушены ему его временем; ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он „свое" и „не свое"; поэтому, в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой» [17].

Эти замечательные строки — ключ к пониманию того, что часто стоит за пределами осознанного мировоззрения поэта, но на что наводит читателя образный и ритмико-интонационный строй художественного произведения.

«Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле»,— в такой афористической формуле определил Тютчев залог развития поэзии [18]. До предела насыщенная тревожной любовью к жизни, его собственная лирика корнями своими как раз и была связана с «землей». К «матери-Земле» обращено жаркое

---

[17] «Катилина. Страница из истории мировой Революции».— Александр Блок. Собрание сочинений, т. 8. [Л.], «Советский писатель», [1936], стр. 101, 102.

[18] Письмо к И. С. Гагарину от 3 мая 1836 г. Подлинник по-французски. «Русский архив», 1879, вып. 5, стр. 120.

признание поэта:

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!
Духов бесплотных сладострастья,
Твой верный сын, не жажду я.

(До 1836)

Райской «утехе» поэт предпочитает «цветущее блаженство мая», пору весны и любви с ее «румяным светом» и «златыми снами». Весной навеяны самые радостные, самые жизнеутверждающие мотивы его стихов. Таково проникнутое бодрым, мажорным настроением «весеннее приветствие стихотворцам» — «Любовь земли и прелесть года...» (не позднее 1821), таковы с детства запомнившиеся каждому из нас ликующие строфы «Весенней грозы» (не позднее 1828) и «Весенних вод» (1830?), поэтическое описание пробуждения природы и одновременного пробуждения души человека в стихотворении «Еще земли печален вид...» (до 1836), изображение победы весны над зимою, нового над старым, настоящего над прошлым в стихотворении «Зима недаром злится...» (до 1836), таковы, в особенности, торжественные строфы «Как ни гнетет рука судьбины...» (не позднее 1838).

Весна в глазах Тютчева символизирует неизменность материального мира, заложенное в нем вечно молодое начало: «Бессмертьем взор ее сияет, || и ни морщины на челе». Весенняя природа живет полной жизнью *настоящего* дня:

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет,—
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа;
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

(«Весна»)

Тютчеву самому были знакомы минуты «земного самозабвения», почти физическое ощущение «преизбытка жизни». Но чем сильнее испытывал поэт любовь к «матери-Земле», любовь к «настоящему», тем острее возникала в нем мучительная тревога, вызванная мыслью о краткости человеческого бытия. Мысль эта в особенности болезненно поражала его воображение при сравнении судьбы человека с постоянно возрождающейся природой. «Что ныне — будет ли всегда?..» — спрашивал себя поэт, зная, что настоящее минует, «как все прошло, || и канет в темное жерло || за годом год»:

За годом год, за веком век...
Что ж негодует человек,
Сей злак земной!..

Он быстро, быстро вянет — так,
Но с новым летом новый злак
И лист иной.

И снова будет всё, что есть,
И снова розы будут цвесть,
И терны тож...
Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
Не расцветешь!

(«Сижу задумчив и один...», до 1836)

Единственной подлинной реальностью, обладающей способностью вечно обновляющегося живого организма, представлялась Тютчеву природа. В иные моменты жизни человека она может казаться ему силой сочувственной, в иные — враждебной, по существу же она глубоко безучастна к нему:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

(«От жизни той, что бушевала здесь»..., 1871)

В русской поэзии были распространены сравнения человеческой жизни с дымом, сном, тенью [19]. Встречаются они и у Тютчева. Но, кажется, никто, кроме него, не уподоблял жизнь человека явлению еще более «призрачному» — тени от дыма:

Как дымный столп светлеет в вышине!
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь,— промолвила ты мне,—
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»

(Конец 1840-х годов)

Мысль о скоротечности человеческой жизни, о неотвратимости смерти сама по себе не была нова: ее на разные лады повторяли многие поэты, а у романтиков она даже превратилась в литературный штамп. Но трудно найти другого поэта, у которого эта мысль не только была бы лишена всякой поэтической условности, но стала определяющей основой сознания, как у Тютчева.

---

[19] См., например, «Оду на суету мира» Сумарокова («...все сие, как дым, преходит»), «На смерть князя Мещерского» Державина («...весь, как сон, прошел твой век»), «Бахариану» Хераскова («Счастлив тот, чья жизнь, как тень прошла»), «Кавказского пленника» Пушкина («За днями дни прошли, как тень») и пр.

Поэт не раз признавался своим близким, что для него привычны «состояние внутренней тревоги» и «чувство тоски и ужаса» [20]. Время, бороздящее неизгладимыми морщинами любимые черты, пространство, разъединяющее людей и отдающее их во власть времени, и, наконец, смерть — равно враждебные человеку силы в глазах Тютчева. Именно они заставляют его «с такой болезненной живостью и настойчивостью» испытывать «сознание непрочности и хрупкости всего в жизни» [21].

Суеверно дорожа «настоящим», ибо «пережить» не значило для него «жить», поэт хотел бы остановить время: «Je dis au temps qui fuit: arrête, arrête-toi...» («Я говорю летящему времени: остановись, остановись...» — «Comme en aimant le coeur devient pusillanime...», конец 1840-х годов), «О время, погоди!» («Так в жизни есть мгновения...», 1855). Для Жуковского и поэтов-романтиков его школы воспоминание об утраченном было родником душевных наслаждений. Надежда на «лучший, неизменный свет», на свидание «там» с теми, кого любил «здесь», примиряла Жуковского с жизненными потерями. Баратынский также находил «печаль любви» сладкой, а «слезы сожаленья» отрадными (см. его стихотворение «Есть милая страна, есть угол на земле...»). Для Тютчева же воспоминание чаще всего являлось источником болезненной тоски и жгучей горечи:

> Усопших образ тем страшней,
> Чем в жизни был милей для нас.
>
> («Из края в край, из града в град...»,
> между 1834 и 1836)

Сознание «непрочности и хрупкости» человеческого бытия обострялось и осложнялось у Тютчева упорным предчувствием социальной катастрофы. Бросается в глаза близость образов, которыми в своих стихах и письмах пользуется поэт для передачи подобных настроений.

В часы томительной бессонницы Тютчеву чудится, что «наша жизнь стоит пред нами, || как призрак, на краю земли» («Бессонница», до 1830). Личная судьба человека напоминает ему льдины, плывущие по речным просторам «во всеобъемлющее море», где им суждено растаять и слиться «с бездной роковой» («Смотри, как на речном просторе...», не позднее 1851). Любящие сердца преисполнены «грусти, тоски и страха», ибо каждый миг, «подобно бездне», может разделить их между собою («Comme en aimant le coeur devient pusillanime...»). Та же мысль — в афористическом экспромте, которым поэт заканчивает одно из писем к жене:

---

[20] Письма к жене от 16/28 ноября 1853 г. и 23 июля 1856 г. Подлинники по-французски.— *ЛБ;* «Стихотворения. Письма», стр. 428.

[21] Письмо к жене от 19 июля 1852 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 18, стр. 36.

Увы, что нашего незнанья
И беспомóщней и грустней?
Кто смеет молвить: *до свиданья*,
Чрез бездну двух или трех дней?
(1854)

В преддверии революционной ситуации 1859—1861 годов Тютчев высказывает опасение, что «в одно прекрасное утро можно проснуться на оторванной от берега льдине...» [22]. Увеселения светского Петербурга вызывают с его стороны такое замечание: «Мы танцуем хотя и не на вулкане, но очень похоже, что на болоте, которое может в конце концов поглотить нас» [23]. Чудовищные злоупотребления русского административного аппарата заставляют Тютчева признать: «*Разложение* повсюду. Мы двигаемся к пропасти» [24]. Франко-прусская война воспринимается поэтом как «начало конца света» [25].

Предсказание Жозефа де Местра о том, что европейский мир стоит на пороге новой, неслыханной по своим размерам революции — социальной и религиозной — и что французская революция 1789 года была лишь ее преддверием, запало с юных лет в сознание Тютчева [26]. Его поэтическое творчество с большой художественной силой отражает противоречивый строй мыслей и чувств («страшное раздвоение») человека, еще крепко связанного с обреченным миром и не столько понимающего, сколько ощущающего историческую неизбежность гибели старого уклада. И это встревоженное, мятущееся мироощущение Тютчева-поэта как бы противостоит устойчивому консервативному мировоззрению Тютчева-дипломата и политического мыслителя.

Философия истории Тютчева,— такая, какой она представляется нам по его публицистическим произведениям,— ограничена рамками славянофильских, великодержавных идей, всецело подчинена целям защиты старого мира и по существу лишена подлинного историзма. Иная философия истории раскрывается нам в следующих вдохновенных строфах его стихотворения «Цицерон»:

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»

---

[22] Письмо к жене от 5 июня 1858 г. Подлинник по-французски.—«Стихотворения. Письма», стр. 435.
[23] Письмо к Е. Ф. Тютчевой, ноябрь 1859 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 443.
[24] Письмо к М. Ф. Бирилевой, август 1867 г. Подлинник по-французски. Там же, стр. 458.
[25] Письмо к жене от 6/18 июля 1870 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 22. Пг., 1917, стр. 259.
[26] J. de Maistre. Du Pape. Paris, 1843, p. 465.

Так! Но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величьи видел ты
Закат звезды ее кровавой!..

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Знаменательно, что стихотворение это написано в революционном 1830 году. Малодушное желание бежать от «бурь гражданских и тревоги» вообще не было свойственно Тютчеву. В них открывались ему «высокие зрелища» исторических судеб, тайный смысл которых он всегда стремился разгадать. Пытаясь постигнуть и объяснить их, поэт часто ошибался, и в этом сказался его отрыв от передовых социальных и политических идей своего времени. Но нельзя не отметить, что сам Тютчев очень рано осознал себя «обломком старых поколений», человеком, «пережившим свой век». Он признавался в этом со всей прямотой и нескрываемой горечью:

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!

(«Бессонница», до 1830)

О невозможности угнаться за своим веком, идти с ним в ногу говорит поэт в четверостишии, полном иронии по отношению к самому себе и себе подобным:

За нашим веком мы идем,
Как шла Креуза за Энеем:
Пройдем немного — ослабеем,
Убавим шагу — отстаем.

(Не позднее 1830)

К теме своей отчужденности от «младого племени» возвращается Тютчев в стихотворении «Как птичка раннею зарей...» (до 1836):

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, крики
Младого, пламенного дня!..

Здесь образ пробудившегося дня несомненно имеет двойное значение: это и день в буквальном смысле слова, и символ нового времени, нового поколения. Сам поэт раскрыл нам второе значение этого образа в строках:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Мужественное сравнение самого себя с «полусонной тенью» указывает на то, как был далек Тютчев от всякой нетерпимости к молодому поколению. Процитировав стихотворение «Как птичка раннею зарей...» в своей статье о Тютчеве, Некрасов отмечал: «Грустная мысль, составляющая его содержание, к сожалению, осознается не всеми „пережившими свой век“ с таким благородным самоотвержением...» [27].

Тютчеву и позднее было чуждо брюзгливое отношение «отцов» к «детям». На склоне лет он энергично предостерегал и себя, и своих сверстников:

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;

От желчи горького сознанья,
Что *нас* поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед...
(«Когда дряхлеющие силы...», 1866)

Это стихотворение Тютчева любопытно сравнить с многочисленными стихами его старшего современника Вяземского, в которых отразилось неприкрытое раздражение против молодого поколения. Так, например, в стихотворении «Старое поколение», напечатанном в 1841 году, Вяземский писал:

Сыны другого поколенья,
Мы в новом — прошлогодний цвет.
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Они, что любим,— разлюбили,
Страстям их — нас не волновать;
Их не было там, где мы были,
Где будут — нам уж не бывать!

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль
И то, что пепел нам священный —
Для них одна немая пыль [28].

---

[27] Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX. М., 1950, стр. 216.

[28] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. IV. СПб., 1880, стр. 248.— Стихотворение Тютчева «Когда дряхлеющие силы» вызвано

Подобные стихотворения Вяземского оправдывают меткую и остроумную характеристику, данную ему Тютчевым: «...натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец. Это *Кюстины* новых поколений» [29].

Такое отношение было резко противоположно тютчевскому. «В отношениях Тютчева к молодым людям вовсе не было того умного и великодушного расчета, каким любят иногда щеголять „старцы",— рассказывает Аксаков,— ...это были отношения, самые свободные и простые, того искреннего сердечного благоволения к людям, которое не знает неравенства лет, того полноправного умственного общения, при котором ни старший годами не отрицался своего опыта, а лишь поверял его на новых явлениях жизни,— ни младшему не вспадало на мысль чваниться молодостью и потому изображать себя более передовым, чем его немолодой собеседник» [30].

Но хотя Тютчев и отгоняет от себя, как некое «позорное» чувство, «сварливый, старческий задор» по отношению к «пришельцам новым» и оправдывает закономерность «других призваний», это еще не означает его личной готовности принять все молодое только потому, что оно молодо.

Отношение Тютчева к своему времени было сложным. Порою оно выражалось в форме прямого осуждения: «О, этот век, воспитанный в крамолах, || век без души, с озлобленным умом...» («Хотя б она сошла с лица земного...», 1866). Вместе с тем поэт не мог не сознавать, что сам несет в себе многие «болезни» своего века. А его век — это «век отчаянных сомнений», «век неверием больной, || когда все гуще сходят тени || на одичалый мир земной» («Памяти М. К. Политковской», 1872). Об утрате веры как основном недуге своего времени пишет Тютчев в стихотворении, так и озаглавленном «Наш век» (1851):

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

стихами Вяземского, высмеивавшими редактора реакционных периодических изданий «Московский вестник» и «Московские ведомости» М. Н. Каткова. Но по своему объективному смыслу строфы Тютчева выходят за рамки стихотворения «на случай». То, что говорит в них поэт, в полной мере могло бы быть отнесено и к одновременным сатирическим стихам Вяземского, направленным против передовых представителей русской общественности.

[29] Письмо к Е. Ф. Тютчевой от 3 января 1869 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 469.

[30] Аксаков, стр. 298—299.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он
И жаждет веры... но о ней не просит...

Здесь Тютчев как будто бы и не говорит о себе, а говорит о современном ему человеке, но за образом этого человека, о котором сказано в третьем лице, угадывается глубоко выстраданное «я» самого поэта. Не он ли связывал с чрезмерным развитием принципа личности утрату той цельности и безграничности веры, которую считал моральной основой всякого общества и которая в нем самом была подточена разъедающим скепсисом? Мысль о том, что «нет в творении Творца» внушала ему ужас и заставляла обращаться к самому себе с увещанием: «Мужайся, сердце, до конца» («И чувства нет в твоих очах...», до 1836). И когда Тютчев писал о «страшном раздвоенье, || в котором жить нам суждено» («Памяти М. К. Политковской»), он ведь не отделял себя от других: он писал «*нам* суждено», т. е., следовательно, и ему. Тем большее признание вызывали со стороны поэта натуры цельные, чуждые противоречий,— одним словом, противоположные его собственной натуре. Он с любовью вспоминал о Жуковском:

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он всё в себе мирил и совмещал.
. . . .
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

(«Памяти В. А. Жуковского», 1852)

Считая главной причиной «раздвоения», определяющего собой мировоззрение современного человека, потерю или неустойчивость религиозного сознания, Тютчев, говоря его же словами, больше «жаждал веры», чем «просил» о ней. Преодолеть этот душевный разлад поэт так и не смог:

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

(1855)

«Как жаждет горних наша грудь!» — воскликнул однажды Тютчев («Хоть я и свил гнездо в долине...», 1860?). Образы «светлого храма», возвышающегося «на краю вершины» («Над виноградными холмами...», до 1836) и «недоступных» гор, увенчанных «непорочными снегами», по которым «проходит незаметно || небесных ангелов нога» («Хоть я и свил гнездо в долине...») приобретают у Тютчева значение символов, намекающих на стремление человеческой мысли найти опору в вере и подняться за пределы «земного круга». Но сам же Тютчев в одном из ранних своих стихотворений указал на краткость подобных минут:

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!

Но ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем,—
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.

(«Проблеск», не позднее 1825)

Среди пушкинских записей, включенных в «Table-talk», есть такая запись: «Дельвиг не любил поэзии мистической. Он говаривал: „Чем ближе к небу, тем холоднее“» [31]. Это убеждение Дельвига в известной мере соответствовало поэтической практике Тютчева и его взгляду на то, что поэзия «должна иметь корни в земле». Наличие религиозных мотивов и образов в лирике Тютчева этому не противоречит и лишь свидетельствует, с одной стороны, о силе традиций, с другой — о настойчивом, хотя и тщетном желании поэта «верить в то, во что верил апостол Павел, а после него Паскаль» [32].

В бытность свою за границей Тютчев перевел стихотворение Гейне «Fragen» («Вопросы»), в котором выведен тоскующий юноша, тщетно пытающийся разрешить «мучительно-старинную загадку»: «...что значит человек? || Откуда он, куда идет, || и кто живет над звездным сводом?». Думы и сомнения этого юноши были созвучны думам и сомнениям самого Тютчева. Для него загадка смысла жизни осталась неразрешенной. В одном из поздних писем к жене, рассказывая о похоронах близкой знакомой, умершей в жестоких страданиях от изнурительной болезни, поэт задает вопрос: «И вот, ...спрашиваешь себя, что все это значит и ка-

---

[31] Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 12. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 159.

[32] Слова Тютчева, приведенные в статье о нем К. Пфеффеля. Подлинник по-французски.— Аксаков, стр. 319.

ков смысл этой ужасающей загадки,— если, впрочем, есть какой либо смысл?» [33].

Итак, обращение Тютчева к вере в поисках преодоления тягостного индивидуализма, которым он в буквальном смысле слова страдал, приносило ему лишь временное и неполное успокоение. Другим путем ухода от себя являлось для поэта единение с природой, стремление к которому столь ярко выразилось в его лирике. Ощущая себя порою частью великого целого («Все во мне, и я во всем...»), Тютчев в слиянии с природой ищет исцеления душевных мук:

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Всё залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

(«Тени сизые смесились...», до 1836)

Тут под «уничтожением» подразумевается достигнутое единство между человеком и природой, растворение частного в общем. В другом стихотворении Тютчев сказал об этом еще определеннее:

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

(«Весна», не позднее 1838)

Однако призыв поэта сопровождается (на это справедливо обратил внимание Б. Я. Бухштаб) [34] характерной оговоркой: «хотя на миг». Оговорка эта вызвана сознанием невозможности полного погружения человека в «животворный океан» природы, иллюзорности его единства с нею. Тема разлада между человеком и природой с особой силой прозвучала в одном из поздних стихотворений Тютчева:

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.

---

[33] Письмо от 14 сентября 1871 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 484.

[34] Б. Бухштаб. Ф. И. Тютчев.— В кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л., 1957 («Библиотека поэта». Большая серия, изд. 2), стр. 25.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,—
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

(1865)

По убеждению Тютчева, гипертрофированное личное начало мешает человеку полностью ощутить себя частью природы и присоединить свой голос к ее «общему хору». Вместе с тем не случайно именно «стихийные споры» всегда так волнуют поэтическое воображение Тютчева и не случайно в памяти каждого, кто когда-либо раскрывал книгу его стихов, в особенности запечатлеваются те стихотворения, в которых поэт обращался к изображению бурь и гроз. Этих стихотворений не так много, но без них Тютчев не был бы Тютчевым. И лучшим эпиграфом к этим стихам могли бы послужить слова из только что процитированного стихотворения: «*Гармония в* стихийных *спорах*». Проходят грозы и бури, а природа еще ярче блещет всеми своими красками, еще внятнее звучит всеми своими голосами.

Вспомним едва ли не самое известное стихотворение Тютчева «Весенняя гроза» (не позднее 1828). «Как бы резвяся и играя», грохочут в «голубом» небе «молодые» раскаты первого грома. Это мимолетная, скоропроходящая гроза. Она еще не отшумела, но солнце уже «золотит» дождевые нити, а лесной «птичий гам» и шум нагорного потока «весело» вторят громовым ударам. И над всей этой картиной «майской грозовой потехи», как удачно назвал тютчевскую «Весеннюю грозу» И. Аксаков[35], парит смеющийся образ юной и «ветреной» Гебы.

Перевернем несколько страниц в сборнике стихов Тютчева и перечитаем другое его стихотворение под характерным заглавием «Успокоение» (1830):

Гроза прошла — еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной.
А уж давно, звучнее и полней,
Пернатых песнь по роще раздалася,
И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася.

Здесь опять-таки, несмотря на образ поверженного дуба, гроза не нарушает гармонии природы. Бросаются в глаза, в частности,

[35] Аксаков, стр. 99.

контрастные образы сизого дыма и освеженной зелени. Последний образ близок к другому, которым открывается стихотворение Тютчева «Утро в горах» (до 1830):

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой...

Гроза, всколыхнувшая природу, но не нарушившая ее «невозмутимого строя», показана Тютчевым и в стихотворении «Неохотно и несмело...» (1849). Это летняя гроза, не похожая на внезапно налетевшую грозу «в начале мая». Весь «колорит» картины иной, сначала освещенный тусклыми лучами солнца, затем подернутый предгрозовой мглой. Но вот ближе сверкнула молния, хлынул дождь, «сердитей и смелей» раздались громовые раскаты. Однако и на этот раз стихотворение завершается наступившим «успокоением»:

Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.

Обратимся еще к одному стихотворению Тютчева — «Море и утес» (1848), но забудем его политический подтекст. И тут, как и в перечисленных стихах о грозе, миропорядок, воплощенный в образе утеса, остается незыблемым и торжествующим вопреки всем усилиям бунтующих стихий, воплощенных в образе волн.

«Стихийные споры» привлекают к себе Тютчева не только своей конечной «гармонией», недостающей человеку, но и тем, что́ поэт находил в них родственного человеческой природе. В философском понимании Тютчева истоки этих «споров», происходят ли они вне человека или в нем самом, одни и те же.

«Внешний мир», «мир дневной», «в полном блеске проявлений» — по Тютчеву всего лишь «златотканный покров», накинутый на «безымянную бездну». Под этим «блистательным покровом» сохраняет свою изначальную сущность «древний хаос», лежащий в основе мироздания. Он то и дело «шевелится», рвется наружу в «страшных песнях» ночного ветра, в «буйном ропоте» и «вещих стонах» морской волны, «среди громов, среди огней», «в стихийном пламенном раздоре». Такой же «стихийный раздор» происходит и в человеческом сознании («среди клокочущих страстей»), обнаруживая то хаотическое начало, «наследье родовое», которое несет в себе человек. Хаос одновременно и жуток, и близок поэту (в одном из его стихотворений он прямо назван «родимым»). Ночью, когда очертания и краски внешнего мира теряют свою определенность, Тютчев стремится заглянуть в бездонные тайники космической жизни с ее соблазнительными для него «страхами и мглами». Он воспевает стихию сна, «волшебный челн» ночных «видений» и «грез», уносящий человека в беспредельность и «неизмеримость темных волн» хаоса. При этом

реальный сам по себе образ звездного неба, отражающегося в воде, претворяется у Тютчева в характерный для него грозный образ огненной пучины:

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,—
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

(«Как океан объемлет шар земной...»,
не позднее 1830)

Космические мотивы и образы тютчевской лирики нередко перекликаются с мотивами и образами других поэтов. Если не выходить за пределы русской литературы, то можно, например, припомнить, что «хаоса бытность довременна» как первооснова мира названа в оде Державина «Бог». О хаотическом начале в душе человека писал Херасков: «Не вне меня хаос, во мне, во мне он весь,— || бунтующих стихий в груди мы носим смесь» («Хаос»). Тютчевскому «родимому» хаосу сродни представление Баратынского о «стихийном смятении», напоминающем человеку его «давнюю отчизну» («Последняя смерть»). Но ни у одного из названных поэтов эти мотивы и образы не являются столь органичными для их миросозерцания, как у Тютчева. В свое время философ-мистик Владимир Соловьев построил свою одностороннюю концепцию творчества Тютчева исключительно на тех стихотворениях, в которых поэт раскрывает «*темный корень* мирового бытия» [36]. На самом деле сфера поэтических вдохновений Тютчева этим не ограничивается. Однако неудержимое влечение к «стихийным спорам» в природе и человеческой душе наложило свой отпечаток на всю его поэзию. Цитированные выше слова Блока о «поэтическом ощущении мира» в полной мере можно отнести к Тютчеву. Насыщенные «бурями» и «тревогами» мотивы, образы и ритмы его стихов были «внушены ему его временем», ибо «чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он „свое" и „не свое"».

3

Тютчев — поэт-мыслитель по преимуществу. Однако по самому характеру своего творчества он глубоко отличен от таких поэтов, произведения которых принято относить к так называемой философской поэзии. Особенность тютчевской лирики очень точно определил еще Тургенев. «Если мы не ошибаемся,— писал он в статье „Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева",— каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления; вследствие этого, если можно так выразиться, свойства происхождения своего, мысль г. Тютчева никогда

[36] В. С. Соловьев. Поэзия Ф. И. Тютчева.— В кн.: В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 7. Изд. 2. СПб., [1912], стр. 125.

не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им, и сама его проникает нераздельно и неразрывно» [37].

Естественно, что прежде всего напрашивается сравнение Тютчева как лирика-философа с самым крупным из русских поэтов-мыслителей его времени — Баратынским. Оригинальность Баратынского Пушкин видел в том, что он «мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко» [38]. Вместе с тем в своей творческой работе Баратынский неукоснительно стремился к тому, чтобы «поверять воображение рассудком» и «побеждать умом сердечное чувство» [39]. Можно указать немало отдельных мотивов и образов, сближающих Тютчева с Баратынским, но натура Тютчева нисколько не походила на натуру Баратынского, а потому чувство, послужившее стимулом к созданию стихотворения, никогда не подвергалось охлаждению под его пером. «У него не то что *мыслящая* поэзия,— а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее,— а мысль чувствующая и живая»,— писал о Тютчеве И. Аксаков [40].

Неподходящее к лирике Тютчева определение «мыслящая поэзия» как нельзя более подходит даже к лучшим стихам таких поэтов, как Веневитинов, Шевырев, Хомяков. Последний из них сам отчетливо сознавал разницу между собой и Тютчевым. «Без притворного смирения,— писал однажды Хомяков,— я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозатор везде проглядывает и следовательно, должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (durch und durch)...» [41].

Немецкий исследователь Тютчева Г. Дудек считает, что такие произведения русской философской лирики, как стихотворения Шевырева и Хомякова или «думы» Кольцова, всего лишь иллюстрируют распространенные в то время философские идеи, но не обнаруживают подлинной лирической взволнованности и не кажутся оригинальными. Наоборот, каждая мысль Тютчева всегда согрета глубоким внутренним переживанием [42].

Но, сколь бы ни была своеобразна поэзия Тютчева как поэзия мысли, естественно напрашивается вопрос о возможности воздействия на ее формирование тех или иных литературно-эстетических или философских представлений. И тут прежде всего нельзя не

---

[37] И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 11. М., 1956, стр. 166.

[38] Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 11. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 185.

[39] Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951, стр. 424, 491.

[40] Аксаков, стр. 107.

[41] Письмо А. С. Хомякова к А. Н. Попову, январь 1850 г.— А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, т. VIII. М., 1900, стр. 200.

[42] См.: G. Dudek. Der philosophische und künstlerische Gehalt der Gleichnisformen in F. J. Tjutčevs Poesie.— «Zeitschrift für Slawistik», Bd. III. Heft 2—4, 1958, S. 503.

отметить несомненного влияния Раича на общее направление, в котором развивалась поэзия Тютчева, в частности и в особенности его лирика природы. Раич был очень небольшим поэтом. Положивший много лет и сил на перевод Вергилия, Тассо и Ариосто, он и как переводчик не оставил по себе заметного следа в русской литературе. Но он был всей душой влюблен в поэзию, хорошо знал и чувствовал ее. Этим он и завоевал себе немалый авторитет среди нескольких поколений своих учеников [43].

Еще в доме Тютчевых, работая над переводом «Георгик» Вергилия, Раич задумывался о путях развития так называемой дидактической поэзии. Безусловно, что своими соображениями он уже тогда делился с Тютчевым. Мысли Раича по этому вопросу подробно изложены в его магистерской диссертации «Рассуждение о дидактической поэзии». В сокращенном виде «Рассуждение» было напечатано в качестве введения к переводу «Виргилиевых Георгик», вышедшему отдельным изданием в 1821 году. Полностью диссертация Раича была опубликована в апреле 1822 года в журнале «Вестник Европы» [44]. Таким образом, несомненно, что Тютчев был хорошо знаком с этим сочинением.

Самое понятие дидактической поэзии Раич определяет так: «Дидактическая поэзия в некотором отношении есть растение, перенесенное с полей рассудка в область воображения» (193). В то же время, по мнению Раича, «не все предметы» могут быть достоянием поэзии. Не следует философские теории излагать в стихотворной форме: нужно помнить, что «начала отвлеченные» плохо ей подчиняются. Так, например, поэма Луи Расина «Религия» не имела успеха, «при всей нежности, при всем благозвучии, при всем блеске слога», а «Опыт о человеке» Попа «может назваться прелестным цветком на жертвеннике Лейбницевой философии, но не во храме Муз» (265). Традиционные формы дидактической поэмы не удовлетворяют Раича своей «обширностью», однообразием, «недостатком движения и действия». «...Но если бы явился ее преобразователь и дал ей другую форму, другой ход,— рассуждает Раич,— тогда, вероятно, она явилась бы в новом блеске и величии, достойном поэзии: ибо что может быть прелестнее творения, в котором представляется взору читателей целый ряд очаровательных картин, озаряемых лучами философии» (268). Необходимо, однако, помнить, что «поэзия любит говорить одному сердцу, и если иногда беседует с рассудком, то не иначе, как избрав в посредничество

---

[43] Уместно напомнить, что в конце двадцатых годов Раич руководил практическими занятиями по русской литературе в Университетском благородном пансионе, где тогда воспитывался Лермонтов. См.: Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. 1. М., 1945, стр. 81—88.

[44] Раич. Рассуждение о дидактической поэзии. «Вестник Европы», 1822, № 7, апрель, стр. 190—208; № 8, апрель, стр. 242—283.— В дальнейшем ссылки на «Рассуждение» даются по журнальному тексту. Цифры в скобках после цитат означают страницы «Вестника Европы».

воображение, и притом более или менее обращая беседу свою к предметам, действующим на сердце и воображение» (265).

Таковы основные положения диссертации Раича. Творческая деятельность Тютчева показывает, что им были глубоко восприняты мысли его наставника. И если возможны тематические сближения и стилевые сопоставления стихов Тютчева со стихами самого Раича и поэтов его круга [45], то никому из них, кроме Тютчева, не удалось в такой полной мере найти новый «ход» для поэзии мысли, придать ей тот «блеск и величие», которых ожидал от нее скромный труженик Раич.

В сознание читателя Тютчев вошел прежде всего как певец природы. Такое представление о нем оправдано тем, что он был первым и в своем роде единственным русским поэтом, в творчестве которого образы природы заняли исключительное место. У Пушкина, создавшего непревзойденные в своей реалистической правде картины времен года в «Евгении Онегине» или изумительные в своем лаконизме пейзажные зарисовки в таких стихотворениях, как «Зимнее утро» или «Осень», стихотворений собственно о природе нет. Гораздо больше их у Лермонтова, но ни масштаб, ни разносторонний характер дарования Лермонтова не дают нам права назвать его певцом природы по преимуществу. Из более поздних поэтов утонченно развитым чувством природы обладал Фет — и в этом он несомненно родственен Тютчеву. Но, пожалуй, у одного Тютчева философское восприятие природы составляло в такой сильнейшей степени самую основу видения мира.

Среди ранних стихотворений поэта есть одно, позволяющее уяснить непосредственную идейно-эстетическую атмосферу, в которой зарождалась тютчевская лирика природы. Написано оно было в декабре 1821 года в Москве. Позднее, в 1828 году, оно появилось в печати с инициалами «А. Н. М.» вместо заглавия. Эти инициалы обозначают Андрея Николаевича Муравьева, бывшего, как и Тютчев, учеником Раича. В молодые годы Муравьев писал стихи. «Во всех его пьесах небрежность слога доведена до крайности; но почти во всех ощутительно возвышенное вдохновение. Он еще не написал ничего истинно хорошего, но подает прекрасные надежды»,— так писал о нем в 1827 году Баратынский [46]. «Прекрасных надежд», однако, Муравьев не оправдал и не вышел из рядов посредственных поэтов. Впоследствии он стал ревнителем православия и автором книг по церковным вопросам. В начале же двадцатых годов, когда Тютчев посвятил ему упомянутое стихотворение, Муравьев держался рационалистических взглядов в духе француз-

---

[45] См. статьи Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Тютчев» и «Вопрос о Тютчеве» в кн.: Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы. [Л.], 1929, стр. 360—365, 369—373.

[46] См. критический разбор описательной поэмы А. Н. Муравьева «Таврида» и мелких его стихотворений в кн.: Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза, Письма, стр. 421.

ской философии эпохи Просвещения. Против этих взглядов с первых же строк и направлено тютчевское стихотворение:

Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников — их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давала тело бестелесным!..

Поэт завидует «древним народам», для которых «мир был храмом всех богов» и которые «книгу Матери-природы || читали ясно, без очков», и с сожалением восклицает:

Нет, мы не древние народы!
Наш век, о други, не таков.

Последняя строфа содержит обращение к А. Н. Муравьеву. В глазах Тютчева он тоже своего рода «пленник» рассудка — «*скованный* своей наукой», «*раб* ученой суеты». Напрасно гонит он от себя прочь «златокрылые мечты»:

Поверь — сам опыт в том порукой,—
Чертог волшебный добрых фей
И в сновиденьи — веселей,
Чем наяву — томиться скукой
В убогой хижине твоей!..

Есть одно место в уже цитированном «Рассуждении о дидактической поэзии» Раича, которое прямо напрашивается на сопоставление с тютчевскими стихами, посвященными А. Н. Муравьеву: «Природа для всех одна, но не для всех и не во все времена одинакова. Древние смотрели на нее в отдалении, самом благоприятном для воображения, и сквозь прозрачный облекавший ее покров; новейшие рассматривают ее вблизи и, так сказать, вооруженными глазами... Самое прекрасное местоположение без существ живых, особливо без человека, не может доставить нам удовольствия продолжительного: мы хотим во всем и везде видеть самих себя. Древние не любили природы бездушной, и воображение их населило ее живыми существами. В ручье видели они Наяд; под корою древа билось для них сердце Дриады; в долинах сплетались в хоровод Нимфы. От сего-то описания древних всегда кратки и живы. Им не нужно было искать бесчисленных оттенков для описываемого предмета; им стоило только олицетворить его — и читатель видел пред собою дышущие образы — spirantia signa (250—251)» [47].

[47] См. также: «Виргилиевы георгики. Перевод А. Р.» (Амфитеатрова-Раича.— *К. П.*). М., 1821, стр. XXVII.

Нетрудно установить, к какому литературному (именно литературному, а не философскому) источнику восходят эти мысли Раича об античном понимании природы. Это стихотворение Шиллера «Die Götter Griechenlands» («Боги Греции), вдохновенный реквием античному многобожию как символу жизнеутверждающего миросозерцания «древних народов». О «дышущих образах» Раич говорит подчас теми же словами, что и Шиллер:

Wo jetzt nur, wie unsre Wesen sagen,
Seelenlos ein Feuerball sich dreht,
Lenkte damals seinem goldenen Wagen
Helios in stiller Majestät.
Diese Höhen füllten Oreaden,
Eine Dryas lebt in jenem Baum,
Aus den Urnen lieblicher Najaden
Sprang der Ströme Silberschaum [48].

Конечно, и Тютчеву были хорошо известны «Боги Греции» (ведь в эти годы Шиллер больше всех других иностранных поэтов привлекал к себе его внимание), и как бы отголоском шиллеровского возгласа: «Schöne Welt, wo bist du?» («Прекрасный мир, где ты?») звучит тютчевский вопрос: «Где вы, о древние народы?».

В стихотворении «Нет веры к вымыслам чудесным...» уже намечаются те мотивы, которые разовьются несколько позднее в тютчевской романтической лирике. Он и впредь будет стремиться вернуть «душу» дереву и «тело» «бестелесным», будет стараться «без очков» прочесть закрытую для новых народов «книгу Матери-природы». Недаром он так любовно рисует в своих стихах образы тех, кто сумел найти ключ к ее страницам. Вот — «бедный странник». Его наивному немудрящему взору «отверста вся земля»; «дольный мир» раскрывается перед ним в «утеху, пользу, назиданье». Непосредственность, с какой странник воспринимает окружающее, делает его самого «угодным Зевсу» («Странник», 1830). Вот — мудрец. Его образ воплощен для Тютчева в романтически истолкованном образе Гёте. Достигший высшей ступени прозрения, он «пророчески беседует» с громами и «весело играет» с зефирами

[48] В переводе А. А. Фета эти строки звучат так:

Где теперь, как нам твердят сторицей,
Пышет шар, вращаясь без души,
Правил там златою колесницей
Гелиос в таинственной тиши.
Здесь на высях жили Ореады,
Без Дриад—ни рощи, ни лесов,
И из урны радостной Наяды
Пена прядала ручьев.

(«На древе человечества высоком» — 1832) [49]. Вот, наконец, поэт:

Великой Матерью любимый,
. . . .
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел...
(«Иным достался от природы...», 1862)

Это сказано о Фете, но с еще большим правом может быть отнесено к самому Тютчеву.

«Сокровенное природы со всей его поэзией»,— говоря словами поэта о «Записках охотника» Тургенева,— вот что раскрылось в лирике Тютчева. И не без оснований некогда К. Д. Бальмонт называл его первым в России поэтом, который, подобно Вордсворту и Шелли в Англии, «проник в душу природы» [50].

В ряде стихотворений, преимущественно мюнхенского периода, Тютчев приближается к античным представлениям о природе. Таково, например, стихотворение «Полдень» (между 1827 и 1830), в котором образ «великого Пана» лишается всякого «литературного» привкуса и, сливаясь с картиной знойного полдня, даже окрашен какой-то интимностью. Словно поэту и впрямь удалось подсмотреть мирный отдых хозяина лесов и долин.

Лениво дышит полдень мглистый;
Лениво катится река;
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет;
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет.

В свое время Андрей Белый писал о том, что тютчевская лирика природы «непроизвольно перекликается с творчеством Эллады: так странно уживаются мифологические отступления Тютчева с описаниями русской природы» [51]. В доказательство этого Андрей

---

[49] Стихи Тютчева о Гёте очень близки к следующей строфе из знаменитого стихотворения Баратынского «На смерть Гёте» (1832):

С природой одною он жизнью дышал;
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

В 1832 г. Баратынский не мог знать стихов Тютчева, а Тютчев — стихотворения Баратынского. Совпадение вызвано общностью романтического восприятия творчества Гёте.

[50] К. Д. Бальмонт. Горные вершины. Сборник статей, кн. 1. М., 1904, стр. 84.

[51] Андрей Белый. Апокалипсис в русской поэзии. «Весы», 1905, стр. 19.

Белый цитировал последнюю строфу «Весенней грозы». Хотя стихотворение Тютчева и написано за границей, мы все же, действительно, воспринимаем его «грозу в начале мая» как нашу русскую весеннюю грозу. Но не «странно», а глубоко органически уживаются мифологические образы с тютчевскими картинами природы. «Весенняя гроза» — пример не условного применения мифологических понятий, а настоящего мифотворчества [52]. То же и в стихотворении «Весенние воды», в котором Д. Д. Благой видит «как бы новый, национально-русский вариант мифа о победном и торжественном шествии весны» [53].

В стихотворении «Летний вечер» (не позднее 1829) Тютчев придает образу земли (природы) монументальность, пластичность и в то же время человечность, свойственную античной мифологии. Земля наделена у него «главой» и «ногами»; по ее «жилам» пробегает «сладкий трепет». Звезды в том же стихотворении не светят, не мерцают, а «приподнимают» небесный свод своими «главами».

Нередко олицетворения образов природы, как и отвлеченных понятий, выделяются Тютчевым прописными буквами. Например: «До восшествия Зари», «Чародейкою Зимою || околдован лес стоит...», «Стоим мы слепо пред Судьбою. || Не нам сорвать с нее покров...», «Есть близнецы — для земнородных || два божества,— то Смерть и Сон!..» и т. п. На олицетворении образов зимы и весны построено стихотворение «Зима недаром злится...» (слова «зима» и «весна» в тексте также выделены прописными буквами).

Однако еще характернее для Тютчева представление о всеобщей одушевленности природы, о тождестве явлений внешнего мира и состояний человеческой души. Это представление во многом определило не только философское содержание, но и художественные особенности тютчевской лирики.

В литературе о Тютчеве широко распространено убеждение, что решающее влияние на формирование философского миросозерцания поэта оказал Шеллинг. Сведения о личном знакомстве Тютчева с Шеллингом, о высокой оценке немецким философом ума и образованности его русского собеседника только укрепляли это представление. Считалось само собой разумеющимся, что если такие соотечественники Тютчева, как братья Киреевские, Рожалин, Мельгунов, совершали паломничество в Мюнхен, чтобы лично

---

[52] В комментариях к французскому изданию стихов Тютчева Н. Оцуп рассматривает знаменитое стихотворение «Весенняя гроза» как пример создания «нового мифа... при помощи элементов, заимствованных из греческой мифологии». См.: F. J. Tiouttchev. Избранные стихотворения. Poésies choisies. Publiées en russe avec introduction et notes par Nicolas Otzoupe. Traduites en français par Charles Salomon. Précédées d'un avant-propos par André Mazon. Paris, 1957, p. 155.

[53] Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев).— В кн.: Д. Благой. Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы. М., 1959, стр. 451.

встретиться с Шеллингом и послушать его лекции, то под таким же воздействием Шеллинга в наибольшую пору его популярности как философа неминуемо должен был оказаться и Тютчев. «Значение личных отношений между знаменитым основателем натурфилософских систем и поэтом-романтиком, творчество которого пронизано натурфилософскими мотивами, вряд ли возможно преувеличить»,— писал В. В. Гиппиус [54]. Действительно, многие темы, мотивы и образы поэзии Тютчева допускают сближение их с философскими идеями Шеллинга. Такие сближения неоднократно делались в различных работах о Тютчеве.

Еще в 1903 году в статье, написанной по поводу столетия со дня рождения Тютчева, А. Г. Горнфельд, сославшись на стихотворение поэта «Смотри, как на речном просторе...», указывал: «...это ощущение потери личности... имело связь с одним из основных элементов его мировоззрения: с взглядом на человеческую личность. Исследование, еще не произведенное, выяснит связь этого воззрения Тютчева с ходячими учениями немецкой философии, популярными в эпоху его пребывания за границей; одно знакомство с Шеллингом чего стоит» [55]. В. А. Малаховский отмечал, что «двойственность Тютчева похожа на двойственность Шеллинга. Полярные противоположности: темное и светлое, злое и доброе, конечное и бесконечное взаимно проникаются друг другом, сходятся, обобщаются во всеедином» [56]. В. В. Гиппиус усматривал связь тютчевских представлений о хаосе как первооснове всего мироздания с теорией Шеллинга о «происхождении мира из бездны (Abgrund), темной, бессознательной основы божества, темной воли, которая стремится к обнаружению и просветлению». Он же считал «решающим для философского развития» Тютчева учение Шеллинга о «мировой воле» (Universallwille), приводящей «космические силы к единству, но лишь путем преодоления воли индивидуальной» [57]. Отчасти повторяя мысли предыдущих исследователей, Б. Я. Бухштаб писал, что в поэзии Тютчева «связь образов ночи и хаоса, мысль о „ночной стороне“ человеческой психики как бессознательной подпочве жизни идет от Шеллинга» [58]. По мнению Бухштаба, Тютчева особенно привлекали в шеллингианстве «идеи, сулящие разорванной, отъединенной от мира душе исцеление в слиянии с цельным, единым, всеобщим» [59]. Но, как бы ни

---

[54] В. В. Гиппиус. Ф. И. Тютчев.— В кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л., 1939 («Библиотека поэта». Большая серия), стр. 17.

[55] А. Горнфельд. На пороге двойного бытия. «Журнал для всех», 1903, № 6, стлб. 648.

[56] В. А. Малаховский. Эпитет Тютчева. «Камены. Сборник историко-литературного кружка при Государственном университете народного образования», I. Чита, 1922, стр. 28.

[57] В. В. Гиппиус. Ф. И. Тютчев, стр. 17.

[58] Б. Я. Бухштаб. Ф. И. Тютчев, стр. 23.

[59] Там же, стр. 21.

были порою «тезисообразны» (выражение Бухштаба) поэтические мысли Тютчева, и Гиппиус, и Бухштаб справедливо отмечают, что это еще не дает оснований к тому, чтобы рассматривать его лирику как некую стройную философскую систему, изложенную в стихах. Столь же мало оправданным было бы видеть в стихотворениях Тютчева своего рода поэтическую популяризацию учения Шеллинга.

Вопросу об идейной зависимости поэзии Тютчева от философии Шеллинга уделяли внимание и зарубежные исследователи. Очень важное общее замечание, хотя и не относящееся прямо к Тютчеву, сделано французским ученым А. Койре. Он считает, что историки русской литературы часто злоупотребляют термином «шеллингианство», применяя его к романтическому пониманию мира и, в частности,— природы, опирающемуся на достаточно туманные идеалистические представления и философский дилетантизм [60]. Автор французской монографии о Тютчеве Д. Н. Стремоухов отказывается видеть в тех или иных «шеллингианских» стихотворениях поэта пересказ отдельных положений философской системы Шеллинга. «Его понимание природы,— пишет Стремоухов о Тютчеве,— или, точнее, его чувство природы ...складывается в гораздо большей степени под влиянием романтиков и Гёте, ими истолкованного, чем под влиянием философов определенной школы» [61]. Распространению в России философских идей Шеллинга посвящена написанная на немецком языке диссертация В. Сечкарева. Последняя ее глава отведена Тютчеву. Автор делает ряд сопоставлений между мотивами и образами тютчевской лирики и философскими построениями Шеллинга. По мнению Сечкарева, если и нельзя говорить о полном подчинении Тютчева Шеллингу, все же он глубоко проникся «поэтическими» сторонами философской системы немецкого мыслителя и сумел найти для них высокохудожественное выражение [62].

Наиболее близкой к истине представляется точка зрения, высказанная Д. Н. Стремоуховым. Конечно, Тютчев не мог не быть знаком с философией Шеллинга. И тем не менее ни одному из исследователей, писавших о так называемом «шеллингианстве» Тютчева (в том числе и Сечкареву), не удалось с полной неопровержимостью доказать, что приведенные ими примеры из стихов поэта имеют своим *исключительным* и *непосредственным* источником трактаты немецкого философа. Наоборот, есть все основания полагать, что влияние Шеллинга на Тютчева было сильно *опосред-*

---

[60] См.: A. Koyré. La philosophie et le problème national en Russie. Paris, 1929, p. 88.

[61] D. Strémooukhoff. La poésie et l'idéologie de Tiouttchev. Paris, 1937, p. 44.

[62] См.: Wsewolod Setschkareff. Schellings Einfluß in der russischen Literatur der 20-er und 30-er Jahre des XIX Jahrhunderts. Berlin, 1939, S. 99—106.

ствованным, что те мотивы и образы его лирики, которые обычно рассматриваются как «шеллингианские», являлись *более или менее общими* мотивами и образами предромантической и романтической поэзии. Они были как бы растворены в той поэтической атмосфере, в которой созревало творчество Тютчева [63], но на эту поэтическую атмосферу немецкая идеалистическая философия и, в частности, философия Шеллинга, оказали в свою очередь самое прямое воздействие. Идеи, родственные своему мировоззрению, нашел в философии Шеллинга даже такой оригинальный ум, как великий поэт и великий ученый-естествоиспытатель Гёте. Он сам признавался Шеллингу в том, что к его философской системе испытывает «решительное влечение». По свидетельству Фридриха Шлегеля, «с особенной любовью» Гёте всегда отзывался о философии природы Шеллинга [64]. В «поэтической» стороне натурфилософии Шеллинга заключалась сила его воздействия и на немецких романтиков. Тот же Шлегель писал в одном письме, намекая на философию Просвещения, что «процесс депоэтизации» природы «тянулся уж слишком долго, пора, чтобы воздух, вода, земля были вновь опоэтизированы» [65]. Интересно, что именно *поэтическую* основу учения Шеллинга подчеркнул впоследствии Огарев, назвав его «поэтом-философом» [66].

В лирике Тютчева «поэтизация» природы доведена до наивысшей точки своего выражения. Если в начале двадцатых годов поэт скорбит о недоступности для современного сознания полноты и непосредственности чувства природы, некогда породивших античную мифологию, то в тридцатых годах он пишет стихотворение, в котором говорит о природе такими словами, какими принято говорить о человеке:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Полемическая запальчивость этого стихотворения вызывает естественный вопрос: кто эти «вы», которых далее, словно отвернувшись от них и обращаясь уже не к ним, а к читателю, поэт называет в третьем лице — «они»?

Как известно, в первопечатном тексте «Современника» 1836 года цензура исключила две строфы — вторую и четвертую.

---

[63] Обширный фактический материал по данному вопросу собран Д. Чижевским. См.: D. Čyževskyj. Tjutčev und die deutsche Romantik. «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd IV, Doppelhelt 3/4, 1927, S. 299—323.

[64] Ср.: Куно Фишер. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905, стр. 45.

[65] Там же, стр. 39.

[66] Письмо к Герцену от 10 июня 1833 г.— Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. II. М., 1956. стр. 263.

Между ними уцелела строфа:

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?..

Недостаточно органическая связь между этой строфой, предшествующей ей и следующей за нею бросается в глаза. За отсутствием рукописи исключенные строфы до сих пор не восстановлены в тексте стихотворения. На каком основании могли они привлечь внимание цензуры? Совершенно очевидно, что в таком стихотворении, как «Не то, что мните вы, природа...», написанном на отвлеченную философскую тему, ничего подозрительного и «неблагонамеренного» с политической точки зрения быть не могло. Следовательно, в этих строках заключалось нечто, предосудительное в глазах цензуры с точки зрения ортодоксальных религиозных взглядов. Д. Д. Благой считает, что стихотворение имеет «двойной адрес». Оно направлено против «приверженцев теологических, традиционно-церковных представлений», подчиняющих законы природы божественной воле, и одновременно против сторонников «вульгарных механистических представлений о природе как о голом механизме, бездушной машине» [67]. В своем настоящем, урезанном цензурой виде стихотворение не дает возможности судить о степени заостренности первого из указанных «адресов». Зато полным голосом звучит, начиная с третьей (пятой) строфы стихотворения, его второй «адрес»:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!

Стихотворение «Не то, что мните вы, природа...» является настоящим натурфилософским исповеданием веры Тютчева. Полемический тон сочетается в этом стихотворении с чувством большой человечности. Тютчев заканчивает его словами, в которых меньше

[67] Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев), стр. 446.

всего осуждения по адресу инакомыслящих:

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой.

Неизвестный нам критик, автор восторженной статьи о Тютчеве в «Отечественных записках» 1854 года, очень верно писал по поводу этого стихотворения: «Этот немного жесткий, по-видимому, упрек поэта непоэтическим душам в сущности исполнен такой любви к природе и к людям! Как хотелось бы автору разделить наполняющее его чувство с другими, которые своею невнимательностью лишают себя одного из самых чистых наслаждений!..» [68].

Для Тютчева мир природы не является «храмом всех богов», каким он был у «древних народов», не является и храмом единого бога, творца вселенной, каким воспевал его один из виднейших представителей французского романтизма, Ламартин. В глазах Тютчева природа жива сама по себе, одушевлена само по себе.

Тютчевскому пантеистическому пониманию природы свойственны яркие черты диалектики. Прав современный исследователь, утверждающий, что «в восприятии Тютчевым природы нет ничего неподвижного, мертвого: все движется, „дышит“, живет» [69]. Поэт обычно изображает смену одного явления другим, переход из одного состояния в другое. Если образ весны в одноименной оде Тютчева предстает перед читателем в своем «классическом» обличии, как некое олицетворенное «божество», которое «слетает» к людям и «цветами сыплет над землею», то в двух стихотворениях того же заграничного периода — «Весенние воды» и «Еще земли печален вид...» образ весны лишается всякой условности и статичности. Тютчев рисует не пору расцвета весны с традиционными «соловьями» и «розами», а самый момент ее наступления, когда жизненные силы природы рвутся наружу из зимнего плена. Характерны контрастные зачины обоих стихотворений:

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят...

Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит...

Весна является для поэта символом жизни, которой ничто не может противостоять:

И в божьем мире то ж бывает,
И в мае снег идет порой,
А все же Весна не унывает
И говорит: «Черед за мной!..»
(1866)

[68] «Отечественные записки», т. XCV, 1854, кн. 8, август, отд. IV, стр. 59
[69] Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев), стр. 447

Жизнь природы Тютчев ощущает в трепете каждого молодого листа. Органический творческий процесс, совершающийся в природе, воплощается для него в поэтический образ: листья — это зимние «грезы» деревьев, теперь осуществившиеся наяву:

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мертвого листа.

(«Первый лист», 1851)

На внутреннюю взаимосвязь между явлениями природы Тютчев умеет указать тонким, иногда еле уловимым намеком. Ему «весел грохот летних бурь»: они скоропреходящи и лишь ненадолго смущают ясность «небесной лазури». Но в этих бурях есть нечто, что напоминает поэту о будущей осенней непогоде, и Тютчев как бы вскользь наводит читателя на ту же мысль, говоря:

И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу...

(«Как весел грохот летних бурь...», 1851)

Тютчев особенно любил весеннюю и осеннюю природу — возрождающуюся и увядающую. После него трудно писать о весенней грозе или перекладывать в стихи ликующий шум весенних вод. Такую же чуткость проявил поэт и в передаче осенних впечатлений:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою...

(«Осенний вечер», 1830)

Здесь опять-таки картина настоящего сочетается с легким намеком на будущее. Поэт описывает природу в ее осеннем праздничном убранстве. Ее «умильная, таинственная прелесть» наложила свой мягкий умиротворяющий отпечаток на всю интонацию стихотворения, и лишь отдельными тревожными нотами врываются в нее слова о «зловещем блеске» деревьев и строки о «порывистом, холодном ветре», предвещающем хмурые дни поздней осени.

Загадочную, но неугасающую жизнь природы Тютчев различает даже под покровом зимы:

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной *жизнью* он блестит
(«Чародейкою Зимою...», 1852)

Пониманием природы как одушевленного целого обусловлены многие особенности тютчевской поэтики — прежде всего метафоры. Мы все употребляем в нашей повседневной речи метафоры, не замечая их. Мы говорим: небо нахмурилось, солнце выглянуло, звезды смотрят, но при этом ни небо, ни солнце, ни звезды не приобретают в нашем сознании свойств живых существ. Тютчев даже такие ходячие, стертые метафоры заставляет звучать по-новому, освежая их эпитетами и тем самым как бы внося «душу» в описываемые им картины и явления природы. Он пишет:

Здесь, где так *вяло* свод небесный
На землю тощую *глядит*,
Здесь, погрузившись в сон железный
Усталая природа *спит*...

(«Здесь, где так вяло...», 1830)

Неохотно и *несмело*
Солнце *смотрит* на поля...
Солнце раз еще *взглянуло*
Исподлобья на поля...
(«Неохотно и несмело...», 1849)

Чуткие звезды *глядят* с высоты...

(«Как хорошо ты, о море ночное...», 1865)

Впечатление от занимающейся зари Тютчев передает в следующих словах:

Смотрите: полоса видна,
И, *словно скрытной страстью рдея,*
Она все ярче, все живее —
Вся разгорается она...

(«Молчит сомнительно Восток...», 1865)

Разумеется, Тютчев далеко не единственный поэт, представлявший явления природы в одушевленных образах, но в то время, как у других поэтов этот художественный прием воспринимается более или менее как поэтическая условность, у Тютчева он связан с самыми глубинами его мироощущения. В. С. Соловьев справедливо указывал на то, что Тютчев «вполне и сознательно *верил*

в то, что чувствовал,— ощущаемую им живую красоту принимал и понимал не как свою фантазию, а как *истину*» [70]. Но, наделяя природу человеческими свойствами, он в то же время часто пользовался образами природы для раскрытия своих дум о человеке.

Привлечение образов природы для сравнения с различными моментами в жизни человека, с его душевными переживаниями — один из общераспространенных приемов художественного изображения. Он в той или иной мере присущ и народно-поэтическому творчеству, и античному эпосу, и любому из позднейших литературных направлений. Однако, пожалуй, наибольшее применение он получил в предромантической и романтической поэзии, что было связано с тем «открытием» природы как «зеркала души», которое являлось одной из особенностей европейской, в том числе и русской, литературы конца XVIII — начала XIX века.

Так, например, в поэтике сентиментализма и романтизма было очень распространено метафорическое уподобление возрастов человека и его душевных состояний различным временам дня или года. «Течение натуры есть образ нашего жизненного течения» — утверждал Карамзин. В повести «Наталья, боярская дочь» он же писал о «наступлении жизненного вечера и приближении ночи». Жуковскому принадлежит выражение: «Покой моей обвечеревшей жизни» (посвящение к поэме «Наль и Дамаянти»). В пушкинском послании «Князю Горчакову» читаем:

Твоя заря — заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг,— осенняя заря.

Баратынский сравнивает «вечер года», т. е. осень, с «осенью дней» человека («Осень»). Он же в стихотворении «На посев леса» говорит:

Но нет уже весны в душе моей,
. . . .
Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира...

Этим поэтическим приемом широко пользуется и Тютчев. Представление о молодости для него неразрывно с представлением об утре. Например:

Обеих вас я видел вместе —
И всю тебя узнал я в ней...
Та ж взоров тихость, нежность гласа.
Та ж прелесть утреннего часа [71],
Что веяла с главы твоей!

(«Двум сестрам», 1830)

---

[70] В. С. Соловьев. Поэзия Ф. И. Тютчева, стр. 118.
[71] Вариант: «Та ж свежесть утреннего часа».

В образах утра и весны воплощается в сознании поэта и пробуждение первых чувств:

Златой рассвет небесных чувств твоих...

(«К. Н.», 1824)

Я слышал утренние грезы
Лишь пробудившегося дня...
. . . .
Но, может быть, под зноем лета
Ты вспомнишь о своей весне...

(«Играй, покуда над тобою...», 1861)

В последнем примере, кроме того, зрелый возраст отождествляется с летом. Вечер и ночь становятся для поэта синонимами старости и смерти:

Я видел вечер твой. Он был прекрасен!
В последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой...
О, как они и грели и сияли —
Твои, поэт, прощальные лучи...
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи...

(«Памяти В. А. Жуковского», 1852)

Поздняя любовь воспринимается поэтом как вечерняя заря:

Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Для того, чтобы передать неоскудевающую с годами нежность чувства, Тютчев применяет неожиданное и смелое сочетание, казалось бы, взаимно исключающих друг друга слов:

Помедли, помедли, *вечерний день*

(«Последняя любовь»,
между 1852 и 1854)

Раскрытие душевных переживаний человека посредством обращения к явлениям или образам, заимствованным из мира природы, часто облекается в различные формы сравнения. При этом иногда целые стихотворения представляют собой одно распространенное сравнение. Таково, например, стихотворение Баратынского «Надпись»:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

В данном стихотворении то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, соединяются между собой союзом «так», но система образов в каждой половине стихотворения вполне самостоятельна: в первых четырех строках перечислены признаки, характеризующие данный человеческий «лик»; в следующих четырех строках — признаки застывшего потока.

Иначе построено стихотворение Пушкина «Я пережил свои желанья...». По своей композиции оно не является распространенным сравнением. Образ, с которым сравнивается душевное состояние поэта, выступает только в последней строфе, но зато он исподволь внутренне подготовляется:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один — на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..

В средней строфе поэт не просто говорит о постигших его невзгодах, но пользуется метафорой — «*бури* судьбы жестокой»; не просто говорит о том, что лучшие, молодые годы его жизни прошли безрадостно, но опять-таки прибегает к метафоре — «*увял цветущий* мой *венец*». И то, что эти метафоры связаны с природой, делает глубоко органичным появляющееся в заключительной строфе сравнение одинокого человеческого существования с уцелевшим на ветке осенним листом.

У Тютчева есть ряд стихотворений, построенных по принципу развернутого сравнения. Нередко оно подчеркивается поэтом посредством двухчастной строфической композиции. В первой строфе дается конкретный образ, взятый из мира природы, во второй — сравнение с душевным состоянием человека. При этом сравнение у Тютчева обычно развито и шире, и глубже, чем в приведенном стихотворении Баратынского «Надпись» или в другом стихотворении того же поэта «Чудный град порой сольется...». Как бы ни был Тютчев далек от народно-поэтической стихии, но такая русская песня, как, например, «Много, много у сыра дуба...» [72], делящаяся на две почти равные (стихи 1—9 и 10—19) и в смысловом отношении одинаково замкнутые части, словно предвосхищает

---

[72] «Русский фольклор. Крестьянская лирика». Л., 1935 («Библиотека поэта». Малая серия), стр. 237.

двухчастную композицию стихотворений Тютчева «Поток сгустился и тускнеет...», «Фонтан», «Еще земли печален вид...» (все — до 1836).

Во всех названных стихотворениях образ природы вырастает в самостоятельную художественную картину, так что, казалось бы, может существовать и помимо следующего за ним «пояснения», раскрывающего его философское содержание. Однако на самом деле в каждом из этих стихотворений существует органическое внутреннее единство и вторая строфа отнюдь не воспринимается как случайный, ненужный и риторический привесок к первой. Какими художественными средствами достигается это внутреннее единство?

Если мы обратимся к такому стихотворению, как «Поток сгустился и тускнеет...», то увидим, что заключенный в первой строфе образ природы со всеми его признаками переносится поэтом во второй строфе на человека:

Поток сгустился и тускнеет
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет
В оцепененьи ледяном,—
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всесильный хлад не может:
Она все льется и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.

Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя,—
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шопот.

Несколько иначе осуществляется внутреннее единство в стихотворении «Еще земли печален вид...». Тут, подобно стихотворению Пушкина «Я пережил свои желанья...», сравнение постепенно подготовляется, но не перенесением на человека признаков природы, а, наоборот, перенесением на нее свойств живого существа:

Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мертвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она
И ей невольно улыбнулась...

В первых четырех строках следующей строфы развивается уже иной мотив — мотив весеннего пробуждения человека:

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?

И, наконец, в четырех заключительных строках образы обновляющейся природы и молодеющей вместе с ней человеческой души сливаются в одно нерасторжимое целое:

Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?

Такое устранение всякого различия между внешним и внутренним миром, основанное на идее тождества между природой и человеком, в сущности и составляет едва ли не основную особенность Тютчева как поэта-мыслителя и художника. В. Я. Брюсов называл этот прием «проведением полной параллели между явлениями природы и состояниями души». При этом «граница между тем и другим как бы стирается, исчезает, одно неприметно переходит в другое» [73]. Это можно наблюдать уже в стихотворении «Осенний вечер», в котором после слов о «порывистом, холодном ветре» следуют строки:

Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Несмотря на то, что здесь налицо сравнение, переход от «кроткой улыбки» увядающей природы к «стыдливости страданья», проявляемой «разумным» существом, еле уловим. В стихотворении «В душном воздухе молчанье...» (до 1836) предгрозовое состояние природы отождествляется с душевной тревогой молодой девушки, ощущающей прилив первых, еще неведомых ей чувств:

Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?.. [74].

---

[73] Валерий Брюсов. Ф. И. Тютчев. Критико-биографический очерк.— В кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. Изд. 6. СПб., изд. Т-ва А. Ф. Маркс, [1912], стр. XLIV.

[74] Разбор этого стихотворения см.: Д. Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев), стр. 447.

Тот же прием образного параллелизма — в стихотворении Тютчева «Волна и дума» (1851):

Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь — в заключении, там — на просторе,—
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой.

Есть у Тютчева и такие стихотворения, в которых прямые аналогии между природой и человеком отсутствуют, но тем не менее в качестве своего рода «подтекста» возникают в сознании читателя. Таково, например, стихотворение «Обвеян вещею дремотой...» (1850) с его «символической» концовкой:

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..

Это сказано об осеннем, «полураздетом» лесе, внезапно озаренном «молниевидным» лучом солнца. Но, зная тютчевский «Осенний вечер», мы и в этом стихотворении вправе усматривать скрытый намек на «существо разумное». Символический характер носит и другое стихотворение Тютчева:

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей...
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет,
И смеется над тобой...

(До 1836)

Сам поэт не подсказывает нам, какое философское содержание он вкладывает в поэтические образы склоненной ивы и ускользающей от нее струи. Как и подобает символам, образы ивы и струи могут быть многозначными. Каждый читатель волен осмыслить их по-своему. Уместно в связи с этим припомнить, что говорил сам Тютчев по поводу стихотворения Я. П. Полонского «Утес», которое при своем появлении вызвало различные толки. «Ты спросишь меня, что за идея Утеса?— писал Полонский И. С. Тургеневу.— Тютчев говорит, что, прочтя это стихотворение, всякий вло-

жит в него свою собственную мысль, смотря по настроению — а это едва ли не верно...»[75].

Стихотворение Тютчева «Что ты клонишь над водами...» напомнило Некрасову лермонтовский «Парус»[76]. Общность между этими двумя произведениями и заключается в их символичности. В ранних стихотворениях Лермонтова пейзажные символы прояснялись прямыми сравнениями (здесь опять-таки возможно сопоставление с таким стихотворением Тютчева, как «Поток сгустился и тускнеет...»). Позднее в творчестве Лермонтова появляются стихи, символический смысл которых не навязывается читателю, но легко угадывается. Кроме «Паруса» можно назвать «Утес» и «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...».

Говоря о символике тютчевских образов, следует отличать ее от аллегоризма, почти не свойственного поэту. Между тем в некоторых работах о Тютчеве проявилось стремление во что бы то ни стало обнаружить иносказательный смысл в любом его стихотворении о природе.

Упомянув о том, что Тютчев считается «особенным мастером» в изображении природы, Р. Ф. Брандт замечает: «Чтобы, однако, Тютчев, этот лирик-мыслитель, нередко давал одни картинки,— с таким утверждением я согласиться не могу; напротив того, мне кажется, что едва ли не везде имеется по крайней мере аллегория, или хоть веет явственным настроением, намечающим аллегорию»[77]. Исключение Брандт делает только для двух стихотворений — «Вечера» (1826?) и «Тихой ночью, поздним летом...» (1849), которые, по его мнению, могут быть отнесены к «картинкам»[78].

Как уже говорилось, есть у Тютчева такие стихотворения, в которых содержится легкий намек на аналогию между природой и человеком. Однако открывать «едва ли не везде» такой смысловой подтекст никак нельзя. К чему приводят подобные попытки, можно видеть из работы того же Брандта. Превосходное по своей художественной конкретности описание позднего зимнего утра в стихотворении «Декабрьское утро» (1859?) комментатор истолковывает как «иносказное изображение неизбежной победы света и добра». Стихотворение «Утро в горах» якобы означает «серьезность высших умов», а «Снежные горы» (конец 1820-х годов) — «возвышенье таких умов над толпою»[79]. Стоит перечитать все

---

[75] Письмо 1872 г. «Звенья», кн. 8, 1950, стр. 168.

[76] См.: Н. А. Некрасов. Русские второстепенные поэты.— В кн.: Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX. М., 1950, стр. 208.

[77] Р. Ф. Брандт. Материалы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его поэзия».— «Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. XVI, кн. 3, 1911, стр. 30—31.

[78] Стихотворение «Вечер» получило со стороны исследователя пренебрежительную оценку: «Смысл этой вещи мне недоступен, да она и вообще странная». (Там же, т. XVI, кн. 2, 1911, стр. 168).

[79] Там же, т. XVI, кн. 3, стр. 31.

названные стихи, чтобы убедиться в том, насколько натянуты все эти «подобия».

Тенденцию к вычитыванию иносказательного подтекста в таких стихотворениях Тютчева о природе, которые едва ли дают для этого основания, проявил и немецкий исследователь Г. Дудек в своей интересной работе о метафорических формах в тютчевской поэзии. Знаменитое стихотворение «Есть в осени первоначальной...» (1857) будто бы наталкивает читателя на следующую мысль: «раннеосенняя природа и вместе с ней человек, оба еще в полном обладании своих сил, накапливают новую энергию для жизни». В стихотворении «Как весел грохот летних бурь...» «вместе с упоминанием о первом падающем листе примешивается предчувствие близящейся старости, конца лучшей поры жизни» [80].

Попытки выискивать в каждом стихотворении Тютчева о природе скрытый аллегорический смысл не обогащают нашего представления о нем как о поэте-мыслителе и обедняют наше представление о нем как о поэте-художнике.

Невольно напрашивается следующее сравнение. Тютчевские пейзажи по своему лиризму и философской насыщенности напоминают живописные полотна Левитана или Рылова, нередко поднимавшихся в своих изображениях до подлинной символики. Символичны, например, левитановские картины «Осенний день. Сокольники» или «Над вечным покоем». В первой из них очень наглядно осуществлен «тютчевский» прием: в пейзаж введена человеческая фигура, невольно вызывающая в нашем сознании внутреннюю аналогию с осенней природой. Можно посредством пейзажа передать даже «атмосферу эпохи», «дух времени» [81]. На картине Левитана «Владимирка» нет колодников, которых прогоняли когда-то по этой пустынной дороге, но судьбы многих и многих людей ощущаются при виде изображенной на полотне безрадостной дали и одинокого странника, осеняющего себя крестным знамением перед стоящим на обочине столбом с иконой. Недаром другой мастер русского пейзажа, Нестеров, назвал «Владимирку» «историческим пейзажем» [82]. Дыханием и трепетом исторической эпохи проникнут и вдохновенный «Зеленый шум» Рылова.

И тем не менее было бы ошибочным видеть в каждом пейзажном полотне Левитана или Рылова,— художников, так проникновенно чувствовавших жизнь природы,— преднамеренный второй план. Несомненно, конечно, что чем острее развито в самом художнике чувство природы, тем сильнее и эмоциональнее воздействие его произведения на другого. В таком произведении, даже если художник и не прибегает к символике, незримо ощущается

[80] G. Dudek. Der philosophische und künstlerische Gehalt der Gleichnisformen in F. J. Tjutčevs Poesie, S. 496.

[81] А. А. Федоров-Давыдов. Аркадий Александрович Рылов. М., 1959, стр. 119.

[82] М. В. Нестеров. Давние дни. Встречи и воспоминания. М., 1959, стр. 122.

присутствие человека, воплощено определенное переживание личности, угадывается некий психологический ее аспект.

То же самое полностью относится и к поэту. Хорошо сказал на Третьем съезде писателей СССР Максим Рыльский: «О чем бы ни писал поэт...,— о животных ли, о деревьях ли, о горных ручьях,— он всегда в конечном счете пишет о человеке, о человеческом, для человека». Вот почему даже «пейзажные зарисовки» Фета, которые принято считать «бездумными», способны вызвать в читателе «целую вереницу человеческих мыслей и чувств» [83].

Еще более богатый мир мыслей и чувств пробуждают в нас «пейзажные» стихи Тютчева. Он, например, «пишет о море, о его многоцветных в лунную ночь красках, о его живом, бурном дыхании, о гремящих и сверкающих волнах,— и какое высокое человеческое чувство праздника жизни, ее полноты, могучей красоты возникает у читателей» [84].

Сила эмоционального впечатления, производимого на нас стихами Тютчева о природе,— независимо от того, заведомо символичны его образы или нет,— тем более велика, что искусство поэта имело свои «корни в земле», в чувственно воспринимаемой действительности. «Главное достоинство» его стихов Некрасов видел «в живом, грациозном, пластически верном изображении природы». По мнению Некрасова, «пейзаж в стихах» представляет собой «самый трудный род поэтических произведений», так как требует от художника умения «двумя-тремя чертами» вызвать в воображении читателя описываемую картину. Тютчев, как утверждает Некрасов, «в совершенстве владеет этим искусством» [85].

Прекрасным образцом такого намеченного «двумя-тремя чертами» стихотворного пейзажа является приведенное выше восьмистишие «Успокоение», принадлежащее к заграничному периоду творчества поэта. Но оно не одиноко в ряду его произведений этого времени.

Так, например, в стихотворении «Песок сыпучий по колени...» (1830) Тютчев очень точно передает зрительное впечатление от сгущающихся сумерек:

И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.

По мере того, как потухает день, слышнее становятся звуки природы, и поэт подчеркивает это, говоря:

День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

(«Я помню время золотое...»,
между 1834 и 1836)

---

[83] «Третий съезд писателей СССР, 18—23 мая 1959 г., Стенографический отчет». М., 1959, стр. 103.

[84] Г. Л. Абрамович. По законам красоты. (Предмет и назначение литературы). М., 1961, стр. 6.

[85] Н. А. Некрасов. Русские второстепенные поэты, стр. 205.

С годами чуткость к конкретным деталям заметно усиливается в лирике Тютчева, отражая общее движение русской поэзии от романтизма к реализму. Есть у Тютчева два стихотворения, в которых описывается надвигающаяся гроза: «В душном воздуха молчанье...» и «Неохотно и несмело...» Первое относится к 1830-м годам, второе — к 1849 году. В обоих упоминается о молнии. Но в первом стихотворении она в сущности только называется («Небо молнией летучей || опоясалось кругом»), а во втором поэт находит для нее очень меткое цветовое определение:

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил ее края.

Тютчев вообще тонко различает краски и обладает искусством колорита. Даже в непейзажных стихах поэта нередко вкраплены колористически яркие «кусочки» природы. Его понимание живописного соотношения красок предугадывается уже по тому признанию, которым открывается стихотворение «Слезы» (1823).

Люблю, друзья, ласкать очами
Иль пурпур искрометных вин,
Или плодов между листами
Благоухающий рубин.

Тот же образ сочной зелени листвы и теплого рубиново-красного цвета плодов повторен Тютчевым в стихотворении «К N.N.» («Ты любишь, ты притворствовать умеешь...», не позднее 1830), где он приобретает еще большую предметность:

...в палящий летний зной
Лестней для чувств, приманчивей для взгляда
Смотреть, в тени, как в кисти винограда
Сверкает кровь сквозь зелени густой.

Своего рода лунный ноктюрн создан поэтом в другом стихотворении:

Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой,
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!..

(До 1836)

В одном из французских стихотворений Тютчева («D'une fille du Nord, chétive et languissante...», 1850-е годы) упоминается «по-

меранцевое дерево в цвету, все облитое солнечным светом» («l'oranger en fleur, tout baigné de lumière»).

Излюбленными колористическими мотивами Тютчева являются сочетания воды и солнца, воды и лунного сияния. Целой гаммой красок — «пасмурно-багровых», огненно-золотых и свинцово-лазурных расцвечено изображение летнего ненастного заката в тютчевском стихотворении «Под дыханьем непогоды...» (1850). Поэт зорко улавливает светотени, переходы одного цвета в другой. «Здесь лучезарно, там сизо-темно»,— говорит он об озаренном лунным светом море («Как хорошо ты, о море ночное...», 1865). В стихотворном пейзаже, который можно было бы назвать «Царское село днем», Тютчев отметил «отблеск кровель золотых» в спокойных водах озера, игру солнечных лучей в его струях («Тихо в озере струится...», 1866). В другом пейзаже, который можно было бы назвать «Царское село вечером», он изобразил белых лебедей, неподвижно держащихся («коснеющих») «на тусклом озера стекле», вечерние тени, ложащиеся «на порфирные ступени || екатерининских дворцов», и четко вырисовывающийся на небе силуэт золоченого купола («Осенней позднею порою...», 1858).

Тютчев любит краски, как любит все яркое и живое. Но он мастерски изображает и пейзажи, подернутые туманом и как бы растворяющиеся в бледной монохромной гамме:

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой...
Все голо так — и пусто-необъятно
В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья...
(1859)

В северном ноябрьском пейзаже нет отчетливо выраженных красок,— нет их и в стихах поэта, за исключением одной только красочной детали: «синеет даль». И вместе с тем в стихах Тютчева не только дано описание «родного ландшафта», но и передан его колорит,— вернее, сделано все для того, чтобы читатель мог в цвете представить себе описываемую картину.

Насколько удавалось порою Тютчеву, почти не прибегая к краскам, создавать зрительно запечатлевающиеся образы природы, показывает легкий, словно едва тронутый акварелью рисунок березовой рощи в стихотворении «Первый лист» (1851):

Лист зеленеет молодой.
Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым...

«Никто никогда до Тютчева не употреблял глагола „обвеян“ в таком применении,— замечает исследователь,— а между тем едва ли можно найти другое слово, более точно передающее зрительное впечатление от молодой распускающейся березовой листвы. Причем впечатление это еще более поддерживается и укрепляется целой серией следующих за словом „обвеяны“ искусно подобранных синонимических эпитетов: „воздушная“, „сквозная“, „полупрозрачная“» [86].

Тютчев умел находить в слове новый смысловой оттенок, сочетающий в себе логическую ясность с эмоциональной выразительностью. Он пишет о радуге:

Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила,
И в высоте изнемогла.

(«Как неожиданно и ярко...»,
1865)

Глагол «изнемогла» употреблен здесь в необычном значении, но по отношению к радуге он как нельзя более уместен: именно этим словом лучше всего передается «внешний процесс постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги» [87].

Точно подмеченные конкретные детали, присущие тютчевским «пейзажам в стихах», помогают нам увидеть или ощутить то, что видел и ощущал сам поэт. Созерцая летнюю бурю, он не только наблюдает, как гнутся «лесные исполины», но от его внимания не ускользает и «первый желтый лист», который «крутясь, слетает на дорогу» («Как весел грохот летних бурь...», 1851). В жаркий августовский день поэт улавливает «медовый запах», доносящийся с «белеющих полей» гречихи («В небе тают облака...», 1868). Поздней осенью, когда небо становится «бледнее», а долы «пасмурнее», он ощущает дуновение «теплого и сырого» ветра, напоминающего о весне («Когда в кругу убийственных забот...», 1849).

Едва ли не самым пленительным из пейзажей, созданных Тютчевым, является согретое мягким лиризмом, подлинно реалистическое изображение ранней осени:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде,—
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

---

[86] Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев), стр 451.
[87] Аксаков, стр. 96.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Одним эпитетом «как бы хрустальный» Тютчев с необыкновенной меткостью передает прозрачную ясность и кратковременность ранних осенних дней. Столь же мастерским художественным штрихом, после которого всякие иные зрительные признаки осеннего пейзажа были бы излишни, представляются и строки о тонком волосе паутины.

Анализируя тютчевскую лирику природы, Б. Я. Бухштаб пишет, что «сила Тютчева вовсе не в особой зоркости пейзажиста», хотя в его стихи и «вкраплены тонкие наблюдения... Но вообще явления природы, попадающие в поле его зрения, немногообразны и восприняты не детализованно... Он стремится не к выявлению неповторимого своеобразия той или иной картины природы, а к передаче эмоций, возбуждаемых природой» [88].

С этим утверждением не во всем можно согласиться. Правда, конкретно-зрительные детали пейзажа встречаются у Тютчева значительно реже, чем у таких поэтов, как Некрасов или Фет. Но то, что попадающие в поле его зрения явления природы воспринимаются им «не детализованно», объясняется не отсутствием «зоркости», а особым характером тютчевских описаний — всегда обобщенных. Для создания же такой обобщенной картины природы Тютчеву достаточно какого-либо одного, но существенного признака, вроде тех, которые уже были отмечены. При этом, как явствовало из некоторых примеров, они далеко не обязательно должны быть признаками зрительного порядка. Но передать эмоции, возбужденные тем или иным явлением природы, не показав — пусть обобщенно и иногда, может быть, «импрессионистически», одним намеком — его «неповторимого своеобразия», вряд ли возможно. Разве не погружает нас поэт в атмосферу «неповторимого своеобразия» сумерек, когда, прежде чем выразить вызванные ими чувства, говорит:

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул,—
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальный гул...

И разве не передано поэтом «неповторимое своеобразие» весенних и летних гроз, сверкающего на солнце фонтана, грустной прелести осенних дней и осенних вечеров, сказочной красы зимнего леса? Но, конечно, Тютчев никогда не ставит своей целью с возможной подробностью зафиксировать предметы, не выступает бесстрастным наблюдателем того или иного явления. Его картины и

[88] Б. Бухштаб. Ф. И. Тютчев, стр. 29.

образы насквозь пронизаны глубоко эмоциональным отношением. И эта эмоциональность тютчевских стихов о природе захватывает и заражает читателя.

Процитировав полностью в своей статье о Тютчеве его стихотворение «Весенние воды» и выделив в нем курсивом строки: «Весна идет, весна идет; || мы молодой весны гонцы, || она нас выслала вперед», Некрасов писал: «Сколько жизни, веселости, весенней свежести в трех подчеркнутых нами стихах! Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с плеч,— когда любуешься и едва показавшейся травкой, и только что распустившимся деревом, и бежишь, бежишь, как ребенок, полной грудью впивая живительный воздух и забывая, что бежать совсем неприлично, не по летам, а следует идти степенно, и что радоваться тоже совсем нечего и нечему» [89].

Живую и действенную силу тютчевских стихов о природе прекрасно подчеркнул в одном из своих писем Л. Н. Толстой: «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве... Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья.

И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!

Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки» [90].

Глубочайшая любовь к природе, разлитая в стихах Тютчева, помогла ему затронуть чувства, близкие каждому. Он с одинаковым мастерством передавал как полноту внешнего впечатления, так и полноту внутреннего ощущения, вызываемого в человеке явлениями и картинами природы. О ней он умел сказать так, что кажется, будто иначе и сказать нельзя. Это признак подлинно гениального поэта. Он словно раз и навсегда выразил в слове наше общее впечатление, сказал за нас. До сих пор, наслаждаясь погожим днем золотой осени, мы определяем его тютчевским эпитетом «хрустальный». При виде радуги в нашей памяти опять-таки мгновенно возникает тютчевское «изнемогла». И поистине нужно обладать всей мощью таланта, равного Тютчеву, чтобы найти новое слово, которое вытеснило бы из нашей памяти это неподражаемое «изнемогла».

Стихи Тютчева о природе вошли в нашу жизнь. Кажется, нет русского человека, который бы еще со школьной скамьи не запомнил «Весенней грозы» и «Весенних вод». Для одних на том и заканчивается знакомство с поэтом, для других «Весенняя гроза» и «Весенние воды» становятся началом более глубокого общения с

[89] Н. А. Некрасов. Русские второстепенные поэты, стр. 208—209.

[90] Письмо к А. А. Толстой от 1 мая 1858 г. из Ясной Поляны.— Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60. М., 1949, стр. 265.

ним, исходной вехой любви к нему. Эта любовь неразрывно сливается в нашем сознании с любовью к родной природе, что и делает наше чувство к поэту в особенности теплым и крепким.

4

Наряду с лирикой природы видное место в творчестве Тютчева занимает любовная лирика. В основе своей любовная лирика Тютчева автобиографична, но поэт достиг в ней такой психологической глубины, что узкобиографический комментарий только снижает ее художественное значение. Нам, конечно, интересно знать, что такое-то стихотворение посвящено Амалии Крюденер, а такое-то Элеоноре Тютчевой, что ряд стихотворений обращен ко второй жене поэта, а целый стихотворный цикл связан с его любовью к Е. А. Денисьевой. В некоторых отношениях биографические обстоятельства помогают лучше понять любовную лирику Тютчева. Так, например, общность мотивов, обнаруживающихся в ранних стихотворениях, навеянных любовью поэта к Эрнестине Дёрнберг, и в стихах «денисьевского цикла» объясняется тем, что оба эти романа поэта развертывались в какой-то мере в сходных биографических условиях, оба были «незаконны» с точки зрения общепринятых моральных норм и повлекли за собой тягчайшие переживания как для него самого, так и для любимых им женщин. И тем не менее непреходящая ценность этих стихов определяется не индивидуальными особенностями чувства Тютчева к той или иной женщине и не конкретными житейскими ситуациями, в которых оно развивалось, а теми философско-психологическими обобщениями, в которые оно вылилось.

В нескольких стихотворениях Тютчева заграничного периода любовь воспета как ничем не омрачаемое, ясное и светлое чувство. Трепетным и радостным ожиданием любимой проникнуто стихотворение «Cache-cache» (не позднее 1828). Ее еще нет, но поэту кажется, что она здесь, что все окружающее полно ее незримым присутствием:

Волшебную близость, как бы благодать,
Разлитую в воздухе, чувствую я.

Преизбыток чувств, охвативший влюбленного поэта, заставляет его всюду ощущать одну «ее». Перефразируя его же собственные слова, можно было бы сказать: все в ней, и она во всем. Вот почему и цветы, стоящие у окна, и пылинки, мелькающие в лучах солнца, и струны арфы, задетые ветерком, и бабочка, влетевшая в комнату, приобретают особое значение в его глазах. Оказывается, «недаром лукаво глядят» гвоздики, недаром свежее благоухают и ярче пылают «румянцем» розы: поэт догадывается, «кто скрылся, зарылся в цветах». Внезапно послышавшийся легкий звон арфы наводит его на мысль, не притаилась ли в ее струнах

она — его «шалунья». Даже сверкающие и дрожащие на солнце пылинки напоминают ему о ней — о задорных огоньках в ее глазах:

Как пляшут пылинки в полдневных лучах,
Как искры живые в родимом огне!
Видал я сей пламень в знакомых очах,
Его упоенье известно и мне.

Любовь поэта настолько целомудренна, что и его возлюбленная представляется ему каким-то бесплотным созданием — «сильфидой», которая не только может, никем не замеченная, прятаться в цветах и колебать струны арфы, но и преображаться в легкокрылую бабочку:

Влетел мотылек, и с цветка на другой,
Притворно-беспечный, он начал порхать.
О, полно кружиться, мой гость дорогой!
Могу ли, воздушный, тебя не узнать?

Отблеск того же молодого, быть может, впервые пробудившегося чувства, под влиянием которого облик любимой девушки принимает в воображении поэта романтические черты «младой феи», лежит и на другом его стихотворении — «Я помню время золотое...» (1834—1836). Впечатления от внешнего мира органически слиты в нем с душевными переживаниями. То, что описывается в этом стихотворении, происходит весной, когда яблони осыпаны цветом, когда день долог, а ночи коротки. Но поэту кажется, что солнце нарочно задерживается на небосклоне, чтобы дать себе время налюбоваться на юную красавицу:

И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

Хотя стихотворение и написано в прошедшем времени, как воспоминание, поэт в его строфах словно заново переживает минувшее. От начала до конца стихотворение дышит «настоящим», не затуманенным мыслью о будущем. Невозмутимость счастья, испытываемого любящими сердцами, подчеркивается самой лексикой: «Я помню время *золотое*, || я помню *сердцу милый* край». «Ты *беззаботно* вдаль глядела», «И ты с *веселостью беспечной* || *счастливый* провожала день». Даже упоминание в последних строках о мимолетности жизни не омрачает общей безмятежной настроенности стихотворения:

И *сладко* жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

По непосредственности и свежести чувства стихотворение «Я помню время золотое...» вполне оправдывает высокую оценку Не-

красова, отнесшего его к лучшим стихотворениям Тютчева, «да и вообще всей русской поэзии» [91].

Стихотворения «Cache-cache» и «Я помню время золотое...» написаны в годы, которые сам поэт называл годами «душевной полноты». Это выражение лучше всего передает общую тональность обоих стихотворений. К ним примыкает по своему лирическому звучанию еще одно стихотворение, хотя художественно и не столь совершенное:

Сей день, я помню, для меня
Был утром жизненного дня:
Стояла молча предо мною,
Вздымалась грудь ее волною,
Алели щеки, как заря,
Все жарче рдея и горя!
И вдруг, как солнце молодое,
Любви признанье золотое
Исторглось из груди ея...
И новый мир увидел я!..

(1830)

Здесь, как и в строфах «Я помню время золотое...», запечатлен всего лишь один момент из прошлого, но при этом все пережитое и перечувствованное с тех пор не набрасывает на поэтическое изображение своей тени. Прошлое в этих строках оживает как настоящее. Каждое из трех названных стихотворений проникнуто ощущением «нового мира», вместе с чувством любви открывшегося поэту.

Из позднейших произведений Тютчева уже не о годах «душевной полноты», а о редких ее минутах, внушенных самозабвением любовной страсти, свидетельствуют стихотворения «Как ни дышит полдень знойный...» (1850) и «День вечереет, ночь близка...» (1851). В первом — «влюбленная мечта» поэта сливается с «очарованной мглой», в прохладе которой он ищет убежища от полдневного зноя; во втором — близость любимой женщины делает нестрашным для него «мрак ночной», а самый ее образ, как и в стихотворении «Cache-cache», приобретает «воздушные» очертания «волшебного призрака»:

Кто ты? Откуда? Как решить,
Небесный ты или земной?
Воздушный житель, может быть,—
Но с страстной женскою душой.

Однако при всей художественной значительности тех стихотворений Тютчева, о которых пока говорилось, они до некоторой степени традиционны для любовной лирики, поскольку основное в них — субъективные переживания самого поэта. Женский же

[91] Н. А. Некрасов. Русские второстепенные поэты, стр. 212

образ, не столько выведенный в этих стихах, сколько едва намеченный, в такой же мере безличен, как и «гений чистой красоты» в стихотворении Пушкина «Я помню чудное мгновенье...». И это вполне понятно, поскольку в этих стихотворениях раскрытие внутреннего мира женщины не входило в задачи поэта.

Своеобразие любовной лирики Тютчева, резко отличающее ее от любовной лирики других поэтов, заключается не в тех немногих стихах, в которых любовь рисуется как светлое и гармоническое чувство, а в тех, в которых она изображается как «роковая» страсть, приносящая с собой душевные муки и даже гибель. В стихотворении «Близнецы» (не позднее 1851) Тютчев не побоялся поставить рядом любовь и самоубийство. В «буйной слепоте страстей» видел он воплощение извечной основы мира — «древнего хаоса», наследие которого таится в душе человека. Такая любовь, как бы она ни была сильна, не могла вселить в поэта чувства «душевной полноты», неразрывно связанного с ощущением общности человека и великого мира природы, а лишь обостряла «страшное раздвоение», и без того присущее его сознанию. Безоблачное «утро жизненного дня» осталось для него позади. На смену наступил «разгар лета» с его «поздними, живыми грозами» — «взрывами страстей» и «слезами страстей». Противоречивые и мучительные душевные переживания претворялись в поэтическом мироощущении Тютчева прежде всего в чувство разлада между человеком и природой. Свое художественное выражение это чувство нашло в стихотворении «Итальянская villa» (1837).

Столетия протекли над покинутой генуэзской виллой, ничем не смущая ее мирного сна. Но вот вошли люди — он и она:

Вдруг все смутилось: судорожный трепет
По ветвям кипарисным пробежал, —
Фонтан замолк — и некий чудный лепет,
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.

Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,
Та жизнь,— увы! — что в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?

Этот «мятежный жар» в конце концов должен «опалить» и «испепелить» тех, кто им охвачен. И недаром стихотворение «Итальянская villa» тематически и биографически тесно связано с другим:

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости...
Прости всему, чем сердце жило,
Что жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!

(«1-е декабря 1837»)

О губительной силе любви до Тютчева писал Баратынский:

Мы пьем в любви отраву сладкую;
Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви — огонь живительный,
Все говорят; но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им.

(«Любовь», 1825)

Но то, что в поэзии Баратынского промелькнуло эпизодическим мотивом, красной нитью прошло через всю любовную лирику Тютчева. И в этом, конечно, сказался личный душевный опыт поэта, преломленный сквозь призму его философского мироощущения.

Своего рода прологом к циклу любовных стихотворений Тютчева могло бы послужить его «Предопределение» (1851):

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Итак, союз двух душ не зависит от самих людей, а предопределен судьбой, но ею же предуказан и трагический исход этого союза. В романтическом понимании Тютчева, судьба либо представляется в виде отвлеченного образа, подобного античному року, либо ее орудиями выступают люди. Это может быть и один человек, становящийся чаще всего невольным виновником мук и гибели любимого существа, может быть и «толпа», «свет», «суд людской». По словам поэта, две роковые силы держат человека в своей власти в течение всей его жизни: «одна есть Смерть, другая — Суд людской». Первая «честней» и нелицеприятней: всех равняет она своей косой. Не таков свет: он представляется Тютчеву жестокой в своей косности силой, которая не терпит «борьбы», «разноголосья» и старается истребить все лучшее, все живое, все выходящее за рамки общепринятых, часто условных понятий.

И горе ей — увы, двойное горе,—
Той гордой силе, гордо-молодой,
Вступающей с решимостью во взоре,
С улыбкой на устах — в неравный бой.

Когда она, при роковом сознаньи
Всех прав своих, с отвагой красоты,
Бестрепетно, в каком-то обаяньи
Идет сама навстречу клеветы,

Личиною чела не прикрывает,
И не дает принизиться челу,
И с кудрей молодых, как пыль, свевает
Угрозы, брань и страстную хулу,—

Да, горе ей — и чем простосердечней,
Тем кажется виновнее она...
Таков уж свет: он там бесчеловечней,
Где человечно-искренней вина.

(«Две силы есть — две роковые силы...», 1869)

Для Тютчева характерно, что «гордая сила», вступающая в борьбу с общественным мнением, с «судом людским», воплощается в его стихах именно в образе молодой женщины. И пусть в действительности разные женщины вдохновляли Тютчева на создание его любовных стихотворений, для нас, читателей, эти разные женщины сливаются в единый, цельный и глубоко индивидуализированный образ.

Тютчев не первым ввел в русскую поэзию образ женщины, бросающей вызов «условиям света». О такой женщине писал Пушкин, называя ее «беззаконной кометой || в кругу расчисленном светил»; такую женщину изобразил Баратынский в героине своей поэмы «Бал» — княгине Нине. Но между этими образами Пушкина и Баратынского и лирической героиней тютчевских стихов существует резкое отличие. И у Пушкина, и у Баратынского это — «прелестница опасная», женщина неукротимых, «бурных страстей», но лишенная сердца. Не любовь, а «душевная пустота», толкает ее добиваться «побед бесстыдных» и «соблазнительных связей». В стихотворении «Когда твои младые лета...» Пушкин с сочувствием говорит о страданиях женщины, опозоренной «шумной молвой», но это стихотворение, ярко рисуя отношение поэта к холодному лицемерию света («Но свет... Жестоких осуждений || не изменяет он своих: || он не карает заблуждений, || но тайны требует для них»), не раскрывает самого образа той, к которой обращены эти строки. Правда, упоминание о «блестящем, душном круге» и «безумных забавах» наводит на мысль, что между реальным прототипом пушкинского «Портрета» и адресатом стихотворения «Когда твои младые лета...» резкой принципиальной разницы не

было. Героиня тютчевской любовной лирики не похожа ни на «беззаконную комету» Пушкина, ни на «упившуюся вакханку» Баратынского. Тип бездушной жрицы любви, возмущающей чопорное общественное мнение,— не тютчевский тип. Женщина в стихах Тютчева — это прежде всего человек глубокого и постоянного чувства. Только в одном стихотворении «К N. N.» («Ты любишь, ты притворствовать умеешь...», конец 1820-х годов) перед нами выступает образ молодой женщины, которой «льстит» измена, но которая умелым притворством сохраняет в глазах посторонних супружескую и светскую честь. Этот лишенный подлинного внутреннего содержания образ одинок в поэзии Тютчева. Во всех остальных любовных его стихах выведена женщина, которая «одной заветной предалась любви» и осталась верна ей «наперекор и людям и судьбе».

Образ женщины, возникающий перед читателем любовных стихотворений Тютчева, наделен ярко индивидуальными чертами, хотя эти черты и даны не детализованно. Мы, например, не можем ясно представить себе ее внешность. Мы не знаем даже, красива она или нет. Впрочем, «изящно-дивные черты» представляли цену в глазах поэта лишь в том случае, если они служили зеркалом внутренней, чисто «человеческой» красоты женщины. Вот почему его всегда в особенности привлекали выражение глаз и улыбка.

Уже в одном из ранних своих стихотворений — «К Н.» («Твой милый взор, невинной страсти полный...», 1824) — «чистый огонь» женских глаз, в которых светится «златой рассвет» впервые зародившегося чувства любви, Тютчев противопоставляет черствым и закореневшим в «ночи греха» сердцам, в которых «правды нет». Поэт и позднее считал, что открытый и честный женский взгляд обезоруживает самое упорное злоязычие:

Как ни бесилося злоречье,
Как ни трудилося над ней,
Но этих глаз чистосердечье —
Оно всех демонов сильней.

(1865)

В полюбившихся ему очах он читал всю сложность душевных переживаний:

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалося горе,
Такая страсти глубина!

Дышал он, грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой.

(«Я очи знал,— о, эти очи!..»,
не позднее 1851)

Насколько живо чувствовал и понимал поэт красоту женской души, лучше всего показывает его стихотворение «Сияет солнце, воды блещут...» (1852):

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей...

Фет писал, что это стихотворение — «все чувство, все восторг» и что «в море» этого восторга читатель погружается с первого же полустишия. Он же восхищался тем, «каким скачком рвется вперед, со второго куплета, лиризм стихотворения» [92]. Действительно его ритмико-интонационный строй превосходно передает и преизбыток жизненных сил, которым полна окружающая поэта природа, и слабую, просветленную улыбку много страдавшего существа [93]. Перед богатством душевного мира женщины, «до дна» раскрывающегося в ее улыбке, меркнут для Тютчева все иные внешние впечатления.

---

[92] А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева. «Русское слово», 1859, февраль, отд. II, стр. 77.

[93] Первая и вторая строфы стихотворения построены на различных сочетаниях полноударных строк четырехстопного ямба и строк с пиррихием на третьей стопе. Такой ритмический рисунок этих строф способствует созданию приподнятой ликующей гаммы стихотворения, достигающей кульминации в словах: «Избытком жизни упоен». В следующей строфе ритмико-интонационное звучание стихотворения меняется, ослабевает, становится несколько замедленным. Метрическая схема строфы определяется отсутствием в ней полноударных стихов. Каждая строка звучит по-разному в соответствии с наличием пиррихия в той или иной ее стопе. Один стих (второй) имеет логическое ударение на первом безударном слоге (на слове «нет»). Ритмически очень выразительна заключительная строка: «Измученной души твоей». Основное ударение падает здесь на первое слово, причем пиррихий во второй стопе придает этому ударению особую силу и протяжность, подчеркивающую значение эпитета: «измученная». Именно такая расстановка слов в данной строке далеко не безразлична В этом нетрудно убедиться, переменив их последовательность. Можно было бы сказать: «Души измученной твоей». Смысловое содержание и стихотворный размер строки при подобной перестановке полностью сохранились бы, но зато утратилось бы ее ритмическое своеобразие, разрушилась бы изумительная по своей интонационально-эмоциональной выразительности концовка всего стихотворения.

Женщина в стихах Тютчева выше, сильнее, прямее и самоотверженнее мужчины. Этим и объясняется то, что не «он», а «она» является центральным образом любовной лирики Тютчева. Внутреннее превосходство женщины над мужчиной ярко вырисовывается из следующего признания поэта:

Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...

(«Не раз ты слышала признанье...», 1851)

В «борьбе неравной двух сердец» нежнее оказывается сердце женщины, а потому именно оно неизбежно должно «изныть» и зачахнуть. Мужчина в любовной лирике Тютчева выступает носителем «рокового», губительного начала. Он весь во власти безотчетного страстного порыва и «пламенно-чудесной» игре женского взора готов предпочесть «угрюмый, тусклый огнь желанья», мерцающий из-под «опущенных ресниц». Сам того не ожидая, он становится палачом любимой женщины:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Стихотворение, начинающееся этими строками, построено как своего рода внутренний монолог. Говоря «ты» («Давно ль... ты говорил», «Ты помнишь ли», «Твоя любовь»), поэт в сущности обращается к самому себе, но то, что он говорит, могло бы быть обращено ко многим и многим. В рамках данного лирического стихотворения заключена канва целого романа. Воссоздать развитие этого романа читатель вправе по отдельным намекам поэта, запечатлевшим его главные моменты: первую встречу, оказавшуюся «роковой», но некогда озаренную счастливым сияньем «волшебного взора» и оживленную беспечными взрывами «младенчески живого» смеха, гордость одержанной победы, мимолетную, как «северное лето», начальную пору любви и переход от сладкого «сна» к горькому пробужденью. Мы узнаем, что все эти события развернулись в сравнительно короткий промежуток времени («Год не прошел»), но столь насыщенный радостными и трагическими переживаниями. При этом, как всегда у Тютчева, основное внимание обращено на переживания женщины. Несколькими резко очерченными штрихами показывает поэт прежде всего разительные перемены, происшедшие за этот короткий срок в ее внешнем облике:

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Всё опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.

Поэт не раскрывает нам причин, почему союз двух любящих сердец принял такой «роковой» оборот, но намекает на вмешательство «суда людского», от которого «он» не смог уберечь «ее»:

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

. . . .

И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело...

В стихотворении «О, как убийственно мы любим...» (1851) сосредоточены все основные темы и мотивы, характерные для любовной лирики Тютчева, как встречавшиеся в ней ранее, так и в особенности те, которые развиваются и детализируются в других стихах «денисьевского цикла».

Тема страшной действительности, пришедшей на смену быстропролетевшему «сну» любви, возникает в творчестве Тютчева еще в тридцатые годы. Стихотворение «1-е декабря 1837» кончается словами:

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем...

Полная «избытка чувств» любовная сцена, изображенная в стихотворении «С какою негою, с какой тоской влюбленной...» (1837?), завершается резким переходом к трагическому финалу:

А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось,
Что будущность для нас обоих берегла...
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась,
Иль в сон иной бы перешла.

Мотив «толпы», поправшей самые заветные чувства женщины (как выразительно, кстати сказать, передано тяжелым скоплением согласных это грубое вторжение толпы в ее внутренний мир: «толпа, нахлынув, в грязь втоптала»), становится темой особого стихотворения:

Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн и жертв, доступных ей.

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!

(1851)

Ко многим стихотворениям Тютчева, в которых рисуется психологически сложный образ женщины, могли бы послужить эпиграфом слова: «Очарование ушло...». Ушло потому, что она осталась одна с «судом людским», не найдя в любимом человеке твердой опоры против «толпы»; ушло потому, что «союз души с душой родной» на самом деле превратился в «поединок роковой».

С наибольшей глубиной противоречивые переживания любящего женского сердца переданы Тютчевым в написанном от лица женщины стихотворении «Не говори: меня он, как и прежде, любит...» (1851). Слова, которыми оно открывается, как бы продолжают ранее начатый разговор:

Не говори: меня он, как и прежде, любит,
Мной, как и прежде, дорожит...

Не желая слушать успокоительные, но неубедительные для нее доводы ее собеседника или собеседницы и задыхаясь от нахлынувших на нее чувств, женщина горячо высказывает все, что наболело у нее на сердце:

О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я —
Но эта жизнь!.. о, как горька она!

Порывистость взволнованной живой речи, ее естественность и ненадуманность подчеркивается внутренними рифмами («тоскуя, негодуя», «увлечена, в душе уязвлена»), которые не определяют композиционного рисунка строфы, а лишь усиливают ее эмоциональную окраску. Той же цели отвечает отрывочный разговорный синтаксис двух последних строк. За отрицанием: «Я стражду, не живу» немедленно следует утверждение: «им, им одним живу я». Однако в это утверждение тут же вносится оговорка: «Но эта жизнь!.. О, как горька она». И то, что эта жизнь в сущности уже не жизнь, со всей беспощадностью раскрывается в заключительном четверостишии:

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.

Женщина гибнет в борьбе с роком, орудием которого являются люди и прежде всего любимый ею человек, но гибнет победительницей,— «судьбы не одолевшей, || но и себя не давшей победить». К ней можно применить слова из тютчевского стихотворения «Два голоса» (1850):

Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

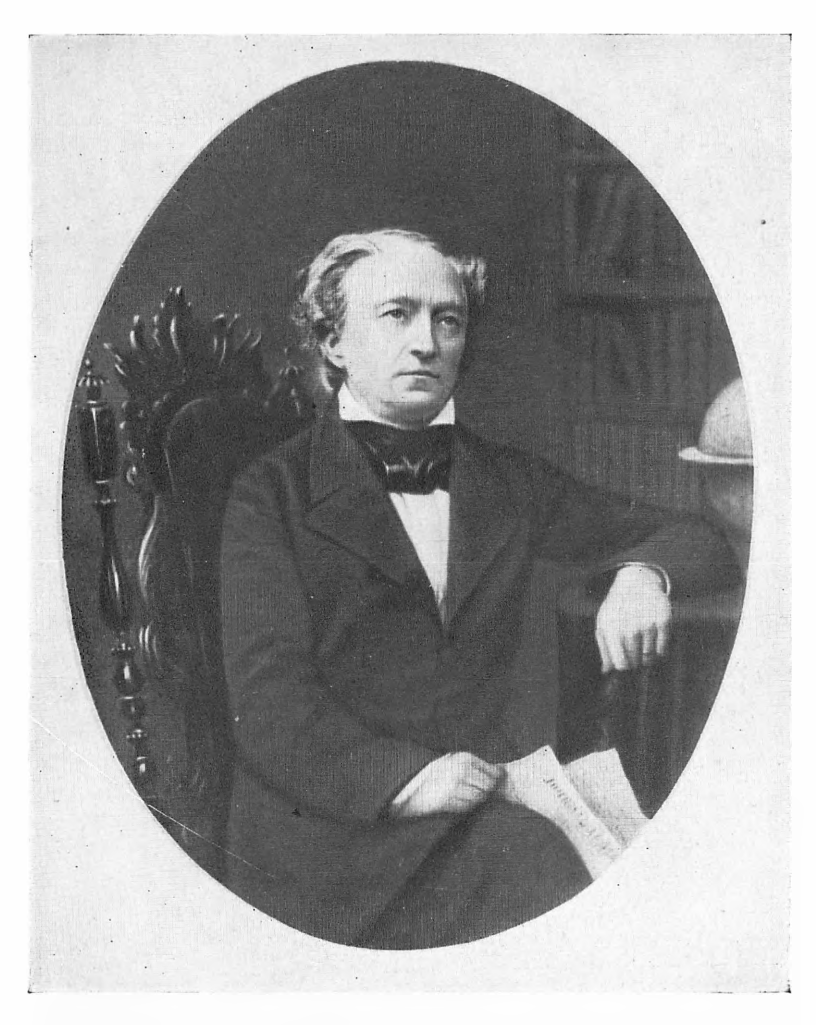
Г. А. Гуковский высказал мысль о том, что произведения любовной лирики Тютчева пятидесятых-шестидесятых годов тяготеют «к объединению лирического цикла в своего рода роман, близко подходящий по манере, смыслу, характерам, „сюжету“ к прозаическому роману той же эпохи» [94]. Б. Я. Бухштаб также склонен видеть в стихах «денисьевского цикла» своеобразный лирический роман, «психологические перипетии которого и самый облик героини напоминают нам романы Достоевского» [95]. Аналогии к любовным стихам Тютчева можно найти и в творчестве Тургенева. В рассказе «Фауст» (1856) любовь показана в своей «роковой» сущности — губительной, бессознательно овладевающей человеком страстью; даже слово «люблю» названо «роковым словом». «То, что было между нами,— говорит герой этого рассказа,— промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель...». Смерть и гибель приносит любовь и в таких повестях Тургенева, как «Первая любовь» (1860), «Несчастная» (1868) и «Клара Милич» (1882).

Возможность подобных сопоставлений говорит о том, что романтическое миропонимание не помешало Тютчеву творчески включиться в общий процесс утверждения реализма в русской литературе. Замечательная глубоким раскрытием диалектики человеческих переживаний, любовная лирика поэта, даже при наличии в ней фаталистических мотивов, составляет в целом наименее романтическую часть его творчества. В стихах о любви Тютчеву порою было дано затронуть струны, в той или иной степени звучащие в душе каждого из нас. Вовсе не нужно, например, мысленно переноситься на берег Дуная, к развалинам средневекового замка, чтобы проникнуться чарующим обаянием стихотворения «Я помню время золотое...». Оно близко нам той радостью любви, которая принадлежит к наиболее светлым юношеским воспоминаниям

---

[94] Г. А. Гуковский. Некрасов и Тютчев. К постановке вопроса. «Научный бюллетень Ленинградского гос. ун-та», № 16—17. Л., 1947, стр. 51—54.— Попытка Гуковского установить зависимость тютчевской любовной лирики пятидесятых-шестидесятых годов от любовной лирики Некрасова не представляется убедительной. Критический разбор некоторых его выводов и наблюдений см.: Б. О. Корман. Некрасов и Тютчев (заметки). «Некрасовский сборник», III. М.— Л., 1960, стр. 208—222.

[95] Б. Бухштаб. Ф. И. Тютчев, стр. 35.



Ф. И. Тютчев.

Раскрашенная фотография. Начало 1850-х годов.



Е. А. Денисьева.

Акварель Иванова. Начало 1850-х годов.

человека. Вместе с тем никто из русских поэтов, кроме Тютчева, не сумел с такой трагической силой передать чувство, вызываемое утратой любимой женщины, утратой не через разлуку, не через измену, а через смерть. Шедеврами не только тютчевской лирики, но и всей русской поэзии являются такие его стихотворения, как «Весь день она лежала в забытьи...» (1864), «Есть и в моем страдальческом застое...» (1865), «Накануне годовщины 4 августа 1864» (1865). Связанные с памятью Е. А. Денисьевой, эти стихотворения драгоценны не только как потрясающие по остроте переживания биографические документы, но прежде всего как произведения большой художественно-психологической силы.

В первом стихотворении поэт с неподдельной искренностью делится с читателем, словно с близким ему человеком, воспоминаниями о горчайших минутах своей жизни, стараясь во всех подробностях воссоздать последовательность пережитого. Все стихотворение, за исключением двух строк, обращенных непосредственно к той, которой уже нет, окрашено простотой и непринужденностью устного повествования:

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.

Вторая строка с необыкновенной точностью передает зрительное впечатление от постепенно тускнеющих в умирающем человеке признаков жизни.

Лил теплый летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.

Что может быть выразительнее, в данном случае, самых простых эпитетов «теплый» и «летний»? Сентименталист или романтик не преминул бы подыскать к дождю какой-либо иной эпитет: унылый, печальный. Он заставил бы дождь оплакивать молодую женщину, часы которой сочтены. Тютчев даже в минуты сокрушающего его горя, у постели угасающей возлюбленной, помнит о том, что жизнь торжествует над увяданьем, над болезнью, над смертью: он слышит за окном «веселый» — не грустный, не однообразно унылый, а именно веселый — шум летнего дождя.

И этот веселый шум выводит из забытья умирающую, и присущая ей любовь к жизни вспыхивает в последний раз, преодолевая смертельный недуг:

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»

Настойчивым повторением союза «и» и нагнетанием одних и тех же звуков в ударных стопах поэт заставляет почувствовать усилие, с каким приходит в себя и вслушивается в шум дождя умирающая. Последняя строка: «О, как все это я любила!» отзывается тяжким вздохом — «блаженством и безнадежностью». Паузу между третьей и четвертой строфами Тютчев отмечает целой строкой точек. В заключительной строфе описание сменяется обращением к ушедшей. Поэт подхватывает последнее произнесенное ею слово — «любила»:

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!
О господи!.. и это *пережить...*
И сердце на клочки не разорвалось...

Тютчев знает, что время лечит душевные язвы и притупляет боль утраты, и это кажется ему самым ужасным. Острота боли для него отраднее, чем омертвение мыслей и чувств, полное равнодушие ко всему, даже к своей потере. Страстная мольба о том, чтобы навсегда сохранить эту остроту боли, звучит в стихотворении «Есть и в моем страдальческом застое...»:

О, господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял *ее,* но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней,—

По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе,—

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.

Иным настроением проникнуты певучие и скорбно-задушевные строфы стихотворения «Накануне годовщины 4 августа 1864»:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Настоящее горе не ищет вычурных слов для своего выражения. В этом стихотворении, кроме излюбленного Тютчевым эпитета «роковой» и неходового глагола «витать», все слова простые и обыкновенные. Но ведь «самое обычное, изо дня в день произносимое слово как бы обновляется, вступая в строй поэтической речи. Оно становится полнозвучным и полновесным» [96]. Так и тут. Почти каждое слово при своей кажущейся обыкновенности приобретает в соседстве с другими особое смысловое и эмоциональное значение. Трогательно и тепло звучат обычные житейские обращения «друг мой» и «ангел мой». Стихотворение написано тем же размером, что и лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...»,— пятистопным хореем, в обоих случаях как нельзя более отвечающим элегически-медитативному содержанию. Тональность стихотворения «Накануне годовщины 4 августа 1864» иная, чем в стихотворении «Есть и в моем страдальческом застое...». Потрясенный своей утратой, Тютчев писал в одном письме: «Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...» [97]. Но если уж ее нет около него, то поэту хотелось бы сохранить о ней хоть «муку вспоминанья»; свыкнуться с потерей он не может. Не столько даже мольбой, сколько требованием, чтобы ему дано было изведать такую муку, и заканчивается стихотворение «Есть и в моем страдальческом застое...» с его настойчивыми повторами «по ней, по ней».

Размеренный и несколько однообразный ритмико-интонационный склад стихотворения «Накануне годовщины 4 августа 1864» прекрасно передает настроение задумчивой сосредоточенности поэта. Мы верим, что ему еще очень тяжело, что он ощущает себя разбитым и нравственно, и физически («замирают ноги»), но вместе с тем мы чувствуем, что он уже на пути к тому, чтобы примириться со своим положением. И уже не острота боли нужна поэту, а иллюзия того, что не вовсе порвана духовная связь между ним и близкой ему женщиной («ты видишь ли меня?»).

Однажды Тютчев написал горькие в своей правдивости строки:

Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья,—
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...

(1867)

---

[96] С. Маршак. Заметки о мастерстве. Слово в строю. «Вопросы литературы», 1960, № 3, стр. 142.

[97] Письмо к А. И. Георгиевскому от 8 августа 1864 г. «Стихотворения. Письма», стр. 445.

Но поэту были ведомы и другие настроения,— настроения, которые Батюшков выразил в словах:

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной
. . . .
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
(«Мой гений»)

Так и в воображении Тютчева «память сердца» воскрешала живые, хотя и недосягаемые образы тех, кого он любил.

Через десять лет после смерти первой жены, утрата которой вызвала настоящий «бунт» [98] в его душе, Тютчев посвятил ее памяти восьмистишие, овеянное умиротворенной и нескудеющей нежностью:

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...
(1848)

До какой степени, несмотря на удары жизни, живуча была в поэте «память сердца», и насколько дорожил он однажды возникшим глубоким чувством, показывает его стихотворение «Я встретил вас — и всё былое...» (1870). Оно написано под впечатлением случайной встречи с той, чей юный облик он запечатлел некогда в стихах: «Я помню время золотое...». С тех пор прошли многие годы, прошла в сущности вся жизнь...

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,—
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,—
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Любовная лирика Тютчева представляет собой единственное в своем роде явление русской поэзии. При всем умении поэта подыматься в своих художественных образах до общечеловеческих обобщений, при способности его проникать в сокровенные глубины

---

[98] «La révolte contre la mort» («Бунт против смерти») — выражение из письма Тютчева к Е. Ф. Тютчевой, 1870 г.— Собрание К. В. Пигарева.

переживаний человека, эти стихи о любви в исключительной степени индивидуальны и субъективны. Любовь в изображении Тютчева ни в коей мере не может служить нравственной «нормой», какой, например, она выступает в стихотворениях Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может...» и «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...». В этих стихах Пушкиным полностью преодолено эгоистическое чувство любви для себя,— чувство, от которого никогда не мог окончательно освободиться Тютчев. Биографические факты говорят о том, что подобная самоотверженность в любви не была ему свойственна, и это преломилось в его поэзии в трагическом образе «рокового поединка». Но в то же время мы находим в стихах Тютчева поразительные примеры сурового и безжалостного саморазоблачения, ясного сознания своей вины перед любимой женщиной, открытого признания ее духовной красоты и силы; находим «полное равновесие» художественного чувства и чувства «глубокой человечности», столь ценимое в искусстве самим поэтом.

5

Примерно четвертую часть поэтического наследия Тютчева составляют стихотворения на общественно-политические темы. Представленные сравнительно редкими образцами в творчестве поэта заграничного периода («14-е декабря 1825», «Могила Наполеона», «Олегов щит», «Как дочь родную на закланье...», «К Ганке»), они значительно учащаются в петербургский период, а для некоторых годов являются преобладающими.

Тютчев принадлежал к числу тех писателей, которых при всем их различии между собою объединяло, по словам М. Горького, «одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле» [99]. Мы знаем, что поэт жестоко ошибался в своих исторических прогнозах, и то, что казалось ему самому политической дальнозоркостью, в действительности часто оборачивалось политической слепотой. Но это было не столько виной, сколько бедой человека, который все же имел полное право говорить о себе, что он «русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле» [100].

Подлинные ценители поэзии Тютчева относились открыто несочувственно к тем его политическим стихам, в которых он выступал пропагандистом славянофильских и даже панславистских идей. В примечаниях к своему переводу книги английского буржуазного историка Кинглека «The Invasion of Crimea» («Вторжение в Крым») Н. Г. Чернышевский, опровергая мнение Кинглека о будто бы постоянно присущем русской нации духе воинственности,

---

[99] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, М., 1953, стр. 66.

[100] Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. Изд. 6. Редакция П. В. Быкова. СПб., изд. Т-ва А. Ф. Маркс, [1912], стр. 431.

упоминает, что в период Крымской войны стихотворения, проникнутые подобным настроением, писал «даже истинный поэт» Тютчев, но что «эти стихи были не для народа» и «остались неизвестны ему»[101]. Свое резко отрицательное отношение к политической лирике Тютчева выразил Тургенев в письме к Фету от 21 августа 1873 года, написанном по получении известия о смерти поэта: «Глубоко жалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах; а те стихи, в которых он был им, те-то и скверны. Самая сущная его суть,— le fin du fin,— это западная, сродни Гёте, напр.: „Есть в светлости осенних вечеров...“ и „Остров пышнааай, остров чуднааай...“ К. Аксакова[102] нет никакого соотношения. То — изящно выгнутая лира Феба; а это — дебелый, купцом, пожертвованный колокол»[103]. Неприемлемы были стихи Тютчева на политические темы и для Л. Н. Толстого. В дневнике В. Ф. Лазурского записан очень характерный в этом отношении разговор с Толстым. Речь зашла о первом знакомстве Толстого с поэзией Тютчева и о первом сборнике его стихотворений. Лазурский стал расспрашивать о последующих изданиях. «А потом он стал писать вздор, чепуху такую, что ничего не поймешь — это славянофильские стихотворения»,— ответил Толстой. Присутствовавший при беседе Н. Н. Страхов возразил, что «ведь среди этих есть превосходные». «Все вздор»,— твердил Толстой «шутливо, но упорно»[104].

Позднейшие критики и литераторы, как правило, видели в этих стихах Тютчева наименее ценную и жизнеспособную часть творческого наследия поэта. С наибольшей прямолинейностью заявил об этом однажды Андрей Белый: «Славянофильская абстракция Тютчева перепортила Тютчеву ряд стихов: в нем художник с мыслителем только смешаны, а не слиты; русского самосознания нет в поэзии Тютчева»[105].

Бесспорно, общественно-политическая лирика Тютчева в целом сохраняет в наших глазах лишь весьма ограниченный исторический (а порою и еще более узкий — биографический) интерес и не может взволновать читателя иной эпохи и иного мировоззрения. Теперь едва ли возможно поднять значение этой лирики указанием на внутреннюю связь между нею и философской лирикой поэта, хотя такая связь и существует. В свое время ее очень точно определил А. Лаврецкий: «...политические и исторические взгляды

---

[101] Н. Г. Чернышевский. Рассказ о Крымской войне (по Кинглеку).— В кн.: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. X. М., 1951, стр. 337.— Труд Чернышевского не закончен и при его жизни напечатан не был.

[102] Названное Тургеневым славянофильское стихотворение принадлежит не К. Аксакову, а Хомякову и называется «Остров».

[103] А. Фет. Мои воспоминания, ч. II. М., 1890, стр. 278—279.

[104] Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 20 июля 1894 г. «Литературное наследство», вып. 37—38. М., 1939, стр. 469.

[105] А. Белый. Александр Блок.— В кн.: Андрей Белый. Поэзия слова. Пг., 1922, стр. 122.

Тютчева — это те же его философско-метафизические воззрения, переведенные, а часто и не переведенные на язык политических терминов. Здесь та же основная точка зрения, которая так художественно выражена им в стихах. Это — применение в области политики и истории метафизических идей тютчевской поэзии. В России видит Тютчев-публицист гарантию осуществления того, к чему он стремится, как поэт-философ: устранения хаоса из человеческих отношений; отрицание личного начала, против которого он так восстает в своей лирике» [106]. Развивая эту мысль, можно установить известную аналогию между «златотканным» покровом дня, наброшенным над «безымянной» бездной космических ужасов, и пышной мантией «всеславянского царя», которою Тютчев настойчиво, но безуспешно старается прикрыть «бунтующее море» революций. Но если поэтические образы философской лирики Тютчева поражают воображение своей художественной силой и глубиной, то образы его стихотворений на общественно-политические темы чаще всего представляются надуманными и риторичными. Как верно отмечает Б. Я. Бухштаб, «говорят ли эти стихи о славянстве, о папстве, о лютеранстве, о Востоке и Западе, о судьбе и призвании России или о войнах и революциях, современных Тютчеву,— они ближе к статьям Тютчева, чем к основным его поэтическим произведениям» [107]. Однако, отвергая все идейное реакционное и художественно неполноценное в этом разделе тютчевской лирики, было бы большой ошибкой зачеркнуть его полностью. Необходимо в оценке поэтического наследия Тютчева проявлять ту же объективность, пример которой показан нам Добролюбовым. А ведь именно он наряду с прочими достоинствами отметил в тютчевской поэзии «глубокую думу, вызываемую... интересами общественной жизни».

Конечно, говоря вслед за великим критиком о наличии в творчестве Тютчева такой «думы», мы не имеем в виду ни его фантастическую «русскую географию», ни его «пророчества» о восстановлении христианского алтаря под «сводами древними Софии». Эти и подобные им стихи в сущности уже в момент своего появления были осуждены историей. Но есть у Тютчева такие стихотворения, которые оказывались созвучными мыслям и переживаниям лучших русских людей. Его стихи «Русской женщине» привел Добролюбов в одной из программных своих статей — «Когда же придет настоящий день?», написанной по поводу романа Тургенева «Накануне». Касаясь судьбы героини романа Елены, Добролюбов замечает: «...мы рады, что она избегла нашей жизни и не оправдала на себе эти безнадежно-печальные, раздирающие душу

---

[106] Ал. Лаврецкий. Взыскующий благодати (Ф. И. Тютчев: поэт и поэзия). «Слово о культуре. Сборник критических и философских статей». М., 1918, стр. 62—63.

[107] Б. Бухштаб. Ф. И. Тютчев, стр. 36.

предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России:

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои.

И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле,—
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле...» [108]

Несмотря на обобщенное заглавие, это стихотворение, вероятно, обращено к конкретному адресату, какому — неизвестно. Можно назвать еще одно стихотворение Тютчева, которое вызвало к себе горячее сочувствие в прогрессивных демократических кругах русского общества,— «Эти бедные селенья». В позднейшей литературе о Тютчеве стихи эти нередко рассматривались как выражение славянофильских представлений о русском народе, народе-«богоносце». Первые строки:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа

не раз цитировались в доказательство того, насколько ближе Тютчеву были «чудные», «роскошные», «волшебные» панорамы Италии или Швейцарии. Все это так. И славянофильскую концепцию русского народа Тютчев усвоил — об этом достаточно ярко свидетельствуют его политические статьи; и субъективно всегда предпочитал Юг Северу — ведь на антитезе «блаженного» Юга и «рокового» Севера построено несколько его стихотворений («Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...», «Глядел я, стоя над Невой...», «Вновь твои я вижу очи...», «На возвратном пути»). Но в данном стихотворении не это главное. Очевидно, не пропаганду славянофильских идей, а нечто значительно более глубокое и серьезное усмотрели в нем такие читатели, как Тарас Шевченко и Чернышевский. Великий украинский поэт, изведавший крепостную неволю, с «наслаждением» прочитал стихи Тютчева, когда они впервые появились в журнале «Русская беседа» в 1857 году, и тут же

---

[108] Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в трех томах, т. 3, М., 1952, стр. 67.

переписал их в свой дневник [109]. Тогда же стихотворение обратило на себя внимание Чернышевского. В черновой рукописи его обзора «Заметки о журналах. Апрель 1857» имеются следующие строки, по неизвестным причинам не попавшие в печатный текст: «Давно мы не говорили о стихах — это потому, что давно мы не встречали в наших журналах таких стихотворений, которые заслуживали бы особенного одобрения своими художественными достоинствами. Теперь мы должны указать читателям на прекрасные пьесы, помещенные г. Тютчевым во 2-ой книге „Русской беседы", из которых приводим первую» [110]. Далее полностью выписано стихотворение «Эти бедные селенья...».

Другие стихотворения, отмеченные Чернышевским, были «Вот от моря и до моря...» и «О, вещая душа моя!..». Первое из них написано в один день со стихами «Эти бедные селенья...», 13 августа 1855 года, в городе Рославле Смоленской губернии, на пути из Москвы в Овстуг, и проникнуто тревожным ожиданием «севастопольских вестей». Современный нам исследователь справедливо устанавливает внутреннюю связь между этими двумя стихотворениями, считая, что строфы «Эти бедные селенья...» «подсказаны не только непосредственными впечатлениями от зрелища угнетенной крепостным рабством страны, но и мыслями о неисчислимых страданиях защитников Севастополя — простых русских солдат, в исключительно тяжелых условиях с беспримерным героизмом отстаивавших свою родину» [111]. Возможность широкого осмысления, теплота чувства, сквозящая не только в словах «край родной», «земля родная», но и в самой интонации стихотворения, делали его понятным и близким тем, кого волновали судьбы русского народа. Впоследствии, в 1899 году, народник П. Ф. Якубович, критикуя состав выпущенного В. Д. Бонч-Бруевичем сборника «Избранные произведения русской поэзии», негодовал на то, что в нем отсутствует «даже такой перл поэзии, как „Эти бедные селенья..."» [112].

Есть у Тютчева еще одно стихотворение, навеянное раздумьями о рабском состоянии русских крестьян. Оно написано в родных орловских местах, в самом Овстуге. В некоторых изданиях (1868, 1886) стихотворение озаглавлено «Народный праздник». Заглавие это не принадлежит поэту и, очевидно, появилось на основании устных свидетельств о тех впечатлениях, при которых возникло стихотворение. Дата его написания (15 августа 1857 года) действительно совпадает с церковным праздником Успенья. На какие

[109] Т. Шевченко. Повне зібрання творів, т. 5, Київ, 1951, стр. 116.

[110] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1948, стр. 964.

[111] Примечания Д. Д. Благого в кн.: Ф. Тютчев. Стихотворения. Л., 1953 («Библиотека поэта». Малая серия, изд. 2), стр. 367—368.

[112] В. Бонч-Бруевич. Моя переписка с народниками. «На литературном посту», 1927, № 24, стр. 34.

же мысли навело поэта зрелище праздничного крестьянского люда?

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет,—
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

Концовка стихотворения славянофильская: только в христианской религии всепрощения сможет русский народ обрести врачевание нанесенных ему оскорблений. Кстати сказать, несмотря на категорическое утверждение Л. Толстого, что все общественно-политические стихи Тютчева — «вздор», он признавал это стихотворение, так как оно отвечало его собственным религиозно-нравственным убеждениям [113]. Но нельзя отрицать, что Тютчев нашел сильные и точные слова, чтобы выразить бесчеловечие крепостного права. В первоначальной редакции этого стихотворения чувство поэта сказалось с еще большей резкостью. Второй строфы в тексте не было вообще, а последняя читалась так:

Смрад, безобразье, нищета,—
Тут человечество немеет;
Кто ж это все прикрыть сумеет?..
Ты, риза чистая Христа!

В общем контексте со всеми этими стихотворениями общественное звучание могут приобрести и такие стихотворения Тютчева, как «Слезы людские, о слезы людские...» и «Пошли, господь, свою отраду...». При всей их кажущейся нейтральности и общечеловечности они все же существенно отличаются от его стихов заграничного периода и невольно внушают мысль о своей опосредствованной связи с русской действительностью. Это отличие в особенности становится ясным при сравнении их с близкими им по темам и образам стихотворениями двадцатых-тридцатых годов.

---

[113] В принадлежавшем ему сборнике стихотворений Тютчева Толстой отметил эти стихи условными буквами «Т. Г.», т. е. «Тютчев (своеобразие), глубина». См.: С. Т[о л с т о й]. Л. Н. Толстой о поэзии Ф. И. Тютчева. «Толстовский ежегодник». М., 1912, стр. 148.

В 1823 году Тютчевым было написано стихотворение «Слезы». Ему предпослан латинский эпиграф: «O lacrimarum fons...» («О, источник слез...»), заимствованный у английского поэта Томаса Грея, который писал свои ранние стихи по-латыни. Выражение «источник слез» повторяется потом в самом тексте тютчевского стихотворения и, воспринимаясь уже как цитата, подчеркивает его литературное происхождение. Перечислив целую вереницу милых ему образов окружающего мира, поэт, наконец, называет то, что в особенности неотразимо действует на его душу:

Но что все прелести пафосския царицы,
И гроздий сок, и запах роз
Перед тобой, святый источник слез,
Роса божественной денницы!..

Это типичное сентиментально-романтическое любование слезами, в которых смертный находит чистое наслаждение и духовное прозрение («...небо серафимских лиц || вдруг разовьется пред очами»). Основа стихотворения книжная, а потому оно не волнует и не трогает нас.

Совсем иное впечатление производит другое стихотворение — знаменитое «Слезы людские, о слезы людские...» (1849?). Оно состоит всего лишь из шести строк:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,—
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Художественное обаяние этих строк заключается в полном соответствии их словесного и метрико-ритмического строя лирическому содержанию стихотворения. Оно написано четырехстопным дактилем, который является, если можно так сказать, самым грустным из стихотворных размеров. Интонация неизбывной грусти достигается усиленными повторами слов и созвучий, в частности введением дополнительной внутренней рифмы в четвертом стихе: «...льетесь незримые, || неистощимые, неисчислимые».

Стихотворения «Слезы» и «Слезы людские, о слезы людские...» принадлежат двум разным историческим эпохам и двум разным поэтическим культурам. Первое, напечатанное в 1827 году, по своему содержанию и стихотворной технике было несколько запоздалым уже для того времени, когда появилось; второе, согретое подлинным гуманизмом, является одним из лучших произведений русской реалистической поэзии. И хотя оно лишено какого-либо конкретного намека на современную поэту действительность, читатель имел основание относить его прежде всего к придавленному нищетой и бесправием русскому народу. Тем самым стихо-

творение «Слезы людские, о слезы людские...» становилось в один ряд со стихотворением такой открыто общественной направленности, как «Русской женщине».

То же следует сказать и о стихах «Пошли, господь, свою отраду...» (1850). В сущности это стихи о человеке вообще,— человеке, бредущем «жизненной тропой». Образ «бедного нищего» понадобился поэту лишь для сравнения, но развернутость сравнения придала этому образу самодовлеющее значение. Он запоминается независимо от своего символического смысла, и запоминается не как просто нищий, а как русский нищий. Тютчев, несомненно, зарисовал его с натуры либо в Петербурге, либо в какой-либо из загородных царских резиденций. Поэта поразил контраст между убогим видом нищего и пышностью того «фона», на котором он предстал его взору: узорной решетки сада или парка [114], тенистой купы деревьев, зеленого, вероятно, тщательно подстриженного садовником, газона лужаек. Нищий перед решеткой и сад за решеткой — это два разных мира. Лишь «вскользь», лишь «через ограду» может нищий смотреть на то, что для него запретно, и какой сложный рой чувств должно все это вызывать в его душе!

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освежит.

Уделом нищего остается брести мимо по раскаленной от летнего зноя мостовой. Так, неожиданно для Тютчева, но очень выразительно прозвучала в его стихотворении тема социального неравенства.

И опять-таки напрашивается сопоставление между стихотворением «Пошли, господь, свою отраду...» и написанным за двадцать лет до него стихотворением «Странник» (1830). Здесь — «бедный нищий», там — «бедный странник», но первый — собрат Антона-горемыки, в чаянии милостыни забредший в город, а второй — романтический скиталец, перед которым «дивный мир» со всем «разнообразием своим» расстилается «в утеху, пользу, назиданье» [115]. Художественное значение этих двух стихотворений

---

[114] У Тютчева сказано: «...бедный нищий мимо саду||бредет по жаркой мостовой», но в другом стихотворении («Осенней позднею порою...») поэт называет «садом» царскосельский парк.

[115] Можно, впрочем, указать в творчестве Тютчева середины тридцатых годов одно стихотворение, в котором нищенство, бродяжничество показано как явление социальное,— «Пришлося кончить жизнь в овраге...», но сти-

несоизмеримо. Недаром Тургенев писал в своей статье о Тютчеве: «...такие стихотворения, каковы —

Пошли, господь, свою отраду...

и другие, пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом»[116].

Из других произведений общественно-политической лирики Тютчева сохраняют для нас интерес и значение либо те, в которых «аллегорическая образность, лишаясь конкретных очертаний, становится многозначной»[117], либо те, объективный смысл которых оказывается шире их субъективного содержания.

К первым относятся два превосходных стихотворения — «Море и утес» (1848) и «Молчит сомнительно Восток...» (1865). Для того, чтобы оценить их художественное совершенство, исторический комментарий не только не обязателен, но попросту не нужен; он мешает непосредственности читательского восприятия. Забывая о политическом подтексте стихотворения «Море и утес», Толстой в принадлежавшем ему экземпляре стихов Тютчева отметил его буквами «Т. К.», т. е. «Тютчев (своеобразие), красота». Как бы ни сочувствовал И. Аксаков мысли о национальном и политическом пробуждении восточных славян, скрытой в стихотворении «Молчит сомнительно Восток...», но и он считал, что образ восходящего солнца «сам по себе так самостоятельно хорош, что очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то не подчинился ей, а вылился свободно и независимо»[118].

Вторую группу стихотворений составляют такие, как «Современное», «К Ганке», «Славянам» («Они кричат, они грозятся...»), «Два единства», «Умом Россию не понять...».

Первое стихотворение — «Современное» (1869)) — написано в связи с торжествами в Турции по случаю завершения строительства Суэцкого канала. Как известно, Египет в то время находился под властью турецкого султана, а прорытие канала осуществлялось в значительной степени на средства французских капиталистов и по проекту французского предпринимателя Лессепса. Окончание работ праздновалось в Константинополе с чисто восточной пышностью. На торжествах среди прочих коронованных иностранных гостей присутствовали Наполеон III и его жена, императрица Евгения.

Тютчев мог заблуждаться и ошибаться, но он не кривил душой в своих политических стихах и не терпел лжи и фальши в поли-

---

хотворение это не оригинально, а представляет собой довольно близкий, хотя и неотделанный перевод песни Беранже «Le vieux vagabond» («Старый бродяга»). Тем не менее самое обращение Тютчева к этому произведению заслуживает внимания.

[116] И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 11, стр. 167.

[117] В. Гиппиус. Ф. И. Тютчев, стр. 22.

[118] Аксаков, стр. 118.

тике. Стихотворение «Современное» проникнуто убийственной иронией по адресу «благодушного падишаха» и его «милых западных друзей», которые собрались «погулять на счет пророка»:

Как в роскошной этой раме
Дивных гор и двух морей
Веселится об исламе
Христианский съезд князей!

И конца нет их приветам,
Обнимает брата брат...
О, каким отрадным светом
Звезды Запада горят!

Но к концу стихотворения голос поэта неожиданно становится серьезным, а слова наполняются гневным смыслом:

Только там, где тени бродят
По долинам и горам
И куда уж не доходят
Эти клики, этот гам,—

Только там, где тени бродят,
Там, в ночи, из свежих ран
Кровью медленно исходят
Миллионы христиан...

Эти строфы намекают на непрекращавшееся, несмотря на жестокие репрессии со стороны турецкого правительства, национальное движение христианских народов на Балканах. Когда Тютчев писал свои стихи, еще памятно было восстание греческого населения острова Крита против турецкого владычества, внушившее поэту такие строки:

Опять Восток дымится свежей кровью,
Опять резня... повсюду вой и плач,
И снова прав пирующий палач,
А жертвы... преданы злословью!

(«Хотя б она сошла с лица земного...», 1866)

Хотя события, на которые откликался Тютчев, и далеки от нас, нельзя отказать ему в том, что он ясно понимал двуличие буржуазных правительств, на словах готовых руководствоваться гуманистическими, религиозными и нравственными принципами, на деле же подчиняющих свою политику корыстным интересам данного момента. Именно это понимание и делает стихотворение Тютчева «Современное» интересным и значительным вне зависимости от непосредственно вызвавшей его исторической обстановки.

Как бы ни были чужды нашему сознанию тютчевские идеи о будущем славянства, значение некоторых стихотворений его на эту тему все же вышло за пределы породившей их исторической эпохи.

Стихи, обращенные к Вацлаву Ганке,— «Вековать ли нам в разлуке?..» (1841) — еще лишены не только панславистской, но и славянофильской тенденции. В них нашло выражение естественное для русского человека родственное чувство к братскому чешскому народу. Заключительные же строки:

И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам,—
Наяву увидят внуки
То, что снилося отцам!

— звучат как пророчество, сбывшееся уже в наше время.

Стихотворение «Славянам» («Они кричат, они грозятся...», 1867) имеет эпиграфом слова австрийского министра иностранных дел графа фон Бейста, проводившего политику подавления славянского народонаселения Австро-Венгрии: «Man muß die Slaven an die Mauer drücken» («Славян должно прижать к стене»). Стихи были прочитаны 21 мая 1867 года на банкете, данном Москвой в честь делегации славянских стран, которая приезжала на Всероссийскую этнографическую выставку. Проблема роли Австрии в истории славянства занимала Тютчева еще в пору его работы над трактатом «Россия и Запад» в 1849 году. Тогда он писал, что именно Австрия «выражала факт преобладания одного племени над другим: племени немецкого над славянским». И далее: «Немецкий гнет не только гнет политический, но во сто раз хуже, ибо истекает из той мысли, что преобладание немца над славянином — право естественное» [119]. В чем историческое чутье никогда не изменяло Тютчеву, так это в ясном сознании, что растущий германский милитаризм представляет общую угрозу для России и для других славянских народов. В 1870 году, в разгар франко-прусской войны, Тютчев написал стихотворение «Два единства»:

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство,— возвестил оракул наших дней,—
Быть может спаяно железом лишь и кровью»...
Но мы попробуем спаять его любовью,—
А там увидим, что прочней...

Под «оракулом наших дней» Тютчев иронически подразумевает Бисмарка. Его формуле германского единства он стремится противопоставить свою формулу славянского единства. К семидесятым годам тютчевское представление об этом единстве уже начало утрачивать прежний великодержавный и панславистский характер. В одном из своих писем этого времени он писал: «Самому

[119] Подлинник по-французски.— Аксаков, стр. 212—213.

русскому обществу, самой независимой и самой национально настроенной его части надлежит... всеми возможными средствами расширять всякого рода сношения со славянами, в области языка, религии, искусства, промышленности,— одним словом, во всем, что, объединяя их между собою, могло бы связать с Россией рассеянные члены великой Семьи» [120].

Стихотворение «Они кричат, они грозятся...» было впервые напечатано в дни славянского съезда 1867 года в России под заглавием «Австрийским славянам». В нескольких рукописях поэта оно названо просто «Славянам», и нет оснований суживать его значение. Слова фон Бейста: «Славян должно прижать к стене», по-видимому, понимались Тютчевым как выражение не только австрийской точки зрения на славянство. Будущее показало, что это понимание поэта было исторически оправданным, что именно такая точка зрения достигла своего предельного развития в идеологии пруссачества. Россия, по убеждению Тютчева, являлась естественным и надежным оплотом славянских народов,— «стеной», готовой оградить их национальное бытие. Стихотворение «Славянам» замечательно той силой убеждения, с какой поэт высказывает мысль о неуязвимости этой «стены» для всяких посягательств извне:

Ее не раз и штурмовали —
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней живой.

. . . .

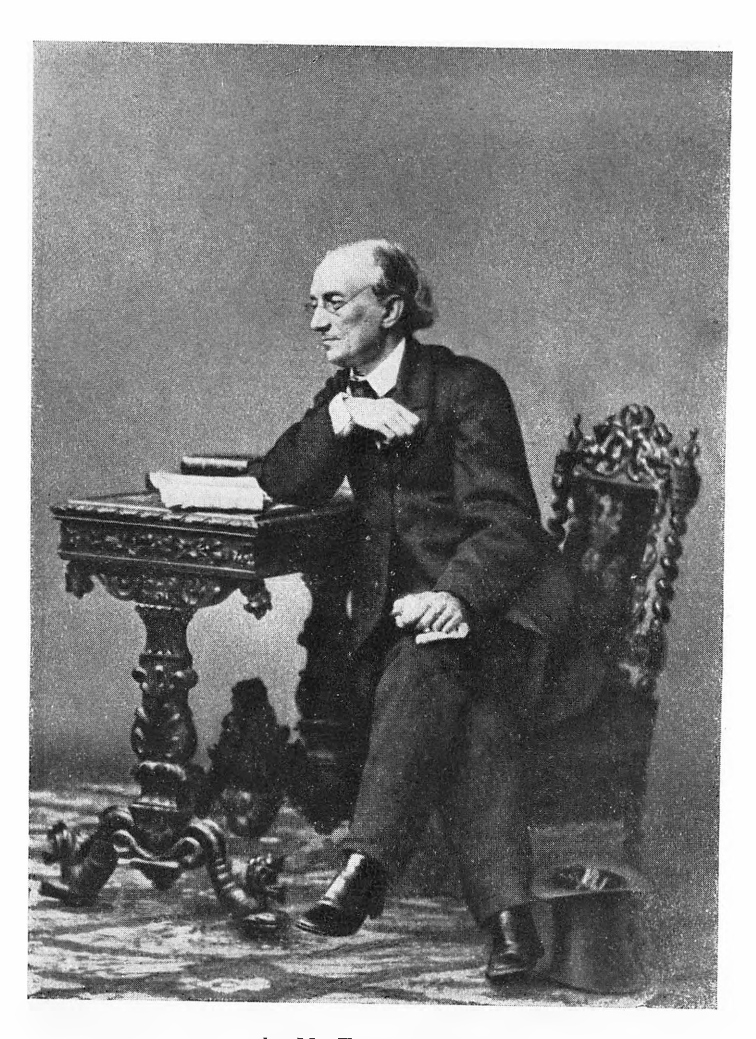
Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их,—
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

Эти меткие тютчевские формулы оказались как нельзя более современными в условиях Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Стихотворение «Славянам» не раз перепечатывалось наряду с призывавшими

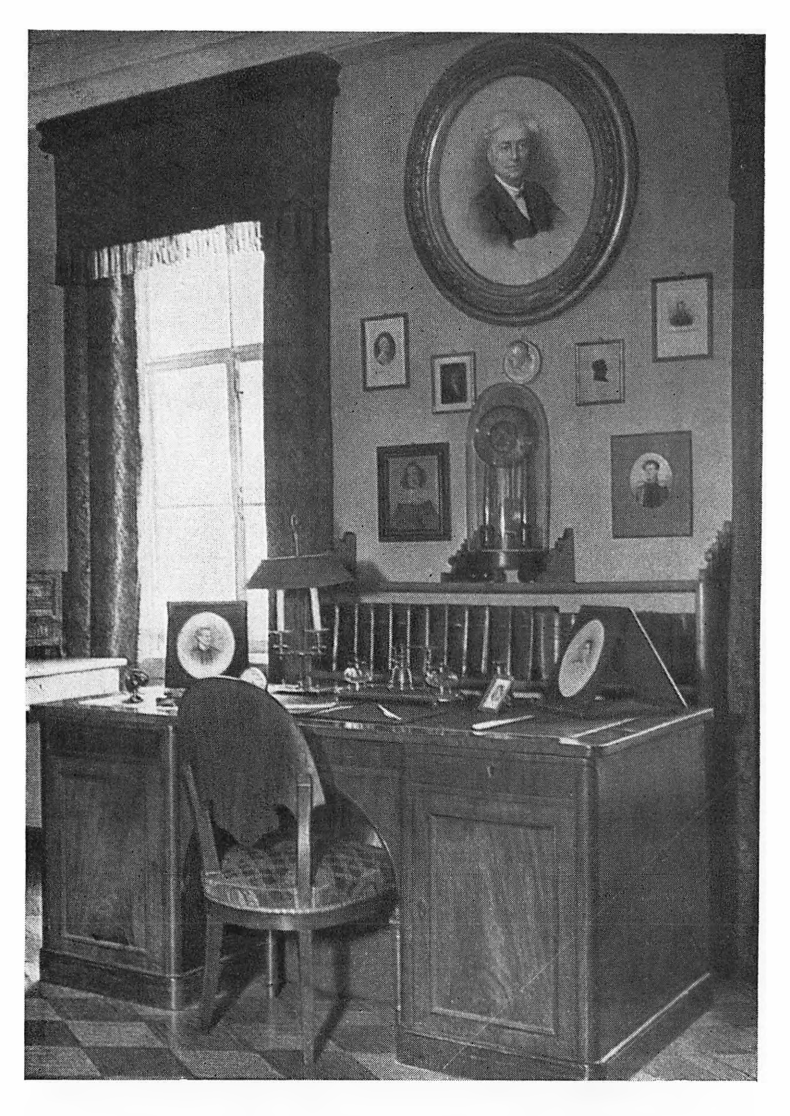
---

[120] Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой от 6 декабря 1871 г. Подлинник по-французски.— Аксаков, стр. 217.



Ф. И. Тютчев.

Фотография. 1860-е годы.



Кабинет Тютчева в Музее-усадьбе «Мураново»

к борьбе стихами советских поэтов, его можно было видеть на листке отрывного календаря, слышать с импровизированной фронтовой эстрады.

Столь же понятна и новая жизнь, какою зажило в грозные дни Великой Отечественной войны другое стихотворение Тютчева — известное четверостишие «Умом Россию не понять...» (1866). В разное время и при разных исторических обстоятельствах цитировалось оно с тех пор, как впервые в 1868 году появилось в печати, но, может быть, именно наша эпоха наполнила его афористические строки тем вещим смыслом, о котором и не догадывался сам поэт. Очень интересный эпизод рассказан в мемуарах участника Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Н. К. Попеля: «...красноармейцы и младшие командиры забрались в две свалившиеся в кювет полуторки. Несколько дней назад подбили эти машины, на которых эвакуировалась городская библиотека. Бойцы набросились на книги... В наклонившейся набок полуторке размахивает длинными руками высокий худой сержант:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

...Сержант декламирует с „подвывом“, как заправский поэт. В книгу не заглядывает, Тютчева знает наизусть». От Тютчева чтец перешел к Блоку, а затем, разговорившись с командиром, сказал: «Сейчас книга столько сказать может. И о немцах и о нас. Вон как Блока и Тютчева слушают...»[121].

Так отдельные произведения тютчевской общественно-политической лирики становятся порою созвучными думам и настроениям позднейших поколений, какие бы изменения ни вносила история в самое содержание этих стихов.

6

В некоторых дореволюционных и советских изданиях стихотворений Тютчева в особый раздел выделены переводы, которые в других изданиях помещены среди оригинальных стихов поэта. И в том, и в другом есть своя логика.

Обособление переводов дает возможность нагляднее представить чисто количественное место их в творчестве Тютчева, уяснить, кто из иностранных поэтов и в какие годы пользовался его преимущественным вниманием, полнее осознать значение поэта в ряду мастеров русского художественного перевода.

Переводы составляют примерно восьмую часть тютчевского поэтического наследия. В основном они принадлежат к первой

[121] Н. К. Попель. В тяжкую пору. М., 1959, стр. 155, 156.

половине творческой деятельности поэта, преимущественно ко времени его пребывания за границей. К петербургскому периоду относится всего девять переводов.

Первое место среди переводов Тютчева занимают произведения Гёте. Тютчев перевел десять его стихотворений и пять отрывков из первой части «Фауста». Второе место принадлежит Гейне. Тютчевым переведены семь его стихотворений и переложен стихами прозаический отрывок из «Путевых картин». На третьем месте стоят переводы из Шиллера (пять стихотворений). Один небольшой отрывок в тринадцать строк и одна песня переведены Тютчевым из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Следующие авторы представлены в творческом наследии Тютчева-переводчика по одному произведению: Гораций, Байрон, Гердер, Цедлиц, Уланд, Ламартин, Расин, Гюго, Беранже, Манцони, Микеланджело.

Некоторые переводы Тютчева остаются образцовыми по точности передачи содержания и мастерству воспроизведения ритмического своеобразия оригинала. Таковы «Приветствие духа» и «Ночные мысли» Гёте, «Заревел голодный лев...» Шекспира, «Молчи, прошу, не смей меня будить...» Микеланджело, «С временщиком Фортуна в споре...» Шиллера.

Однако имеются достаточно веские основания и к тому, чтобы в собраниях сочинений Тютчева не выделять переводов в самостоятельный раздел. Тютчев не был профессиональным переводчиком. Из всех его переводов только один — перевод стихотворения Шиллера «С временщиком Фортуна в споре...» (в подлиннике озаглавлено «Das Glück und die Weisheit» — «Счастье и Мудрость») — был, по-видимому, сделан им по просьбе Н. В. Гербеля, готовившего «Полное собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей»[122]. Выбор же всех остальных был обусловлен теми или иными внутренними творческими побуждениями. Этим и объясняется то, что переводы часто перекликаются с мотивами и образами оригинальной лирики Тютчева. В чужих произведениях поэт как бы находит отзвук своих личных дум и чувств.

Присущим Тютчеву еще в заграничный период ощущением надвигающихся социальных катастроф, несущих с собой крушение вековых традиций и верований, подсказан перевод стихотворения Гейне «Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich...». В нем дана картина мирового распада, которой противопоставлена романтически идеализированная старина:

Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich
Gedenke ich der alten Zeit:
Die Welt war damals noch so wöhnlich
Und ruhig lebten hin die Leut'.

---

[122] Перевод Тютчева был напечатан во втором томе этого издания (СПб., 1857, стр. 247).

Doch jetzt ist alles wie verschoben,
Das ist ein Drängen! eine Noth!
Gestorben ist der Herrgott oben,
Und unten ist der Teufel tot.

Закралась в сердце грусть,— и смутно
Я вспомянул о старине:
Тогда все было так уютно
И люди жили как во сне.

А ныне мир весь как распался:
Всё кверху дном, все сбились с ног,—
Господь-бог на небе скончался,
И в аде сатана издох.

Перевод датируется 1827—1830 годами. Одновременно Тютчев переводит стихотворение Гёте «Геджра» («Hegire» — «West-östlicher Divan»; в переводе заглавие опущено), открывающееся строками:

Nord und Süd und West zersplittern,
Throne bersten, Reiche zittern,
Flüchte du, im reinen Osten,
Patriarchenluft zu kosten...

Запад, Норд и Юг в крушеньи,
Троны, царства в разрушеньи,—
На Восток укройся дальный,
Воздух пить патриархальный!..

Наконец, сразу по выходе в свет второй части «Фауста» Гёте (1832) Тютчев переводит весь ее первый акт, где та же тема всеобщего распада проходит сквозь речи канцлера, военачальника, казначея и кастеляна (сцена вторая, в императорском дворце) [123].

Глубоко органичны для Тютчева и переводы отрывков из первой части «Фауста». Отрывок пролога на небе созвучен космическим темам и мотивам тютчевской лирики с ее бурями и грозами:

Es schäumt das Meer in breiten Flussen
Am tiefen Grund der Felsen auf,
Und Fels und Meer wird fortgerissen,
In ewig schnellem Sphärenlauf.

Und Stürme brausen um die Wette,
Vom Meer auf's Land, vom Land auf's Meer,
Und bilden wüthend eine Kette
Der tiefsten Wirkung rings umher...

[123] Перевод случайно был уничтожен самим Тютчевым. См. выше, стр. 78—79.

Морская хлябь гремит валами
И рост каменный свой брег,
И бездну вод с ее скалами
Земли уносит быстрый бег!

И беспрерывно бури воют,
И землю с края в край метут,
И зыбь гнетут, и воздух роют,
И цепь таинственную вьют.

Тютчев, восторженный певец природы, стремившийся слиться с ее жизнью, весь сказался в переведенном им монологе Фауста из сцены «Лес и пещера»:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat...
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genieβen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir in ihre tiefe Brust,
Wie in die Busen eines Freund's, zu schauen.

Державный дух! ты дал мне, дал мне всё,
О чем молил я!..
Дал всю природу во владенье мне
И вразумил ее любить. Ты дал мне
Не гостем праздно-изумленным быть
На пиршестве у ней, но допустил
Во глубину груди ее проникнуть,
Как в сердце друга!..

В этом же отрывке есть строки, заставляющие припомнить такие стихи Тютчева, как «Silentium!», в которых воспевается богатство внутреннего мира человека:

...Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust
Geheime, tiefe Wunder öffnen sich.

Ты в мирную ведешь меня пещеру,
И самого меня являешь ты
Очам души моей — и мир ее,
Чудесный мир разоблачаешь мне!

В ряде стихотворений Тютчева показано неудержимое стремление человеческой мысли постичь неизведанное и невозможность для нее выйти за пределы «земного круга». Вид коршуна, поднявшегося с поля и исчезнувшего в небе, наводит поэта на такие думы:

Природа-мать ему дала
Два мощных, два живых крыла —
А я здесь в поте и в пыли,
Я, царь земли, прирос к земли!..

(«С поляны коршун поднялся...»,
до 1836)

С этим стихотворением Тютчева созвучен переведенный им монолог Фауста из сцены «У ворот», в котором говорится о присущем природе человека стремлении «ввыспрь и вдаль» («hinauf und vorwärts»). И характерно, что пробуждение этого врожденного в нем чувства герой трагедии Гёте связывает с образами птиц: звенящего в небе жаворонка, парящего над вершинами деревьев орла или спешащего на родину журавля.

В 1851 году Тютчев перевел одно из известнейших стихотворений Гёте — песню Миньоны «Kennst du das Land...» («Ты знаешь край»)[124]. Посылая перевод Н. В. Сушкову, Тютчев писал: «Романс из Гёте несколько раз переведен был у нас,— но так как эта пьеса из числа тех, которые почти обратились в литературную поговорку, то она навсегда останется пробным камнем для охотников»[125]. До тютчевского перевода, действительно, уже существовали переводы Жуковского, Шкляревского, Струговщикова, Ободовского. Вслед за Тютчевым «Миньона» была переведена Меем, Гербелем, Михайловым, А. Майковым. Перевод Тютчева во многих отношениях ближе к подлиннику, чем переводы современных ему поэтов. Но для нас важно другое. Тема и образы «Миньоны» определенным образом связаны с произведениями оригинальной лирики Тютчева.

Один из распространенных в тютчевской поэзии мотивов — противопоставление Юга Северу. При этом «золотой, светлый Юг» обычно воплощался для Тютчева в образе Италии, «великолепной Италии», где однажды зимой, под открытым небом, он рвал камелии[126]. Песню Миньоны Тютчев, конечно, знал задолго до того, как обратился к ее переводу. Можно утверждать даже, что его образное восприятие Италии в значительной степени было подготовлено и обусловлено именно этой песнью. Еще в конце двадцатых годов он перевел отрывок о Байроне из поэмы Цедлица «Totenkränze» («Венки мертвым»). В описании странствий английского «барда» Тютчев добавил от себя одну строфу, посвященную Италии. Восьмая, девятая и десятая строки этой строфы читаются так:

Небесный дух сей край чудес обходит,
Высокий лавр и темный мирт колышет,
Под сводами чертогов светлых дышит...

---

[124] Песня входит в состав «Ученических годов Вильгельма Мейстера» (кн. III, гл. 1), а также печатается в собраниях сочинений Гёте в разделе баллад.

[125] Письмо от 27 октября 1851 г. «Стихотворения. Письма», стр. 395.

[126] См. письмо к родителям от 6/18 октября 1840 г.— *ЦГАЛИ*.— Тютчев имеет в виду свое пребывание в Генуе зимой 1837 г.

В этих строках «высокий лавр», «мирт» и «светлые чертоги» явно восходят к песне Миньоны (ср.: «*Die Myrte* still und *hoch der Lorbeer* steht»; «Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach»).

То, что Тютчев представлял себе Италию в образах и красках гётевской «Миньоны», подтверждается и другим примером. Для него Италия — это «волшебный край», весь пронизанный отблеском голубого моря и голубого неба и расцвеченный золотом зреющих плодов:

Лавров стройных колыханье
Зыблет воздух голубой,
Моря тихое дыханье
Провевает летний зной,
Целый день на солнце зреет
Золотистый виноград,
Баснословной былью веет
Из-под мраморных аркад...

(«Вновь твои я вижу очи...»,
1849?)

Эпитеты «голубой» и «золотой» как бы определяют собой и колорит того края, куда зовет своего возлюбленного Миньона,— края лимонных и апельсиновых рощ, «высоких» лавров и «тихих» мирт, овеянного нежным дуновением ветерка:

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht...

Ты знаешь край, где мирт и лавр растет,
Глубок и чист лазурный неба свод,
Цветет лимон, и апельсин златой,
Как жар, горит под зеленью густой?..

И гетевский призыв «Dahin! Dahin...» («Туда! Туда...»), заканчивающий каждую строфу, был как нельзя более близок поэту, всегда стремившемуся сбросить с себя оковы «Севера-чародея».

Глубоко субъективными причинами обусловлен и перевод Тютчевым четверостишия знаменитого итальянского живописца, ваятеля и зодчего Микеланджело Буанаротти «Grato m'è'l sonno e piu l'esser di sasso...». Четверостишие написано в ответ на эпиграмму Джованни Строцци, вызванную одним из лучших творений Микеланджело — скульптурной фигурой Ночи на саркофаге Юлиана Медичи во Флоренции. Восхищаясь этим изваянием, Строцци писал, что стоит лишь разбудить Ночь, как она заговорит. Микеланджело возразил ему от лица своей Ночи:

Grato m'è'l sonno e piu l'esser di sasso,
Mentre che'l danno e la vergogna dura,
Non veder, non sentir m'è gran ventura;
Però non mi destar; deh! parla basso.

Отрадно спать — отрадней камнем быть.
О, в этот век — преступный и постыдный —
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Прошу: молчи — не смей меня будить.

В окончательной редакции Тютчев переставил первую и четвертую строки перевода, чем еще более усилил эмоциональную выразительность четверостишия.

Перевод Тютчева относится к 1855 году. Одного указания на дату перевода достаточно, чтобы уяснить то особенное значение, какое в тогдашних исторических условиях приобретало для Тютчева старинное итальянское четверостишие. Тютчев прочел или припомнил его в «роковые» дни Крымской войны. В то время, когда, как ему казалось, рушится целый мир, на который он возлагал такие надежды, Тютчев, «жадный зритель» «высоких зрелищ» — исторических катастроф, сам испытывал то же чувство, то же настроение, что и несколько столетий до него Микеланджело. И это совпадение побуждает поэта выразить волнующие его думы в переводе близкого ему чужого признания.

Но не только внутренняя связь между такими переводами Тютчева и его оригинальными стихами оправдывает помещение их в общем хронологическом ряду его произведений. В отдельных случаях перед нами не столько перевод, сколько творческая вариация на чужую тему, отзвук прочитанного.

Иногда источниками для тютчевских стихотворений были прозаические тексты. Выше уже упоминались переведенные поэтом глава из «Путевых картин» Гейне и отрывок из его же публицистических очерков «Французские дела», включенный Тютчевым в стихотворный цикл о Наполеоне [127]. Такого же происхождения и стихотворение «Mal'aria» (1830), возникшее под впечатлением нескольких страниц из романа Сталь «Коринна, или Италия». Стихотворение «Колумб» (1844) по существу является развитием двух заключительных стихов одноименного стихотворения Шиллера. Гениальную вариацию на тему Гейне представляет собой стихотворение Тютчева «Из края в край, из града в град...» (между 1834 и 1836). В стихотворении Гейне «Es treibt dich fort von Ort zu Ort...», послужившем ему источником, говорится о вынужденном скитании из края в край, навсегда разлучающем человека с тем, что он так любил, но тема эта лишена той трагической окраски, которую она приобрела под пером Тютчева. В его стихах она выросла в тему

[127] См. стр. 63.

грозной власти рока над человеком:

Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!

Чрезвычайно характерную для Тютчева разработку получила вторая строфа подлинника.

Die Liebe, die dahinten blieb,
Sie ruft dich sanft zurück:
O komm zurück, ich hab' dich lieb,
Du bist mein einz'ges Glück! [128]

В стихотворении Тютчева эти строки получили глубокое и самостоятельное развитие:

О, оглянися, о, постой,
Куда бежать, зачем бежать?..
Любовь осталась за тобой,
Где ж в мире лучшего сыскать?

Любовь осталась за тобой,
В слезах, с отчаяньем в груди...
О, сжалься над своей тоской,
Свое блаженство пощади!

Блаженство стольких, стольких дней
Себе на память приведи...
Все милое душе твоей
Ты покидаешь на пути!..

Повторы внутри строф и повторы, переходящие из строфы в строфу, придают тютчевскому стихотворению необыкновенную драматическую напряженность. Робкий зов, звучащий в стихах Гейне, преобразился здесь в исступленную мольбу и стенание. Но они остаются тщетными:

Не время выкликать теней:
И так уж этот мрачен час.
Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.

---

[128] В переводе М. Л. Михайлова эти строки звучат так:

Твоя любовь в стране родной,
Манит, зовет она:
«Вернись домой! Побудь со мной!
Ты радость мне одна».

Стихотворение завершается строфой, которая повторяет с небольшими изменениями начальную строфу:

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он... Вперед, вперед!

Разумеется, в данном случае речь не может идти ни о переводе, ни даже о переложении, т. е. более или менее вольной передаче подлинника. По отношению к строфам Тютчева стихотворение Гейне сохраняет значение не более как развернутого эпиграфа. В развитии же лирической темы и в средствах ее художественного воплощения Тютчев вполне оригинален.

Но и тогда, когда Тютчев-переводчик достигал наибольшей близости к подлиннику, он неизменно накладывал на перевод печать своей творческой индивидуальности. Вот почему переводы составляют органическую и неотъемлемую часть лирического наследия поэта.

Г Л А В А   П Я Т А Я

Мастер стихотворной формы

1

Непосредственное читательское впечатление от лирики Тютчева превосходно выразил Фет в образных строках своей критической статьи «О стихотворениях Ф. Тютчева»: «Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и по мере того как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали в глубине еще тончайшие блестки и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева» [1].

Действительно, поэтическое небо Тютчева во всей глубине своего содержания и во всем совершенстве его художественного воплощения раскрывается читателю лишь по мере постепенного вчитывания в его стихи. И «необъятность» этого поэтического неба тем более поразительна, что в сущности оно ограничено сравнительно небольшим кругом тем и мотивов. Литературоведы неоднократно писали о самоповторениях у Тютчева, свидетельствующих об исключительной сосредоточенности поэта на определенных, всю жизнь волновавших его идеях и представлениях [2]. Но несмотря на то, что каждому из нас памятны два стихотворения Тютчева о слезах, два — о радуге, два — о страхах ночи, два — о зарницах, не-

[1] «Русское слово», 1859, февраль, отд. II, стр. 67—68.

[2] См., например: Л. В. Пумпянский. Поэзия Ф. И. Тютчева. «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928, стр. 9—18; Б. Бухштаб. Ф. И. Тютчев.— В кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л., 1957 («Библиотека поэта». Большая серия, изд. 2), стр. 27—28.

сколько — о грозе и т. п., вряд ли кто решится назвать лирику Тютчева однообразной и монотонной. Даже тогда, когда Тютчев говорит об одном и том же, он говорит не одно и то же.

Как правило, стихи на однородные темы отделены у Тютчева более или менее продолжительным периодом времени. Поэт как бы сызнова переживает впечатление, уже однажды его поразившее и вдохновившее, и находит для передачи этого нового впечатления иные слова. В этом нетрудно убедиться, сравнив несколько близких по своему содержанию стихотворений Тютчева.

Наиболее разительным примером «дублета» (выражение Л. В. Пумпянского) в поэзии Тютчева считаются стихотворения «День и ночь» (1830-е годы) и «Святая ночь на небосклон взошла...» (1850). Общность между этими двумя стихотворениями, действительно, бросается в глаза. И там и тут день уподобляется «покрову», накинутому «над бездной»; и там и тут день-покров наделен сходными эпитетами — «златотканный» и «золотой» (первый эпитет еще усилен другим — «блистательный»); в обоих случаях наступающая ночь обнажает «бездну» — стихию хаоса. При неодинаковости стихотворного метра (первое стихотворение написано четырехстопным ямбом, а второе пятистопным) есть известное соответствие и в их построении: каждое стихотворение состоит из двух восьмистишных строф. Тем не менее второе стихотворение существенно отлично от первого, хотя и дополняет его. Темы дня и ночи как бы поменялись в них местами. В первом стихотворении поэт значительно полнее и конкретнее говорит о дне, во втором — о ночи. В стихотворении «День и ночь» образ дня-покрова развивается на протяжении двенадцати стихов из шестнадцати; в стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла...» точно такое же количество строк уделено ночи. В первом стихотворении подробнее раскрывается животворное воздействие дня на человека:

День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Та же мысль выражена во втором стихотворении посредством более общих эпитетов: «день отрадный, день любезный». Самое наступление ночи изображается в обоих стихотворениях по-разному:

Но меркнет день — настала ночь;
Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
(«День и ночь»)

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный
Как золотой покров она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушел...
(«Святая ночь на небосклон взошла...»)

В первом случае ночь властно и стремительно срывает покров дня, во втором — свивает его. Действие лишается прежней резкости и внезапности. По мере того, как сгущается ночь, внешний мир утрачивает в представлении поэта свою реальность. Но самое важное в новой разработке темы дня и ночи заключается все-таки не в этих отличиях. Важно то, что во втором «варианте», если так можно назвать вполне самостоятельное стихотворение, тема эта философски углубляется. В стихотворении «День и ночь» поэтом передано внешнее ощущение раскрывшейся «бездны» с ее «страхами и мглами». В стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла...» выражено трагическое состояние человека, находящегося «лицом к лицу пред пропастию темной» и ощущающего ту же «бездну» не только вне себя, но и в себе самом:

В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь все светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.

Так антитеза дня и ночи, составлявшая содержание первого стихотворения, переросла в новую тему — тему философского самосознания человека (первоначально Тютчев намеревался так и озаглавить второе стихотворение — «Самосознание») [3].

Такое же философское развитие и углубление ранее намеченной темы можно обнаружить и при сравнении двух других стихотворений Тютчева — «Через ливонские я проезжал поля...» (1830) и «От жизни той, что бушевала здесь...» (1871). Оба стихотворения навеяны дорожными впечатлениями, оба написаны проездом через места, связанные с кровавым историческим прошлым, оба посвящены раздумьям о том, что природа одна является немой свидетельницей минувшего. Стихотворение «Через ливонские я проезжал поля...» заканчивается так:

Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной,—
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.

«Двусмысленная и тайная» улыбка природы связана с тем представлением о природе, которое порою охватывало Тютчева, подобно религиозному сомнению, и заставляло видеть в ней «сфинкса». И эта улыбка «природы-сфинкса» тем более загадочна, что «может статься, никакой от века || загадки нет и не было у ней» («Природа — сфинкс. И тем она верней...», 1869). Вот об отсутствии этой «загадки», об отсутствии у природы памяти о прошлом

---

[3] Заглавие, имеющееся в автографе, но зачеркнутое поэтом.

человека, ее — говоря пушкинскими словами — равнодушии к нему и вечной красе и говорит нам Тютчев в стихотворении «От жизни той, что бушевала здесь...». Поэт уже не пытается «допроситься» у природы ответа на тревожащие его вопросы. Он не сомневается в том, что вековым дубам, которые «красуются» и «шумят» над древними курганами, «нет... дела, || чей прах, чью память роют корни их». Не сомневается в том, что «природа знать не знает о былом», а потому и бесполезно ее о чем-либо спрашивать. Но эти дубы с их мощными стволами и широко раскинувшимися кронами внушают ему мысль о такой не поддающейся воздействию времени жизненной силе внешнего мира, рядом с которой человек сознает себя всего лишь «грезою природы».

Не только стихи на одинаковые темы повторяются в творчестве Тютчева, не только отдельные мотивы варьируются им на протяжении многих лет, но и из одного стихотворения в другое настойчиво переходят одни и те же образы, эпитеты, словосочетания. Таковы, например, излюбленные тютчевские эпитеты «живой», «золотой», «роковой», «огневой», «пламенный» и другие, которые, однако, отнюдь не превращаются в стилистические штампы, но служат неотъемлемыми признаками поэтического почерка Тютчева. И эти самоповторения, на которые обычно обращается, быть может, чрезмерно большое внимание, ничуть не ослабляют того общего впечатления, которое складывается от его стихов и которое так удачно определил Фет.

При всем своеобразии своем поэзия Тютчева сложилась на почве творческого усвоения большой поэтической культуры. Образные, стилистические и фразеологические особенности тютчевских стихов не раз заставляют вспомнить о Ломоносове и в особенности о Державине. Со знаменитым зачином державинской оды «На смерть князя Мещерского»: «Глагол времен! металла звон!» перекликаются стихи тютчевской «Бессонницы»: «Металла голос погребальный || порой оплакивает нас». В начальных строках стихотворения Тютчева «Чародейкою Зимою || околдован лес стоит» оживает образ «седой чародейки» из оды Державина «Осень во время осады Очакова». Тютчевское выражение «стихийные споры» («Певучесть есть в морских волнах...») восходит к державинскому «бурные стихиев споры» («На выздоровление Мецената»). Как и Державин, Тютчев любит красочные образы и красочные эпитеты. Его «румяный свет» майского дня («Нет, моего к тебе пристрастья...») сродни державинскому «румяному лучу» зари («Водопад»). У Державина — в чистой струе ключа, отражающей утреннюю зарю, горят «пурпуры огнисты» и «розы пламенны» («Ключ»); у Тютчева — закат «сыплет искры золотые» и «сеет розы огневые» в «темно-лазурную» волну реки («Под дыханьем непогоды...»). Державин является прямым предшественником Тютчева в живописном и звуковом изображении грозы (ср. «Гром» Державина и стихи Тютчева о грозе). Можно было бы привести немало тютчевских

стихов, которые воспринимаются как непроизвольные отголоски державинских. Усваивает Тютчев и излюбленный эпитет Державина — «златой», «золотой», употребляемый как в прямом, так и в переносном смысле.

Знакомство Тютчева с поэзией одного из провозвестников русского романтизма —М. Н. Муравьева сказалось не только в тех прямых заимствованиях, которые обнаруживаются в ранних стихах поэта. Тютчева сближало с ним глубоко эмоциональное отношение к природе. В стихотворении «Роща», например, Муравьев так описывает утро:

Ах! я видел мгновенье, когда появилась денница;
Прелестьми юной бессмертной чувства мои обновленны:
Тихая светлость объемлет мою умиленную душу,
Так как прозрачное облако, в коем покоится солнце,
Только омывшись в волнах... Но какая внезапная сила
Вдруг вливается в жилы и их трепетать заставляет?
Кажется, ветви беседуют: кажется, некая влага
Воздух собой проникает и землю покоющусь будит,
Землю, котора дремала, тенью своей покровенна:
Се содрогается чистой росой окропленна и всеми
Сродными ей ощутилось телами ее пробужденье.
Спящи дыханья проснулись: се дня рожденье младого.

В этом отрывке много «тютчевского». Не в форме,— такими стихами Тютчев никогда не писал,— а в ощущении своего единства с природой, в очеловеченном образе земли. При появлении денницы внезапная сила вливается в «жилы» поэта и «их трепетать заставляет», но ему кажется, что то же испытывает и сама земля: она «содрогается», пробужденная утренней росой, и с нею вместе пробуждается все живое. В подобных же образах воплощалось и тютчевское чувство слияния с миром вселенной. Вспомним его строки: «Как бы эфирною струею || по жилам небо протекло» («Проблеск») или «Жизни некий преизбыток || в знойном воздухе разлит, || как божественный напиток, || в жилах млеет и горит!» («В душном воздуха молчанье...»). Очеловеченной земле в стихах Муравьева близок образ земли, природы в стихотворении Тютчева «Летний вечер»:

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.

Б. М. Эйхенбаум в своей книге «Мелодика русского лирического стиха» (Пг., 1922) отметил сочетание в лирике Тютчева двух различных стилистических традиций — «декламативной» и «напевной». Первую он преемственно связывал с Державиным, вторую — с Жуковским. Действительно, как бы ни был Тютчев по своему

внутреннему складу несхож с Жуковским, он не избежал определенного воздействия его поэтической системы. Когда Тютчев пишет: «Как тихо веет над долиной || далекий колокольный звон» («Вечер»), то в этих словах нам слышится отзвук стиха Жуковского: «Как тихо веянье зефира по водам» («Вечер»). Даже в поздних стихах Тютчева встречаются словосочетания, напоминающие Жуковского: «очарованная мгла», «легкая мечта», «волшебный призрак», «воздушный житель» («Как ни дышит полдень знойный...», «День вечереет, ночь близка...»). Правда, тут же обнаруживается нечто, что сразу отличает Тютчева от Жуковского: привязанность к земле. Мечта поэта занята «тайной страстью», а «воздушный житель» наделен «страстной женскою душой». И тем не менее связь поэтики Тютчева с поэтикой Жуковского несомненна.

От Жуковского более чем от кого-либо другого из современных ему романтиков воспринял Тютчев субъективность и эмоциональность поэтической семантики: предметное значение слова у него как бы растворяется в своих дополнительных значениях и оттенках, в то же время не утрачивая своего логического содержания (сумрак — тихий, зыбкий, сонный, томный, благовонный, полдень — мглистый и т. п.). Ритмическое разнообразие стихов Жуковского также не прошло бесследным для Тютчева.

Говоря о поэтической почве, на которой вырастало творчество Тютчева, нельзя ограничиваться одними стихами его предшественников. Так, например, уподобление рейхенбахского водопада «белым облакам влажного дыму» в прозе Карамзина («Письма русского путешественника») определенным образом отозвалось в тютчевском «Фонтане»:

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.

Казалось бы, трудно установить какую-либо связь между творчеством Тютчева и фольклором. И тем не менее народно-поэтическая струя порою неожиданно прорывается в его стихах то зачином «Ты, волна моя морская...», напоминающим зачин народной песни «Ты, река ли, моя реченька...», то постоянными эпитетами — «камень самоцветный», «земля сырая», «сердце ретивое».

Тютчев творил в эпоху, когда признаки жанра в лирической поэзии становились все более и более нечеткими. За исключением эпиграмм, среди его стихотворений, даже раннего периода, можно найти лишь очень немногочисленные примеры тех жанров, которые были распространены в предшествующей и современной ему лирике. Характерной чертой поэзии Тютчева является совершенное отсутствие в ней эпических жанров. Он даже и не делал никогда попыток написать поэму или повесть в стихах.

Ю. Н. Тынянов утверждал в своих работах о Тютчеве, что форма его стихов представляет собой результат разложения» одического жанра под воздействием стиля немецкого романтизма [4]. Определяя место Тютчева в ряду русских поэтов, сложившихся в двадцатые годы XIX века, Тынянов относил его к группе «архаистов». Эта точка зрения получила довольно широкое распространение в литературоведении. В доказательство делались ссылки на значительное количество архаизмов в лексике Тютчева и на его пристрастие к составному эпитету, как слитному («громокипящий», «молниевидный», «тихоструйный», «златотканный»), так и раздельно-сложному («пышно-золотой», «мглисто-золотой», «волшебно-немой», «болезненно-яркий», «нетленно-чистый», «звучно-ясный», «божеско-всемирный»). Однако, если по форме составной эпитет Тютчева и восходит к поэтической традиции XIX века, то совершенно необязательно видеть в нем средство заведомой «архаизации» стиля. По своему внутреннему содержанию составной эпитет служит прежде всего выражением романтического сознания поэта и объединяет различные, зачастую противоречащие друг другу понятия [5].

Тыняновская концепция жанрового своеобразия лирики Тютчева применима лишь к тем его стихотворениям, в которых признаки «витийственности» были обусловлены определенным творческим заданием. В пределах короткого лирического стихотворения на философскую или общественно-политическую тему Тютчев нередко достигает «монументальности стиля», позволяющей говорить о генетической связи его лирики с русской классической одой. Таково, например, стихотворение «29-е января 1837», представляющее собой своеобразную трансформацию оды в лирический монолог или надгробное слово в стихах. Оно открывается риторическими вопросами:

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?

Эти вопросы словно обращены к большой аудитории, к тем, кто окружает гроб почившего. Можно даже представить себе патетический жест оратора, его поднятый ввысь взор при словах:

Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он высшею рукою
В «*цареубийцы*» заклеймен.

---

[4] См. статьи Ю. Н. Тынянова «Вопрос о Тютчеве», «Тютчев и Гейне» и «Пушкин и Тютчев» в кн.: Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы. [Л.], 1929.

[5] Тютчевскому эпитету посвящена специальная работа В. А. Малаховского «Эпитет Тютчева».— «Камены, сборник Историко-литературного кружка при Гос. ун-те народного образования», I. Чита, 1922, стр. 17—30.

После такого утверждения, естественно, предполагается пауза, чтобы сказанное отчеканилось в сознании слушателей. Пауза эта и создается переходом к следующей строфе. Поэт как бы переводит взгляд с присутствующих на самого покойника:

Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.

Пауза между второй и третьей строфами менее значительна, ибо в третьей строфе продолжается обращение к «тени поэта», причем два начальных стиха последней строфы и по своему содержанию, и чисто внешне, благодаря словесному повтору, примыкают к заключительному стиху предыдущей («Но с кровью в жилах... знойной кровью»):

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Высокий, торжественный тон стихотворения достигается соответствующим подбором поэтических средств. Тютчев уподобляет Пушкина «божественному фиалу», «богов органу живому»; вместо прозаического слова «пуля» пользуется перифразом — «свинец смертельный»; применяет традиционные формулы церковнославянского речевого обихода «мир тебе», «мир праху твоему»; наконец, вводит в последней строфе крайне затрудненный синтаксический оборот: «И осененный опочил || хоругвью горести народной» (т. е. опочил, осененный хоругвью народной горести).

При всей своей силе стихотворение все же риторично, а потому и не волнует нас в такой мере, в какой волнует стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», где скорбь и гнев слились в столь гармоническое целое. Незабываемы в стихотворении Тютчева лишь две последние строки, в которых поэт афористически выразил не только свое, но и наше отношение к великому национальному поэту:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Со стихотворением «29-е января 1837» интересно сравнить другое, также вызванное кончиной поэта,— «Памяти В. А. Жуковского» (1852). В то время как первое рассчитано на произнесение вслух, второе, при сохранении некоторых элементов надгробного слова, является как бы раздумьем про себя у гроба близкого человека. Даже пересказ евангельских изречений в двух последних строфах не придает этому стихотворению учительного декламационного характера. Характеристика Жуковского согрета тем внутренним теплом, которое ощущал поэт при личном общении с ним. В стихи попала даже такая деталь, почерпнутая из собственных воспоминаний, как чтение ему Жуковским своего перевода «Одиссеи» Гомера:

С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал...

Вопросы, которыми заканчивается стихотворение «Памяти В. А. Жуковского», имеют иную стилистическую окраску, чем вопросы, которыми начинается стихотворение «29-е января 1837». Спрашивая:

Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?

поэт опять-таки обращается не столько к слушателям, сколько к самому себе.

Разница между этими двумя стихотворениями не может быть объяснена только тем, что первое отделено от второго пятнадцатью годами. Можно указать, что уже в середине двадцатых годов Тютчев почти одновременно пишет два стихотворения — «14-е декабря 1825» и «Вечер». В первом можно обнаружить традиции одического стиля, тогда как второе совершенно свободно от какой бы то ни было «архаистичности». Стилистические отличия между этими стихотворениями определяются различием творческих задач, которые преследовал в них поэт.

Элементы ораторского стиля Тынянов усматривает в тютчевских обращениях к воображаемому слушателю или собеседнику. Однако и эти обращения далеко не всегда дидактичны. Одно дело, когда Тютчев спорит, объясняет или доказывает. Тогда его обращения, естественно, приобретают наставительный тон: «Не то, что мните вы, природа...», «Вы зрите лист и цвет на древе: || иль их садовник приклеил?», «Не видите ль? Собравшися в дорогу, || в последний раз вам вера предстоит...» и т. п. Но когда Тютчев делится с кем-то ему близким своим восхищением перед весенней березовой рощей («Смотри, как листьем молодым || стоят обвеяны березы»), то его обращение совершенно лишено ораторского пафоса. Лирически-интимный характер носят обращения и в следующих стихах:

Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнцем облита,
А в ней какою негой веет
От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями
Дерев, поимых родником,—
Там, где, обвеянный их мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Эти строки обращены к одной из дочерей поэта и, само собой разумеется, никаких ораторски-декламационных целей не преследуют.

Как бы ни казались порой соблазнительными аналогии между художественными особенностями лирики Тютчева и русским поэтическим наследием XVIII века, выводы, которые делал из этого Тынянов, были явно преувеличенными. Еще в 1928 году В. М. Жирмунский, поправляя Тынянова, указывал, что в поэзии Тютчева «признаки „архаизма“ играют совершенно второстепенную роль»[6]. Даже сравнительно многочисленные в стихах заграничного периода славянизмы, сами по себе на современный слух звучащие архаически, в общем контексте стихотворения часто являются стилистически нейтральными. А с конца сороковых годов количество их вообще сокращается в его поэзии. Зато в тех случаях, когда Тютчев ими пользуется, они приобретают отчетливо выраженную стилистическую функцию. Таковы архаизмы, придающие торжественность слогу в стихотворении «Уж третий год беснуются языки...» («языки» вместо «народы», «зрак» вместо «взор», «рек» вместо «сказал», «тако» вместо «так»). Исключительно насыщен славянизмами тютчевский перевод «Das Siegesfest» Шиллера (у Жуковского — «Торжество победителей»), озаглавленный «Поминки». Здесь и перемена заглавия, и преднамеренная архаизация стиля отвечают определенной задаче — воссозданию атмосферы «древности».

Не рискуя утратить исторически правильного представления о месте Тютчева в литературном процессе XIX века, нельзя забывать и того, что рано созревшее художественное мастерство поэта подвергалось эволюции соответственно общему развитию русской поэзии его времени. Его творчество заграничного периода романтично по своему внутреннему существу,— чему, разумеется, не противоречит наличие в его стихах как архаизмов, так и конкретно-описательных и предметных деталей. Но в петербургский период, оставаясь романтиком по своему философскому восприятию мира, Тютчев создает и такие реалистические стихотворения, как «Слезы людские, о слезы людские...», «Есть в осени первоначальной», «Весь день она лежала в забытьи...» и ряд других.

---

[6] В. Жирмунский. Вопросы теории литературы. Л., 1928, стр. 100.

2

Приведенные в начале этой главы слова Фета о «тончайших блестках» тютчевской поэзии очень хорошо выражают впечатление, которое производят стихи поэта. Его стихотворная форма исключительно богата именно этими «тончайшими блестками», различаемыми не сразу. Чисто внешние, легко бросающиеся в глаза эффекты ей чужды.

Основным стихотворным размером Тютчева был ямб, преобладавший в русской поэзии со времен Ломоносова. Чаще всего мы видим у Тютчева ямб четырехстопный, реже пятистопный, еще реже смешанный. Другие виды ямба встречаются у него лишь в единичных случаях. Так, трехстопным ямбом написаны поэтом три стихотворения: «Противникам вина» (начало 20-х годов), «Зима недаром злится...» (до 1836), «В часы, когда бывает...» (не позднее 1858); шестистопным ямбом четыре: «Mal'aria» (1830), перевод монолога дон Карлоса из драмы «Эрнани» Гюго (1830), «Русская география» (1848 или 1849) и «Недаром русские ты с детства помнил звуки...» (1861). Наряду с ямбом Тютчев охотно обращался к четырехстопному хорею. До тридцатых годов он пользуется им преимущественно в переводах из Шиллера («Песнь радости», 1823), Гёте («Приветствие духа», между 1827—1830; «Запад, Норд и Юг в крушеньи...» между 1827—1830; «Певец», 1830) и Гейне («Друг, откройся предо мною...», между 1823—1830; «Как порою светлый месяц...», между 1827—1829). С начала тридцатых годов четырехстопный хорей утверждается в творчестве Тютчева («Альпы», 1830; «В душном воздуха молчанье...», «Что ты клонишь над водами...», «Тени сизые смесились...», «Там, где горы, убегая...» — все до 1836 г.). Среди поздних его стихотворений есть одно, написанное пятистопным хореем («Накануне годовщины 4 августа 1864», 1865).

Трехсложные размеры у Тютчева крайне редки. Дактиль появляется у него не ранее конца сороковых годов, и то всего лишь три раза на протяжении пятнадцати лет: «Слезы людские, о слезы людские...» (1849?), «Волна и дума» (1851) и «Как хорошо ты, о море ночное...» (1865). Во всех трех случаях это дактиль четырехстопный. Двухстопный амфибрахий применен Тютчевым в стихотворении «Листья» (1830), четырехстопный амфибрахий — в стихотворениях «Cache-cache» (не позднее 1829), «Сон на море» (до 1836), «Все бешеней буря, все злее и злей...» (до 1836), «Знамя и слово» (1842), «Два голоса» (1850) и в шуточной телеграмме «Доехал исправно, усталый и целый...» (1870). Стихотворений, полностью написанных анапестом, у Тютчева вообще нет. Совершенно отсутствуют у него и так называемые античные размеры.

При такой сравнительной ограниченности в выборе размеров Тютчев умеет придать своим стихам большое ритмическое разнообразие. Он не боится сочетать в пределах одного стихотворения

различные метрические формы. Первым опытом такого сочетания является юношеское стихотворение Тютчева «Урания» (1820). Оно открывается пятнадцатью строками разностопного ямба, за которыми следуют две строфы, написанные четырехстопным амфибрахием и четырехстопным ямбом. Вот одна из них:

Безбрежное море лежит под стопами,
И в светлой пучине спокойных валов
С горящими небо пылает звездами,
Как в чистом сердце — лик богов;
Как тихий трепет — ожиданье;
Окрест священное молчанье.

Эти две строфы сопровождаются строфой четырехстопного амфибрахия и строфой пятистопного хорея:

Токмо здесь под ясным небосклоном
Прояснится жизни мрачный ток...
и т. д.

Вся остальная, наибольшая по объему часть «Урании» написана разностопным ямбом (6-стопным, 5-стопным, 4-стопным и 3-стопным). Ю. Н. Тынянов считает, что на тютчевской «Урании» «отразилась поэма Тидге того же названия», в которой также наблюдается «смена различных метров, причем характерным метром Тидге, употребленным и у Тютчева, является пятистопный хорей» [7]. Конечно, были известны Тютчеву подобные же опыты смены метров, которые делались и в русской поэзии, например, кантата Державина «Персей и Андромеда».

Сочетание разнометрических строф допустил Тютчев еще в одном стихотворении — «Песнь скандинавских воинов» (не позднее 1825). В первой строфе стихи двухстопного хорея (в четвертом стихе с пиррихием на первой стопе) сменяются стихами двухстопного амфибрахия, а те в свою очередь стихами двухстопного и даже одностопного ямба:

Хладен, светел,
День проснулся —
Ранний петел
Встрепенулся,—
Дружина, воспрянь!
Вставайте, о други!
Бодрей, бодрей
На пир мечей
На брань!..

За этой строфой снова следуют четыре стиха двухстопного амфибрахия «Пред нами наш вождь...», а за ними четырехстишная строфа, в которой первая, третья и четвертая строки написаны

[7] Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 370.

двухстопным дактилем, а вторая — двухстопным амфибрахием:

Вихрем помчимся,
Сквозь тучи и гром,
К солнцу победы
Вслед за орлом!..

За короткими строками этого четверостишия помещено пять стихов, из которых четыре написаны торжественным четырехстопным амфибрахием, а один (второй) — четырехстопным анапестом:

Где битва мрачнее, воители чаще,
Где срослися щиты, где сплелися мечи,
Туда он ударит — перун вседробящий —
И след огнезвездный и кровью горящий
Пророет дружине в железной ночи.

В следующей четырехстишной строфе стихи четырехстопного ямба чередуются со стихами трехстопного:

За ним, за ним — в ряды врагов,
Смелей, друзья, за ним!..
Как груды скал, как море льдов —
Прорвем их и стесним!..

После этой строфы, как припев, снова возникают начальные строки первой строфы, кончая стихом: «Дружина, воспрянь!..». Эта двухстопная амфибрахическая строка вновь сопровождается шестью стихами размеренного четырехстопного амфибрахия:

Не кубок кипящий душистого меда
Румяное утро героям вручит...
и т. д.

Стихотворение завершается припевом:

Дружина, воспрянь!..
Смерть иль победа!..
На брань!..

Каждая из этих трех строк имеет свой метр: первая — двухстопный амфибрахий, вторая — двухстопный дактиль, третья — одностопный ямб.

«Песнь скандинавских воинов» Тютчева является вольным переводом стихотворения Гердера «Morgengesang im Kriege» («Утренняя песня на войне»). Перевод вдвое удлинен и композиционно осложнен по сравнению с подлинником. В метрическом отношении только короткие строки тютчевского стихотворения до некоторой степени восходят к Гердеру, хотя переводчик и не сохраняет систему рифмовки оригинала:

Tag bricht an!
Es kräht der Hahn,
Schwingt's Gefieder;
Auf, ihr Brüder,
Ist Zeit zur Schlacht!
Erwacht, erwacht!

В песне Гердера двухстопный хорей чередуется в основном с двухстопным ямбом. Стихов, в которых насчитывалось бы более двух метрических ударений, в немецком тексте нет. Две строки (12-я — «Har mit der Faust hart» и 14-я — «Männer im Blize») могут рассматриваться как дольники.

К середине двадцатых годов относится еще один перевод Тютчева, в котором он попытался передать метрическое своеобразие подлинника. Это — перевод известного стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam.». Размер стихотворения — дольник на основе трехстопного ямба:

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'.
Ihn Schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen in Eis und Schnee.

Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

Из русских переводов этого стихотворения наибольшую славу приобрел перевод Лермонтова — «На севере диком стоит одиноко...». Лермонтов не сохранил метрических особенностей подлинника и перевел его четырехстопным и трехстопным амфибрахием. Трехстопным амфибрахием перевел стихотворение Гейне Фет. А. Майков в своем переводе воспользовался четырехстопным дактилем. Ни Фет, ни Майков не передали метрических перебоев немецкого текста. Только один Тютчев сделал попытку воспроизвести характерный для Гейне дольник, но не на основе трехстопного ямба, а на основе четырехстопного и трехстопного амфибрахия. Второй стих в тютчевском переводе звучит как четырехстопный дактиль, шестой — как трехстопный анапест. В третьем и пятом стихах переводчик допускает выпадение одного слога.

На севере мрачном, на дикой скале,
    Кедр одинокий, подъемлясь, белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
    И сон его буря лелеет.

Про юную пальму снится ему,
    Что в краю отдаленном Востока,
Под мирной лазурью, на светлом холму
    Стоит и цветет одинока...

Стремились ли русские переводчики к точности передавать метрическое строение оригинала или нет, самое обращение и Лермонтова, и Тютчева, и Фета именно к амфибрахию понятно: в тех строках немецкого стихотворения, в которых нарушен трехстопный ямб, слышатся по преимуществу амфибрахические стопы.

В 1828 году в журнале М. П. Погодина «Атеней» была напечатана статья Д. Дубенского «О всех употребляемых в русском языке стихотворных размерах». В этой статье метрическая структура перевода Тютчева из Гейне сравнивалась с размером русской народной песни «Со вечера дождик частехонько идет...» [8]. Независимо от того, в какой мере убедительно это сопоставление, русское народное стихосложение, наряду с поэзией Державина и немецким дольником, могло быть для Тютчева своеобразной школой «смешения мер», как говорили в конце XVIII — начале XIX века. Но прежде чем проникнуть в оригинальные стихи поэта, метрические перебои появляются у него в переводах. В этом уже можно было убедиться на примере тютчевских переводов из Гердера и Гейне. В переводе баллады Гёте «Der König in Thule» (у Тютчева заглавие изменено — «Заветный кубок», 1830) Тютчев сохраняет в первой строке лишний слог: «Es war ein König in Thule...» — «Был царь, как мало их ныне...» (◡′◡′◡◡′◡). Тот же метрический прием он переносит и на первую строку последней строфы, где в подлиннике его нет: «Er sah ihn stürzen, trinken» (◡′◡′◡′◡) — «На дно пал кубок морское...» (◡′◡′◡◡′◡). Интересные образцы сочетания различных стихотворных размеров представляют и такие переводы Тютчева, как диалог Фауста с Духом из трагедии Гёте и стихотворение Уланда «Весеннее успокоение». В обоих случаях смена размеров и соединение в пределах стиха разных метрических стоп у Тютчева сложнее и многообразнее, чем в подлиннике.

Гёте

In Lebensfluthen, im Thatensturm
Wall'ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Leben,
So schaff'ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Тютчев

Событий бурю и вал судеб
Вращаю я,
Воздвигаю я,
Вею здесь, вею там, и высок и глубок!
Смерть и Рождение, Воля и Рок,
Волны в бореньи,
Стихии во преньи,
Жизнь в изменепьи —
Вечный, единый поток!..
Так шумит на стану моем ткань роковая,
И богу прядется риза живая!

---

[8] «Атеней», 1828, № 14 и 15, стр. 149.

Подобное же ритмическое усложнение наблюдается и в тютчевском переводе стихотворения Уланда «Frühlingsruhe» («Весеннее успокоение»). Немецкий подлинник состоит из двух четверостиший, в которых первый, второй и четвертый стихи написаны четырехстопным ямбом, а третий — ямбом трехстопным. Во втором стихе первой строфы имеется один лишний слог. Все рифмы — мужские.

O legt mich nicht ins dunkle Grab,
Nicht unter die grüne Erd'hinab!
Soll' ich begraben sein,
Lieg' ich ins tiefe Gras hinein.

In Gras und Blumen lieg' ich gern,
Wenn eine Flöte tönt von fern,
Und wenn hoch obenhin
Die hellen Frühlingswolken ziehn.

Тютчевский перевод композиционно отличается от подлинника. У Тютчева не два четверостишия, а четверостишие и пятистишие. Смежная рифмовка не соблюдена. Из девяти стихов четыре имеют женское окончание:

О, не кладите меня
В землю сырую —
Скройте, заройте меня
В траву густую!

Пускай дыханье ветерка
Шевелит травою,
Свирель поет издалека,
Светло и тихо облака
Плывут надо мною!..

Значительно отличается от немецкого текста и метрическая структура русского перевода. В первом четверостишии три стиха дактиля замыкаются стихом ямба; во второй строфе между двумя строками четырехстопного ямба врывается строка трехстопного хорея с пиррихием в первой стопе («Шевелит травою»), а последняя строка звучит как двухстопный амфибрахий. Попутно замечу, что в первой строфе Тютчев заменил эпитет «grüne Erde» («зеленая земля») устойчивым в русской народной поэзии словосочетанием «земля сырая» [9].

Среди стихотворений Тютчева первой половины тридцатых годов есть одно, по-видимому, также заимствованное из какого-то иностранного источника, до сих пор не раскрытого. Балладный характер стихотворения совершенно не свойствен Тютчеву. Это —

---

[9] В переводе второй песни арфиста из «Ученических годов Вильгельма Мейстера» Гёте Тютчев также передает слова подлинника «im Grabe sein» привычным для русского слуха выражением «в гробу, в земле сырой».

«Все бешеней буря, все злее и злей...». Написано оно четырехстопным амфибрахием со смежной мужской рифмовкой; в отдельных строках наблюдается отсутствие слога:

Ты крепче прижмися к груди моей... ◡′◡◡′◡◡′◡′

Гроза приутихла, ветер затих, ◡′◡◡′◡′◡◡′

Лишь маятник слышен часов стенных... ◡′◡◡′◡◡′◡′

Над ними лежал таинственный страх... ◡′◡◡′◡′◡◡′

В трех первых из приведенных стихов нарушение правильного метра явно способствует смысловой выразительности.

Самым последним по времени опытом создания необычной ритмической композиции на основе чужой темы является тютчевская вариация стихов Гейне «Der Tod, das ist die kühle Nacht...» — «Если смерть есть ночь, если жизнь есть день...» (не позднее 1869). На этот раз речь не может идти о попытке поэта приблизиться к метрическому строю подлинника. Стихотворение Гейне состоит из двух четверостиший, в которых первые две строки четырехстопного ямба, а две последние — трехстопного. В четвертом и пятом стихах имеются лишние слоги. В четверостишиях рифмуют только первый и последний стихи (рифмы мужские), два средних стиха рифм не имеют. Иначе построено стихотворение Тютчева, озаглавленное «Мотив Гейне». Количество стоп в стихах у него всюду одинаковое. Рифмовка — перекрестная мужская. Каждая строка делится цезурой на два полустишия, в которых первая стопа — анапест, а вторая ямб (◡◡′◡′ ◡◡′◡′). Однако, несмотря на выдержанность подобной метрической схемы, стихи звучат по-разному, в зависимости от наличия в некоторых из них (третьем, четвертом, пятом и шестом) пиррихиев и дополнительных, хотя и ослабленных, ударений на первых стопах обоих полустиший (в первом, втором и седьмом стихах):

Если смерть есть ночь, если жизнь есть день —
Ах, умаял он, пестрый день, меня!..
И сгущается надо мною тень,
Ко сну клонится голова моя...

Обессиленный, отдаюсь ему...
Но всё грезится сквозь немую тьму —
Где-то там, над ней, ясный день блестит
И незримый хор о любви гремит...

В оригинальной лирике Тютчева «смешение мер» впервые обнаруживается в знаменитом стихотворении «Silentium!» (1830):

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи,—
Любуйся ими — и молчи.
. . . .
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгоняют лучи,—
Внимай их пенью — и молчи!..

Выпадающие из схемы четырехстопного ямба строки — (◡′◡◡′◡◡′) приходятся в первой и третьей строфах; средняя строфа выдержана в традиционном метре. Эпитет «безмолвно» и некоторая замедленность ритма четвертого и пятого стихов первой строфы как бы передают впечатление от незаметно возникающих на небе и также незаметно исчезающих звезд.

Еще более поразителен по своему глубоко органическому соответствию поэтическим образам ритмический строй стихотворения «Сон на море» (до 1836). Четырехстопный амфибрахий, которым оно написано, неоднократно прерывается стихами других трехсложных размеров:

И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой,
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

Своеобразие «сложного, можно сказать, симфонического» построения «Сна на море» хорошо охарактеризовал Д. Д. Благой: «Параллельно тому, как в „видения и грезы“ поэта, спящего на качаемом бурным морем челне, врывается „хаос звуков“ — „свист ветров“, „грохот пучины морской“,— резко меняется и стихотворный размер: в уравновешенно-спокойные амфибрахии „сна“ (◡′◡) вторгаются дактили (′◡◡) и анапесты (◡◡′), чередованием своих то падающих, то подымающихся стоп в подлинном смысле этого слова „звукописующие“ размах колеблющихся волн, дикий разгул разбушевавшейся стихии» [10].

Поиски новых ритмических ходов путем отступления от метрических норм можно обнаружить и в позднейших стихах Тютчева. Первая строфа стихотворения «Смотри, как на речном просторе...» (не позднее 1851) в автографе читалась так:

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
Льдина за льдиною плывет.

Здесь в последнем стихе стопа ямба заменена хореем. Указывая на то, что метрические перебои у Тютчева «всегда оправданы смыслом», В. В. Гиппиус отметил «необычное ритмическое строение» этого стиха, соответствующее «медленному движению ледохода» [11]. Тютчев, однако, не сохранил его в тексте, приняв поправку Вяземского «За льдиной льдина вслед плывет». Отказ поэта от первоначального варианта понятен: как бы ни была данная строка выразительна сама по себе, взятая в отдельности, она все же в силу своей одинокости разрывала общую ритмическую ткань стихотворения. Той органичности ритма, которая так блестяще достигнута в «Сне на море», на этот раз не получилось.

Зато в стихотворении «Последняя любовь» (между 1852 и 1854) Тютчев снова показал себя виртуозом «смешения мер»:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,—
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

---

[10] Д. Благой. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев).— В кн.: Д. Благой. Литература и действительность. М., 1959, стр. 453. См. также: R. E. Matlaw. The polyphony of Tyutchev's «Сон на море».— «Slavonic and East-European review», vol. 36, № 86, 1957, p. 198—214.

[11] См.: В. В. Гиппиус. Ф. И. Тютчев.— В кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собр. стихотворений. Л., 1939 («Библиотека поэта». Большая серия), стр. 23.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

Основным стихотворным размером этих строф является четырехстопный ямб, но на его фоне Тютчев создает утонченные ритмические рисунки. Во втором и четвертом стихах имеется по одному лишнему безударному слогу. Ритмическое строение стихов, однако, не вполне однородно. Если в четвертом стихе прослушиваются все четыре метрических ударения — «Любви последней, зари вечерней» (∪′∪′∪∪′∪′∪), то во втором на три четких ударения приходится одно ослабленное — «Нежней мы любим и суеверней» (∪′∪′∪∪́′∪∪′∪). Во втором стихе второй строфы уже не один, а два лишних безударных слога: «Лишь там на западе бродит сиянье» (∪′∪′∪∪′∪∪′∪)[12], а третья строка имеет особую метрическую схему, отличающуюся от всех остальных: «Помедли, помедли, вечерний день» (∪′∪∪′∪∪′∪′). Лишние слоги придают первому полустишию характер двухстопного амфибрахия. В заключительной строфе за первым полноударным стихом следуют два стиха с пиррихиями, а в последней строке наблюдается, кроме пиррихия, смещение метрического ударения со второго на первый слог начальной стопы. Правда, это ударение несет на себе меньшую интонационную нагрузку, чем два остальных: «Ты и блаженство и безнадежность» (∪́′∪∪′∪∪∪∪′∪).

Исключительно важное ритмико-интонационное значение имеют паузы, рассекающие пополам все те строки, которые отступают от основного метра стихотворения:

Нежней мы любим / и суеверней...

Любви последней, / зари вечерней!..

Лишь там на западе / бродит сиянье...

Ты и блаженство / и безнадежность.

Вообще паузы играют большую роль в этом стихотворении Кроме уже отмеченных, мы находим их и в других строках:

Сияй, / сияй, / прощальный свет...

Помедли, / помедли, / вечерний день,
Продлись, / продлись, / очарованье...

О ты, / последняя любовь...

---

[12] Вряд ли прав Б. В. Томашевский, предлагающий читать слово «бродит» с ударением на конечном слоге. См. его разбор стихотворения «Последняя любовь» в кн.: Б. Томашевский. Русское стихосложение. Пг., 1923, стр. 59—61.

Всего, таким образом, на двенадцать стихов приходится одиннадцать пауз, причем на некоторые стихи по две; свободны от пауз только первая, пятая, девятая и десятая строки. В качестве характерной особенности стихотворения обращают на себя внимание синтаксические параллелизмы как между отдельными строками (три приведенных выше примера стихов с двойными паузами), так и в пределах строки («Любви последней, зари вечерней», «Ты и блаженство, и безнадежность»).

В совокупности все эти приемы и создают неповторимую и глубоко волнующую интонацию стихотворения, трепещущую тем двойственным чувством, которое поэт так точно определил словами «блаженство и безнадежность». Насколько гениально удалось поэту в стихотворении «Последняя любовь» достигнуть полной гармонии содержания и художественной формы, лучше всего можно уяснить путем сравнения с другим стихотворением на ту же тему, возможно в какой-то мере даже навеянным тютчевскими образами. Это — стихотворение Вяземского «Вечерняя звезда», впервые напечатанное в 1862 году:

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На вечереющий мой день
Отрады луч пролей ты вновь!

Порою невоздержанных лет
Мы любим пыл и блеск страстей,
Но полурадость, полусвет
Нам на закате дня милей [13].

Какой бесцветной, лишенной индивидуального звучания представляется «Вечерняя звезда» Вяземского рядом со стихотворением Тютчева! Вялыми и безжизненными кажутся и самые определения последней любви как «полурадости, полусвета», и далеко им до непревзойденных в своей образной точности тютчевских формулировок, столь выразительно подкрепленных всеми доступными поэту ритмико-интонационными средствами.

Неудивительно, что в очень интересной переписке по вопросу русской просодии Фет сослался на «Последнюю любовь» Тютчева как на пример богатейших возможностей русского стиха. Переписку эту завязал в 1888 году П. И. Чайковский. 11 июня он писал вел. кн. Константину Константиновичу, писавшему стихи под

[13] П. А. Вяземский. В дороге и дома. Собрание стихотворений. М., 1862, стр. 127 (перепечатано среди стихов 1855 года под измененным заглавием — «Четырнадцатого января в Веве» — в «Полном собрании сочинений князя П. А. Вяземского», т. XI. СПб., 1887, стр. 177).— На связь стихотворения Вяземского «Вечерняя звезда» со стихотворением Тютчева «Последняя любовь» указал Д. Д. Благой в статье «Тютчев и Вяземский». См.: Д. Благой. Три века. Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX вв. М., 1933, стр. 253.

псевдонимом «К. Р.» (Константин Романов): «По моему, русские стихи страдают некоторым однообразием. „Четырехстопный ямб мне надоел“, сказал Пушкин, но я прибавлю, что он немножко надоел и читателям. Изобретать новые размеры, выдумывать небывалые ритмические комбинации — ведь это должно быть очень интересно. Если бы я имел хоть искру стихотворческого таланта, я бы непременно этим занялся, и прежде всего попробовал бы писать, как немцы, смешанным размером». К. Романов возразил Чайковскому, что «чередование различных стоп в немецком стихе колет ухо». Признав справедливость этого мнения, Чайковский писал: «Тем не менее, с некоторых пор мне стала нравиться самая эта шероховатость и в то же время почему-то я вообразил, что наш русский стих слишком абсолютно придерживается равномерности в повторении ритмического мотива, что он слишком мягок, симметричен и однообразен». Упомянув далее, что ему «чрезвычайно нравятся» стихи Кантемира «Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен...», Чайковский выражает надежду, что когда-нибудь в России будут писать «не только тоническим, не только силлабическим, но и древнерусским стихом», по образцу былин, песен и «Слова о полку Игореве». К. Романов сообщил эти рассуждения композитора Фету, чем вызвал с его стороны следующий ответ: «Поэты слова в наше время, когда музыка, ставши самостоятельным искусством, отошла так далеко от слова, иногда совершенно безучастны, чтобы не сказать враждебны к музыке. Так, по крайней мере, говорят о Пушкине, этом вековечном законодателе русского стиха. Нельзя ли, наоборот, сказать то же и о музыкантах? Что касается до немецких стихов, то они, мне кажется, родившись в собственной народной утробе, не взирая на полировку, приданную им Виландом, Шиллером и Гёте, никогда не могли разорвать связи с средневековыми Knittel-Verse Ганса Сакса, которыми, для couleur locale Гёте начинает своего „Фауста“. Что средневековый Фауст не может выражать своего шаткого и болезненного раздумья иначе, как такими стихами,— понятно; но чтобы мы, после того как гениальный Ломоносов прорвал раз навсегда наше общеславянское силлабическое стихосложение и после того как Пушкин дал нам свои чистейшие алмазы, снова тянулись к силлабическому хаосу — это едва-ли теперь возможно для русского уха. Что русский стих способен на изумительное разнообразие, доказывает бессмертный Тютчев хотя бы своим стихотворением:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней

и проч.».

Эта любопытная переписка завершилась следующим письмом Чайковского к К. Романову: «В высшей степени интересно было прочесть... слова Фета по поводу моих диллетантских фантазий о русском стихосложении. Несмотря на коварную его инсинуацию

по адресу музыкантов, „безучастных и даже враждебных к поэзии", я испытал огромное удовольствие, прочтя Фетовский отзыв... Пример из Тютчева, приведенный Фетом, вполне разрешает мои недоразумения. Стих: „Нежней мы любим и суеверней" служит превосходным доказательством, что русский стих способен к тому чередованию двух и трехдольного ритма, которое так пленяет меня в немецком стихе. Остается желать, чтобы подобные случаи были не исключительным, а совершенно обыденным явлением... Во всяком случае сознаюсь, что прежде чем плакаться о том, что русские поэты слишком симметричны, мне следовало бы знать, что то, чего я так жажду для нашей поэзии, уже существует» [14].

Однако неправильно было бы сводить все ритмическое богатство тютчевской лирики к одним отступлениям от метрических канонов. Сравнительная ограниченность стихотворных размеров, которыми обычно пользуется Тютчев (четырехстопный и пятистопный ямб, четырехстопный хорей), не мешает ему в рамках этих размеров достигать большого ритмического и интонационного разнообразия.

В ямбических стихах, например, метрически неударный слог у Тютчева очень часто становится ударным. Обычно это наблюдается в начальной стопе стиха, где ударение перемещается на первый слог. Таким образом, стопа из ямбической как бы превращается в хореическую. То, что стих такого рода открывается односложным словом, заключающим в себе утверждение, усиление, отрицание или обращение, придает падающему на него ударению особую отчетливость:

Та́к! но, прощаясь с Римской славой...

Та́к! вам одним лишь удалось...

Та́к, ты жилица двух миров...

Да́, тут есть цель! В ленивом стаде...

Да́, вы сдержали ваше слово...

Не́т! нас одушевляло в бое...

Не́т, моего к тебе пристрастья...

Вы́, пережившие свой век...

Ты́, человеческое Я...

Бра́т, столько лет сопутствовавший мне...

---

[14] М. Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. III. Москва — Лейпциг, [1902], стр. 249, 265—266, 271—272.

То же — в стихах, начинающихся с обстоятельственных слов или открывающих вопросительное или восклицательное предложение:

Та́м, где на высоте обрыва...

Что́ там за звуки пред крыльцом...

А́х, и над ним в действительности ясной...

При этом неметрическое ударение иногда подчеркивается тем, что оно симметрически соблюдено в рифмующих между собой стихах:

Та́м, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,—
Та́м, в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Что́ за отчаянные крики,
И гам, и трепетанье крыл?
Кто́ этот гвалт безумно дикий
Так неуместно возбудил?

Во многих стихотворениях Тютчева перемещение ударения на метрически неударный слог оттеняет особо важные в смысловом отношении слова:

Поймет ли он, чем ты живешь?
Мы́сль изреченная есть ложь...

Де́нь пережит — и слава богу!

Го́д не прошел — спроси и сведай,
Что́ уцелело от нея?

Жи́знь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...

Два́ разнородные стремленья
В себе соединяешь ты...

Све́т не таков: борьбы, разноголосья —
Ревнивый властелин — не терпит он...

Ло́жь и насилье, рыцарство и клир.

В иных случаях произнесение стиха диктует постановку ударения на первом слоге даже и тогда, когда на втором слоге метрическое ударение сохраняется. Здесь мы встречаемся с употреблением спондея:

Та́м, в го́рнем неземном жилище...

Ты́, ты́, мое земное провиденье...

Да́, го́ре, ей — и чем простосердечней,
Тем кажется виновнее она...

Из переполненной господним гневом чаши
Кро́вь льётся через край, и Запад тонет в ней.
Кро́вь хлы́нет и на вас, друзья и братья наши!

Спондей внутри стиха у Тютчева редок («Живя, уме́й *все́* пережить»).

Перенос ударения на неударный слог ямбической стопы придает стиху поэта большую динамичность и нередко широко применяется им в пределах одного стихотворения. Например:

Как птичка раннею зарей,
Ми́р, пробудившись, встрепенулся...
А́х, лишь одной главы моей
Со́н благодатный не коснулся.

Ритмическое многообразие тютчевского стиха во многом зависит от его исключительной насыщенности пиррихиями. В результате в стихотворениях, написанных двухсложными размерами — ямбом и хореем, преобладают трехударные и двухударные стопы. По наблюдению Б. В. Томашевского, в русском силлабо-тоническом стихе XVIII века пиррихий по преимуществу встречался на второй стопе, в русской же поэзии XIX века, начиная с Пушкина, главным образом на третьей. У Тютчева также наиболее часты случаи употребления пиррихия на третьей стопе, но кроме того он обнаруживает тяготение к постановке пиррихия на первой. Очень охотно также прибегает Тютчев к пиррихию одновременно на первой и третьей стопе. Стих такого типа (◡◡◡′◡◡◡′) у Пушкина, как указывает Л. И. Тимофеев, «подчеркивает интонационную законченность отрывка, поддерживает замыкающую интонацию» [15]. Приведенные Тимофеевым примеры из «Графа Нулина» и «Медного всадника» подтверждают справедливость этого замечания. Функция стиха с пиррихием на первой и третьей стопе у Тютчева во многих случаях та же, т. е. обозначает законченность строфы или стихотворения. Вместе с тем строки подобного метрического рисунка очень часто наблюдаются у него и в начале, и в середине строфы, причем интонационное звучание их различно.

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Здесь третий стих словно перекликается с громовыми раскатами. Он произносится без какой-либо внутренней паузы. Оба уда-

---

[15] Л. Тимофеев. Теория стиха. М., 1939, стр. 162

рения звучат в нем с одинаковой силой, тем более что падают на грамматически однородные слова. Подготовленные предшествующими им безударными тактами, они в свою очередь подготовляют заключительный стих, в котором за двумя ударными стопами следует пиррихий, несколько приглушающий мужское окончание стиха. Благодаря этому слово «голубом» становится как бы звуковой аналогией затихающего раската грома.

Иное звучание приобретает четырехстопный ямб с пиррихием на первой и третьей стопе в следующем примере:

Восток белел. Ладья катилась,
Ветрило весело звучало,—
Как опрокинутое небо,
Под нами море трепетало...

Метрическая схема третьего стиха полностью соответствует третьему стиху в только что приведенной строфе из «Весенней грозы», но на слух они воспринимаются по-разному. Во втором примере сила ударений не одинакова, ибо они приходятся на грамматически неоднородные слова. А существительное обычно выделяется более интенсивным ударением, чем прилагательное.

Стихом с пиррихием на первой и третьей стопе открывается стихотворение «Как неожиданно и ярко...», таким же стихом замыкается его первая строфа («И в высоте изнемогла»). При тождестве метрического строения интонационный характер их опять-таки различен. Первый интонационно близок к стиху «как бы резвяся и играя». Зато стих «и в высоте изнемогла» рассечен паузой пополам, что делает особенно выразительным последнее слово.

На исключительное разнообразие ритмических ходов в тютчевском четырехстопном ямбе в свое время указывал А. Белый: «Тютчев — единственный поэт по богатству и многообразию ритма; ...никогда еще русский четырехстопный ямб до Тютчева не достигал такой величавой красоты (плавности и стремительности одновременно); никогда после Тютчева не достигал он такой виртуозности» [16].

Сказанное о ритмическом разнообразии четырехстопного ямба Тютчева можно полностью распространить и на другие виды этого размера, встречающиеся в его поэзии. Достаточно сравнить такие ритмически не похожие друг на друга стихотворения, написанные пятистопным ямбом, как «Я лютеран люблю богослуженье...», «Святая ночь на небосклон взошла...», «Не говори: меня он, как и прежде, любит...», «Памяти В. А. Жуковского», «Весь день она лежала в забытьи...», «Есть и в моем страдальческом застое...» и другие, или написанные ямбом трехстопным — «Зима недаром злит-

---

[16] А. Белый. Опыт характеристики русского четырехстопного ямба.— В кн.: Андрей Белый. Символизм. Книга статей. М., 1910, стр. 300.

ся...», «Так в жизни есть мгновения...» и «В часы, когда бывает...». То же богатство ритмических ходов прослеживается и в тютчевском хорее. Благодаря в особенности частому пиррихию на первой и третьей стопе одновременно, в нем преобладают двухударные стихи типа «Й нӗ ка́мӗнь сӑмо̆цве́тны̆й || Я̆ в тӗбе́ по̆хо̆рони́л». В большинстве стихотворений Тютчева, написанных хореем, этот размер в своем чистом виде воспринимается на слух лишь в отдельных строках.

3

Все доступные Тютчеву художественные средства были неизменно подчинены задаче наиболее полного раскрытия лирического содержания. Одним из таких средств была эвфоническая выразительность. Большое смысловое значение придавал инструментовке стиха учитель Тютчева Раич. В своем «Рассуждении о дидактической поэзии», касаясь звуковой стороны эклог Вергилия, он говорит: «Глыбы, лежащие по браздам полей, принимают у него истинный отблеск поэзии... Стручья на грядах шепчут с ветрами и приятно льстят вашему слуху... Описывает ли он ристалище — и стихи его бегут, так сказать, ровным шагом с конями... Виргилий... часто оставляет кисть, берет лиру и, так сказать, прислушиваясь к действию описываемого им предмета, заимствует у него звуки, и — от живых струн разливается волшебная гармония. Удивляясь деятельности пчел, он сравнивает их с циклопами, кующими в глубоких пещерах Етны молниеносные стрелы, и вы слышите удары млатов... Изображая бедственные предзнаменования, угрожавшие Риму по смерти Цезаря, потрясает слух ваш завыванием волков... Описывая протоки, сводимые земледельцем с темя гор на жаждущие поля, он пленяет вас журчанием струй, тихо перебирающихся чрез камни и песок» [17].

Уроки Раича, подкрепленные примерами из произведений классических поэтов, несомненно были хорошо усвоены Тютчевым. По своему звуковому богатству стихи зрелого Тютчева могут выдержать сравнение со стихами Лермонтова. И если звуковая сторона стихотворения никогда не была для Тютчева самоцелью, то язык звуков был ему понятен. Однажды, обращая внимание жены на стихи Вяземского «Ночь в Венеции», Тютчев писал: «Своей нежностью и мелодичностью они напоминают движение гондолы» [18]. В своих собственных стихотворениях поэт доказал, с каким совершенным искусством он сам умел пользоваться языком звуков.

---

[17] Раич. Рассуждение о дидактической поэзии. «Вестник Европы», 1822, № 8, стр. 247—249.

[18] Письмо от 16/28 ноября 1853 г. «Старина и новизна», кн. 18. Пг., 1914, стр. 58 (с неверной датой).

Одним из самых замечательных образцов звукового мастерства Тютчева является его стихотворение «Море и утес» (1848). Оно состоит из четырех девятистишных строф, написанных четырехстопным хореем. На тридцать шесть стихов приходится всего три полноударных стиха. В остальных строках число ударений распределяется так: пятнадцать стихов — двухударные, восемнадцать — трехударные. При этом в первых двух строфах преобладают двухударные, а в двух последних трехударные стихи. Ритмический и звуковой строй стихотворения превосходно передает напор бушующих волн и противостоящую им незыблемость утеса:

И бун*т*ует и *клокочет*,
Хлещет, *свищет и* реве*т*,
И до звезд допрянуть хоче*т*
До незы*бл*емых вы*сот*...
Ад ли, *адск*ая ли *с*ила
Под *клокочущим* *кот*лом
Огнь геен*ск*ий раз*л*ожила —
И пу*ч*ину взворо*т*ила
И по*ст*авила вверх дном?

*Во*лн *не*и*сто*вых *прибо*ем
*Беспрер*ы*в*но *вал* *мор*ской,
*С р*е*в*ом, *свист*ом, *ви*згом, *во*ем,
Бьет в утес *бер*е*говой*,—
Но спокой*н*ый и *н*адме*нн*ый,
Дурью вол*н* *н*е обуя*н*,
*Н*еподвиж*н*ый, *н*еизме*нн*ый,
Мирозда*н*ью совреме*нн*ый,
Ты стоишь, *н*аш велика*н*!

В первой строфе обилие глаголов, передающих движение волн (всего на девять строк приходится девять глаголов, из них пять — в двух первых строках), почти полное отсутствие пауз, настойчивое повторение одних и тех же звуков («т», «д» — в словах «ад», «адская» звучащий как «т»,—«с», «щ», «ч», «к») и звукосочетаний («кл», «хл», «бл», «зл»), создает звуковое ощущение расходившейся, шумящей и бурлящей стихии. Это же ощущение усиливается четырьмя начальными стихами следующей строфы с тем же отсутствием интонационных пауз и перебивающими друг друга звуками (в частности, звуками «в» и «б», являющимися как бы звуковыми символами «волны» и «берега»). Начиная с пятого стиха второй строфы интонация меняется. Появляются паузы в конце каждой строки и посередине седьмой и девятой строк. Спокойствие и невозмутимость утеса подчеркивается твердо и настойчиво звучащим «н».

В третьей строфе, открывающейся изображением волн, звукосочетание вновь становится многообразным:

И оз*лобл*енные *бо*ем,
Как на п*р*иступ *р*ок*ов*ой,
Сн*ова* *вол*ны лезут с *во*ем
На *гр*анит *гр*омадный т*вой*...

И так же, как и в предыдущей строфе, переход к утесу влечет за собой появление все того же опорного звука «н», подчеркивающего неподвижность утеса. Своего рода звуковой параллелизм между этой строфой и предыдущей достигается общностью целого ряда рифм:

Но о каме*нь* *н*еизме*нн*ый
Бур*н*ый *н*атиск преломив,
Вал отбрыз*н*ул сокруше*нн*ый,
И струится мут*н*ой пе*н*ой
Обессиле*нн*ый порыв...

В последней строфе стихотворения осуществлена известная звуковая уравновешенность:

Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час, другой —
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой...
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь она —
И без вою и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна...

Восхищаясь «стремительностью», «красивостью» стиха и «богатством созвучий» в стихотворении «Море и утес», И. С. Аксаков находил его «превосходным, но не в тютчевском роде» [19]. Это неверно. В «Море и утесе» только более отчетливо, более обнаженно и ощутимо на слух выступают особенности, вообще присущие поэзии Тютчева.

Звуковая сторона таких стихотворений, как «Конь морской» (1830), «Сон на море» (не позднее 1836), «Ты, волна моя морская...» (1852), «Как хорошо ты, о море ночное» (1865), обнаруживают в Тютчеве то же мастерство «мариниста», которое с таким блеском проявилось в «Море и утесе».

С «быстрым энергичным темпом» [20] стихотворения «Море и утес» интересно сравнить приглушенную мелодию стихотворения «Тихо в озере струится...» (1866), написанного тем же размером — четырехстопным хореем. Форма строфы в ней несколько иная: не

[19] А к с а к о в, стр. 118.

[20] Н. Г у д з и й. Аллитерация и ассонанс у Тютчева. «Slavia», ročnik V, sešit 3, 1927, стр. 465.

девятистишие, а восьмистишие. Тем не менее ритмический рисунок стиха, для которого характерно наличие трех (в девяти случаях) и двух (в пяти случаях) интонационных ударений (во всем стихотворении, в котором насчитывается шестнадцать строк, имеется только одна четырехударная строка), такой же, как и в «Море и утесе». Но звуковой состав стихотворения «Тихо в озере струится...», пронизанный плавными «р» и «л» (с преобладанием «л»), как нельзя лучше подходит к спокойному, словно завороженному пейзажу:

Тихо в озе*р*е ст*р*уится
Отб*л*еск к*р*ове*л*ь зо*л*отых,
Много в озе*р*о г*л*ядится
Достос*л*авностей бы*л*ых.
Жизнь иг*р*ает, со*л*нце г*р*еет,
Но под нею и под ним
Здесь бы*л*ое чудно веет
Обаянием своим.

Со*л*нце светит зо*л*отое,
Б*л*ещут озе*р*а ст*р*уи...
Здесь ве*л*икое бы*л*ое
С*л*овно дышит в забытьи;
Д*р*емлет с*л*адко, беззаботно,
Не смущая дивных снов
И т*р*евогой мимо*л*етной
*Л*ебединых го*л*осов...

Сочетание тех или иных созвучий в стихах Тютчева «напоминает» (пользуюсь его собственным выражением) то о резвых раскатах весеннего грома («Весенняя гроза»), то о сгущающихся дремотных сумерках («Тени сизые смесились...»), то о кружащихся в воздухе осенних листьях («Листья»). Впечатление от мелькающих и светящихся в солнечном луче пылинок Тютчев передает стихом, в котором взрывной звук «п» сочетается и чередуется с плавным «л»: «Как *пл*яшут *п*ы*л*инки в *пол*дневных *л*учах» («Cache-cache»). В стихотворении «Как весел грохот летних бурь...»

И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист

строки врываются в звуковую гамму подобно действительному свисту птиц. И это оттого, что два последних коротких слова имеют одинаковую ударную гласную («пти́чий сви́ст»), а слово «свист» к тому же вбирает в себя согласные «с», «в» и «т», которые разрозненно звучали в предыдущих словах («...*с*к*в*озь *в*незапную *т*ревогу... *с*лышен п*т*ичий *свист*». Умеет поэт соответствующим подбором звуков воспроизвести в стихах и тихое шуршание камыша:

Певуч*есть есть* в мор*с*ких волна*х*,
Га*р*мония в *стихи*йпы*х спорах*,
И *стр*ойный мусикийский *шорох*
*Стр*уит*ся* в зыбки*х* камы*шах*.

Есть у Тютчева и такие стихотворения, звуковой строй которых в основном определяется не аллитерациями, а ассонансами. Великолепные примеры ассонансов находим мы в стихотворении «Бессонница» (не позднее 1829). Первая его строфа построена на ассонансах «о» и «а»:

Часо́в однообра́зный бо́й,
Томительная но́чи по́весть!
Язык для всех равно́ чужо́й
И внятный ка́ждому, как со́весть!

Здесь в ударных слогах звук «о» преобладает над «а». Во второй строфе ассонируют звуки «и» и «а»:

Кто без тоски́ внима́л из на́с,
Среди́ всеми́рного молча́нья,
Глухи́е времени стена́нья,
Пророчески проща́льный гла́с?

В последующих трех строфах, в которых раскрывается философская тема стихотворения, интенсивность ассонансов несколько ослабевает, чтобы вновь возникнуть в заключительной строфе:

Лишь изредка, обря́д печа́льный
Сверша́я в полуно́чный ча́с,
Мета́лла го́лос погреба́льный
Поро́й опла́кивает на́с!

Выразительность ассонансов «а» и «о», перекликающихся с первой строфой, усилена аллитерациями плавных «р» и «л». В результате стихи поэта доносят до нашего слуха «часов однообразный бой».

Очень важное значение в общей системе инструментовки приобретает у Тютчева рифма. Сама по себе тютчевская рифма, за сравнительно редкими исключениями, не отличается полнозвучием или изысканностью. Она не поражает слуха, подобно изощренной рифме Каролины Павловой или Валерия Брюсова.

Зато излюбленным тютчевским приемом является своего рода звуковая подготовка рифмы посредством общности гласных в предваряющих ее ударных слогах. Чаще всего с опорной гласной рифмы созвучна опорная гласная непосредственно предшествующего рифме слова:

Томительная но́чи по́весть...

Кто без тоски внима́л из на́с...

Кустарник мелкий, мо́х седо́й...

Минувших дней печа́ль и ра́дость...

И блестит в венца́х из зла́та...

Край неба дымно га́с в луча́х...

День догорал; звучне́е пе́ла...

Обвеян негой но́чи голубо́й...

Изнемогло движенье, тру́д усну́л...

Чу, не жа́воронка ль гла́с...

Цвет поблекнул, зву́к усну́л...

Что значит странный го́лос тво́й...

Иль я тобо́ю околдо́ван...

Как тень внизу скользи́т неулови́ма...

Небо, по́лное грозо́ю...

О сердце, по́лное трево́ги...

Лишь паутины то́нкий во́лос...

Сходила ночь, тума́н встава́л...

Нередко ассонанс такого рода усилен аллитерациями:

О*р*ато*р* *ри́*мский гово*ри́л*...

А уж давно, звуч*не́*е и пол*не́*й...

И колыб*е́льн*ое их п*е́н*ье...

Черней и чаще *бо́*р глу*бо́*кий...

И взор твой св*е́т*лый, искром*е́т*ный...

Тени *си́*зые сме*си́л*ись...

Когда из их род*но́*го *ло́н*а...

И солнце *ни́ти* зол*оти́т*...

*Во́*т с поляны *во́рон* чё*рн*ый...

Очень часто рифма предваряется не одним, а несколькими ударными слогами, опорные звуки которых повторяются в рифме:

О рьяный *ко́*нь, о *ко́*нь морс*ко́й*...

В широ́ком бо́жьем по́ле...

Люблю тебя́, когда́ стремгла́в...

Твоя́ утра́ченная мла́дость...

Лежи́т разви́тый перед ни́м...

Из кр*а́я* в кр*а́й*, из гр*а́*да в гр*а́*д...

Просн*у́л*ся ч*у́*дный еженочный г*у́л*...

Дальный гр*о́*м и до́ждь пор*о́й*...

Така́я стра́сти глубина́...

Как хорошо́ ты, о мо́ре ночно́е...

Как по́здней о́сени поро́ю...

Так *ве́*сь об*ве́*ян дуно*ве́*ньем...

Иногда у Тютчева рифма ассонирует и аллитерирует с начальным словом стиха:

*Полу́*денный *лу́*ч задремал на *полу́*...

Чему́-то внемлет жадным слу́хом...

П*роро́*чески беседовал с г*ро*зо́ю...

Я по́мню время золото́е...

С холмо́м, и замком, и тобо́й...

Тако́е слышалося го́ре...

Все эти примеры отнюдь не исчерпывают роли рифмы в звуковом строении тютчевского стиха. Можно указать случаи, когда звукосочетания, входящие в состав рифмы, переносятся в следующий стих. Например:

Своим законам лишь по*сл*ушна
В у*сл*овный час *сл*етает к нам...

В какой-то *не́*ге о*неме́н*ья
Кос*не́*ют в этой полумгле...

И медленно опомнилась о*на́*
И *на*чал*а́* при*слу́ш*иваться к *шу́*му,
И долго *слу́ш*ала, увлече*на́*,
Погруже*на́* в соз*на́*тельную д*у́*му.

В последнем примере мы сталкиваемся с применением внутренней рифмы.

Обычно внутренняя рифма определяет собою композицию стихотворения и является одним из элементов строфической формы. Иное значение приобретает она у Тютчева. Возникая в единич-

ных случаях, она лишь подчеркивает тот или иной оттенок содержания. Такую цель преследует, например, внутренняя рифма во второй строфе стихотворения «Проблеск» (не позднее 1825), в котором поэт передает свои впечатления от «легкого звона» эоловой арфы:

То *потрясающие* звуки,
То *замирающие* вдруг...
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшися, потух!

То же самое можно сказать и о внутренней рифме в предпоследней строке стихотворения «Вечер» (1826?):

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день,—
И *торопливей, молчаливей*
Ложится по долине тень.

В стихотворении «Cache-cache» неожиданное появление внутренней рифмы в последнем стихе четвертой строфы усиливает беспечно-игривый тон стихотворения:

Гвоздики недаром лукаво глядят,
Недаром, о розы, на ваших листах
Жарчее румянец, свежей аромат:
Я понял, кто *скрылся, зарылся* в цветах!

В полном мрачных предчувствий стихотворении, которым поэт, тяжело переживший севастопольскую катастрофу, встретил наступающий 1856 год («Стоим мы слепо пред Судьбою...»), дважды встречается внутренняя рифма:

Еще нам далеко до цели,
Гроза *ревет*, гроза *растет*,—
И вот — в железной колыбели,
В громах родился Новый год...
. . . .
Не просто будет он *воитель*,
Но *исполнитель* божьих кар,—
Он совершит, как поздний *мститель*,
Давно задуманный удар...

Оба эти примера, как и ранее приведенные, показывают, что в чисто композиционном построении строфы внутренняя рифма не играет у Тютчева организующей роли, зато смысловая ее функция во всех случаях очень выразительна.

4

Стихотворения Тютчева обычно очень невелики: чаще всего они умещаются в пределах восьми, двенадцати и шестнадцати строк. Сравнительно редко встречаются у него стихотворения, превышающие этот объем, но зато можно указать немало тютчевских стихотворений, в которых насчитывается менее восьми строк.

Тютчев является настоящим мастером четверостишия. В этом отношении из русских поэтов его, пожалуй, не с кем сравнить. У современников Тютчева четверостишия, написанные ямбом или хореем, носят по преимуществу эпиграмматический или альбомно-мадригальный характер. Тютчев намного превосходит каждого из них и по количеству имеющихся у него четверостиший (35), и по их значению в его творческом наследии. Наше представление о Тютчеве существенным образом изменилось бы, если бы среди его стихотворений не было таких, как «Последний катаклизм», «Увы, что нашего незнанья...», «Другу моему Я. П. Полонскому», «Умом Россию не понять», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...» и ряда других. Большинство четверостиший Тютчева написано четырехстопным ямбом (17). Из других видов ямба среди тютчевских четверостиший шесть раз встречается пятистопный, пять раз — шестистопный, семь раз — разностопный. Есть у Тютчева четверостишия традиционного для поэтов его времени эпиграмматического, альбомного и т. п. содержания, не представляющие особенного художественного интереса. Но, когда я говорю о Тютчеве как мастере четверостишия, я имею в виду такие его стихи, которые в сжатых границах четырех строк заключают глубокие философские раздумия поэта или его заветные интимные переживания. Нередко афористической отточенностью словесного выражения мысли и чувства четверостишия Тютчева невольно вызывают в памяти знаменитые четверостишия поэта, вряд ли ему известного,— Омара Хайяма. Разнообразны и ритмико-интонационное звучание тютчевских четверостиший и, в частности, система их рифмовки. В зависимости от чередования рифм и их характера у Тютчева насчитывается восемь вариантов четырехстопного ямбического четверостишия, пять — пятистопного, два — шестистопного и три — разностопного. Хореем Тютчевым написаны только два четверостишия: эпиграмма «Над Россией распростертой...» (1860-е годы) и шуточные стихи «С новым годом, с новым счастьем... (1870). Одним из ранних примеров тютчевского четверостишия является написанное пятистопным ямбом стихотворение «Последний катаклизм»:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

Четверостишие это датируется не позднее 1830 года, так как в 1831 году было напечатано. Незадолго до того Баратынский в стихотворении «Последняя смерть» (напечатано в 1828 г.) также пытался представить «последнюю судьбу всего земного». Однако и по содержанию, и по форме стихотворения Баратынского и Тютчева резко отличаются друг от друга. «Последняя смерть» — это грандиозная картина смены «эпох», охватывающих «века»; это даже не столько лирическое стихотворение, сколько небольшая философская поэма, в которой содержится около сотни стихов, разделенных на восемь строф. «Последний катаклизм» — это лишь изображение одного конечного момента («последнего часа») в существовании мира, сведенное к предельно сжатой формуле.

Стихотворение Тютчева начинается стихом, в котором с различной силой звучат все пять метрических ударений («Когда́ пробье́т после́дний ча́с приро́ды»). В ритме этого стиха слух улавливает мерные удары часового боя, и метафорический образ «пробьет час» как бы лишается присущего ему переносного значения. Инверсия во второй строке выделяет слово «разрушится», на которое благодаря этому падает основное ударение («Состав частей/разрушится земных»), ощутимое в особенности потому, что ему предшествует пауза. Стоило бы переставить слова и придать им обычный порядок («Разрушится состав частей земных»), как глагол «разрушится» приобрел бы бо́льшую интонационную нейтральность. В двух последних строках важную роль играют ассонансы. Наибольшее смысловое значение здесь имеют слова «воды» и «божий лик». За исключением одного слова «опять», во всех остальных словах под ударением оказывается звук «о» или «и», который в звуковом отношении поддерживает логические ударения, падающие на два отмеченных слова:

Все зри́мое опять покро́ют во́ды,
И бо́жий ли́к изобрази́тся в ни́х!

Ритм стихотворения — спокойно-торжественный; несмотря на восклицательный знак, интонация несколько понижается в последнем полустишии, как бы вызывая в представлении неподвижную поверхность водного пространства. Совершенно иначе звучит другое четверостишие, написанное тем же размером:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Стихотворение состоит из двух интонационно-синтаксических отрезков. Первый заключен в двух словах, которыми открывается четверостишие. В них задана философская тема стихотворения. Тире после слова «природа» естественно предполагает паузу. Вторая, более длительная пауза следует после слова «сфинкс».

Словами «И тем она верней» начинается второй интонационно-синтаксический период, охватывающий три с половиной строки, т. е. всю остальную часть стихотворения. Наличие двух переносов (в первой и третьей строках) и опоясывающая рифмовка с мужским окончанием в первом и четвертом стихах подчеркивают композиционную замкнутость всего этого периода. Чрезвычайно выразительна в интонационном отношении последняя строка, раскрывающая основной смысл стихотворения. В ней, как и в первом стихе, особенно заметна пауза, так как она приходится после ударного слога («Природа — сфинкс. /И тем она верней», «Загадки нет/ и не было у ней»). То, что в заключительном стихе три ударения подряд падают на односложные слова, которые аллитерируют между собой («*не́*т и *не́* было у *не́й*»), придает скептической мысли поэта особую весомость и резкость звучания.

На непрерывном нарастании интонации, достигающей своего высшего подъема в последней строке, построено четверостишие Тютчева «Все, что сберечь мне удалось...» (1856), написанное четырехстопным ямбом:

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

Стихотворение представляет собой единый порыв чувства, полного тревоги за судьбу любимого человека. Этот порыв выразительно передан всем ритмом четверостишия, чередованием одних мужских рифм, отчеканивающих концы строк, повтором слова «переживи», в котором последний ударный слог приобретает особенную силу и благодаря самому повтору, и благодаря пиррихию («Переживи, переживи!» — ◡◡◡′◡◡◡′).

В качестве образца четверостишия, значительно отличающегося по своему ритмическому строю от стремительного ритма четверостишия «Все, что сберечь мне удалось...», можно привести проникнутые умиленностью строки:

Кто б ни был ты, но, встретясь с ней,
Душою чистой иль греховной
Ты вдруг почувствуешь живей,
Что есть мир лучший, мир духовный.

(1864)

Размер здесь тот же, что и в предыдущем стихотворении,— четырехстопный ямб; рифмовка — также перекрестная, но в этом четверостишии чередуются не одни мужские рифмы, а мужские и женские. При этом последние приходятся на четные стихи, а потому четверостишие заканчивается женской рифмой, придающей заключительной строке известную интонационную протяжность.

Наряду с четверостишиями, но в гораздо меньшем количестве (всего четыре раза) встречаются у Тютчева стихотворения, напи-

санные в форме пятистишия. Например:

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек...

(1851)

Тот же неравностопный ямб, хотя и в иной последовательности строк, и та же система рифмовки (AbAAb) [21] — в эпитафии Тютчева Николаю I — «Не богу ты служил и не России...» (1855). Третье пятистишие — «Как дымный столп светлеет в вышине!..» (1848 или 1849) — написано пятистопным ямбом, с той же системой рифмовки, но с обратным расположением рифм (aBaaB). Всем этим пятистишиям присуща строгая законченность композиции, в особенности оттененная афористически-отточенным последним стихом: «А должен наконец проснуться человек...», А эта тень, бегущая от дыма...», «Ты был не царь, а лицедей». Четвертое пятистишие Тютчева — приветствие Вяземскому ко дню его именин — «Есть телеграф за неименьем ног...» (1865) интереса не представляет.

Несколько чаще (11 раз) обращался Тютчев к форме шестистишия. Среди его шестистиший имеются такие лирические перлы, как «Слезы людские, о слезы людские...» (1849?; 4-стопный дактиль; рифмы первого и пятого стихов женские, второго и шестого мужские, третьего и четвертого — дактилические), «Волна и дума» (1851; 4-стопный дактиль; рифмовка — aaBBcc), «Как ни тяжел последний час...» (1867; 4-стопный ямб; рифмовка — aaBccB); такие значительные стихотворения, как «С горы скатившись, камень лег в долине...» (1833; 5-стопный ямб; рифмовка AAbbCC), «И чувства нет в твоих очах...» (до 1836; 4-стопный ямб; рифмовка — aabccb). Шестистишием, рифмованным по системе AAbCCb, является стихотворение «Знамя и слово» (1842), написанное редким для Тютчева метром — четырехстопным амфибрахием. Остальные шестистишия поэта могут быть отнесены к числу стихотворных «мелочей».

Немногие стихотворения Тютчева, состоящие из семи строк («Всесилен я и вместе слаб...», 1810-е годы; «Тогда лишь в полном торжестве...», 1850; «Вот свежие тебе цветы...», 1873; «Хоть родом он был не славянин...», 1873), не заслуживают внимания по своей художественной незначительности, а в двух последних случаях — и незавершенности.

Из других видов бесстрофных стихотворений наиболее охотно пользовался Тютчев восьмистишием. Эту характерную для Тютчева форму, наблюдаемую в его творчестве начиная с тридцатых го-

---

[21] Прописными буквами здесь и ниже обозначаются женские рифмы, строчными — мужские.

дов, следует признать своего рода вариантом стихотворения, разделенного на две строфы по четыре стиха в каждой и появляющегося у Тютчева несколько раньше. Как и в таком стихотворении (ср., например, «Вечер», «Полдень», «Утро в горах»), обе половины восьмистишия обычно имеют перекрестную рифмовку с одним и тем же расположением рифм (AbAb). В одном случае («Успокоение») рифмы расположены в обратном порядке (aBaB) и в одном случае («Тихой ночью, поздним летом...») первые четыре строки имеют сплошь женские рифмы. Может быть, не всегда отсутствие строфического членения в тютчевском восьмистишии находит себе убедительное объяснение, и, с другой стороны, некоторые двухстрофные стихотворения Тютчева, казалось бы, могли быть объединены в восьмистишия. Как правило, однако, отказ поэта от разделения восьмистрочного стихотворения на строфы обусловлен ощущением, что в таком виде оно обладает большей внутренней спаянностью. Обычно она подчеркивается и чисто внешними художественными средствами. Например:

Как он любил родные ели
Своей Савойи дорогой!
Как мелодически шумели
Их ветви над *его* главой!..
Их мрак торжественно-угрюмый
И дикий заунывный шум
Какою сладостною думой
Его обворожали ум!..

(1849)

Впечатление композиционного единства в стихотворении «Вечер мглистый и ненастный...» (до 1836) достигается тем, что через все стихотворение проходит одна и та же рифмовка, а шестой стих к тому же является повторением четвертого, только с переставленными эпитетами:

Вечер мглистый и *ненастный...*
Чу, не жаворонка ль *глас?..*
Ты ли, утра гость *прекрасный,*
В этот поздний, мертвый час?
Гибкий, резвый, звучно-*ясный,*
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех *ужасный,*
Он всю душу мне *потряс!..*

В стихотворении «Еще томлюсь тоской желаний...» вторая половина стихотворения, открывающая новый синтаксический период, начинается теми же словами, которыми заканчивается первая, но в обратной последовательности и в сопровождении эпитетов:

...И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я *образ твой...*

Твой милый *образ*, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда...

Исключительный пример своеобразно рифмованного восьмистишия (ааВссВВа), через которое проходит один сложный синтаксический период, представляет стихотворение Тютчева «Поэзия» (не позднее 1850):

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

В качестве единственного примера стихотворения, состоящего из десяти строк, может быть указано стихотворение «Сей день, я помню, для меня...» (1830). Рифмовка в нем смежная: ааBBccDDee. Характерно, что все три пары мужских рифм как бы объединяются между собою общим ударным гласным «я» («меня» — «дня» — «заря» — «горя», «ея» — «я»), а две пары женских рифм — общим ударным гласным «о» («мною» — «волною» — «золотое» — «молодое»).

Хотя в творчестве Тютчева встречается и несколько более крупных стихотворений, написанных без разделения на строфы («Послание Горация к Меценату...», 1819; «Послание к А. В. Шереметеву», 1823; «Сон на море, не позднее 1836), все же стихотворения, в основу композиции которых положен строфический принцип, у него явно преобладают.

Первым по времени примером строго выдержанной строфической композиции является раннее стихотворение Тютчева «На новый 1816 год». В нем семь восьмистишных строф. Рифмовка в них перекрестная: нечетные стихи — женские, четные — мужские. Шестистопный ямб сменяется в двух последних строках каждой строфы ямбом четырехстопным. Различные варианты строф с укороченными последними стихами вообще были довольно распространены как в русской, так и в западноевропейской поэзии начала XIX века.

На два восьмистишия с такой же рифмовкой делится стихотворение «Неверные преодолев пучины...» (1820). За исключением одного последнего стиха, оно все написано пятистопным ямбом. Усечение строки на одну стопу создает некоторое ускорение ритма, оправданное смыслом четырех заключительных строк:

Скорей на брег — и дружеству на лоно
Склони, певец, склони главу свою —
Да ветвию от древа Аполлона
Его питомца я увью!..

В ряде стихотворений Тютчева, относящихся к первой половине двадцатых годов, разделение на строфы чисто условное, поскольку по своему построению эти строфы не повторяют одна другую. В стихотворении «К оде Пушкина на вольность» (1820) три строфы различаются как по количеству строк (I строфа — 8, II строфа — 6, III строфа — 9), так и по системе рифмовки. То же наблюдается и в стихотворениях «Весна» («Любовь земли и прелесть года...», не позднее 1821), «А. Н. М.» (1821), «Друзьям при посылке „Песни радости“ из Шиллера» (1823?). Нельзя не признать, что это лишает названные стихотворения достаточной композиционной стройности. Вместе с тем первая строфа стихотворения «А. Н. М.» любопытна тем, что она уже обнаруживает тенденцию к большим интервалам между рифмующимися строками, примеры которых мы найдем в позднем творчестве Тютчева: В данном случае система рифмовки такова: AbACbbCA.

С середины двадцатых годов в поэзии Тютчева начинают преобладать четкие строфические формы. В подавляющем количестве случаев, независимо от метра стихотворения, Тютчев пользуется различными видами четверостиший и восьмистиший. Чаще всего четырехстишная строфа у него имеет перекрестную рифмовку с женскими окончаниями в нечетных стихах и мужскими в четных. Это вообще наиболее традиционная форма четырехстишной строфы. Гораздо реже встречается у него строфа с обратным порядком рифм («Летний вечер», не позднее 1829; «Еще шумел веселый день...», не позднее 1829; «Не рассуждай, не хлопочи...», 1850?; «Она сидела на полу...», не позднее 1858: «В небе тают облака...», 1868; «Опять стою я над Невой...», 1868, и другие), а также строфа с одними мужскими рифмами («Cache-cache», не позднее 1829; «Весенние воды», 1830?; «День вечерест, ночь близка...», 1851; «Когда, что звали мы своим...», 1858; «Брат, столько лет сопутствовавший мне...», 1870). Строфа с перекрестными женскими рифмами является у Тютчева исключением («Эти бедные селенья...», 1855). Строфа с неполной перекрестной рифмовкой применена им в стихотворении «Как неразгаданная тайна...» (1864). В строфе только четные мужские стихи рифмуют между собой, а нечетные женские не имеют рифмы:

Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней,—
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.

В четырехстишных строфах с опоясывающей рифмовкой Тютчев, как правило, располагает рифмы в таком порядке: аВВа («Олегов щит», 1828 или 1829; «Глядел я, стоя над Невой...», 1844; «О, вещая душа моя!..», 1855; «Над этой темною толпой...», 1857; «Н. И. Кролю», первая половина 1860-х годов; «Певучесть есть в морских волнах...», 1865, и другие). Обратный порядок рифм (AbbA) — в стихотворениях «К Н.» («Твой милый взор, невин-

ной страсти полный...», 1824), «Ты зрел его в кругу большого света...» (начало 1830-х годов), «Утихла биза... Легче дышит...» (1864). Единственным примером четырехстишной строфы со смежными мужскими рифмами служит стихотворение «С поляны коршун поднялся...» (до 1836). Иной характер смежной рифмовки в стихотворении «Рим ночью» (не позднее 1850): здесь первый и второй стихи мужские, а третий и четвертый — женские.

Далеко не всегда, однако, форма четырехстишной строфы строго выдерживается Тютчевым на протяжении всего стихотворения. Так, например, из двух строф «Видения» (не позднее 1829) первая имеет перекрестную рифмовку AbAb, а вторая — опоясывающую aBBa. В строфах стихотворения «Душа хотела б быть звездой...» (до 1836) представлены два вида опоясывающей рифмовки: aBBa и AbbA. Из пяти строф стихотворения «К N. N.» («Ты любишь, ты притворствовать умеешь...», не позднее 1830) в четырех строфах применен второй порядок опоясывающей рифмовки, а в пятой, заключительной — первый. Трижды меняется система рифмовки в четырехстишиях «Бессонницы» (не позднее 1829). Стихотворение открывается строфой с перекрестными мужскими и женскими рифмами (aBaB). За ней следует строфа с опоясывающей рифмовкой aBBa. Все остальные строфы снова имеют перекрестные рифмы, но порядок их изменен: женские рифмы заняли место мужских и наоборот (AbAb). Три строфы стихотворения «Странник» (1830) рифмованы по-разному: первая — AbAb, вторая — AbbA, третья — aBaB.

Иногда Тютчев вводит опоясывающую рифмовку только в последнюю строфу стихотворения, написанного с соблюдением во всех остальных строфах перекрестной рифмовки, тем самым более отчетливо подчеркивая концовку («Через ливонские я проезжал поля...», 1830; «Как над горячею золой...», 1830?; «Есть в осени первоначальной...», 1857). Как правило, все подобные изменения системы рифмовки поддаются внутреннему осмыслению. Это легко проследить на примере стихотворения «Как над горячею золой...»:

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает:

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразьи нестерпимом!..

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

В первых двух строфах перекрестная рифмовка аВаВ. Обе строфы, в которых заключено сравнение дымящегося свитка с тлеющей жизнью, представляют единый синтаксический период. При этом сравнение переходит в развернутую метафору. О себе самом поэт говорит теми же словами, что и о свитке: свиток «дымится и сгорает», так что от написанных на нем слов не остается следа; жизнь человека «грустно тлится» и «с каждым днем уходит дымом». Постепенному угасанию соответствует и метрический рисунок протяжно звучащей фразы, заканчивающей весь этот синтаксически-интонационный период: «В однообразьи нестерпимом» (◡◡◡′◡◡◡′◡). В последней строфе Тютчев меняет перекрестную рифмовку на опоясывающую: женские рифмы оказываются смежными внутри строфы, которая замыкается мужским стихом. Этот заключительный стих интонационно делится на два полустишия: после слов «я просиял бы» поставлено тире, создающее паузу и подготавливающее читателя к восклицанию «и погас», которое вырывается у поэта как вздох освобождения.

Немалое значение имеет изменение рифмовки и в последней строфе стихотворения «Есть в осени первоначальной...». Две первые его строфы написаны смешанным четырехстопным и пятистопным ямбом, в последней же строфе, в двух средних строках, появляется ямб шестистопный. Меняется и рифмовка. В первых двух строфах рифмовка перекрестная АbАb, в третьей — опоясывающая АbbА. Благодаря такому изменению порядка рифм последняя строфа заканчивается не ударным слогом, как две предыдущие, а безударным. Женская рифма в заключительном стихе и предваряющие ее пиррихии (◡◡◡′◡◡◡′◡) придают окончанию стихотворения некоторую замедленность. Лишние же стопы в двух предшествующих строках, довольно отчетливо улавливаемые на слух, как бы подчеркивают ощущение далекости предстоящей зимы:

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Значение женского окончания последнего стиха хорошо уясняется из сопоставления с метрически сходным четвертым стихом первой строфы, имеющим мужское окончание — «и лучезарны вечера» (◡◡◡′◡◡◡′). Сопоставление это подтверждает справедливость наблюдения Б. В. Томашевского, что «мужское окончание всегда производит впечатление большего завершения, чем женское окончание» [22].

---

[22] Б. В. Томашевский. Стилистика и стихосложение. Л., 1959, стр. 447.

Изменение системы рифмовки при строфическом построении стихотворения само по себе еще не составляет специфической особенности Тютчева. Этим приемом пользовались и Пушкин («Приметы», «Ты и вы», «Что в имени тебе моем...», «Красавица»), и Лермонтов («Договор», «Пророк»), и Баратынский («Рим», «Младые Грации сплели тебе венок...»), но у Тютчева он встречается значительно чаще, чем у кого-либо из современных ему поэтов, и в ряду других художественных средств способствует ритмико-интонационному многообразию его лирики.

Из других строфических форм наиболее часто встречаются у Тютчева различные виды восьмистишия, прежде всего восьмистишие четырехстопного ямба с перекрестной рифмовкой AbAbCdCd. По замечанию Б. В. Томашевского, «эта довольно стершаяся строфа имеет самые различные применения в силу того, что и традиция этой строфы не подсказывала определенного прикрепления к какому-нибудь жанру» [23]. Такой строфой написаны «Благодарность Фелице» и некоторые другие произведения Державина, вследствие чего и позднее она не раз применялась в одах («Наполеон» Пушкина, «Видение» Рылеева). Вместе с тем такое же восьмистишие — в стихотворениях Пушкина «Романс» («Под вечер осенью ненастной...») или «Для берегов отчизны дальной...». У Тютчева эта строфа впервые появляется в произведениях, восходящих к одическому жанру — «14-е декабря 1825» (1826) и «Как дочь родную на закланье...» (1831). В дальнейшем, начиная с середины тридцатых годов, поэт пользуется ею как в стихотворениях, примыкающих к одической традиции,— «29-е января 1837», «Весна» (не позднее 1838), «Славянам» («Привет вам задушевный, братья...», 1867). «На юбилей князя А. М. Горчакова» (1867),— так и в лирике природы — «Нет, моего к тебе пристрастья...» (до 1836), «Над виноградными холмами...» (до 1836), «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...» (1837?), «Осенней позднею порою...» (1858), «Хоть я и свил гнездо в долине...» (1861), «Как неожиданно и ярко...» (1865), «Ночное небо так угрюмо...» (1865). Вариантом той же строфы служит восьмистишная строфа с обратным порядком рифм — aBaBcDcD («О чем ты воешь, ветр ночной?..», до 1836; «Конь морской», 1830). Как и восьмистишие схемы AbAbCdCd, эта строфа была распространена в русской поэзии первой трети XIX века (см., например, большую часть рылеевских «Дум»). Оригинальны другие разновидности восьмистишной строфы четырехстопного ямба, обнаруживающиеся в творчестве Тютчева. Это, во-первых, строфа с перекрестной рифмовкой, но с различным порядком женских и мужских рифм в каждом четверостишии (AbAbcDcD — «Поток сгустился и тускнеет...», до 1836); во-вторых, строфа с опоясывающей

---

[23] Б. В. Томашевский. Стих и язык. М.— Л., 1959, стр. 256.

рифмовкой схемы aBBacDDc («Фонтан», до 1836; «День и ночь» не позднее 1839; «Молчит сомнительно Восток...», 1865); в-третьих, строфа с опоясывающей рифмовкой, но с различным порядком рифм в четверостишиях (aBBaCddC — «Как весел грохот летних бурь...», 1851); в-четвертых, строфы с неустойчивой системой рифмовки. Такие строфы встречаются в стихотворениях «Цицерон» (1830), «Как птичка раннею зарей...» (до 1836), «Еще земли печален вид...» (до 1836), «Неман» (1853). В стихотворениях «Цицерон» и «Еще земли печален вид...» первая строфа имеет опоясывающую рифмовку той же схемы, что и в стихотворении «Как весел грохот летних бурь...»; вторая строфа является соединением четверостишия опоясывающей рифмовки aBBa с четверостишием перекрестной рифмовки AbAb. Стихотворение «Как птичка раннею зарей...» открывается четырьмя строками, рифмованными перекрестно, с мужскими окончаниями нечетных стихов и женскими окончаниями четных, но затем, до самого конца стихотворения, т. е. на протяжении двух с половиной восьмистишных строф, выдержан обратный порядок рифм — по схеме AbAbCdCd. Наконец, стихотворение «Неман» состоит из пяти строф с самостоятельной системой рифмовки каждая (I — AbAbCdCd, II — AbbAcDcD, III — aBaBcDcD, IV — aBBacDDc, V — aBaBcDcD).

Восьмистишная строфа наблюдается у Тютчева в стихотворениях, написанных пятистопным ямбом («Могила Наполеона», не позднее 1828, I — aBBaCddC, II — в строках 5—8 перекрестные рифмы aBaB; «Святая ночь на небосклон взошла...», 1848 или 1849, a BaBcDcD; «Памяти В. А. Жуковского», 1852, перекрестная рифмовка с меняющимся порядком женских и мужских рифм; «19-е февраля 1864», 1864, AbAbCdCd); шестистопным ямбом («Mal'aria», 1830, AbbAcDDc) и смешанным ямбом («На камень жизни роковой...», 1822, aBaBcDcD; «Колумб», 1844, I — aBaBcDDc, II — AbAbCdCd; третья часть стихотворения «Наполеон», не позднее 1850, AbAbCdCd; «Родной ландшафт... Под дымчатым навесом...», 1859, AbAbCdCd).

Наряду с первой из указанных форм четырехстопной ямбической строфы с перекрестной рифмовкой большое распространение в русской поэзии получило восьмистишие четырехстопного хорея также с перекрестными рифмами AbAbCdCd. Это строфа пушкинского «Талисмана», «Предчувствия» и «Бесов»; такой строфой написаны «Недоносок», «Бокал» и некоторые другие стихотворения Баратынского. У Тютчева она представлена стихотворениями «Альпы» (1830), «Тени сизые смесились...» (до 1836), «Вновь твои я вижу очи...» (1849?) «Тихо в озере струится...» (1866). В одном случае Тютчев внес в эту форму строфы небольшое изменение: в стихотворении «Пламя рдеет, пламя пышет...» (1855) строки пятая и седьмая не рифмуют между собой (AbAbCdEd). В меньшем количестве, чем восьмистишные строфы,

но все же довольно часто встречаются у Тютчева различные формы пятистишной строфы. Для четырехстопного ямбического пятистишия наиболее обычна рифмовка AbAAb (у Пушкина — «Паж или пятнадцатый год», «В последний раз твой образ милый...»). Тютчев пользуется строфой с такой системой рифмовки, как в стихотворениях, написанных четырехстопным ямбом («Двум сестрам», 1830; «Обвеян вещею дремотой...», 1850; «Предопределение», 1851?; «Н. Ф. Щербине», 1857; «Е. Н. Анненковой», 1859; «Играй, покуда над тобою...», 1861; «Черное море», 1871), так и в стихах, написанных четырехстопным хореем («Что ты клонишь над водами...», до 1836; «Чародейкою зимою...», 1852).

Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми, играй с судьбою,
Ты — жизнь, назначенная к бою,
Ты — сердце, жаждущее бурь.

———

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Строфа с таким же чередованием рифмующих строк, но с одними женскими рифмами — в стихотворении «Не остывшая от зною...» (1851). Иначе построено четырехстопное ямбическое пятистишие в стихотворении «Пророчество» (1850): строфа открывается двумя смежными женскими стихами, с которыми рифмует стих четвертый; рифмующие между собой строки третья и пятая имеют мужские окончания:

Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде —
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе,—
Свершится он — и грянет час!»

Та же форма строфы, но при наличии сплошь мужских рифм, в стихотворении «Я знал ее еще тогда» (1861). В написанном пятистопным ямбом стихотворении «Русская география» (1848 или 1849) первый стих, имеющий мужское окончание, рифмует со стихами четвертым и пятым, а стих второй, имеющий женское окончание,— со стихом третьим (aBBaa).

На две пятистишные строфы с одинаковым порядком рифмующих строк, но с различным расположением женских и мужских рифм делится стихотворение «Люблю глаза твои, мой друг...» (не позднее 1836).

В первой строфе рифмы размещены в последовательности aBaBa, во второй — AbAbA:

Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг...

Но есть сильней очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

Изменение во второй строфе последовательности женских и мужских рифм заключает в себе определенную смысловую закономерность и подчеркивает содержащуюся в стихотворении антитезу.

Первая строфа заканчивается словом «круг». Представление о замкнутости круга, окинутого быстрым, подобно молнии, взглядом женщины, передано ритмической замкнутостью самой строфы, завершающейся четырехударным мужским стихом. Наличие мужского окончания и в третьем стихе делает мужские рифмы в этой строфе преобладающими. Наоборот, во второй строфе из пяти рифм три женские, придающие сооответствующим стихам некоторую интонационную замедленность, усиленную смягченным окончанием («нья»). Ритмико-интонационное звучание второй строфы иное, чем первой. В немалой степени это зависит от наличия в четырех строках подряд, на одном и том же месте,— а именно в третьей стопе,— пиррихия. Благодаря этому в каждом стихе происходит равномерное повышение (в первом полустишии) и понижение (с третьей стопы) интонации. Последний стих четырехударный; однако строфа не обрывается ударным слогом, а как бы «замирает» на протяжной женской рифме, отвечая представлению о потупленном и полном страстного томления взоре.

В ряде стихотворений Тютчева можно обнаружить сочетание пятистишной строфы с другими видами строф. В раннем стихотворении «Весна» («Любовь земли и прелесть года...», не позднее 1821) она занимает преобладающее место (всего в стихотворении шесть строф, из них три — пятистишные, две — четырехстишные, одна — семистишная). Каждая из пятистишных строф (вторая, третья и четвертая в общей последовательности строф) имеет свою рифмовку (AbbAb, aBaBa, AAbAb). Стихотворение «Слезы» (1823), написанное разностопными ямбическими четверостишиями с перекрестной (строфы I—III) и опоясывающей (строфы IV—V) рифмовкой, заканчивается пятистишием, в котором первый стих рифмует со стихом четвертым, а второй с третьим и пятым (aBBaB). В стихотворении «Весеннее успокоение» (не позднее 1832)[24] первая строфа — четверостишие, вторая — пятисти-

[24] Стихотворение является переводом из Уланда, но пятистишная строфа представляет собой вольность переводчика: в немецком подлиннике обе строфы четырехстишные.

шие с такой рифмовкой: aBaaB. Наиболее обычная для пятистишия система рифмовки, т. е. AbAAb,— в четвертой и пятой строфах стихотворения «Недаром милосердым богом...» (1851). Им предшествуют две четырехстишные строфы с перекрестной рифмовкой. Наконец, в двух стихотворениях — «1-е декабря 1837» и «Первый лист» — пятистишие сочетается с шестистишием. Так, в стихотворении «1-е декабря 1837» первая строфа — пятистишие обычной формы, т. е. AbAAb, вторая — шестистишие также одного из наиболее распространенных видов, а именно aBBaBa.

Итак, в зависимости от того или иного чередования женских и мужских рифм у Тютчева насчитывается до одиннадцати вариантов пятистишной строфы. Определить, в какой мере тот или иной вариант представляет исключительное достояние поэта, станет возможным лишь тогда, когда будут подвергнуты хронологическому учету все строфические формы, которые имеются в русской поэзии. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что своеобразная форма пятистишия в стихотворении Тютчева «Первый лист» (1851) является его собственным созданием. Здесь первый и четвертый стихи первой строфы рифмуют с первым и пятым стихами второй строфы, второй и пятый — с вторым и четвертым стихами второй строфы, а третий стих, не имеющий пары в первой строфе,— с соответствующим стихом второй (схема рифмовки: I — abcab, II — abcba):

Лист зеленеет молодой.
Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым...

Давно им грезилось весной,
Весной и летом золотым,—
И вот живые эти грёзы,
Под первым небом голубым,
Пробились вдруг на свет дневной...

Третья строфа стихотворения «Первый лист» — шестистишие с весьма изысканной системой рифмовки: две женские рифмы в третьем и четвертом стихах (в предыдущих двух строфах все рифмы были мужскими) образуют как бы центр строфы, обрамленный двумя парами рифмующих между собой стихов — первым и шестым, вторым и пятым (abCCba):

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мертвого листа.

Шестистишной строфой Тютчев пользуется значительно реже, чем пятистишной. Строфа из шести стихов разностопного ямба завершает его юношеское стихотворение «Двум друзьям» (1816). Отдельные шестистишные строфы входят в состав таких стихотворений, как «Урания» (1820), «К оде Пушкина на вольность» (1820), «А. Н. М.» (1821), «Друзьям при посылке „Песни радости“ из Шиллера» (1823?). Строфы эти различны как по своим метрическим особенностям, так и по характеру рифмовки. В «Урании», например, Тютчев то пользуется разностопным ямбом, который является основным размером данного стихотворения, то объединяет в пределах шестистишия различные стихотворные размеры, по-разному рифмуя стихи (AbAbCC; aBaBcc; ababab). Ни в одном из этих случаев система рифмовки не представляет особой оригинальности. Не отличаются самостоятельностью и шестистишные строфы, включенные Тютчевым в стихотворения «К оде Пушкина на вольность» (вторая строфа), «А. Н. М.» (вторая строфа), «Друзьям при посылке „Песни радости“ из Шиллера» (последняя строфа). Это — шестистишие четырехстопного ямба, рифмованное по схеме AbAbAb (в двух первых стихотворениях) и шестистишие пятистопного ямба, рифмованное по схеме AAbAbb (в третьем стихотворении).

Первым стихотворением Тютчева, состоящим из одних шестистишных строф, является знаменитое «Silentium!» (1830?). Рифмовка в нем смежная мужская. Последняя строка каждой строфы носит характер припева: «Любуйся ими — и молчи», «Питайся ими — и молчи», «Внимай их пенью — и молчи!..» Из двух шестистиший пятистопного ямба со смежными мужскими рифмами складывается стихотворение Тютчева «Арфа скальда» (1834).

Наиболее обычным видом ямбического или хореического шестистишия является строфа, в которой рифмы расположены по схеме AAbCCb. Такой строфой написаны стихотворения Тютчева «Под дыханьем непогоды...» (1850; 4-стопный ямб) и «Memento» (1860; 5-стопный ямб). Вариантом подобной строфы представляется строфа со сплошь мужскими рифмами и укороченными на одну стопу третьим и шестым стихами:

Сижу задумчив и один,
На потухающий камин
Сквозь слез гляжу...
С тоскою мыслю о былом
И слов в унынии моем
Не нахожу.

(До 1836)

Эта форма строфы близка к строфе пушкинского стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума...» (1833) [25], с той только раз-

[25] Стихотворение Пушкина при его жизни напечатано не было. Таким

ницей, что у Пушкина третий и шестой стихи — трехстопные, а у Тютчева — двухстопные.

Шестистишная строфа пятистопного ямба, в которой первые четыре стиха имеют опоясывающую рифмовку, а два последних смежную, применена Тютчевым в стихотворениях «Итак, опять увиделся я с вами...» (1849) и «Когда в кругу убийственных забот...» (1849). Разница между ними заключается только в расположении женских и мужских рифм (в первом стихотворении — АВВАсс, во втором — аВВаСС).

Своеобразные формы шестистишной строфы созданы Тютчевым в стихотворениях «Русской женщине» (1848 или 1849), «Венеция» (не позднее 1850) и «Грустный вид и грустный час...» (1859). Первое стихотворение написано четырехстопным ямбом, два других — четырехстопным хореем.

В стихотворении «Русской женщине» строфа как бы делится на два трехстишия из двух женских стихов и одного мужского; каждый стих первого трехстишия рифмует с соответствующим стихом второго (АВсАВс). Композиционная стройность строфы поддерживается обилием интонационно-синтаксических параллелизмов. Каждая строфа представляет единый синтаксический период. Первая открывается тремя стихами, в которых полностью проведен синтаксический параллелизм, усиленный лексическими повторами и совпадением метрической схемы (◡′◡′◡◡◡′◡). Синтаксически все три строки являются второстепенными членами предложения («Вдали от солнца и природы, ||вдали от света и искусства, ||вдали от жизни и любви»). Следующая половина строфы (строки 4—6), заключающая в себе основные члены предложения, состоит из трех синтаксически законченных фраз, в которых осуществлен частичный параллелизм. Четвертый стих начинается сказуемым и замыкается подлежащим, которые как бы обрамляют определения; в пятом и шестом стихах —инверсия: сказуемое перемещено в середину стиха, причем в первом случае предваряется определением и сопровождается подлежащим, а во втором — наоборот («Мелькнут твои младые годы, ||живые помертвеют чувства, ||мечты развеются твои»). Каждый раз при такой перестановке усиливается смысловая выразительность фразы. Вторая строфа построена на интонационно-синтаксическом параллелизме между рифмующими стихами (вторым и пятым, третьим и шестым):

И жизнь твоя пройдет незрима
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле,
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле.

образом, сходство формы тютчевской строфы с пушкинской может рассматриваться только как совпадение, а не как зависимость.

Иная система рифмовки в шестистишной строфе стихотворения «Венеция». Здесь строки первая, третья, четвертая и пятая рифмуют между собой, а строка вторая — со строкой шестой. Женские рифмы преобладают (AbAAAb), но замыкающий строфу мужской стих именно благодаря тому, что ему предшествуют три женских стиха подряд, приобретает особую интонационную выразительность. Тютчев сам намекнул на источник этой строфы, пометив на одном из автографов стихотворения «Венеция»: «буримэ о Венеции во вкусе Языкова». Слово «буримэ» употреблено здесь, по-видимому, не в смысле стихов на заданные рифмы (стихотворение «Венеция» менее всего походит на эту салонную забаву), а в том же ироническом по отношению к своим стихам смысле, в каком Тютчев пользовался словом «вирши». Что касается упоминания о Языкове, то прямого соответствия со строфой тютчевской «Венеции» в стихах Языкова нет. Наиболее близка к ней семистишная строфа языковского «Водопада»:

Тютчев	Языков
Дож Венеции свободной Средь лазоревых зыбей, Как жених порфирородный, Достославно, всенародно Обручался ежегодно С Адриатикой своей.	Море блеска, гул, удары, И земля потрясена; То стеклянная стена О скалы раздроблена, То бегут чрез крутояры, Многоводной Ниагары, Ширина и глубина!

При том, что структура строфы «Венеции» не совпадает в точности со структурой строфы «Водопада», нетрудно установить между ними и элементы сходства. Оба стихотворения написаны четырехстопным хореем. Ритмически тютчевский хорей, несомненно, родственен языковскому. В цитированной строфе «Водопада» только первый стих имеет все четыре метрических ударения («Мóре блéска, гýл, удáры»); у Тютчева в приведенной строфе «Венеции» соответствия ему нет, так как она открывается стихом, в котором имеется один пиррихий («Дóж Венéции свобóдной»). Вообще полноударный стих обнаруживается на протяжении всего стихотворения Тютчева, т. е. на протяжении 24 строк, только однажды. Зато строки с тремя ударениями («Чýдный пéрстень воевóды» или «А тепéрь? В волнáх забвéнья») составляют ровно половину общего количества стихов «Венеции». За первым стихом, несущим четыре ударения, у Языкова в первой строфе «Водопада» идут шесть строк, в каждой из которых первая и третья стопы являются пиррихиями. Таким образом, в стихе получается лишь два ударения, и то, что каждой ударной стопе регулярно предшествует безударная, придает этим ударениям особенную отчетливость. У Тютчева в первой строфе «Венеции» за начальным трехударным стихом следуют пять стихов, ритмически однородных с указанными стихами Языкова (ср., например, «Мно-

говодной Ниагáры» и «Óбручáлся ежегóдно»). Стихи подобного метрического рисунка преобладают и во второй строфе «Венеции», а затем уступают первенство трехударным. Сочетание стихов, в которых насчитывается три ударных стопы, со стихами, в которых имеется всего два ударения при симметричном расположении пиррихиев, нередко наблюдается в стихотворениях Языкова, написанных четырехстопным хореем. Хотя система рифмовки, определяющая собой построение строфы языковского «Водопада» (AbbbAAb), иная, чем в тютчевской «Венеции», есть в них одна особенность, сближающая их между собою: троекратные смежные рифмы (у Языкова — мужские, у Тютчева — женские). Это даст возможность, опираясь к тому же на косвенное указание самого поэта, рассматривать данную шестистишную строфу Тютчева, как своего рода вариацию семистишной строфы Языкова.

Сложной строфической композицией отличается стихотворение Тютчева «Грустный вид и грустный час...» («На возвратном пути», I — 1859). Оно состоит из двух шестистишных строф. Смежные рифмы двух первых стихов первой строфы «час» — «нас» повторяются в соответствующих строках второй строфы. Два средних стиха (третий и четвертый) рифмуют с двумя средними стихами второй. Между рифмующими строками, таким образом, получается интервал в пять строк. Наконец, два заключительных стиха стихотворения частично повторяют два последних стиха первой строфы. Схема рифмовки такова: I — aabCdd, II — aabCdd; на десять мужских рифм приходится две женских. Подобная строфическая композиция как нельзя лучше соответствует содержанию стихотворения:

Грустный вид и грустный час —
Дальний путь торопит нас...
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край...
    Путь далек — не унывай...

Ах, и в этот самый час,
Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой,
Дышит в зеркале Лемана...
Чудный вид и чудный край —
    Путь далек — не вспоминай...

Строфическое построение в целом и в частностях подчинено здесь смысловой антитезе,— противопоставлению «чудного вида» — «грустному виду», «чудного края» — «безлюдному краю», месяца «живого» — месяцу, который подобен «призраку гробовому», «зеркала» Женевского озера — северному «туману». Заключительная строка стихотворения: «Путь далек — не вспоминай»,

благодаря перекличке с последним стихом первой строфы: «Путь далек — не унывай», воспринимается как своего рода припев, но замена слова «не унывай» словом «не вспоминай» делает ее эмоционально органической концовкой именно данной строфы.

Тематическая антитеза, проведенная в стихотворении, усилена почти полным ритмическим параллелизмом обеих строф. Стихотворение написано четырехстопным хореем. Два первых стиха каждой строфы являются полноударными. За ними следуют два стиха, имеющих три ударения и пиррихий в третьей стопе. Таким же стихом замыкается строфа. Не совпадают по своему метрическому строю только предпоследние стихи: в первой строфе — это трехударный стих с пиррихием в первой стопе, во второй — четырехударный стих, ритмически очень выразительно подготовляющий концовку.

Четверостишие, восьмистишие, пятистишие и шестистишие — таковы основные строфические формы поэзии Тютчева. Семистишия встречаются у него в единичных случаях, и то лишь в сочетании с другими строфами (таковы семь стихов пятистопного и шестистопного хорея, рифмованных по схеме AbAbCCb, в стихотворении «Урания» и семистишие шестистопного и четырехстопного ямба, рифмованное по схеме aBaBcBc, в стихотворении «Весна» — «Любовь земли и прелесть года...»). Девятистишная строфа также появляется у Тютчева наряду с другими формами строф в стихотворениях «К оде Пушкина на вольность» (последняя строфа, 4-стопный ямб, рифмовка AbAbCdCCd) и «А. Н. М.» (последняя строфа, 4-стопный ямб, рифмовка aBaaBccBc). Система рифмовки указанной строфы стихотворения «К оде Пушкина на вольность» впоследствии повторена Тютчевым в написанных четырехстопным хореем строфах «Моря и утеса» (1848):

И бунтует и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила —
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?

Строфа эта, представляющая сочетание четверостишия перекрестной рифмовки и наиболее обычной формы пятистишия, в русской поэзии попадается довольно редко. Предшественником Тютчева в разработке этой строфы был Языков («Д. В. Давыдову», «Элегия» — «День ненастный, темный, тучи...»).

Из строф, насчитывающих свыше девяти стихов, у Тютчева дважды встречается десятистишие. Первый раз оно введено, на-

ряду с другими формами строф, в стихотворении «Друзьям при посылке „Песни радости“ из Шиллера». По системе рифмовки — это сочетание шестистишия AbAbAb с четверостишием aBBa. Второй раз Тютчев воспользовался десятистишием в стихотворении «Кончен пир, умолкли хоры...» (не позднее 1850). Стихотворение, написанное четырехстопным хореем, делится на две строфы, по структуре своей самые сложные из всех тютчевских строф. Каждая строфа состоит из десяти женских стихов, но система их рифмовки неодинакова (I — AABBCCDDDB, II — ABCCBADDAB).

Кончен пир, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины,
Не допиты в кубках вины,
На главах венки измяты,—
Лишь курятся ароматы
В опустевшей светлой зале...
Кончив пир, мы поздно встали —
Звезды на небе сияли,
Ночь достигла половины...

Парная смежная рифмовка, выдержанная здесь на протяжении восьми стихов, нарушается лишним девятым стихом, рифмующим с двумя предыдущими, и стихом десятым, который рифмует со стихами третьим и четвертым. Интервал в пять строк, отделяющий их от заключительной рифмы, делает ее почти неощутимой, ослабляя тем самым композиционную цельность строфы.

Значительно большей композиционной стройностью, несмотря на свою прихотливую систему рифмовки, отличается вторая строфа:

Как над беспокойным градом,
Над дворцами, над домами,
Шумным уличным движеньем
С тускло-рдяным освещеньем
И бессонными толпами,—
Как над этим дольным чадом,
В горнем выспреннем пределе,
Звезды чистые горели,
Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами...

Строфа по своему ритмико-синтаксическому построению делится на две равные части (по пять стихов) с одинаковыми зачинами («Как над...»). Несмотря на то, что некоторые рифмующие между собой строки отделены большими интервалами (по три и четыре стиха), восприятие рифмы здесь не утрачивается, так как связь соответствующих стихов друг с другом усиливается повто-

рами, аллитерациями, ассонансами, синтаксическими параллелями («*Как над* беспокой*ным* гр*адом*...— *Как над* этим доль*ным* ч*адом*... — Отвечая смерт*ным* взгл*ядам*...»; «*Над* дворц*ами, над* до*мами*...— И бессон*ными* толп*ами*...— Непороч*ными* луч*ами*»). Это способствует композиционной цельности строфы.

Сделанные в этой главе наблюдения, естественно, не исчерпывают всех сторон стихотворного мастерства Тютчева. Определить по-настоящему его место в истории русского стиха станет возможным лишь тогда, когда будет написана общая история русской поэзии. Некоторые мои наблюдения могут показаться субъективными, что почти неизбежно в разборе стихов. Если я и позволял себе, говоря словами пушкинского Сальери, «поверять алгеброй гармонию», то конечной целью моей было раскрыть полное соответствие внешних средств изобразительности внутреннему содержанию тютчевских стихотворений.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как создавал Тютчев свои стихи

1

Много написано о «непроизвольности», «бессознательности» творческого процесса Тютчева, о том, что по своей натуре, склонностям и образу жизни он не был литератором, не был писателем-профессионалом. И. А. Гончаров даже относил его в одной из своих критических статей к числу дилетантов в литературе[1]. Когда Тютчев писал известному слависту В. И. Ламанскому: «Мне всегда казалось крайне наивным толковать о стихах, как о чем-то существенном, особливо о своих собственных стихах»[2], то это не было рисовкой. Фет вспоминал, что «Федор Иванович болезненно сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи»[3]. Весьма вероятно, что и внешне пренебрежительное отношение Тютчева к своим стихам, и его чуть ли не легендарная беззаботность об их судьбе, и его преувеличенная авторская скромность проистекали главным образом от одной причины: от того, что, как бы ни любил Тютчев поэзию (а ведь в тридцатых годах он прямо заявлял, что одинаково любил «отечество и поэзию»)[4], он никогда не считал писательский труд основным делом своей жизни, своим настоящим призванием.

Весь бытовой уклад дома Тютчевых ничем не выдавал присутствия литературного деятеля. Поэт не мог бы поделиться с близкими ему людьми своими творческими планами и замыслами.

[1] «Лучше поздно, чем никогда».— И. А. Гончаров. Полное собрание сочинений, т. 8. СПб., 1896, стр. 227—228.

[2] Письмо от 7 мая 1867 г. «Русская мысль», 1915, кн. XI, ноябрь, отд. 2, стр. 130.

[3] А. Фет. Мои воспоминания, ч. II. М., 1890, стр. 2.

[4] См. письмо к Жуковскому от 6 октября 1838 г.— «Стихотворения. Письма», стр. 379.

Такие замыслы и планы были у Пушкина, у Рылеева, даже у столь далеких от писательского профессионализма поэтов, как Баратынский или Лермонтов, но их не было у Тютчева, как не было у него ни определенных часов для литературной работы, ни тетрадей для черновиков. У окружающих даже сложилось впечатление, что авторский труд был вообще незнаком Тютчеву: «...стихи у него не были плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов»; он «не писал» стихи, а «только записывал», и притом «на первый попавшийся лоскуток» бумаги [5].

Действительно, большинство автографов Тютчева написано на различных случайно оказавшихся под рукой листках. Так, например, для записей стихотворений «Как ни дышит полдень знойный...» и «Не рассуждай, не хлопочи...» (1850) поэт воспользовался обратной чистой стороной полученного им печатного приглашения на обед к графу и графине Борх. Первый вариант перевода четверостишия Микеланджело «Молчи, прошу — не смей меня будить» (1855) вписан в ученической тетради, в которой жена поэта делала упражнения по русскому языку. Одно из самых известных стихотворений Тютчева «Умом Россию не понять...» (1866) набросано буквально на клочке бумаги [6].

О дальнейшей судьбе этих записей меньше всего заботился сам Тютчев. Его сослуживец по цензурному ведомству писатель П. И. Капнист рассказывает, как однажды на заседании Совета Главного управления по делам печати поэт «был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумье, оставив бумагу». На забытом листе Капнист прочел стихотворные строки «Как ни тяжел последний час...». Капнист взял автограф и сохранил его «на память о любимом им поэте» [7]. Если бы он не обратил внимания на этот листок, какой-нибудь служитель управления, приводя в порядок зал заседаний, выбросил бы вместе с мусором и этот замечательный тютчевский экспромт.

Подобных примеров «импровизаций» поэта можно указать немало. Однажды, вернувшись домой осенним дождливым вечером, «почти весь промокший», он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» («Я сочинил несколько стихов») и тут же, пока ему помогали раздеваться, продиктовал ей стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...

Рассказав этот эпизод, Аксаков добавляет: «Здесь почти нагляден для нас тот истинно поэтический процесс, которым внешнее

---

[5] Аксаков, стр. 83.
[6] Все три автографа хранятся в *ЦГАЛИ*.
[7] П. И. Капнист. Сочинения, т. 1. М., 1901, стр. CXXXIV.

ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самою музыкальностью своею, воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя...» [8].

А вот другой пример. Поэт едет ранней осенью из Овстуга в Москву. Стоят еще погожие теплые дни... Поля уже сжаты... Под солнечным лучом золотятся тонкие нити паутины... И, глядя на раскинувшийся вокруг пейзаж, Тютчев вынимает из кармана листок бумаги с перечнем почтовых станций и подсчетом дорожных расходов и на обороте его, скачущим от толчков коляски почерком, записывает без помарок тут же, в пути, сложившееся стихотворение:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора...[9]

Стихотворные экспромты встречаются в письмах поэта к жене — Эрнестине Федоровне. Таковы маленькие, но насыщенные мыслью стихотворения «В разлуке есть высокое значенье...» и «Увы, что нашего незнанья...». Их тесная связь с контекстом письма не оставляет сомнений в том, что это не ранее написанные и лишь к случаю процитированные стихи. Эпистолярную прозу, к тому же не русскую, а французскую, Тютчев как бы счел нужным подкрепить чеканными строками стихотворного афоризма.

Итак, очень многие стихотворения Тютчева — и часто из лучших — являются, условно говоря, импровизациями, экспромтами, поскольку они написаны или продиктованы без какой бы то ни было предварительной подготовки, прямо набело. Это и создало распространенное представление о невероятной легкости, бездумности творческого процесса у Тютчева. Правда, в свое время В. Я. Брюсов, споря с Аксаковым по поводу того, что Тютчев якобы вовсе не знал поэтического труда, утверждал: «Тютчев явно работал над своими стихами, через несколько лет возвращался к прежде написанному, исправлял, переделывал» [10]. Но наблюдение Брюсова, в основе своей правильное, не могло быть с достаточной полнотой развернуто и конкретизировано, поскольку до начала 1920-х годов рукописи поэта, за редкими исключениями, оставались недоступными для изучения.

Лишь теперь, когда в нашем распоряжении находятся не только печатные тексты, но и автографы стихотворений Тютчева, получаем мы возможность судить о том, как работал поэт над стихами и в чем заключалось своеобразие его творческого процесса.

---

[8] Аксаков, стр. 84—85.

[9] Автограф хранится в *ЦГАЛИ*.

[10] В. Я. Брюсов. Легенда о Тютчеве. «Новый путь», 1903, ноябрь, стр. 25.

2

Если, имея перед глазами рукописи Тютчева, мы для сравнения обратимся к рукописям Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Некрасова, то сразу же обнаружим, что процесс создания стихотворения протекал у него иначе, чем у других крупнейших мастеров современной ему русской поэзии. В особенности показательна эта разница на примере Пушкина.

В драгоценных черновиках Пушкина полностью отражен весь ход творческой работы поэта над стихотворением. Перо часто не поспевает за его мыслью: начальные буквы недописанных слов, зачеркнутые обрывки фраз позволяют следить за всеми ее движениями и колебаниями. Работа Пушкина над стихотворением складывается примерно из следующих стадий: 1) черновик, для глаза, непривычного к почерку поэта, кажущийся совершенно неудобочитаемым; 2) перебеленный текст, в процессе переписки и переработки частью или полностью превращающийся в черновик; 3) беловой текст с поправками; 4) окончательный беловой текст.

Первичная стадия творческой работы Тютчева не может быть прослежена по его рукописям: очевидно, бумага служила ему для записи целого, в основном сложившегося стихотворения. Это не значит, что стихи всегда удовлетворяли его в том виде, в каком они вылились из-под пера, что ему были неведомы творческие искания. Но то, что мы условно можем назвать тютчевским «черновиком», на самом деле таковым не является и соответствует тому виду рукописи, который применительно к автографам Пушкина определяется как беловой текст с поправками и отражает третью стадию работы поэта над стихотворением. Нередко, переписывая или припоминая ранее написанные стихи, Тютчев вносил в текст те или иные изменения, но при этом автограф сохранял свой беловой вид и только из внутреннего анализа вариантов оказывается возможным установить их последовательность.

Сам Тютчев признавал в себе «ребячески-отеческую заботливость рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделья», «мелочность стихотворца — amor nugarum (пристрастие к мелочам.— *К. П.*)» [11]. Слово «округление», пожалуй, лучше всего характеризует сущность той переработки, которой обычно Тютчев подвергал написанное.

У каждого поэта, в особенности на первой стадии работы над стихотворением, когда он спешит занести свои мысли на бумагу,

---

[11] Письмо к И. С. Аксакову от 16 мая 1867 г. «Литературное наследство», т. 19—21, 1935, стр. 237; письмо к Ю. Ф. Самарину от 15 мая 1867 г.— Там же, стр. 236.

возможны и словесные ляпсусы, и своего рода смысловые «описки», и тавтологические сочетания слов, и какофонические стыки звуков, и грамматические промахи, которые быстро замечаются и устраняются в процессе дальнейшей работы. Всего этого не избежал и Тютчев, какими бы на первый взгляд законченными ни появлялись стихи поэта из-под его пера.

В стихотворении «Тихой ночью, поздним летом...» (1849) Тютчев по явному недоразумению написал в 4-й строке: «Жатвы дремлющие зреют», но, тут же спохватившись, исправил: «Нивы дремлющие зреют» [12]. В автографе стихотворения «Неохотно и несмело...», описывающего мимолетную грозу, 13-я строка читалась: «Гуще капли дождевые» [13]. Эпитет «гуще» возник, очевидно, по аналогии с широко распространенными даже не в поэтической, а в разговорной речи выражениями: «сгустился туман», «сгустились сумерки». В обоих примерах глагол «сгущаться» образно передает тускнеющее, меркнущее освещение, а в первом случае и чисто зрительное ощущение плотности тумана. Именно это и делает наречие «гуще» совершенно неприменимым к дождю. Читатель неминуемо воспринял бы это выражение в смысле плотности, густоты, а «капли дождевые» ни плотными, ни густыми быть не могут. Вот почему во втором автографе (в так называемом «альбоме М. Ф. Бирилевой») 13-я строка читается уже иначе: «Чаще капли дождевые».

Изображая в стихотворении «По равнине вод лазурной...» (1849) морское плавание, Тютчев первоначально написал:

С неба звезды нам светили,
Снизу искрилась волна,
И дождем соленой пыли
Обдавала нас она.

Однако в том же автографе слова «дождем» и «соленой» зачеркнуты, и понятно почему. Эпитет «соленая» привносил в текст чрезмерную и неоправданную в данном случае конкретность. Неудачно было и метафорическое существительное «дождь», плохо ассоциирующийся в нашем сознании с брызгами волны. Зачеркнув оба слова, Тютчев находит им очень образную и вместе с тем точную замену: «И метелью влажной пыли».

Тавтологические слова и выражения обычно замечаются тотчас по их написании и тут же удаляются. Так, в автографе стихо-

---

[12] Наиболее полная сводка вариантов тютчевских стихов дана в изд.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л., 1939 («Библиотека поэта». Большая серия), стр. 260—288.— В дальнейшем в подстрочных примечаниях указывается рукописный источник только таких вариантов, которые не вошли в это издание.

[13] Автограф хранится в *ЦГАЛИ*; ранее находился в архиве П. А. Вяземского.

творения «Когда дряхлеющие силы...» (1866) было:

Спаси тогда нас, добрый гений.
. . . .
От чувства затаенной злости
На новый, современный мир...

Поэт увидел что «новый» и «современный» в данном контексте — слова равнозначащие, а потому немедленно заменил их одним словом: «обновляющийся».

Но случалось, что Тютчев не сразу устранял из своих стихов подобные промахи. Так было со стихотворениями «Колумб» (1844) и «Итак, опять увиделся я с вами...» (1849).

В автографе первого стихотворения вторая строфа открывалась четверостишием:

Так связан и сроднен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества...

В списке так называемой «Сушковской тетради», восходящем к неизвестному нам автографу, эти строки появляются с заменой в первом стихе глагола «сроднен» и предшествовавшего ему союза «и» глаголом «съединен», устранившим ранее допущенную тавтологию («сроднен... родства»).

Стихотворение «Итак, опять увиделся я с вами...» написано Тютчевым при посещении им родного, но нелюбимого Овстуга летом 1849 года,— во второй раз по возвращении из-за границы. Настроение, в котором находился поэт, когда писал эти стихи, было в значительной степени созвучно переживаниям, которые он ощутил в первый свой приезд в Овстуг после многолетнего отсутствия — в 1846 году. «...В первые мгновенья по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший,— писал Тютчев жене.— ...Словом, я испытал в течение нескольких мгновений то, что тысячи подобных мне испытывали при таких же обстоятельствах, что вслед за мною испытает еще немало других и что, в конечном счете, имеет ценность только для самого переживающего и только до тех пор, покуда он находится под этим обаянием» [14].

Сохранилось два автографа стихотворения «Итак, опять увиделся я с вами...». В первом автографе вторая строфа начинается таким обращением поэта к своему «детскому возрасту».

О бедный призрак, немощный и смутный,
Давно минувшего, былого счастья!

---

[14] Письмо от 31 августа 1846 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 391—392.

«Минувшее» и «былое» — это ведь одно и тоже: синонимы прошлого. Но, помимо своего тавтологического характера, эпитеты эти не были достаточно выразительны, не передавали самой сути того «зачарованного мира», который припомнился поэту. Излишни они были и потому, что в контексте стихотворения выражение «призрак» счастья по существу уже указывало на то, что это счастье — в прошлом. Но главное не в этом. Главное в том, что призрак «былого» счастья мог витать перед поэтом не только в Овстуге — и счастья более полного, более глубокого, более осознанного. В последней строфе этого же стихотворения он говорит: «Не здесь расцвел, не здесь был величаем ||великий праздник молодости чудной» (эти слова напрашиваются на сравнение с записанным дочерью поэта и приведенным во второй главе настоящей монографии рассказом Тютчева о первых годах его супружеской жизни). Память об этом «великом празднике» всегда и повсюду щемящей тоской отзывалась в сердце поэта, тогда как воспоминание о детских годах обычно дремало в нем и пробуждалось на «несколько мгновений» лишь в Овстуге.

О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!..

— читаем мы во втором, также беловом, автографе стихотворения. В этом новом варианте найдены точные слова, определяющие характерную особенность именно детского счастья во всей пленительной неясности младенческих грез и в то же время передающие настоящее отношение к нему поэта.

Примеры, заимствованные из автографов стихотворений «Тихой ночью, поздним летом...», «Неохотно и несмело...», «По равнине вод лазурной...», «Когда дряхлеющие силы...», «Колумб» и «Итак, опять увиделся я с вами...», показывают, как изгонял поэт из окончательного текста своих стихов случайно проскользнувшие в первоначальной записи словесные «сорняки». Изучение рукописей Тютчева свидетельствует о том, что поэт не оставался глух и к неудачным звукосочетаниям, которые легко могут быть пропущены при чтении текста глазами, про себя, но обнаруживаются при чтении вслух.

В стихотворном приветствии П. А. Вяземскому по случаю дня его рождения (1861), указывая на то, что сама «великая природа» празднует юбилей поэта, Тютчев написал:

Смотрите, на каком просторе
Она устроила вам пир.

Переписывая стихи, он заметил, что из сочетания двух последних слов получается слово «вампир» и исправил «вам» на «ваш». «Вампир» исчез, но возникло — опять-таки на слух — некое

непонятное существительное «вашпир». В третьем варианте этой строки, который имеется в третьем автографе стихотворения, оно уступает место единственно возможному в данном случае местоимению «свой»: «Она устроила свой пир».

Но если все перечисленные поправки касаются более или менее бесспорных стилистических небрежностей, то гораздо интереснее такие варианты тютчевских рукописей, которые свидетельствуют об особой взыскательности поэта к точности слова, о стремлении достигнуть максимальной выразительности художественного образа, не допускающей возможности неверного или двоякого его понимания.

Однажды Вяземский прислал Тютчеву свое стихотворение «Послание к графу Д. Н. Блудову», очевидно, прося поэта высказать о нем свое мнение и помочь исправить отдельные места. «Хорошенько сообразив все,— писал ему Тютчев,— я полагаю, что лучше будет в стихе: „И нет конца твоим стрелам" — поставить так: „И счету нет твоим стрелам", по той причине, что *конец* стрел может, пожалуй, означать *острие* стрел, и в таком случае фраза оказалась бы несколько двусмысленной»[15].

Это замечание дает нам ключ к анализу творческой работы Тютчева над своими стихами. Большинство на первый взгляд мелких тютчевских исправлений объясняется именно желанием поэта избежать малейшей неясности смысла.

Юношеское стихотворное приветствие Тютчева его учителю С. Е. Раичу, только что окончившему перевод Вергилиевых «Георгик», в рукописи (1820) начиналось так:

Неверные преодолев пучины,
Достиг пловец родимых берегов;
И в пристани, окончив бег пустынный,
С веселостью знакомится он вновь!..

В стихотворении Раич уподоблялся пловцу, преодолевшему «с отважностью и славой || моря обширные своим рулем», и победно вступившему на пристань. Уместен ли был в данном случае эпитет «родимые» (берега)? Смыслу он не противоречил, но вместе с тем и не был достаточно точен. Ведь поэту нужно было подчеркнуть не столько возвращение своего друга на родную землю, сколько радость достигнутой цели, завоевание нового, ранее неведомого берега. Вот почему Тютчев зачеркивает эпитет «родимые» и вписывает над строкой другой эпитет — «желанные»: «Достиг пловец желанных берегов».

Очень интересна в том же плане уточнения образов работа Тютчева над стихотворениями «Восток белел. Ладья катилась...» (первая половина 1830-х годов) и «Под дыханьем непогоды...» (1850).

---

[15] Письмо от начала января 1851 г. Подлинник по-французски.— Там же, стр. 394.

Nice $\frac{2}{14}$ Janvier 1865

Море ночное — о море ночное —
Здесь так лучисто, там сизо-темно
В [illegible] — словно живое —
Ходит и дышит и блещет оно —

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Что расходилась [illegible]
Волны несутся гремя и сверкая
[illegible] прислушались [illegible] —

Автограф первой редакции стихотворения «Как хорошо ты, о море ночное...».

В первоначальной записи стихотворения «Восток белел. Ладья катилась...» первая строфа открывалась словами «Восток светлел», вторая — «Восток горел», третья — «Вдруг вспыхнул день». Задача поэта показать зачинами строф постепенность восхода солнца не была достигнута: слова «Восток горел» в сущности уже означали, что день «вспыхнул». Во втором автографе стихотворения Тютчев очень удачно выправляет этот недосмотр: он заменяет глагол «горел» глаголом «алел», а слова «Вдруг вспыхнул день» словами — «Восток вспылал». Не ограничиваясь этими поправками, он вместо «Восток светлел» (в первой строфе) пишет «Восток белел». Тем самым ему удается восстановить красочную последовательность восхода солнца. Глагол «светлел» был недостаточно определенен: светлеть может любой цвет, любая краска. И поэт находит именно то слово, которое здесь нужно: «белел». Но обозначившаяся на востоке белая полоса начинает приобретать сначала розоватый, а затем и красноватый оттенок. Слово «алел» появляется тут как нельзя более кстати вместо прежнего «горел». Однако алеющий небосклон — это еще не горящий; он еще не озарен лучами солнца. И только тогда, когда алый цвет переходит в огненный, поэт может сказать, что «вспыхнул день». Но он предпочитает сказать иначе: «Восток вспылал», ибо пламя сильнее, ярче и длительнее вспышки. К тому же, поскольку в зачинах первой и второй строф соблюден был синтаксический параллелизм, с композиционной точки зрения выигрышно было построить зачин последней строфы в соответствии с двумя предыдущими: «Восток белел. Ладья катилась...», «Восток горел. Она молилась...», «Восток вспылал. Она склонилась...».

Через четырнадцать лет после первого появления этих стихов в печати в пушкинском «Современнике» 1836 года, посылая их в 1850 году в редакцию «Москвитянина», Тютчев внес в текст еще одну, на первый взгляд незначительную, поправку. В автографе тридцатых годов вторая строфа читалась так:

Восток алел... Она молилась,
С кудрей откинув покрывало,—
Дышала на устах молитва,
Во взорах небо ликовало...

Теперь, вновь переписывая или припоминая на память стихотворение, Тютчев во второй строке поставил: «С чела откинув покрывало». Прежний вариант делал жест молящейся женщины не вполне понятным: между тем поэту важно было пояснить, что она обнажила лоб, что глаза ее устремлены к небу, которое отражается в их ясности. И эту поправку Тютчев делает несмотря на то, что с чисто эвфонической стороны строка явно проиграла вследствие соседства свистящего «с» и шипящего «ч».

Nice. le $\frac{2}{14}$ Janvier. 1865

Море ночное, о море ночное,
Что такъ лучезарно и что такъ темно?
Въ лунномъ сіяньи, словно живое,
Ходитъ и дышитъ и блещетъ оно..

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздникъ такъ празднуешь ты!
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звѣзды глядятъ съ высоты...

Автограф второй редакции стихотворения «Как хорошо ты, о море ночное...».

Стихотворение «Под дыханьем непогоды...» было впервые записано поэтом на небольшом листке бумаги в таком чтении:

Под дыханьем непогоды,
Вздувшись, почернели воды
И подернулись свинцом,
И на глянец их суровый
Вечер пасмурно-багровый
Светит трепетным лучом.

Сыплет искры золотые,
Сеет розы огневые,
И уносит их поток.
Над стихиею лазурной
Вечер пламенный и бурный
Обрывает свой венок...

Без изменений было оно вписано Тютчевым и в так называемый «альбом М. Ф. Бирилевой». Однако тут же, судя по почерку и цвету чернил, поэт заменяет в стихотворении отдельные слова. Во втором стихе первой строфы он зачеркивает глагол «почернели» и надписывает над ним более обобщенный по смыслу глагол «потемнели» («Вздувшись, потемнели воды»). Заменой в четвертой строке той же строфы предлюга «на» предлогом «сквозь» Тютчев вносит в текст, казалось бы, незначительное, но на самом деле очень существенное уточнение: лучи заката не просто освещают поверхность реки, но отражаются в воде, пронизывают ее, а потому и воспринимаются как нечто, светящее не извне, а изнутри («И сквозь глянец их суровый»). В зрительно-цветовом отношении эпитет «трепетный» был безразличен. Замена его эпитетом «радужный» («Светит радужным лучом») сразу же обогатила картину ненастного вечера недостававшими в ней красками и органичнее связала первую строфу со второй: не «трепетный», а именно «радужный» луч дробится на «искры золотые» и «розы огневые». Во второй строфе Тютчев исправляет только четвертую строку: вместо «Над стихиею лазурной» — «Над волной темно-лазурной». Составной эпитет был здесь необходим, ибо просто «лазурная» водная стихия была бы уместна в описании ясного солнечного дня, но противоречила представлению о пасмурном дне, озаренном лишь закатными огнями вечера.

Подобным исправлениям, сводящимся к тонкой отделке текста, его шлифовке, Тютчев очень часто подвергает уже напечатанные стихотворения.

В 1832 году в журнале «Телескоп» впервые появились тютчевские «Весенние воды». Здесь стихотворение начиналось так:

Еще в полях белеет снег,
А воды с гор уже шумят.

Автограф третьей редакции стихотворения «Как хорошо ты, о море ночное...».

Иначе, чем в привычном для нас тексте, читалась и 2-я строка второй строфы: «Весна пришла, весна идет!»

Вторично, в соответствии с дошедшим до нас беловым автографом «Весенние воды» были опубликованы в «Современнике» 1836 года. Это и есть тот текст, который впоследствии приобрел широкую известность и настолько вошел в наше сознание, что отмеченные мною две строки журнальной редакции воспринимаются как режущие слух диссонансы. Мотивы, по которым именно эти две строки были исправлены поэтом, понятны. Выражением «А воды уж весной шумят» резче подчеркивается контрастность между *еще* зимним пейзажем и *уже* весенним настроением, разлитым в природе. Во 2-й строке второй строфы Тютчев заметил смысловую непоследовательность: надо было бы сказать не «Весна пришла, весна идет», а «Весна идет, весна пришла», что, однако, не рифмовалось бы с 4-й строкой. Поэтому вместо «пришла» поэт вводит повторное «идет», сразу же усилившее общий ликующий тон всего стихотворения. Повтор здесь был тем более уместен, что стихотворение вообще построено на повторах, связывающих строфы между собой. В первой строфе повторяются начальные слова 3-й и 4-й строк:

Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...

Последнее слово «гласят» подхватывается в первом же стихе следующей строфы:

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!...»

Со 2-й строкой дословно перекликается начальный стих последней строфы, только в первом случае о приходе весны «гласят» воды, а во втором ее появление теми же словами возвещается самим поэтом.

Поскольку Тютчев довольно часто вносил в свои стихотворения те или иные поправки уже после того, как эти стихотворения были напечатаны, окончательный текст их нередко бывает представлен либо автографом, либо списком или записью под диктовку, сделанными кем-либо из близких поэту лиц.

В конце декабря 1869 года Тютчев поместил в газете «Голос» стихотворение, обращенное к известному русскому фольклористу, собирателю «Онежских былин» А. Ф. Гильфердингу. Незадолго до этого Гильфердинг был забаллотирован на выборах в адъюнкты Академии наук. Объясняя этот постыдный факт интригами «русских немцев», Тютчев в своем стихотворении остроумно и едко расценивает его как лучшее признание заслуг ученого перед русской и славянской филологией. Печатный текст начинается такой строфой:

Спешу поздравить. Мы охотно
Приветствуем ваш неуспех,
Для вас и лестный, и почетный,
И назидательный для всех.

Но, кроме текста «Голоса», сохранился еще список этого стихотворения, сделанный рукой жены поэта в «альбоме М. Ф. Бирилевой». В нем эти же строки читаются иначе:

Спешу поздравить с неудачей:
Она — блистательный успех,
Для вас почетна наипаче
И назидательна для всех.

В такой редакции строфа эта явно выигрывает по сравнению с журнальным текстом: игра словами «неудача» и «успех» и внутренние рифмы «блистательный» и «назидательна» резче подчеркивают заключенный в ней иронический смысл, направленный против недругов русской науки. Нет никаких сомнений в том, что текст «Голоса» — ранний, а текст списка — поздний, окончательный.

Приведенные примеры раскрывают не столько творческую, сколько редакционную работу Тютчева над своими стихами. Во всех указанных случаях правка текста ограничивается отдельными строками и даже словами. Приблизительно третью часть всего написанного Тютчевым составляют стихи, в рукописных и печатных текстах которых содержатся подобные разночтения. Как бы ни были художественно ценны многие из них, всё же они не выходят за пределы того, что сам поэт назвал «округлением», не влияют на общий идейно-художественный замысел стихотворения, на его композицию. Но среди поэтических произведений Тютчева имеются и такие, которые сохранились в нескольких редакциях. В количественном отношении они образуют каких-нибудь пять-шесть процентов всего поэтического наследия Тютчева, но именно эти стихотворения дают наибольшее представление о том, что принято называть «творческой лабораторией» поэта.

3

Рукописные материалы позволяют нам с достаточной полнотой и последовательностью установить, как создавались некоторые стихотворения Тютчева, принадлежащие к лучшим образцам его лирики. Таковы, например, «Как неожиданно и ярко...», «Декабрьское утро», «Как хорошо ты, о море ночное...», «От жизни той, что бушевала здесь...» и другие.

Стихотворение «Как неожиданно и ярко...» (1865) написано было не сразу. Сначала, под живым впечатлением от радуги, виденной проездом через город Рославль по пути из Москвы в Овстуг,

Тютчев написал восемь стихов, посвященных непосредственному изображению поразившего его зрелища:

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

В таком виде стихотворение представляло, говоря словами Некрасова, «пейзаж в стихах». По-видимому, Тютчев смотрел на эти восемь строк как на самостоятельное, законченное стихотворение. После текста в автографе были поставлены дата и помета «Рославль». Через какое-то время Тютчев вернулся к этому стихотворению. Вновь переписав его без всяких изменений, он добавил к нему еще восемь стихов:

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело,—
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.

В результате добавления этой строфы изменился самый характер стихотворения. Мастерской поэтический этюд с натуры, набросанный в момент восхищенного созерцания радуги, перестал существовать для поэта как самоцель, стал нужен ему лишь как «материал», повод для философского раздумья над тем, что общего между этим «радужным виденьем» и самым дорогим и заветным для человека.

В своем расширенном виде стихотворение приобрело излюбленную Тютчевым двухчастную композицию, состоящую из двух равных строф по восемь стихов в каждой. Из произведений тютчевской натурфилософской лирики совершенно так же построены, как отмечалось в своем месте, написанные в 1830-х годах стихотворения «Фонтан», «Поток сгустился и тускнеет...», «Еще земли печален вид...».

Так же, без особого труда и, так сказать, в два сеанса было создано Тютчевым стихотворение «Декабрьское утро» (1859). Однажды поздним петербургским утром поэт был поражен зрелищем еще ночного неба с еле обозначившимися на нем проблесками рассвета. Взяв по обыкновению первый попавшийся листок бумаги. Тютчев сделал на нем помету: «Декабрь, 8 ч⟨асов⟩ утра» и написал следу-

ющие две строфы:

Не двинулась ночная тень,
Высоко в небе месяц светит,
Царит себе — и не заметит,
Что уж родился юный День,—

Что хоть лениво и несмело
Луч возникает за лучом,
А небо так еще всецело
Ночным сияет торжеством.

Картина, под впечатлением которой написаны эти строфы, передана в них, казалось бы, достаточно полно и поэтично. Но Тютчев этим не удовлетворяется и пишет новую редакцию стихотворения, которая неизмеримо превосходит первую своими художественными достоинствами. Первая строфа переработана им так:

На небе месяц — и ночная
Еще не тронулася тень.
Царит себе, не сознавая,
Что вот уж встрепенулся день.

Вторая строфа перенесена в новую редакцию без всяких изменений. Зато к ней присоединена ранее отсутствовавшая третья строфа:

Но не пройдет двух-трех мгновений,
Ночь испарится над землей,
И в полном блеске проявлений
Вдруг нас охватит мир дневной.

При переработке первой строфы Тютчевым очень метко выбран глагол-метафора «встрепенулся». Ведь поэт изображает такой момент суток, когда день еще не «родился», не просиял (об этом будет сказано позже), а только лишь «встрепенулся» [16]. Небезразличен и перенос месяца как символа ночи в самое начало стихотворения. Словами «на небе месяц» поэт как бы подготовляет читателя к восприятию образа «царственной» ночи. И тем более резким контрастом всему, что говорится о ней в первой и второй строфах, должна прозвучать третья, заключительная строфа, в которой образ «испаряющейся» ночи сменяется образом ранее «несмелого», а теперь торжествующего дня. Только сравнивая между собою обе редакции стихотворения, видишь, чего ему прежде недоставало: оно не было завершено, не имело настоящей концовки.

Более сложным оказался процесс создания стихотворения «Как хорошо ты, о море ночное...» (1865). Пять его автографов (ни одно из стихотворений Тютчева не дошло до нас в таком

[16] Тютчев однажды, говоря о наступлении дня, уже применил это выражение в одном из стихотворений тридцатых годов: «Как птичка, раннею зарей || мир, пробудившись, встрепенулся...».

Автограф четвертой редакции стихотворения «Как хорошо ты, о море ночное...» (1-я страница).

Автограф четвертой редакции стихотворения «Как хорошо ты, о море ночное...» (2-я страница).

количестве рукописей) открывают перед нами возможность наблюдать этот процесс шаг за шагом. 2 января 1865 года, после ночной прогулки по взморью Ниццы, Тютчев на листке почтовой бумаги набросал карандашом следующие строки:

Море ночное, о море ночное —
Здесь так лучисто, там сизо-темно.
В месячном свете — словно живое —
Ходит, и дышит, и блещет оно.

Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Что расходилась в ночной темноте?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Звезды проснулись — смотрят и те.

Запись, по-видимому, сделана непосредственно по возвращении поэта в гостиницу, в которой он жил. Затем,— может быть, уже на другой день,— Тютчев чернилами изменил в этой рукописи 2-ю и 3-ю строки первой строфы. Исправление 2-й строки на значительно менее удачный вариант: «Здесь так лучисто, а там так темно» — трудно понять и объяснить. Новое же чтение 3-й строки: «В лунном сиянии, словно живое» придало ей большую поэтичность и упорядочило ее метрический рисунок, так как первоначально во второй стопе недоставало одного слога. Такое же нарушение метра наблюдается и в последней строке второй строфы, но Тютчев пока оставил ее без изменений.

Второй автограф представляет собой перебеленный текст, в который, однако, при переписывании поэт внес новые исправления:

Море ночное, о море ночное,
Что так лучисто и что так темно?
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты...

В первой строфе Тютчев исправляет только второй стих: «Что так лучисто и что так темно?» вместо «Здесь, так лучисто, а там так темно». Хотя вопрос в данном случае и не вполне оправдан, естественно, что слуху поэта претило неблагозвучное сочетание «там так» в предыдущем варианте. Впрочем, и новый вариант вскоре будет отвергнут Тютчевым.

Текст же второй строфы отныне может считаться окончательно сложившимся, и вполне понятны причины, побудившие Тютчева переработать в ней именно 2-ю и 4-ю строки. Первоначальное чтение 2-й строки: «Что расходилась в ночной темноте?» проти-

воречило первой строфе: в самом деле, о какой же ночной «темноте» можно говорить, когда все залито лунным сияньем? Не совсем точна была и последняя строка: «Звезды проснулись — смотрят и те». Не говоря уже о прозаичности оборота «и те», особенно в рифме,— неясен был союз «и»: смотрят *и* звезды. А кого же еще имеет в виду поэт? Самого себя? Вопрос этот невольно возникает и вызывает недоумение. Зато как прекрасен, «ненагляден» (пользуясь выражением Фета) эпитет «чуткие», найденный поэтом при дальнейшей работе над стихотворением. Устраненным на этот раз оказывается и метрический недочет во второй стопе последней строки.

Итак, перед нами беловой, даже тщательно переписанный текст стихотворения. В такой редакции оно, по-видимому, на какой-то срок удовлетворяет поэта, и он переписывает его вторично. Но едва переписав, он отрезает и уничтожает верхнюю половину полулиста почтовой бумаги с текстом первой строфы, а на втором полулисте наспех вписывает новую ее редакцию:

Как хорошо ты, о море ночное,
Искры в ночи — золотое пятно.
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

1-я строка впредь останется без изменений, 2-я же будет дважды переработана. И действительно, настоящий ее вариант совершенно неудачен,— может быть, неудачнее всех предыдущих. Первая и вторая половина строки по смыслу исключают друг друга: или «искры», т. е. нечто рассеянное, колеблющееся, или «пятно», т. е. нечто слитное, более или менее неподвижное и ограниченное в пространстве. Кроме того, новое чтение стирало очень важное противопоставление света и мрака, которое при всех изменениях строки сохранялось в трех предшествующих ее редакциях.

Текст, почти совпадающий с данным автографом, был напечатан И. С. Аксаковым в газете «День» от 23 января 1865 года. И. С. Аксаков получил не вполне исправную копию стихотворения от дочери поэта Д. Ф. Тютчевой. Но к этому времени Тютчев уже успел подвергнуть стихи новой переработке.

Упорно не удававшаяся поэту 2-я строка первой строфы наконец почти приобретает окончательный вид. При этом Тютчев до некоторой степени возвращается к самому раннему ее варианту. В первом автографе было: «Здесь так лучисто, там сизо-темно»; теперь стало: «Здесь лучезарно, там сизо-черно». В картине лунной ночи, таким образом, вновь восстанавливаются столь необходимые для нее светотени. Затем,— по-видимому, без каких-либо подготовок и исканий,— сразу набело записывается превосходная вторая строфа:

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром —
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

По своему образному и звуковому строю эта строфа представляет в общей композиции стихотворения исключительно важное значение: к зрительным впечатлениям от освещенного луной, движущегося и дышащего, подобно живому существу, моря присоединяются теперь ощущения слуховые — «грохот и гром» прибоя. Замыкающее новую строфу восклицание: «Как хорошо ты в безлюдье ночном!» удачно перекликается с самой первой строкой стихотворения («Как хорошо ты, о море ночное...»), усиливая общую глубоко эмоциональную интонацию стихотворения.

В качестве третьей строфы без каких-либо изменений переносится в данную рукопись вторая строфа предыдущей редакции («Зыбь ты великая, зыбь ты морская...»). На этой же стадии работы над стихотворением появляется в автографе и последняя, четвертая строфа:

В этом волнении, в этом сияньи,
Вдруг онемев, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаяньи
Всю потопил бы я душу свою...

И теперь, когда «мелочность стихотворца» уже довела художественный замысел поэта до своего завершения, Тютчев прочитал в газете «День» забракованную им редакцию стихотворения. Чуть ли не в первый раз в жизни испытал он чувство уязвленного авторского самолюбия и поспешил отречься от того, что было недавно им самим написано. Посылая 2 февраля 1865 года А. И. Георгиевскому для «Русского вестника» окончательный текст стихотворения «Как хорошо ты, о море ночное...», Тютчев сопроводил его официальным письмом в редакцию следующего содержания: «Прилагаемая пьеса была напечатана без моего ведома, в самом безобразном виде, в 4-м № „Дня“... Я, бог свидетель, нисколько не дорожу своими стихами,— теперь менее, нежели когда-нибудь,— но не вижу и необходимости брать на свою ответственность стихов, мне не принадлежащих» [17].

Переписывая стихотворение для отсылки в редакцию «Русского вестника», Тютчев внес в текст еще две небольшие поправки: во втором стихе первой строфы — «Здесь лучезарно, там сизо-темно» вместо «сизо-черно», и во втором стихе последней строфы — «Весь как во сне, я потерян стою» вместо «Вдруг онемев». Как видим, в первом случае он возвращается к начальному варианту, ибо в цветовом отношении первичное впечатление оказывалось менее определенным, но более точным. Исправление второго стиха четвертой строфы обусловлено тем, что вариант «Вдруг онемев» подавал повод для буквального понимания, а это противоречило состоянию поэта, способного не только созерцать лучезарную морскую феерию, но и выражать в словах свое отношение к заворо-

[17] Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Редакция и комментарии Георгия Чулкова. Т. II. М.— Л., 1934, стр. 399.

жившему его зрелищу. Ведь и самое стихотворение в значительной своей части построено как устное обращение к морю.

Обычно с первой же строки Тютчеву была ясна та форма, какую должно принять стихотворение: его метр, его строфика. Можно указать только один случай, когда написанное, по-видимому, более чем наполовину стихотворение было брошено поэтом и «переписано» другим размером и с измененной строфикой. Это — знаменитые стихи «От жизни той, что бушевала здесь...» (1871).

Стихотворение было начато поэтом так:

От жизни той, во дни былые
Пробушевавшей над землей,
Когда здесь силы роковые
Боролись слепо меж собой,
И столько бед здесь совершалось,
И столько крови здесь лилось,
Что уцелело и осталось?
Затихло все и улеглось.

Лишь кое-где, как из тумана
Давно забытой старины,
Два-три выходят здесь кургана
. . . .

На этом обрывается первая редакция стихотворения. По всей вероятности, оно должно было быть построено по тому же образцу, что и «Осенней позднею порою...» (1858) и «Тихо в озере струится...» (1866). В обоих стихотворениях, из которых первое написано тем же размером (четырехстопным ямбом), что и набросок «От жизни той, во дни былые...», пейзаж сочетается с «обаянием» исторического прошлого. Замысел той же двухчастной композиции, которую мы наблюдаем в этих двух стихотворениях, можно предполагать и в только что процитированном наброске.

Новая редакция стихотворения написана пятистопным ямбом и состоит из четырех строф по четыре стиха в каждой. Все содержание первоначальной незавершенной редакции сведено к четырем первым строкам:

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Развитием первой строфы служит вторая строфа, проникнутая мыслью о том, что раскинувшимся на курганах дубам «нет дела» до того, «чей прах, чью память роют корни их». Возможно, что если бы первая редакция была доведена до конца, то именно образом дубов, выросших на месте древних погребений, и завершалась бы вторая строфа. Правда, в дошедших до нас строках

об этом еще ничего не говорится, но они напрашиваются здесь сами собою.

Зато в наброске стихотворения нет никакого намека на глубокую философскую мысль, которая будет развита поэтом в третьей и четвертой строфах окончательной редакции («Природа знать не знает о былом...») и которая делает это стихотворение едва ли не центральным в ряду его раздумий о месте человека в природе.

Обычно работа Тютчева над стихотворением ведет к его увеличению. В этом нетрудно было убедиться на примере анализа текстов «Как неожиданно и ярко...», «Декабрьское утро», «Как хорошо ты, о море ночное...». Некоторые стихотворения имеют более двух редакций, но и тут наблюдается та же тенденция к увеличению текста. Так, в первой редакции стихотворения «Он, умирая, сомневался...» было четыре строфы (16 строк), во второй — пять (20 строк), а в третьей, окончательной, стало шесть (24 строки). В двух первых редакциях стихотворения «Славянам» («Они кричат, они грозятся...») было семь строф (28 строк), в третьей, последней, стало восемь (32 строки).

Нам известно только два бесспорных случая сокращения самим Тютчевым окончательной редакции стихотворения по сравнению с предыдущими. Первый случай связан с работой поэта над стихами «По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанных в „Journal de St.-Pétersbourg“». Сохранилось три автографа этого стихотворения и печатный текст, появившийся в газете «Русский» за 1868 год. В этом печатном тексте, несомненно дающем окончательную редакцию стихотворения,— четыре строфы по четыре строки в каждой, тогда как во всех автографах между первой и второй строфами имеется еще одна. Второй случай сокращения текста касается стихотворения «Чему бы жизнь нас ни учила...». В первой редакции оно состояло из трех строф (12 строк), во второй — из шести (24 строки), а в третьей, окончательной, соответствующей печатному тексту «Русского вестника» за 1871 год, сведено к пяти строфам (20 строк). В обоих случаях сокращения произведены за счет устранения длиннот.

Возникает естественный вопрос: всегда ли в работе над стихами Тютчеву сопутствовала удача, т. е. случалось ли поэту «портить» стихотворение или не доводить работу до конца? При всей субъективности понятия, что лучше и что хуже, думается, следует ответить на эти вопросы утвердительно. Можно привести три-четыре примера, когда стихотворение в окончательной редакции уступает в художественном отношении первоначальному тексту, и именно вследствие добавления к нему новых строф. Таково, например, стихотворение, посвященное Н. С. Акинфиевой,— «Как летней иногда порою...» (1863) [18].

---

[18] Надежда Сергеевна Акинфиева, рожденная Анненкова, была внучатой племянницей кн. А. М. Горчакова. В середине шестидесятых годов в светских кругах Петербурга шли оживленные пересуды по поводу ее развода

Сохранился автограф, в котором стихотворение читается так:

НАДЕЖДЕ СЕРГЕЕВНЕ АКИНФИЕВОЙ

Как летней иногда порою
Вдруг птичка в комнату влетит,
И жизнь и свет внесет с собою,
Все огласит и озарит —

Так мимолетной и воздушной
Явилась гостьей к нам она,
В наш круг и чопорный и скучный,
И пробудила всех от сна.

Ее присутствием согрета,
Жизнь встрепенулася живей,
И даже питерское лето
Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодела
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

Но кратки все очарованья,
Им не дано у нас гостить,
И вот сошлись мы — для прощанья,—
Но долго, долго не забыть

Нежданно
[Внезапно] милого явленья,
Те ямки розовых ланит,
Ту роскошь стройную движенья
И стан, оправленный в магнит,

Радушный
[И резвый] смех и звучный голос,
Полулукавый свет очей,
И этот длинный, тонкий волос,
Едва доступный пальцам фей.

Стихотворение написано карандашом на трех страницах почтовой бумаги; в тексте всего две поправки. Но на четвертой

с мужем. Сам Горчаков был неравнодушен к своей племяннице, и поговаривали о возможном его браке с ней. Кроме названного стихотворения, с именем Акинфиевой связано еще два стихотворения Тютчева — «Велели вы — хоть, может быть, и в шутку...» и «Как ни бесилося злоречье...» (оба — 1865). Все эти стихи указывают на то, что Тютчев, как и многие другие завсегдатаи дома Горчакова, находился под обаянием этой молодой и привлекательной женщины.

странице отдельно записаны две дополнительные строфы.

Весь мир, цветущий мир природы,
Внесет в наш угол за собой —
Зеленый лес, живые воды
И отблеск неба голубой.

наш будто
И самый дом [воскрес и] ожил,
Ее жилицею избрав
[Свою угрюмость потеряв]...
И нас уж менее тревожил
Неугомонный телеграф.

Следующая стадия работы над стихотворением отражена в списке рукой М. Ф. Тютчевой с собственноручными поправками поэта. В этом списке стихотворение состоит из девяти строф, причем место второй и шестой занимают два только что приведенных четверостишия. Поправки поэта касаются всего лишь четырех строк: 6-й — «В наш угол вносит за собой» вместо «Внесет в наш угол за собой»; 11-й — «душный» вместо «скучный»; 29-й — «Нежданно милых впечатлений» вместо «Нежданно милого явленья»; 31-й — «Ту негу...» вместо «Ту роскошь...». Поправки эти мелкие, но они улучшают текст. Зато две новые строфы явно нарушают композиционную цельность стихотворения.

Образ птички, которым открывается стихотворение, играет в нем чисто «служебную» роль, нужен только в качестве сравнения. А потому первоначально о птичке было сказано ровно столько, чтобы ясна была внутренняя связь между нею и центральным поэтическим образом стихотворения: «И жизнь и свет внесет с собою, || всё огласит и озарит». Вторая же, дополнительно написанная строфа с ее излишними для дальнейшего развития стихотворения подробностями невольно задерживает внимание читателя на образе птички, который на время приобретает как бы самостоятельное значение. К тому же растянутый на три строфы синтаксический период сильно отяжеляет стихотворение, лишает первые строфы той легкости и четкости, которыми они отличались в первоначальной редакции.

Еще менее органично включение в окончательный текст шестой строфы. Строки: «И самый дом наш будто ожил, ||ее жилицею избрав», повторяют то, что уже говорилось значительно более ярко. Упоминание же о «неугомонном телеграфе», когда-то несомненно, понятное в том узкоинтимном кругу, в котором и для которого писалось это стихотворение, делает соответствующие строки невразумительными для постороннего читателя. Правда, можно на это возразить, что и стихи: «Она вертела, как хотела, ||дипломатическим клубком» (в предыдущей строфе) рассчитаны на посвященных, так как содержат тонкий намек на то неотразимое действие,

какое чары Акинфиевой оказывали на ее дядю Горчакова. Но независимо от своего прямого значения эти строки отлично завершают поэтическую характеристику «мимолетной и воздушной» гостьи во всеоружии ее молодости и прелести, тогда как слова о «телеграфе» остаются абсолютно безразличными и никак не служат раскрытию ее образа.

Начальный союз «и» очень плохо связывает шестую строфу с предыдущей. В первоначальной редакции четвертая (ставшая теперь пятой) строфа, разрешавшаяся своего рода изысканным «bon mot» о «дипломатическом клубке», создавала смысловую и интонационную паузу и подготовляла выразительный в своей контрастности переход к новой теме, заключенной в трех последних строфах стихотворения с их легким вздохом сожаления: «Но кратки все очарованья...». Эта закономерность перехода от одной темы к другой в окончательной редакции утрачена: окончание пятой строфы по-прежнему воспринимается как смысловая и интонационная пауза, перехода же к следующей строфе не получилось, поскольку шестая строфа возвращает нас к уже исчерпанной теме и производит впечатление ненужного привеска.

Подобные случаи редки в стихотворениях Тютчева, но все же они встречаются. И если мы не можем согласиться с Аксаковым в том, что Тютчеву был вообще чужд творческий труд, несомненно, что понятие «усидчивого» труда не вяжется с нашим представлением о поэте. Возможно, что именно этим, т. е. недоведением работы до конца, и объясняются те единичные художественные срывы, которые обнаруживаются порою в стихах Тютчева.

4

Во всех приведенных случаях исправления, дополнения или переработка Тютчевым его стихов производились либо непосредственно по их написании, либо через какой-то сравнительно незначительный период времени. Указанная выше небольшая поправка в стихотворении «Восток белел. Ладья катилась...», сделанная через четырнадцать лет после первого его появления в печати,— случай не единственный, но естественно, что особый интерес в наших глазах приобретают не поправки подобного рода, сводящиеся к замене отдельных слов другими, а создание поэтом на основе ранее написанных текстов новых редакций.

До нас дошло три беловых автографа стихотворения «Еще шумел веселый день...»: два из них относятся к двадцатым годам, а третий — примерно к концу сороковых. Вот первая редакция этого стихотворения.

Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаков вечерних тень
По светлым кровлям пролетала.

Весенней негой утомлен
Вдался я в сладкое забвенье:
Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье.

Украдкой в сумраке ночном
Ходило лунное сиянье,
И ночи зыбкое молчанье
Едва струилось ветерком.

Сомнительно в мое окно
Смотрело бледное светило —
И мне казалось, что оно
Мою дремоту сторожило.

И между тем какой-то гений
Из пышного, златого дня
Тропою тайной сновидений
В страну теней увел меня.

Настоящая редакция представлена беловой записью, сделанной «парадным» каллиграфическим почерком, каким писал иногда молодой Тютчев, на листке бумаги, вырезанном (может быть, позднее) из записной книжки. Предшествовал ли этому автографу какой-либо иной текст — неизвестно. Второй автограф — также без единой помарки, хотя и писан менее тщательно, размашисто. В этом автографе стихотворение озаглавлено «Пробуждение». Разночтения начинаются с третьей строфы.

Изменение первого стиха третьей строфы связано с заменой слова «сомнительно» словом «украдкою» в первом стихе четвертой строфы («Украдкою в мое окно»). Это повлекло за собой необходимость устранения того же слова в третьей строфе. Вместо него Тютчев вводит новый вариант:

Безмолвно в сумраке ночном
Ходило лунное сиянье,

усиливший «импрессионистический» характер всей строфы. Образы «безмолвного» сияния луны и «зыбкого молчания» ночи не неожиданны в творчестве Тютчева заграничного периода. Тогда же он сравнивает возникающие «в душевной глубине», но остающиеся невысказанными чувства и мечты человека с «безмолвно» восходящими на небе и также «безмолвно» заходящими звездами («Silentium!»). Его не смущает и такой образ, как «Утихло вкруг тебя молчанье» («Вчера, в мечтах обвороженных...»),— образ чуть ли не «декадентский» для нашего восприятия, хотя и восходящий к русскому классицизму XVIII века (ср. у Державина: «Затихла тише тишина»).

В третьей строфе Тютчев заменил еще глагол «смотрело» его синонимом «глядело». Казалось бы, это мелкая поправка, но она не безразлична в звуковом отношении: «Глядело бледное светило».

Последняя строфа во втором автографе переработана так:

И между тем какой-то гений
Из области цветущей дня
Стезею тайной сновидений
В страну теней увел меня.

Новый вариант второго стиха сделал более четкой и ощутимой антитезу двух миров — яви и снов, «области» дня и «страны теней». Заметно выиграл в звуковом отношении третий стих, особенно в соседстве с четвертым: «Стезею тайной сновидений || в страну теней увел меня».

Написанное молодым Тютчевым, стихотворение это впервые и не вполне исправно было напечатано лишь в «Москвитянине» 1851 года. Но первопечатный текст не соответствует ни одной из только что разобранных рукописей, а восходит к позднейшему автографу, дающему окончательную, сильно отличающуюся от них редакцию стихотворения. Заглавия в этом третьем автографе нет. После первой строфы введена ранее отсутствовавшая строфа, дополняющая ее новыми подробностями:

И доносилися порой
Все звуки жизни благодатной —
И всё в один сливалось строй,
Стозвучный, шумный и невнятный.

В третьей (прежде второй) строфе — одна, но существенная поправка: «Я впал в невольное забвенье» вместо «Вдался я в сладкое забвенье». Тем самым оказались устраненными книжно-искусственная форма «вдался» и банальный эпитет «сладкое». Средняя (третья) строфа предыдущей редакции («Безмолвно в сумраке ночном...») заменена другой, в которой опущены и «безмолвное» сияние луны, и «зыбкое молчанье» ночи; образы стали проще и конкретнее:

Затих повсюду шум и гам
И воцарилося молчанье —
Ходили тени по стенам
И полусонное мерцанье...

Следует отметить также изменение рифмовки. В обоих предыдущих автографах рифмовка средней строфы была опоясывающей, а всех остальных строф—перекрестной. В окончательной редакции перекрестная рифмовка проведена через все стихотворение.

Наконец существенной переработке подверглась последняя (ранее пятая, а теперь шестая) строфа:

И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлек, незримый, в царство теней.

При такой переработке изменилось ритмическое звучание четырех заключительных строк стихотворения: в ранней редакции этой строфы женские рифмы чередовались с мужскими, тогда как во всех остальных строфах—наоборот. Тютчев восстановил в последней строфе тот же порядок рифм. Вместо ударного слога строфа стала заканчиваться неударным, и такой как бы замирающий ритмический рисунок лучше отвечал «дремотному» содержанию всего стихотворения.

Одним из серьезных отличий окончательной редакции от двух предыдущих является отказ поэта от «импрессионистически» смелых эпитетов. Определенная тенденция к упрощению образов обнаруживается и в поправках, внесенных Тютчевым в тексты стихотворений «Слезы» и «С горы скатившись, камень лег в долине...».

Стихотворение «Слезы» («Люблю, друзья, ласкать очами...») было написано в 1823 году, помещено в альманахе «Северная лира» на 1827 год и перепечатано в первом отдельном издании стихотворений Тютчева 1854 года. Разночтений по сравнению с первопечатным текстом в тексте отдельного издания мало, но одно из них обусловлено именно только что отмеченной тенденцией к большей простоте и конкретности. В «Северной лире» 9-я и 10-я строки читались так:

Люблю, когда лицо прекрасной
Зефир лобзаньем пламенит...

В издании 1854 года эти строки появились в такой редакции:

Люблю, когда лицо прекрасной
Весенний воздух пламенит...

Еще более показательна поправка, сделанная поэтом в стихотворении «С горы скатившись, камень лег в долине» (1833). При жизни поэта оно напечатано не было. В автографе 3-я и 4-я строки читаются так:

Сорвался ль он с вершины сам собой,
Или низвергнут мыслящей рукой?

Существует второй автограф этого же стихотворения, датированный 1857 годом и подаренный поэтом Н. В. Гербелю. В этом автографе 4-я строка изменена:

Иль был низринут волею чужой!

Но наиболее ярким примером поздней переработки раннего стихотворения является общеизвестный текст «Весенней грозы». Напечатанное в 1829 году в «Галатее» Раича, стихотворение это тогда прошло незамеченным, но впоследствии, в переработанном

виде, стало, бесспорно, самым популярным из произведений поэта. Вот в какой редакции напечатано оно в «Галатее»:

Люблю грозу в начале мая:
Как весело весенний гром
Из края до другого края
Грохочет в небе голубом!

С горы бежит ручей проворный,
В лесу не молкнет птичий гам;
И говор птиц и ключ нагорный —
Все вторит радостно громам!

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Мы узнаем здесь отдельные, каждому из нас с детства запомнившиеся строки, находим одну строфу, последнюю, которая часто отсутствует в учебниках, но зато без изменений печатается во всех изданиях Тютчева, и тем не менее как далеки эти стихи от привычной для нас, прославленной «Весенней грозы»! Читая их, мы словно видим перед собой несовершенный эскиз к хорошо знакомой нам картине большого мастера.

Тот текст «Весенней грозы», который впервые был напечатан в «Современнике» 1854 года и затем сделался хрестоматийным, возник, по-видимому, лет через двадцать, если не больше, после появления в печати ранней редакции. Сравнение их показывает, как второстепенное по своим художественным качествам стихотворение превратилось путем переработки в один из шедевров русской поэзии.

Первая строфа в новой редакции звучит так:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

В таком чтении строфа приобрела недостававшую ей ранее ритмико-синтаксическую стройность. Двоеточие после первого стиха указывало на то, что в следующих за ним строках будет пояснено, почему именно поэт любит грозу в начале мая. Однако соответствующее предложение было построено таким образом, что воспринималось как имеющее самостоятельное восклицательное значение. В чисто ритмическом же отношении двоеточие создавало в самом начале стихотворения ничем не оправданную паузу. Между тем по смыслу строфы было важно, чтобы она произносилась, так сказать, одним дыханием. Этого и достигает Тютчев изменением син-

таксической конструкции фразы. Введение в третьей строке метафоры «как бы резвяся и играя» сделано излишним в предыдущей строке эпитет «весело» и поэт устраняет его, упраздняя тем самым назойливую аллитерацию «весело весенний».

После первой строфы Тютчев вставляет новую строфу, сразу же обогатившую картину грозы теми зрительно-конкретными образами, которых в ней недоставало:

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

В третьей строфе переработка сводится к уточнению ряда образов, к придаче им более уместной в данном случае обобщенности («поток» вместо «ручей», «гам лесной» вместо «говор птиц», «шум нагорный» вместо «ключ нагорный»), к подчеркиванию повторами отдельных слов и звуков стремительности ритмического движения строфы:

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Всё вторит весело громам.

Без изменений переходит из ранней редакции стихотворения в окончательную редакцию лишь последняя строфа.

Характер переработки, в особенности дополнительно введенная в текст вторая строфа, указывают на то, что эта редакция возникла не ранее конца 1840-х годов: именно в это время наблюдается в творчестве Тютчева усиление внимания к передаче непосредственных впечатлений от картин и явлений природы.

* * *

В отношении к своим произведениям Тютчев не избежал тех противоречий, которые были ему свойственны. В одних случаях он заботился о том, чтобы стихи были напечатаны в полном согласии с его последней авторской волей (например, «Как хорошо ты, о море ночное...»), в других проявлял совершенное равнодушие не только к тому, будут ли они напечатаны, но и сохранятся ли вообще («Как ни тяжел последний час...»).

Мы не знаем, как встретил Тютчев выход в свет первого прижизненного издания своих стихотворений. Но зато никакие просьбы окружающих не могли убедить его принять хоть какое-либо участие во втором издании. В результате сборник 1868 года изобилует многочисленными погрешностями, которые были замечены поэтом уже после выхода книги в свет. Посылая Погодину экземп-

ляр нового издания, Тютчев охарактеризовал текст этого сборника как «список безобразный», но утешал себя мыслью:

В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...
О чем же хлопотать? Рука забвенья
Как раз свершит свой корректурный труд[19].

Поэт ошибался. Такие стихи, как стихи Тютчева, живут не «два-три мгновенья». Он забыл, что писал о нем Тургенев еще в 1854 году: «Тютчев может сказать себе, что он... создал речи, которым не суждено умереть»[20].

Дальнейшая судьба поэзии Тютчева подтвердила глубокую справедливость слов Тургенева.

---

[19] Любопытно, что стихотворение «Михаилу Петровичу Погодину», написанное на шмуцтитуле издания 1868 г., вторично было препровождено адресату в другой редакции со следующим пояснением: «Простите авторской щепетильности. Мне хотелось, чтобы по крайней мере те стихи, которые надписаны на ваше имя, были по возможности исправны, и потому посылаю вам их вторым изданием» («Стихотворения. Письма», стр. 540).

[20] «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева».— И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 11. М., 1956, стр. 167.

Заключение

Поэзия Тютчева, как и многие другие литературные явления прошлого, далеко не сразу получила всеобщее признание [1].

Было время, когда Тютчева считали поэтом «для немногих», и в этом некоторые видели особую ценность его лирики.

В 1883 году Фет написал на книжке стихотворений Тютчева следующие строки:

Вот наш патент на благородство,—
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет.

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Но Муза, правду соблюдая,
Глядит,— а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая,
Томов премногих тяжелей.

Фет был и прав, и неправ. Он был неправ в своем высокомерном отрицании того, что Тютчев когда-либо станет доступным так называемым в то время «малым народам». Но он был прав, считая, что для понимания Тютчева требуется более высокая общая культура, чем та, которой обладал средний читатель тогдашней России.

---

[1] Ценный фактический материал, освещающий судьбу поэзии Тютчева, собран в статье: Д. Д. Благой. Тютчев, его критики и читатели. «Тютчевский сборник». Пг., 1923, стр. 63—105.

Те, к кому «пришел» Тютчев, не допускали холодного отношения к его лирике. «О Тютчеве не спорят,— заявлял Тургенев,— кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии» [2]. Самая запальчивость этого заявления уже была свидетельством того, что о Тютчеве спорили. Находились читатели, решительно отказывавшие его поэзии в каком бы то ни было значении.

Так, например авторитетный в восьмидесятых годах буржуазно-либеральный критик Скабичевский относил Тютчева к числу «посредственных» поэтов и утверждал, что большая часть его произведений «читается с трудом и ценится лишь самыми строгими и рьяными эстетиками» [3]. А между тем Тютчев и тогда продолжал волновать не только одних эстетов. Максим Горький вспоминал, что в тяжелые годы пребывания «в людях» — годы лишений и борьбы за жизнь — стихи Тютчева, наряду с некоторыми другими, впервые им прочитанными произведениями русской художественной литературы, «вымыли» ему «душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности», и научили его понимать, «что такое хорошая книга» [4].

Тем не менее оценки, подобные высказыванию Скабичевского, неблагоприятно отразились на судьбе поэзии Тютчева в последней трети XIX века. И недаром Л. Толстой, говоря однажды о Тютчеве, с горечью сказал: «Его все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел... Он слишком серьезен, он не шутит с музой... И все у него строго: и содержание и форма» [5].

Из этого забвения Тютчева извлек в середине девяностых годов философ-идеалист и поэт Вл. Соловьев, усвоивший в своем поэтическом творчестве некоторые художественные традиции Тютчева и явившийся в этом смысле одним из предшественников символистов. Несмотря на всю реакционность философии Соловьева, его статья «Поэзия Тютчева», напечатанная в «Вестнике Европы» за 1895 год, имела для своего времени очень большое значение. При всей односторонности истолкования лирики Тютчева Соловьевым он первый попытался раскрыть ее философскую сущность. О том, что поэзия Тютчева — это прежде всего поэзия мысли, писали и Некрасов, и Тургенев, и Фет, и И. Аксаков, но писали отвлеченно, не конкретно. В статье Соловьева тютчевская лирика была

[2] Письмо Тургенева к Фету.— А. Фет. Мои воспоминания, ч. I. М., 1890, стр. 283.

[3] А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы. СПб., 1891, стр. 506.

[4] А. М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 13, стр. 357—358.

[5] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1. М., Гослитиздат, 1955, стр. 273.— Об отношении Толстого к Тютчеву см.: Д. Благой. Читатель Тютчева — Лев Толстой. «Урания. Тютчевский альманах». Л., 1928, стр. 224—256.

показана как выражение определенного философского миросозерцания.

Вслед за Соловьевым к Тютчеву обратились символисты. Они подняли его на щит как «учителя поэзии для поэтов», стараясь «приблизиться к совершенству им созданных образцов» [6].

Восприятие тютчевского наследия символистами носило во многом внешний характер и ограничивалось вариациями отдельных и далеко не основных мотивов его лирики и заимствованием у него приемов и форм словесного изображения [7]. В их понимании поэзии Тютчева наряду с ценными наблюдениями над его художественным мастерством сказалось немало субъективного и внеисторического. Тургенев, И. Аксаков и люди их поколения, привыкшие связывать все лучшее в русской поэзии с великим именем Пушкина, видели и в Тютчеве одного из самых замечательных представителей «пушкинского периода», поэта так называемой «пушкинской плеяды». Символисты, наоборот, противопоставили Тютчева Пушкину. Глубочайшее своеобразие творчества Тютчева, приводившее в изумление его почитателей, истолковывалось ими как нечто такое, что не имело корней в предшествующей ему поэзии и связей с поэзией, ему современной. Глубоко ошибочное представление о Тютчеве как о родоначальнике декадентов показывало, насколько чуждой оставалась символистам основная сущность его творчества. Внутренне ближе других к Тютчеву был только один представитель символизма, сумевший преодолеть эстетско-формалистическую ограниченность этого литературного течения, — Александр Блок.

Время, отбросив все случайное и наносное в истолковании поэзии Тютчева, оправдало оценку, данную его творчеству Некрасовым, Тургеневым, Добролюбовым. После Великой Октябрьской социалистической революции стихотворное наследие Тютчева получило широкое и достойное признание.

Еще в 1918 году, в первый год существования молодого Советского государства, Совет Народных Комиссаров постановил воздвигнуть памятники крупнейшим деятелям русской и мировой культуры. В приложенный к этому постановлению и утвержденный В. И. Лениным список имен включено было и имя Тютчева [8]. В 1920 году имя поэта было присвоено литературно-мемориально-

---

[6] В. Я. Брюсов. Ф. И. Тютчев. Критико-биографический очерк.— В кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. Изд. 6. СПб., [1912], стр. XLVI—XLVII.

[7] Обширный фактический материал по этому вопросу собран в работе Н. К. Гудзия «Тютчев в поэтической культуре русского символизма» («Известия по русскому языку и словесности АН СССР», т. III, 1931, стр. 465—549).

[8] «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и других городах Российской Федеративной Советской Республики».— «Известия», 2 августа 1918 г.

му и бытовому музею, открытому в подмосковной усадьбе Тютчевых Мураново. Совсем недавно, в 1961 году, памятник Тютчеву установлен в селе Овстуге.

Сам В. И. Ленин высоко ценил поэзию Тютчева. «На этажерочке около стола Владимира Ильича в его кабинете в Совнаркоме, а нередко и на самом столе мы могли видеть томик Тютчева, который он перечитывал, перелистывал и вновь и вновь читал любимые им стихи»,— вспоминал В. Д. Бонч-Бруевич [9]. То, что В. И. Ленин относился к стихам Тютчева «с преимущественным благорасположением», подтверждает и П. Н. Лепешинский [10]. Экземпляр полного собрания стихотворений Тютчева в одном из дореволюционных изданий, о котором упоминает В. Д. Бонч-Бруевич, и поныне находится в кабинете В. И. Ленина в Кремле. Об интересе великого основателя Советского государства к творчеству Тютчева свидетельствует и то, что, кроме этого издания, в личной библиотеке В. И. Ленина сохранилась такая рассчитанная на узкий круг специалистов-литературоведов книга, как «Тютчевиана. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева» (М. 1922) [11].

В наши дни о Тютчеве более «не спорят». Его изучают и — что гораздо важнее — читают. Если второе прижизненное издание стихотворений Тютчева, вышедшее в 1868 году, еще в середине восьмидесятых годов нераспроданным лежало на полках книжных магазинов (около восемнадцати лет!), то теперь каждое новое издание его стихов расходится в течение нескольких недель. Крылатые тютчевские строки прочно вошли в наше сознание и часто по самым различным поводам цитируются в произведениях советских писателей, критиков и публицистов.

Утверждение Фета, что Тютчев не придет к зырянам, опровергнуто у нас на глазах. Те же стихи Тютчева, которые знает наизусть каждый русский школьник, переведены и на коми-зырянский язык и на языки украинский, грузинский, литовский, молдавский, латышский, таджикский, алтайский и др.

Интерес к Тютчеву неуклонно возрастает не только у нас, но и за рубежом. До сравнительно недавнего времени было известно два издания его стихотворений в переводе на немецкий язык. Теперь стихи Тютчева выпущены отдельными сборниками в переводе на английский, болгарский (дважды), венгерский, итальянский (дважды), польский (дважды), словенский, чешский (трижды) и французский (дважды) языки [12]. На филологических факультетах

---

[9] В. Д. Бонч-Бруевич. Владимир Ильич о художественной литературе, критике и публицистике. Воспоминания. «Литературный Ленинград», 20 января 1935 г.

[10] П. Н. Лепешинский. На повороте. Л., 1955, стр. 112.

[11] «Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог». М., 1961, стр. 506.

[12] Обширная библиография переводов стихотворений Тютчева на иностранные языки будет дана в готовящемся к печати издании: Ф. И. Тютчев. Лирика (в серии «Литературные памятники»).

советских и иностранных учебных заведений все чаще и чаще пишутся дипломные работы и диссертации о Тютчеве.

Поэзия Тютчева давно уже перестала быть достоянием немногих «посвященных». Шире и шире становится круг ее ценителей. Советский читатель хранит в золотом фонде русской классической литературы лучшие достижения этого лирика-мыслителя, вдохновенного и вдумчивого певца природы, тонкого и проникновенного выразителя сложных человеческих чувств и переживаний. Именно теперь в полной мере оправдались слова Некрасова, ручавшегося за то, что небольшую книгу тютчевских стихов «каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения» [13] — рядом, прибавим мы, с лучшими созданиями Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

---

[13] Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. IX. М., 1950, стр. 221.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

О письмах Тютчева

1

Письма Тютчева представляют наименее изученную часть его литературного наследства. Между тем сколько-нибудь всестороннее понимание мировоззрения и личности поэта вообще невозможно без обращения к его письмам.

Исключительный интерес писем Тютчева, очевидный для исследователей, хорошо осознавался уже современниками поэта.

Еще при жизни Тютчева отрывки из его частных писем неожиданно для него самого оказались достоянием печати.

Стояло жаркое лето 1854 года, первое лето Крымской войны. Светское общество Петербурга, лишенное привычных заграничных курортов, старалось скрасить свое вынужденное петербургское «сидение» раутами и вечерами. Тютчев был их усердным посетителем. И вот на одном из таких вечеров ему довелось прослушать статью французского публициста Эжена Форкада «L'Autriche et la politique du cabinet de Vienne dans la question d'Orient» («Австрия и политика венского кабинета по восточному вопросу»), напечатанную в «Revue des Deux Mondes». 5 августа 1854 года он писал жене: «На днях у графини Бобринской меня угощали, не подозревая во мне автора, чтением пространных выдержек из моих писем, воспроизведенных в одной статье „Revue des Deux Mondes"». И Тютчев, отнюдь не страдавший авторским честолюбием и ни словом не отозвавшийся в своих письмах на появление в том же 1854 году сборника своих стихотворений, изданного стараниями И. С. Тургенева, на этот раз прибавляет: «Это почти возбудило во мне желание написать нечто более полное и последовательное о всей совокупности вопроса. Но...» [1]. Незадолго до того сам поэт поведал жене о глубокой причине, отбивавшей у него охоту взяться за перо публициста. «...Не в желании говорить у меня недостаток,— пишет он ей 21 апреля 1854 года,— но желание это постоянно сдавливается убеждением, все более и более укореняющимся, в бессилии, в совершенной бесполезности слова... более чем когда-либо тщетного и немощного в настоящий момент. К тому же с кем говорить? С здешними?

[1] Подлинник по-французски.— А к с а к о в, стр. 250.

Излишне, даже если бы и было возможно. С внешними? Невозможно по другой причине, ибо слово, мысль, рассуждение, все это предполагает какую-нибудь *нейтральную почву,* а между нами и ими нет уже ничего нейтрального» [2].

Каким же образом частные письма Тютчева оказались в распоряжении Форкада? Оказывается, Карл Пфеффель, охотник пускать по рукам письма своего шурина, пересылал своим парижским знакомым, между прочим Форкаду, отрывки из писем поэта к жене, лечившейся в это время в Мюнхене. Эти письма, заключавшие в себе нечто вроде панславистского credo Тютчева, были находкой для французского публициста, и он не замедлил воспользоваться ими. По словам Аксакова, такие письма в разгар войны служили в глазах Форкада образчиком того, «какие опасные для европейской цивилизации гнездятся в русских умах исполинские помыслы, как много в них страстного и варварского пыла» [3]. В таком именно смысле и цитировал Форкад письма Тютчева, в то же время расточая комплименты по адресу литературного таланта автора [4].

Э. Ф. Тютчева сама прекрасно понимала, что письма поэта к ней представляют не узкосемейный интерес. Немедленно после смерти мужа она принялась делать из них выписки, намереваясь предоставить их биографу поэта И. С. Аксакову. «Я совершенно поглощена работой, которую я делаю для Аксакова,— пишет она своему сыну И. Ф. Тютчеву в августе 1873 года,— это — составление выдержек из писем, которые я получала от папа́ в течение очень многих лет, что я проводила летние месяцы вдали от него. Это не малая работа, так как я то и дело испытываю соблазн переписать все письмо, до того каждое из них полно интереса» [5].

Получив эти выдержки, И. С. Аксаков писал своей свояченице Е. Ф. Тютчевой: «Ваша belle-mère (мачеха.— *К. П.*), успела сделать и прислать мне перед отъездом своим в Овстуг выписку из писем к ней Федора Ивановича, начиная с 1843 года,— выписку на 50-ти почтовых листках. Тут чрезвычайно много интересного и почти все подлежит печати, особенно весь период Крымской войны» [6].

И. С. Аксаков первый высказал мысль об отдельном издании тютчевских писем, помимо использования их в его биографическом очерке. Он же сделал первые шаги в деле собирания эпистолярного наследия поэта: « У вас должны храниться письма его к отцу и матери,— обращается он к Е. Ф. Тютчевой,— помнится, я даже видел эту связку. Необходимо мне их пересмотреть. Не сохранилось ли также писем Николая Афанасьевича, его дядьки?» [7]. Сообщая Дарье Федоровне Тютчевой о своей работе над биографией поэта, Аксаков писал: «Надобно готовить сборник его писем». Из этого же письма мы узнаем, что сам он просмотрел письма Тютчева к дочери Екатерине Фе-

---

[2] Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 19. Пг., 1915, стр. 114.

[3] Аксаков, стр. 251.

[4] См.: «Revue des Deux Mondes», 1854, t. VI, p. 871—872, 886—893.

[5] Подлинник по-французски.— Собрание К. В. Пигарева.

[6] Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой, сентябрь 1873 г.— *ЦГАЛИ.*

[7] Там же.

доровне и отметил те места, которые, по его мнению, следовало выписать. Аксаков советовал Дарье Федоровне сделать то же с письмами отца к ней [8]. Разные пометы вроде «pas à copier» (не переписывать), или отчеркивания отдельных страниц, встречающиеся в письмах поэта к А. Ф. Тютчевой-Аксаковой, свидетельствуют о том же намерении.

В результате совместных стараний И. С. Аксакова и дочерей поэта в сравнительно короткое время удалось собрать в руках семьи письма Тютчева к ряду его корреспондентов. Так были получены письма от П. А. Вяземского, Ю. Ф. Самарина, кн. Е. Э. Трубецкой. Соответствующие запросы были посланы за границу. Клотильда Мальтиц, сестра первой жены поэта, прислала два письма к ней, прося вернуть их по прочтении [9]. Судьба этих писем неизвестна. Не только ближайшие родные поэта, в тесном общении с которыми протекли его последние годы, отдавали себе отчет в значении тютчевских писем. Вот что писал, например, К. Пфеффель сестре своей, Э. Ф. Тютчевой: «Я охотно предоставил бы имеющиеся у меня письма Тютчева в распоряжение того, кто захотел бы с ними ознакомиться, с тем чтобы воспользоваться ими для биографического или, вернее, психологического этюда о покойном» [10]. Письма эти впоследствии были пересланы в Россию или же лично переданы Пфеффелем вдове поэта в одну из ее поездок за границу после смерти мужа.

Большой интерес проявлял Аксаков к дипломатической переписке Тютчева и к его частным письмам руководителям русской внешней политики. «Жаль, что Карл Петерсон (пасынок Тютчева, служивший в Министерстве иностранных дел.— *К. П.*) так болен,— пишет он Д. Ф. Тютчевой 23 октября 1873 года,— я хотел просить его порыться в архивах Министерства иностранных дел и вытребовать у частных лиц (например, Жомини и других) письма и мемуары Федора Ивановича. Поручаю это дело вам» [11]. В другом письме он пишет: «Лишь Карл Петерсон в состоянии доставить нам сведения на счет мемуаров и писем Федора Ивановича, адресованных обоим канцлерам — Нессельроде и Горчакову. Быть может, порывшись в архивах, удастся их обнаружить». Напоминая Д. Ф. Тютчевой спросить об этих материалах К. Петерсона, Аксаков прибавляет: «Это нужно для сборника его писем» [12]. По-видимому, Аксаков так и не добился разъяснения по интересующему его вопросу. Вышедшая в 1874 году аксаковская биография Тютчева является первой и единственной до революции работой о нем, где относительно широко привлечено его эпистолярное наследие. Появление этой книги побудило старинного мюнхенского друга поэта И. С. Гагарина, проживавшего в Париже, переслать семье поэта копии писем Тютчева к нему. К сожалению, Гагарин сохранил не все письма, которые он получал от поэта, но и

---

[8] Письмо И. С. Аксакова к Д. Ф. Тютчевой от 23 октября 1873 г.— Собрание К. В. Пигарева.

[9] Письмо Д. Ф. Тютчевой к Е. Ф. Тютчевой от 11 октября 1873 г.— *МА*.

[10] Письмо К. Пфеффеля к Эрн. Ф. Тютчевой от 5/17 февраля 1874 г. Подлинник по-французски.— *МА*.

[11] Собрание К. В. Пигарева.

[12] Письма И. С. Аксакова к Эрн. Ф. Тютчевой от 1 декабря 1873 г. (подлинник по-французски) и к Д. Ф. Тютчевой от 26 декабря 1873 г.— Там же.

то, что уцелело, представляет первостепенный интерес для его биографии заграничного периода. Одновременно он сообщил Аксакову и копию с одного своего письма к Тютчеву.

Намерение И. С. Аксакова издать письма своего тестя отдельным сборником осталось неосуществленным по неизвестным нам причинам. Отголоском этого намерения является сообщение, появившееся на столбцах «Русского архива» — в «Кратких сведениях о русских писателях и ученых умерших в 1873 г. (из справочного словаря, составляемого Г. Н. Геннади)». Там, в заметке о Тютчеве, сказано: «Многочисленные его и замечательные письма предполагают собрать»[13]. Были ли сделаны какие-нибудь реальные мероприятия по подготовке этого издания к печати, неизвестно. Во всяком случае Аксаков предполагал выпустить лишь избранное собрание писем Тютчева, из числа тех, которые представляли общественный интерес.

В 1898—1899 годах извлечения из писем Тютчева к жене, в свое время сделанные ею для И. С. Аксакова, печатались на страницах «Русского архива». Русский перевод их был выполнен В. Я. Брюсовым. П. И. Бартенев снабдил их маленьким предисловием, в котором писал: «Нижеследующие выдержки сделаны самой Э. Ф. Тютчевой. Неоднократно удостаивала она прочтением некоторых из них пишущего эти строки и на просьбы напечатать их в „Русском архиве“ всякий раз говорила: „Après ma mort“ (после моей смерти). Наследникам ее обязаны мы благодарностью за позволение обнародовать эти живые черты для жизнеописания вещего поэта»[14].

Кроме выдержек из писем Тютчева к жене, в «Русском архиве» были помещены в разное время отрывки из двух писем поэта к И. С. Гагарину (с переводом И. С. Аксакова), письмо к В. А. Жуковскому, записка к Е. Э. Трубецкой и письмо к Чаадаеву (с переводом В. Я. Брюсова); вместе с последним письмом напечатаны во французских подлинниках и в переводах Брюсова три отрывка, которые Брюсов считал также письмами к Чаадаеву[15]. Между тем один из них является отрывком из письма к Пфеффелю, а адресат двух других с точностью еще не выяснен.

Отдельные письма Тютчева печатались и в других изданиях: так были опубликованы записка к А. В. Никитенко, письма к М. П. Погодину, несколько отрывков из писем к неизвестному по поводу смерти Е. А. Денисьевой, записки к А. Н. Майкову и В. И. Ламанскому, письмо к В. Ганке[16].

В начале девятисотых годов Д. Ф. Тютчева, единственная из остававшихся в то время в живых дочерей поэта, задумала выпустить в свет от-

---

[13] «Русский архив», 1875, кн. III, стр. 468.

[14] «Русский архив», 1898, кн. III, стр. 556.

[15] Там же, 1879, кн. II, стр. 118—123; 1903, кн. III, стр. 642—643; 1911, кн. II, стр. 274; 1900, кн. III, стр. 411—420.

[16] «Русская старина», 1873, август, стр. IV; Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XIV. СПб., 1900, стр. 105, 111—112; кн. XV, СПб., 1901, стр. 105—106, 110—111; кн. XIX, СПб., 1905, стр. 486—487; «Новый путь», 1903, ноябрь, стр. 14—15 (записка к Погодину, напечатанная без указания адресата); «Исторический вестник», 1903, июль, стр. 200—201: «Северные цветы на 1901 г.», стр. 142—143; «Русская мысль», 1915, кн. XI, стр. 129—132; «Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель». Варшава, 1905, стр. 1125—1130.

дельное издание писем своего отца к его второй жене. И. Ф. Тютчев, сын поэта, которому она сообщила свои соображения по этому поводу, считал уместным приурочить выход этого издания к столетней годовщине со дня рождения Тютчева (1903 г.). Ввиду смерти Д. Ф. Тютчевой, умершей 13 апреля 1903 года, издание это осталось неосуществленным. Лишь в 1914 году началось печатание в «Старине и новизне» писем Тютчева к жене, которое и было закончено в 1917 году [17]. К ним были присоединены письма поэта к К. Пфеффелю. Как те, так и другие письма были напечатаны во французском подлиннике и в русском переводе, местами весьма неудовлетворительном.

Появление этих писем, представлявших огромный интерес не только для изучающих поэта, но и для читателя, было, конечно, крупным событием. В руки исследователей Тютчева был дан материал исключительной ценности для его характеристики как человека и как писателя. И лишь много лет спустя, при сличении печатного текста с автографами, обнаружилось, как мало отвечает он научным требованиям.

Письма Тютчева печатались в «Старине и новизне» не по автографам, а по копиям, снятым его вдовою и завещанным ею своей падчерице Д. Ф. Тютчевой. Эти копии и должны были послужить материалом для неосуществленного издания 1903 года.

Однако значительная часть тютчевских писем не включена в эти тетради. Э. Ф. Тютчева выбирала из них лишь то, что, по ее мнению, представляло «общий интерес». Но и те письма, которые переписаны, весьма далеки от полноты; нередко из длинного письма приведено всего лишь несколько строк. Почти полному сокращению подверглись все места, касающиеся семейной жизни поэта и его отношений с Эрнестиной Федоровной.

Если эти сокращения с известной точки зрения понятны и оправданы, то гораздо менее оправдана та стилистическая обработка, которой подверглись письма Тютчева под пером его жены. Перед нами образец последовательной редакторской работы, которая приводила к очищению тютчевского текста от часто встречающихся в нем шероховатостей и небрежностей, к замене неровных разговорных оборотов литературными. В результате такой работы иногда перед нашими глазами оказывается не копия, а пересказ. Нередки случаи частичного искажения смысла от пропуска или смягчения отдельных слов. Так, например, описывая церемонию освящения Исаакиевского собора в Петербурге и свое двухчасовое сидение в раззолоченной придворной карете, Тютчев пишет: «J'avais en face de moi deux imbéciles, plus anciens que moi, à ce qu'il paraît, puisqu'ils étaient dans le fond de la voiture» («Передо мной сидели два болвана, очевидно по старшинству, так как они занимали места в глубине кареты»). В копии Э. Ф. Тютчевой и в тексте «Старины и новизны» «два болвана» превратились в «двух камергеров» («deux chambellans»). В частых случаях поводом к такому искажению служила опять-таки «скромность» редактора. Таков, например

---

[17] Письма за 1840—1858 гг., помещенные в кн. XVIII и XIX, были выпущены также отдельными оттисками в ограниченном количестве экземпляров.

следующий отрывок из письма Тютчева от 13 октября 1842 г. В автографе читаем: «J'ai revu la Cheremetieff qui est certainement la meilleure nature que l'on puisse voir, si parfaitement vraie, si profondément affectueuse que j'ai été presque attendri de l'analogie que cette nature offrait avec la tienne» («Я свиделся с Шереметьевой; это несомненно одна из прекраснейших натур, какие только могут быть: она так правдива, так глубоко сердечна, что я почти расчувствовался, видя сходство ее характера с твоим»). В копии Э. Ф. Тютчевой и в тексте «Старины и новизны» эти строки изменены так: «J'ai revu la comtesse Cheremetieff (Anna Sergueïevna) qui est certainement la meilleure créature que l'on puisse voir, si parfaitement vraie, si sincèrement affectueuse que je suis tout attendri de l'accueil qu'elle m'a fait» («Я виделся с графиней Шереметьевой (Анной Сергеевной): это несомненно одно из лучших созданий, какие только могут быть: она так правдива, так искренно сердечна, что я совершенно растроган приемом, который она мне оказала»). Некоторая часть отличий текста «Старины и новизны» от автографов должна быть отнесена за счет неразборчивости подлинника и сходства в начертании отдельных букв. Такова, может быть, замена в только что приведенном примере слова «nature» словом «créature».

Неполнота и недостоверность текста тютчевских писем, печатавшихся в «Старине и новизне», лишает их всякого научного значения. Б. М. Эйхенбаум в статье, написанной по поводу появления этих писем, говорит: «Пропущенные места, может быт, содержат факты мелко-биографические, *но без этих фраз нельзя представить себе письмо как целое, нельзя вполне почувствовать тон.* Приходится говорить об отдельных страницах и строках. Но и они удивительны — даже вне целого» (курсив мой.— *К. П.*) [18].

Двадцать вторая книга «Старины и новизны», в которой завершилось печатание отрывков из писем Тютчева к жене, вышла в 1917 году. Оставалось шесть лет до пятидесятилетия со дня смерти поэта. Оглядываясь на то, что было сделано за сорок четыре года в области обнародования его эпистолярного наследия, мы насчитываем не более тридцати текстов, опубликованных с научной точки зрения удовлетворительно. Перелом в этом отношении наступил в послереволюционные годы.

Уже с 1922 года началось печатание отдельных тютчевских писем в таких изданиях, как газета «Московский понедельник», сборник «Феникс» (1923), журналы «Красный архив» (1923) и «Звезда» (1929), «Мурановский сборник» (1928), тютчевский юбилейный альманах «Урания» (1928). В 1926 году вышли отдельным сборником письма Тютчева к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову [19]. Ценным вкладом в биографию Тютчева, в частности в историю его отношений с Е. А. Денисьевой, было обнаружение его писем к А. И. и М. А. Георгиевским. Значительно увеличилось количество писем Тютчева к ранее известным адресатам: найдены и частью напечатаны новые письма его к П. А. Вяземскому, А. Н. Майкову, П. Я. Чаадаеву, Е. Э. Трубецкой. В результате специальных разысканий, произведенных музеем-усадь-

---

[18] «Русская мысль», 1916, кн. III, стр. 16.

[19] «Федор Иванович Тютчев в письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову». С предисл. и примеч. Е. П. Казанович. Л., изд. ОРЯС Академии наук СССР, 1926.

бой «Мураново» имени Ф. И. Тютчева и редакцией сборников «Литературное наследство», был подвергнут учету весь тютчевский эпистолярный архивный фонд[20]. Обнаружены были, в частности, дипломатические донесения Тютчева К. В. Нессельроде за 1838—1839 годы, т. е. за время исполнения Тютчевым обязанностей русского поверенного в делах в Турине, и частные письма поэта к А. М. Горчакову за 1859—1873 годы. Таким образом, оказались найденными те самые материалы, доступа к которым еще в 1873 году безуспешно добивался И. С. Аксаков. Большое количество писем Тютчева вошло в 19—21 том «Литературного наследства» (письма к И. С. и А. Ф. Аксаковым, Александру II, П. В. Анненкову, А. М. Горчакову, М. И. Жихареву, Я. П. Полонскому, С. С. Уварову, П. К. Щебальскому и другим). В общей сложности за послереволюционные годы опубликовано полностью свыше ста текстов, не считая многочисленных извлечений в специальных работах о Тютчеве. Известным минусом является лишь то, что большинство французских писем напечатано только в переводе.

Первая попытка объединить в общедоступном сборнике лучшие образцы, стихотворений и писем Тютчева была сделана Г. И. Чулковым в издании, выпущенном Гослитиздатом в 1935 году. В книгу вошло тридцать пять писем (преимущественно в отрывках). Французские тексты даны только в переводе.

Второй опыт издания избранных писем Тютчева был осуществлен мною в 1957 году. В однотомнике стихотворений и писем поэта, вышедшем в Гослитиздате, включено семьдесят писем к разным адресатам. Семнадцать писем опубликованы впервые. Французские письма напечатаны в переводе. В отличие от издания 1935 года никаких сокращений в тексте писем не допускалось.

В настоящее время эпистолярное наследие Тютчева в основном выявлено. Впредь сколько-нибудь крупные открытия в этой области маловероятны. Это не значит, однако, что все написанное Тютчевым полностью находится в наших руках. Вовсе нет. Есть в его письмах зияющие и существенные пробелы, но восполнить их не представляется возможным. Так, например, по свидетельству И. С. Гагарина, часть писем Тютчева к нему затеряна. По непонятным причинам совершенно отсутствуют письма поэта к родителям до конца 1836 года. Между тем Тютчев с 1822 года находился за границей и переписывался с ними. Утрачены безвозвратно (вероятно, сгорели во время пожара парохода «Николай I») и письма поэта к его первой жене. Сохранилось лишь одно письмо его к ней — приписка в письме к родителям. Письма ко второй жене, дошедшие до нас в количестве 484 номеров, охватывают 1840—1872 годы. Письма эти когда-то были перенумерованы самой Эрнестиной Федоровной, причем нумерация начинается с номера 192. Следовательно, было еще 191 письмо, относившееся ко времени до ее супружества с Тютчевым. Все эти письма были ею уничтожены. Есть пробелы и среди позднейших писем к ней поэта. Далеко не все письма его к Вяземскому находятся в нашем распоряжении. Так, например, 13 февраля 1859 года П. А. Плетнев писал последнему: «Я сбирался было продолжать для вас литературно-цензурную мою летопись; но

[20] См.: К. В. Пигарев. Судьба литературного наследства Ф. И. Тютчева. «Литературное наследство», т. 19—21, 1935.

Тютчев сказал мне, что недавно он продиктовал для вас целые листы разных в этом роде разностей»[21]. Ни один из этих «листов» до сих пор не обнаружен. Погибли письма Тютчева и к А. П. Мальтицу, так как вся корреспонденция последнего была сожжена после его смерти[22]. Неизвестно ни одного письма к С. Е. Раичу, А. М. Крюденер, Е. А. Денисьевой; могли быть письма к Гейне, И. С. Тургеневу, Д. Н. Блудову, к семье Карамзиных и многим другим; писем этих у нас нет. К тому же приходится с огорчением засвидетельствовать, что возможности нахождения всех этих писем почти уже исчерпаны.

Но если при всех утратах письма Тютчева все же составляют внушительную цифру — свыше 1150, то гораздо печальнее была участь писем к нему. Тютчев не берег получаемых им писем, терял или уничтожал их, иногда же раздаривал их как автографы. До нас дошло всего 106 писем, среди них два письма Чаадаева, одно письмо Гейне, любопытное по форме письмо Гончарова. Все остальное представляет меньшее значение, за исключением писем К. Пфеффеля и Е. Э. Трубецкой; это, пожалуй, единственный случай, когда мы получаем возможность последовательно ознакомиться с письмами обеих сторон. Особенное сожаление вызывает утрата писем Э. Ф. Тютчевой к поэту; они были уничтожены ею самой после смерти мужа[23].

2

Среди адресатов писем Тютчева мы встречаем поэтов и писателей (Вяземский, Жуковский, А. Н. Майков, В. Ф. Одоевский, Полонский, Щербина), мыслителей (Чаадаев), публицистов (И. С. Аксаков, Катков), общественных деятелей (Самарин, Черкасский), ученых (Ганка, Ламанский, Погодин), журналистов и издателей (Бартенев, Краевский), государственных деятелей и сановников (Нессельроде, Горчаков, Уваров), представителей царской фамилии (Александр II и вел. кн. Мария Николаевна) и светских знакомых поэта (Батюшковы, гр. А. Д. Блудова, кн. Е. Э. Трубецкая); наконец, семнадцать адресатов принадлежит к числу ближайших родственников Тютчева. Оставляя в стороне случайные и единичные письма и записки, не дающие оснований для определенных выводов, следует отметить, что каждая из групп тютчевских писем является до известной степени зеркалом, отражающим отношения Тютчева с данным корреспондентом.

В письмах к родителям, например, он сообщает довольно много фактов из своей домашней и светской жизни, зная, что может заинтересовать его «стариков». Им приятно будет услышать, что их «Фединька» обедал у вдовствующей королевы баварской,— и он не преминет уведомить их об этом. Но своими душевными переживаниями, своими раздумьями он с ними не делится.

Письма к И. С. Аксакову и дополняющие их письма к А. Ф. Аксаковой почти исключительно посвящены политике и, так же как письма к М. Н.

---

[21] П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. III. СПб., 1885, стр. 473.
[22] См. письмо Д. Ф. Тютчевой к Эрн. Ф. Тютчевой от 9 сентября 1873 г.— *МА*.
[23] Уцелело только восемь писем, хранящихся в *ЦГАЛИ*.

Каткову, рисуют Тютчева прежде всего в его отношениях с представителями правой печати, в роли негласного идейного руководителя которой он не раз выступал. Но в этих письмах Тютчев представляется *политическим деятелем* в большей степени, чем он был им на самом деле,— и в них почти не остается места ни для Тютчева-поэта, ни для собеседника-«жемчужноуста», жизнь которого все-таки протекала не на политической трибуне, а в светских гостиных.

Есть письма, в которых Тютчев заведомо приноравливается к своему корреспонденту. Таковы письма к Е. Э. Трубецкой — серьезная, но салонная беседа на злободневные темы с политиканствующей дамой, уму которой он отдает должное, но над которой за глаза подтрунивает. Таковы стилистически-отточенные письма к Горчакову. Тютчев прекрасно видит слабые струны своего сановного «друга»; на них то он и играет в своих письмах к нему. Он знает его пристрастие к классическим сравнениям и он уподобляет две его дипломатические удачи победам Эпаминонда при Левктрах и Мантинее. Обращаясь так к Горчакову, Тютчев никогда не теряет из виду одной определенной цели: безупречной французской прозой своих писем, любезной сердцу Горчакова, приучить его мыслить «по-русски». И, конечно, не все сказанное в этих письмах можно принимать за чистую монету.

Каждая из групп тютчевских писем дает что-либо ценное для уяснения той или иной стороны сложного облика Тютчева, в большей или меньшей степени обогащает наше представление о нем. И только в одной группе его писем как в фокусе сходятся все то отдельные черточки, из которых слагается наше понимание Тютчева и которые рассеяны по разным частям его корреспонденции. Это — в его письмах к жене. Вот что писал по этому поводу Э. Ф. Тютчевой И. С. Аксаков: «Как биографический материал письма к родителям... дают очень мало. Что же касается до его переписки с вами, то это поистине литературное сокровище и драгоценно во всех отношениях. Лишь в этих письмах сказывается он весь таким, каким он был, лишь в этих письмах с полной непринужденностью говорит он о самом себе — в этих письмах зараз столь серьезных и столь прелестных, таких искренних и простых, раскрывающих самые глубины его поэтического гения, столь возвышенного и столь смиренного» [24].

Когда в 1878 году впервые появились в печати письма Пушкина к жене, В. В. Стасов писал А. А. Голенищеву-Кутузову: «Читали вы письма Пушкина к жене в январском „Вестнике Европы“? Талантливо, живо, красиво, сильно, элегантно, но, но... но... совершенно без содержания... Какая она, должно быть, была ничтожная и пустая женщина! Ни про что ведь настоящее, важное, он ей ни гу-гу. А сколько других писем написал он на своем веку, где говорит (и как говорит!) про тысячу вещей самых важных, значительных и интересных» [25].

Несмотря на то, что высказывание В. В. Стасова содержит некоторые преувеличения и выражено с присущей ему резкостью, все же письма

---

[24] Письмо И. С. Аксакова к Эрн. Ф. Тютчевой от 26 ноября 1873 г. Подлинник по-французски.— Собрание К. В. Пигарева.

[25] «Русская музыкальная газета», 1916, № 43, стлб. 790.

Пушкина к Наталье Николаевне не заключают такого большого материала для внутренней характеристики великого поэта, как письма Тютчева к Эрнестине Федоровне. Наряду с его лирикой, они являются основным источником нашего знания о поэте. В письмах к ней он не ограничивает себя кругом тем, которые могут занимать его адресата или которые составляют обычный предмет его бесед с ним. К жене он обращается как к человеку равному себе, способному понять его во всей его сложности и во всех его противоречиях. В письмах поэта к ней мы находим не только живое и яркое отображение его повседневной жизни, но и заветные раздумия по вопросам философии истории, глубочайшие и тончайшие наблюдения над окружающей средой и над самим собой.

Из всех писем Тютчева письма к жене чаще других перекликаются с его лирикой, а по своей силе и выразительности сами подчас превращаются в своего рода стихотворения в прозе. Таковы страницы, где Тютчев говорит о своих «врагах» — пространстве, времени и смерти или где он развивает свои философско-политические утопии.

Многочисленные извлечения из писем Тютчева, в особенности из его писем к жене, приведенные в предлагаемой монографии, с неопровержимостью свидетельствуют о том, какими ценными документами эпохи они являются.

Несмотря на историческую ограниченность политических взглядов Тютчева, сказавшихся в его оценках и прогнозах, его критика современной ему действительности, хотя бы и критика *справа*, была суровой, нелицеприятной и подкупающей в своей искренности. Сарказм его часто бывал беспощаден.

Когда в 1868 году была запрещена газета И. С. Аксакова «Москвич», Тютчев писал: «В прошлом столетии тулузский парламент *единогласно* приговорил к колесованию протестанта Каласа, позже признанного невиновным. Кто-то, чтобы извинить эту ошибку, привел поговорку: конь о четырех копытах, да *спотыкается*.— Добро бы еще один конь,— ответили ему,— но *весь конный двор*... Ну так вот и на сей раз спотыкнулся весь конный двор и спотыкнулся из угодливости» [26].

А вот на какие размышления наводят его мероприятия петербургского общества по оказанию помощи голодающим в том же 1868 году: «В настоящее время все здесь с головой ушли в празднества, балы и концерты... благодаря голоду. Этот способ проявлять свое милосердие к людям равносилен занимательному труду, измышленному для обучения детей, и результат его почти таков же. Невероятно, до какой степени легкомысленна человеческая природа! И среди всей этой сумятицы пляшущей благотворительности и напоказ широко развернутой подписки никогда не удастся установить, хотя бы в виде предостережения для будущего, какова доля ответственности, падающая на непредусмотрительность и нерадивость администрации в этом бедствии, постигшем страну» [27].

[26] Письмо к А. Ф. Аксаковой от 16 февраля 1868 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

[27] Письмо к А. Ф. Аксаковой от 2 февраля 1868 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

Все подобные высказывания Тютчева приобретают в наших глазах первостепенный интерес. Бичуя нравственное растление правительственных кругов, умственное убожество власть имущих, Тютчев, помимо своего желания, показал в своих письмах конечную обреченность того социально-политического строя, которому он сам служил. И когда читаешь его письма, в особенности последних лет жизни, те письма, в которых поэт по старой памяти выступает проповедником панславизма, невольно вспоминаешь то, что писал он во время Крымской войны: «...когда стоишь лицом к лицу с действительностью, оскорбляющей и сокрушающей все твое нравственное существо, разве достанет силы, чтобы не отвратить порою взора и не одурманить голову иллюзией... Но страшная действительность и не думает о том, видят ее или нет. Ей достаточно того, что она существует... Она есть, она идет, она наступает» [28].

3

Большинство писем Тютчева — на французском языке. Если рассматривать их в плане историко-литературном, то становится совершенно ясным их литературный генезис: это французская эпистолярная традиция XVII и XVIII веков.

В XVII столетии письмо является излюбленным чтением французских аристократических салонов. Писатели облекают свои литературные произведения в эпистолярную форму. Частные письма собирают вокруг себя обширную аудиторию, распространяются в списках, пересылаются от одного лица к другому.

Французское эпистолярное искусство достигает своего высшего развития в XVIII веке. Классические образцы его принадлежат Вольтеру, Дидро, Гримму, Ж. Ж. Руссо и другим. В России французская эпистолярная традиция пускает прочные корни во второй половине XVIII века. Еще в 1824 году Пушкин писал в статье своей о причинах, замедливших ход нашей словесности. «Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных, и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно уже готовы и всем известны». Он же начинал одно из своих писем к Чаадаеву словами: «Mon ami, je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la nôtre» («Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы: он мне привычнее нашего») [29].

Превосходные образцы французских писем оставили Вяземский и А. И. Тургенев. Вообще по отношению к многим русским этого времени вполне можно применить то, что сказал Гюстав Лансон в предисловии к сборнику «Choix de lettres du XVIII-e siècle», касаясь огромного мирового

---

[28] Письмо к жене от 19 июня 1854 г. Подлинник по-французски. «Стихотворения. Письма», стр. 403.

[29] Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 11. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 21; т. 14, 1941, стр. 187.

значения французской литературы XVIII века: «...не все наши писатели этого времени — французы, ибо на нашем языке не только говорят, но и пишут — и пишут в совершенстве — иностранцы, и мы имеем право присваивать себе, как принадлежавших нам по своим идеям, стилю и языку, множество людей разных стран, и подчас даже таких людей, которые по своим политическим воззрениям были нашими прямыми врагами» [30].

Однако с именами названных выше русских мастеров французской эпистолярной прозы связана и самая блестящая пора в истории русского эпистолярного стиля. Письма их, писанные по-русски, знаменуют ступень в развитии нашего литературного языка; приближение его к живой разговорной речи прежде всего было достигнуто в письмах. С этой стороны историко-литературное значение писем Пушкина, Вяземского, А. Тургенева поистине неоценимо. Но наряду с русской эпистолярной прозой в России продолжает существовать и развиваться французская. Прямыми наследниками классической эпистолярной традиции французов были у нас Чаадаев и Тютчев.

Тютчев сам признавался, что ему легче и привычнее излагать свои мысли на французском языке. Это зависело, по-видимому, от того, что он привык не только писать, но и мыслить по-французски. Несомненно этим объясняется обилие чистофранцузских оборотов, встречающихся в его русских письмах. Французский эпистолярный стиль Тютчева свободнее, тоньше, многообразнее. При этом неоднократными ссылками на маркизу Севинье и частыми цитатами из французской классической литературы Тютчев сам как бы подчеркнул литературный генезис своих писем.

С юных лет Тютчев обнаруживает ближайшее знакомство с классическими образцами эпистолярного стиля. Написанные по-русски, но выдержанные совершенно во французском духе, студенческие записки его к Погодину содержат уже основные признаки художественного построения писем. Отдельные элементы художественного стиля неизменно прорываются и сквозь строго официальное содержание написанных или отредактированных Тютчевым дипломатических депеш, чем роднят их с частными письмами поэта. Композиционно законченные письма к И. С. Гагарину предвещают уже отличительные особенности эпистолярного стиля Тютчева. Существенные пробелы в тютчевской переписке заграничного периода не позволяют делать определенных выводов относительно литературной ценности тогдашних его писем, но, по-видимому, своей окончательной зрелости эпистолярная проза Тютчева достигает все же значительно позже, чем его лирика. Расцвет эпистолярного мастерства Тютчева падает главным образом на сороковые — шестидесятые годы и сближает отдельные его письма то с его же лирическими стихотворениями на темы о природе, то с его психологической лирикой, то с лирикой политической.

Нередко и по содержанию, и по приемам художественной изобразительности тютчевские письма прямо перекликаются с его стихами. Та же глубина мысли, та же отточенная афористичность словесной формы. Чего стоят, например, строки о разлуке: «Я, несомненно, менее чем кто либо

---

[30] «Choix de lettres du XVIII-e siècle». Paris, 1892, p. V.

создан для разлуки, ибо для меня разлука — как бы сознающее само себя небытие»[31]. Всем, кто читал Тютчева, памятны его контрастные образы Севера и Юга. Достаточно назвать два его стихотворения 1859 года, написанные по пути из Швейцарии в Россию: «Грустный вид и грустный час» и «Родной ландшафт...». А вот что писал он незадолго до этих всем известных стихотворений в письме к жене от 17 сентября 1859 года из Веве: «И смотря на это озеро, на эти горы, которые в светящейся дымке казались как бы сном наяву, я вспомнил вдруг, что менее чем через шесть недель я опять буду видеть перед собой Гостиный двор, грустно освещенный с 4-х часов дня фонарями Невского проспекта,— и я содрогнулся при этой мысли». Перед самым отъездом в Россию, описывая в письме от 9 октября швейцарскую природу, Тютчев восклицает: «И все это придется скоро покинуть — стереть все эти великолепия ледяной губкой петербургской зимы!»[32]. Посылая дочери Д. Ф. Тютчевой упомянутые выше стихотворения, он пишет: «Чтобы все же быть справедливым, я должен тебе сказать, что в эту самую минуту сверкает прекрасное солнце,— правда, не на розовых кустах и апельсиновых деревьях в цвету, а на молодых, только что распустившихся ледяных сосульках»[33].

Одним из излюбленных приемов Тютчева, придающим большую живость его письмам, является прием, также хорошо знакомый нам по его стихам: неожиданные и смелые сравнения. Любивший переносить свойства одушевленных существ на явления природы, Тютчев широко пользуется этим приемом и в своих письмах. Таково, например, сравнение осени с «красивой женщиной, красота которой медленно, но неуклонно исчезает»[34]. Часто сравнение влечет за собою дальнейшую не менее неожиданную ассоциацию: «Здесь... погода еще довольно хороша. Лето удаляется, пятясь и как бы не смея решительно повернуться к нам спиною,— так некогда было принято при некоторых дворах, например, при сардинском, где я как сейчас вижу себя пятящимся перед тогдашней королевой, пока, наконец, достигнув середины залы, которая была весьма обширна, я не потерял совершенно всякой уверенности в себе и, дабы вновь овладеть ею, не решился смело повернуться спиной к королеве»[35].

К сравнениям Тютчев постоянно прибегает для характеристики человека как внешней, так и внутренней. Образность является вообще одной из основных особенностей тютчевского эпистолярного стиля. При этом Тютчев достигает образной характеристики при исключительной словесной лапидарности. Иногда вся характеристика умещается у него в одной остроте, в том, что французы называют bon-mot. Вот, например, острое слово о Гор-

---

[31] Письмо к жене от 23 июня 1843 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 18, 1914, стр. 5.

[32] Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 21, Пг., 1916, стр. 169, 170.

[33] Письмо от 4 ноября 1859 г. Подлинник по-французски.— Собрание К. В. Пигарева.

[34] Письмо к жене от 25 сентября 1858 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 19, стр. 191.

[35] Письмо к Е. Ф. Тютчевой от 7 сентября 1871 г. Подлинник по-французски.— *ЦГАЛИ*.

чакове: «Он незаурядная натура и с бо́льшими достоинствами, чем можно предположить по наружности. У него сливки на дне, а молоко на поверхности» [36]. Об А. Д. Денисьевой, тетке Е. А. Денисьевой, поэт однажды выразился так: «Она все та же несимпатичная, дорогая мне личность, шероховатая изнанка моих лучших воспоминаний» [37].

Нередко письма Тютчева превращаются в яркую хронику современной ему жизни. Мы найдем и вкрапленные в них исторические анекдоты (например, об актрисе Рашели и жемчужном ожерелье, подаренном ей принцем Наполеоном), и светские пересуды, рисующие быт и нравы окружающего общества, и мрачные предания прошлого, которые ему доводилось слышать (о находке замурованного трупа женщины в царскосельском дворце) [38]. Жадный созерцатель живой жизни во всех ее проявлениях, он вечно в погоне за новыми впечатлениями. Его интересует и открытие железной дороги, и выставка рогатого скота. Он одинаково выразительно, но совершенно по-разному расскажет нам о трагической гибели А. Карамзина и о смерти его матери [39], о юбилее митрополита Филарета и о чествовании пятидесятилетия государственной деятельности Горчакова, достигшего всех возможных почестей и могущего рассчитывать впредь лишь на «великолепные похороны, подобающие канцлеру» [40].

Письма Тютчева отличаются равной художественной красочностью как в описаниях величественного и драматического, так и в описаниях смешного и будничного. Даже такой мало примечательный факт, как смена лакея, превращается под его пером в забавную новеллу [41].

Любопытны некоторые зачины и концовки тютчевских писем. Письмо к дочери Д. Ф. Тютчевой поэт однажды начал так: «...Если бы человеческие мысли обладали счастливой способностью превращаться сами собою в написанные, сложенные, запечатанные и отправленные на почту письма, то, конечно, не проходило бы дня без того, чтобы ты не получала от меня два или три письма...» [42]. Одно из писем к И. С. Гагарину Тютчев закончил следующими словами: «Простите, любезнейший друг. И если вы все тот же, если вы так же снисходительны и так же умеете понимать, простите меня и пишите мне. Обещаюсь вам ответить. А это письмо не в счет,— как будто вы его и не получали. Это жест человека, который кашляет и сморкается прежде чем начать говорить. Ничего больше» [43].

Есть у Тютчева и такие письма, которые при всей незначительности

---

[36] Письмо к жене от 25 мая 1857 г. Подлинник по-французски. «Старина и новизна», кн. 19, стр. 163—164.

[37] Письмо к А. И. Георгиевскому от 27 сентября 1865 г. *ЦГАЛИ*.

[38] Письма к жене от 11 и 17 сентября 1858 г.— «Старина и новизна», кн. 19, стр. 187—189.

[39] Письма к жене от 9 июня 1854 г. и 3 сентября 1851 г.— Там же, стр. 115—116; кн. 18, 1914, стр. 31—33.

[40] Письма к жене от 7 августа и 14 июня 1867 г.— Там же, кн. 21, стр. 238—239, 233—234.

[41] Письма к жене от 2 июня, 22 и 27 сентября и 5 октября 1869 г.— *ЦГАЛИ*.

[42] Письмо от 23 сентября 1863 г. Подлинник по-французски. *ЦГАЛИ*.

[43] Письмо от 3 мая 1836 г. Подлинник по-французски. Славянская библиотека в Париже.

содержания представляют интерес как образцы эпистолярного стиля. Вот, например, записка, посланная Тютчевым его светской знакомой Е. К. Богдановой вместе с бутылкой сливок и фунтом масла. Записка эта, благодаря своей остроумной форме, могла бы занять место среди многочисленных образцов подобного рода, встречающихся в огромном эпистолярном наследии Вольтера:

«Бедный господин Тютчев, мой закадычный друг, поручил известить вас, сударыня, что от усилившейся ночью до крайних пределов болезни он скончался после кратковременной агонии между пятью и шестью часами утра.

Своим последним волеизъявлением покойный назначил вас, сударыня, наследницей бутылки сливок и фунта масла, прося вас соблаговолить удостоить его за это благосклонным воспоминанием.

Вынос тела состоится сегодня вечером и оно направится прямо к дому *Бутурлина* [44].

Х. Х.» [45].

В частых случаях тютчевские письма являются довольно точным отражением его беседы; кажется даже, что за их литературными оборотами улавливаешь отдельные оттенки голоса, угадываешь жесты. При этом разнообразие стиля зависит от того, в каком роде велась обычно устная беседа Тютчева с данным корреспондентом. Очень показательны, например, его письма к Пфеффелю. Последний, вспоминая о своем знакомстве с поэтом, писал: «...его разговор принимал часто форму ораторской речи: приходилось больше слушать его, чем отвечать» [46]. Такими импровизированными *речами* на философские и политические темы и являются как раз письма Тютчева к Пфеффелю. В этих письмах, скорее носящих характер публицистических статей, Тютчев не разговаривает и не рассказывает, а вещает.

От строгой логики построений, характерной для писем Тютчева к Пфеффелю, резко отличаются те письма, в которых поэт не задается целью обсуждения и развития какой-нибудь определенной темы или положения, а пишет обо всем, что подвернется под перо. Ему, конечно, хорошо был известен завет не раз перечитанной им Севинье: «Entre amis il faut laisser trotter les plumes comme elles veulent» («В дружеской переписке нужно предоставлять перьям бегать по бумаге, как им вздумается»), и к письмам Тютчева вполне могут быть отнесены слова французского критика Сюара: «Философия, политика, искусства, анекдоты и острые словечки, все может войти в письма, но с тою непринужденностью, легкостью и непосредственностью, которые свойственны разговору умных людей» [47].

Французский язык, которым обычно пользовался Тютчев в своих письмах, позволял ему достигать подлинной виртуозности в эпистолярном раз-

---

[44] В доме Бутурлина на Сергиевской жила адресатка.

[45] Подлинник по-французски.— В кн.: «Федор Иванович Тютчев в письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову», стр. 18.

[46] Неизданная заметка о Тютчеве.— *МА*.

[47] J.-B. Suart. Du style épistolaire et de Madame de Sévigné.

говоре. Но глубоко знаменательно, что в дни тяжелых личных потерь, поэт обращается к родному языку и пишет на нем, быть может, самые потрясающие по остроте и искренности чувства, самые безыскусственные из всех тех писем, которые ему доводилось писать (В. А. Жуковскому после смерти первой жены, А. И. Георгиевскому и Я. П. Полонскому после смерти Е. А. Денисьевой).

Письма Тютчева с точки зрения их биографического и исторического значения неоднократно привлекали внимание исследователей. Между тем эпистолярное наследие поэта — не только основной и незаменимый источник для его биографии, не только драгоценный материал для истории политической и общественной жизни России и Запада, но и замечательный памятник художественного слова. Изучение тютчевской эпистолярной прозы по существу еще не велось [48] и станет по-настоящему возможным лишь с полным изданием писем поэта.

---

[48] Почин в этом деле положен французским филологом Л. Робелем, работающим над докторской диссертацией о языке и стиле французских писем Тютчева. Ряд интересных наблюдений, сделанных им над эпистолярным наследием поэта, уже изложен в статье «Tjutčev et la nausée. Histoire et philosophie d'un quatrain» («Cahiers du monde russe et sovietique», vol. II. 1961, № 3, p. 386—394).

Список иллюстраций

Оглавление

Кирилл Васильевич Пигарев

Жизнь и творчество Тютчева

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького

Редактор издательства *Н. П. Ждановский.* Художник *А. Ф. Серебряков*
Технические редакторы *Н. Д. Новичкова* и *Т. А. Прусакова*
Корректоры *В. К. Гарди* и *Ф. А. Дебабов*

РИСО АН СССР № 58—1078. Сдано в набор 27/VII 1962 г. Подписано к печати 22/X 1962 г.
Формат 60×92¹/₁₆ Печ. л. 23,5+5 вкл. Уч.-изд. л. 24,5+0,6 вкл. Тираж 10 000 экз.
Т-09398. Изд. № 581 Тип. зак. № 989

Цена 1 р. 18 к.

Издательство Академии наук СССР, Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография Издательства АН СССР, Москва, Г-99 Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
28	11 св.	Это	Этот
115	23 сн.	Костин	Кюстин
131	9 св.	Laurenite	Laurentie
212	17 св.	само	сама
216	4 св.	«К. Н.»	«К Н.»
219	13 сн.	воздухе	воздуха
283	12 св.	разгоняют	разгонят
285	13 св.	◡′◡′◡◡́′◡◡′◡	◡′◡′◡◡́◡◡′◡
285	18 сн.	◡́′◡◡′◡◡◡◡′◡	◡́◡◡′◡◡◡◡′◡
286	23 св.	невоздержанных	невоздержных
311	9—8 сн.	пятистопным	шестистопным
313	23 св.	I — abcab, II — abcba	I — abCab, II — abCba
313	10—9 сн.	все рифмы были мужскими	была одна женская рифма
352	2 св.	сделано	сделало

Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева.